

ПОХИЩЕНИЕ ИСТОРИИ

УДК 94(4)+94(5)

ББК 63.3(0)

Г 93

Перевод с английского

О.В. Козтевой

Редакторы

к.и.н. О.А. Зимарин,

к.филол.н. М.М. Беляев

Перевод книги на русский язык осуществлен по изданию:

Jack Goody. The Theft of History. Cambridge,

Cambridge University Press, 2007, и публикуется на основании
соглашения с Синдикатом издательства Кембриджского университета,
Англия (the Syndicate of the Press of the University of Cambridge, England).

Все права охраняются законодательством
об охране интеллектуальной собственности.

Любое воспроизведение текста настоящего издания
в печатной или электронной форме возможно лишь с разрешения
ООО Издательство «Весь Мир».

Напечатано в России

ISBN 978-5-7777-0657-7

© Jack Goody, 2006

© Перевод на русский язык

Издательство «Весь Мир», 2015

Оглавление

Выражение признательности	11
Введение	13
ЧАСТЬ I. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ	25
Глава 1. Кто что украл? Пространство и время	27
Глава 2. Изобретение Античности	44
Глава 3. Феодализм: переход к капитализму или крах Европы и преобладание Азии?	100
Глава 4. Азиатские деспоты и общества: в Турции или где-либо еще?	141
ЧАСТЬ II. ТРИ НАУЧНЫХ РАКУРСА	173
Глава 5. Наука и цивилизация в Европе эпохи Возрождения	175
Глава 6. Похищение «цивилизации»: Элиас и абсолютистская Европа	212
Глава 7. Похищение «капитализма»: Бродель и глобальное сравнение	247
ЧАСТЬ III. ТРИ ИНСТИТУТА И ТРИ ЦЕННОСТИ	289
Глава 8. Похищение социальных институтов: города и университеты	291
Глава 9. Присвоение ценностей: гуманизм, демократия и индивидуализм	326
Глава 10. Похищенная любовь: Европа претендует на эмоции ...	361
Глава 11. Заклочительное слово	386
Литература	413

Джулиет

Слишком часто любые обобщения в общественных науках — и это справедливо для Азии так же, как и для Запада, — основываются на вере в то, что Запад изначально занимает нормативную стартовую позицию для конструирования общего знания. Почти все наши понятия — политика и экономика, государство и общество, феодализм и капитализм — были сформулированы прежде всего на основе западного исторического опыта.

*Т. Брук и Дж. Блу
(Китай и исторический капитализм
/ Под ред. Т. Брука и Дж. Блу.
Кембридж: Кембридж юниверсити пресс, 1999)*

Европейско-американское доминирование в мировой науке в настоящий момент приходится принимать как данность, как неблагоприятную, но неизбежную сторону параллельного развития материальной власти и интеллектуальных ресурсов западного мира. Но опасности такого положения необходимо понимать и нужно предпринимать непрерывные попытки для его преодоления. Антропология представляет собой подходящее средство для такого действия...

*Э. Саутхолл
(Город во времени и пространстве.
Кембридж: Кембридж юниверсити пресс, 1998)*

Выражение признательности

Варианты отдельных глав этой книги я представлял на конференциях: по Норберту Элиасу — в Майнце, по Броделю (и Веберу) — в Монреале и Берлине, по ценностям — на конференции ЮНЕСКО в Александрии, по более общим вопросам мировой истории — на Семинаре по компаративной истории в Лондоне, по вопросам любви — на конференции, организованной Луизой Пассерини, на Индийской секции Университета Джона Хопкинса в Вашингтоне, в Американском университете в Бейруте, в Институте инновационных исследований в Принстоне и очень подробно на заседаниях в рамках Программы исследований в области культуры в Университете Билджи в Стамбуле.

В этой затее — а в ней ангелы определенно побоялись бы принять участие, — которая явилась продуктом скорее *первобытного* (*la pensée sauvage**), чем *одомашненного мышления* (*la pensée domestiquée*), но касалась многих из моих предшествующих интересов, я пользовался поддержкой и помощью друзей, особенно Джульет Митчелл (не только по интеллектуальным, но и по моральным причинам), Питера Бурка, Криса Хана, Ричарда Фишера, Джо Макдермота, Дика Уитткера и многих других, включая моего сына Локамитра. Я также весьма признателен за помощь, оказанную мне Сьюзен Мэнсфилд (за организацию), Мелани Хейл (компьютерная поддержка), Марку Оффорду (компьютер, редактирование), Мануэле Уэджвуд (редактирование) и Питеру Хаттону (библиотека).

* Автор подразумевает работу выдающегося французского антрополога и этнолога К. Леви-Строса «*La pensée sauvage*» (1962). [Рус. пер.: *Леви-Строс К. Первобытное мышление*. М., 1994.] — *Здесь и далее звездочками обозначаются примечания редакторов.*

Введение

«Похищение истории», как название настоящей книги, подразумевает «присвоение» истории Западом. Оно означает, что прошлое концептуализируется и представляется в соответствии с тем, что происходило в Европе, причем часто — только в Западной Европе, а затем это узкопровинциальное видение накладывается на весь остальной мир. Наш континент выдвигает множество претензий на изобретение таких опирающихся на оценочные суждения институтов, как «демократия», торговый «капитализм», свобода, индивидуализм. Однако подобные институты встречаются в значительно более широком круге человеческих обществ. Я считаю, что эти претензии распространяются даже на некоторые эмоции — например, на любовь (или «романтическую любовь»), которая часто объявляется сугубо европейским феноменом, возникшим в XII веке и являющимся неотъемлемым атрибутом модернизации Запада (городской семьи, например).

Все это становится очевидным, если ознакомиться с точкой зрения знаменитого историка Тревор-Ропера, изложенной в его книге «Возвышение христианской Европы». Он указывает на выдающиеся достижения Европы начиная с Возрождения (хотя некоторые историки-компаративисты считают, что превосходство Европы можно датировать лишь началом XIX века). И он полагает, что все эти достижения были рождены исключительно на европейском континенте. Хотя он признает, что достигнутое превосходство может иметь временный характер, однако утверждает:

«Новые правители мира, кем бы они ни были, унаследуют положение, созданное Европой, и только Европой. Именно европейская

техника, европейские образцы для подражания, европейские идеи, вытряхнули весь остальной мир из его прошлого — из африканского варварства, из гораздо более древних, медленных, величественных цивилизаций Азии; и вся (сколько-нибудь значительная) история мира на протяжении последних пяти столетий была европейской историей. Я не думаю, что нам стоит извиняться за европоцентричность нашего изучения истории»¹.

По словам Тревор-Ропера, работа историка предполагает следующее: «Чтобы удостовериться в истинности [своей философии], историк должен ездить за рубеж, в том числе во враждебные страны». Но я полагаю, что сам Тревор-Ропер не покидал пределов Европы ни теоретически, ни физически. Более того, приняв для себя, что конкретные доказательства превосходства Европы начинают проявляться в эпоху Возрождения, он принимает и эссенциальный подход, относящий эти достижения на счет того, что христианство несло «в себе ростки новой и грандиозной жизненной силы»². Некоторые историки могут считать точку зрения Тревор-Ропера крайностью, но, как я намереваюсь показать, существует множество других, более мягких версий аналогичных тенденций, обременяющих историю как континентов Европы и Азии, так и всего мира.

Проведя несколько лет среди различных африканских «племен», а также в условиях примитивной монархии Ганы, я пришел к тому, что необходимо оспорить европейские претензии на «изобретение» некоторых форм правления (например, демократии), родства (нуклеарной семьи), обмена (рынка), а также правосудия — которые, пусть и в зачаточном состоянии, были в действительности широко представлены повсюду. Эти претензии пронизывают историю — как академическую дисциплину и как народный дискурс. Разумеется, Европа за последнее время может похвастаться несомненно великими достижениями, которые следует принимать во внимание. Однако зачастую эти достижения многим обязаны другим городским культурам — например, китайской. На самом деле расхождения между Западом и Востоком — как в экономической, так и в интеллектуальной плоскости — оказываются сравнительно недавними и могут носить временный характер. Впрочем, в представлениях многих европейских историков траектория развития азиатского континента и даже всего остального мира выглядит совершенно иначе направлен-

¹ *Trevor-Roper* (1965). P. 11.

² *Ibid.* P. 21.

ным процессом развития (в своем крайнем выражении характеризующимся как «азиатский деспотизм»), что идет вразрез с моим пониманием других культур и с данными археологии (как относящимися к дописьменному периоду, так и более поздними). Одна из целей настоящей книги состоит в том, чтобы рассмотреть эти очевидные противоречия, заново проверив, как именно европейские историки воспринимали основополагающие сдвиги, происходившие в обществе начиная с бронзового века (примерно с 3000 года до н.э.). Настроенный таким образом, я стал читать и перечитывать, среди прочего, работы историков, которыми я больше всего восхищаюсь, — таких, как Бродель, Андерсон, Ласлетт, Финли.

Результатом стала критика трактовок некоторых аспектов мировой истории у этих авторов, а также взглядов Маркса и Вебера. Я попытался ввести в дебаты — в частности, в вопросы об общинных и индивидуальных чертах человеческой жизни, о рыночной и нерыночной деятельности, о демократии и «тирании» — элемент более широкой сравнительной перспективы. Именно в этих областях западные ученые крайне ограниченно подходят к проблемам культурной истории. Однако одно дело — игнорировать более ранние («незначительные» по масштабам) общества, исследование которых является прерогативой антропологов, при изучении Античности и начальных периодов развития западной цивилизации. И совсем другое — пренебрегать крупнейшими цивилизациями Азии или же записывать их все в некую категорию «азиатских государств». Такой подход создает серьезную проблему, требующую пересмотра не только азиатской, но и европейской истории. По мнению Тревор-Ропера, Ибн Хальдун считал восточную цивилизацию более сформировавшейся, чем западную. Восток имел «сложившуюся цивилизацию, настолько глубоко укоренившуюся, что она могла продолжать свое существование даже в условиях завоевания»³. Вряд ли большинство европейских историков придерживаются такой точки зрения.

Мои доводы, таким образом, являются результатом реакции антрополога (или социолога-компаративиста) на «современную» историю. Я столкнулся с проблемой общего порядка, когда читал труды Гордона Чайлда и других исследователей доисторической эпохи, описывавших в основном параллельно развивавшиеся цивилизации бронзового века в Азии и Европе. И как же вышло, что многие европейские авторы стали исходить из того, что развитие

³ Ibid. P. 271.

на двух континентах со времен Античности пошло разными путями и привело к «изобретению» Западом капитализма? Единственная дискуссия в отношении этих начальных расхождений велась в рамках обсуждения развития орошаемого земледелия в отдельных регионах Востока в отличие от земледелия на Западе, основанного на дождевом орошении⁴. Но этот довод игнорировал множество сходных моментов, восходящих к бронзовому веку и касающихся плужного земледелия, гужевого транспорта, городских ремесел и других областей, включая развитие письменности и соответствующих систем накопления и обработки знаний, а также множества других способов применения грамотности, рассмотренных мной в книге «Логика письменности и организация общества» [*The logic of writing and the organization of society*] (1986)].

Я полагаю ошибочным взгляд на данную проблему лишь с точки зрения сравнительно ограниченного числа различий в способах производства, когда наблюдается так много сходного не только в экономике, но и в способах коммуникации, а также в средствах уничтожения, что в конце концов привело к использованию пороха. Все эти схожие моменты (включая более широкие культурные аспекты и структуру семьи) были отодвинуты в сторону во имя «ориентальной» гипотезы, подчеркивавшей различные исторические пути Востока и Запада.

Многие общие черты между Европой и Азией в способах производства, коммуникации и уничтожения становятся более очевидными в сравнении с Африкой и часто игнорируются, когда речь идет просто о «третьем мире», без учета различий. В частности, некоторые авторы игнорируют тот факт, что Африка в значительно большей степени опиралась на мотыжное земледелие, чем на плуг и сложное орошение. Не испытала Африка и «городской революции» бронзового века. Тем не менее африканский континент не оставался в полной изоляции; царства Ашанти и Западного Судана добывали золото, которое, как и рабы из этих стран, вывозилось через Сахару к Средиземноморью. Там оно включалось в обмен «восточными» товарами, который вели андалузские и итальянские города; для поддержания этого обмена Европа остро нуждалась в золоте⁵. За него Италия расплачивалась венецианским бисером, шелками и индийским хлопком. Действовавший рынок свободно соединял, с одной стороны, «мотыжные» экономики с зарождающимся «рыночным

⁴ См.: *Wittfogel* (1957).

⁵ См.: *Bovill* (1933).

капитализмом» и сельским хозяйством стран Южной Европы, а с другой — городские производящие экономики с ирригационным земледелием на Востоке.

Помимо этих связей между Европой и Азией, а также различий между евразийской и африканской моделями, я был впечатлен значительным сходством моделей семьи и родства основных европейских и азиатских обществ. В отличие от африканского «калыма» (или, лучше сказать, «выкупа за невесту»), когда род жениха предоставляет средства или оказывает услуги роду невесты, в Азии и Европе можно обнаружить выделение дочерям доли собственности — либо в виде наследства после смерти родителей, либо в форме приданого при замужестве. Эта общая «евразийская» черта является неотъемлемым элементом более широкого параллелизма в институтах и видах отношений, который заслуживает применения усилий коллег, занимающихся историей семьи и демографией с трудом пытавшихся (и продолжающих это делать до сих пор) выделить отличительные черты именно «европейской» брачной модели, выявляемой в Англии начиная с XVI столетия, и связать эту специфику исключительно с развитием «капитализма» на Западе. Такого рода связь кажется мне сомнительной, а настойчивые утверждения о существовании различий между «Западом» и «всеми остальными» кажутся этноцентристскими⁶. Я утверждаю, что, в то время как большинство историков стремятся избежать этноцентричности (как телеологии), им редко это удается из-за недостаточности знаний о других народах (в том числе и знаний о своих собственных источниках). Такая ограниченность часто ведет к безосновательным претензиям (явным или неявным) Запада на уникальность.

Чем пристальнее я вглядывался в другие грани культуры Евразии и чем больше узнавал о различных регионах Индии, Китая и Японии, тем сильнее чувствовал, что социология и история величайших государств или цивилизаций Евразии должны рассматриваться как вариации друг друга. Но именно такому подходу мешают представления об азиатском деспотизме, азиатской исключительности, особой форме мышления и — шире — о культуре. Они препятствуют рациональному и компаративному изучению, категорично утверждая, что в Европе было то-то и то-то (Античность, феодализм, капитализм), а у других (то есть у всех остальных) этого не было. Конечно, различия существуют. Но при их рассмотрении необходимо более тщательное сравнение, а не грубое противопоставление Востока

⁶ См.: *Goody* (1976).

и Запада, которое к тому же всегда оборачивается в пользу последнего⁷.

Есть несколько аналитических моментов, которые я хотел бы отметить в самом начале, так как мне кажется, что пренебрежение ими отчасти порождает существующие разногласия. *Во-первых*, существует естественное стремление так структурировать опыт, чтобы его носитель (будь то индивидуум, группа или сообщество) оказался в его центре. Одна из форм такого подхода выражается в том, что мы называем этноцентризмом. Этноцентризм, что неудивительно, был свойствен и древним грекам и римлянам, как, впрочем, и любому другому сообществу. Все человеческие общества демонстрируют определенную степень этноцентризма, что является одним из условий личной и социальной идентификации членов сообщества. Этноцентризм, разновидности которого представляют собой европоцентризм и ориентализм, нельзя назвать исключительно «европейским заболеванием». К примеру, индейцы навахо, населяющие юго-восток Северной Америки и называющие себя «люди», подвержены ему точно в такой же степени. То же можно сказать о евреях, арабах и китайцах. И поэтому, признавая существование различных степеней интенсивности этноцентризма, я не готов принять доводы в пользу конкретной временной «локализации» такого рода предрассудков — например, 40-ми годами XIX века, как сделал Берналь⁸ в отношении Древней Греции, или XVII и XVIII столетиями, как это делает Гобсон⁹ в отношении Европы, поскольку, мне кажется, такой подход «сужает» историю и превращает общее явление в частный случай. Древние греки не очень-то любили «Азию», а римляне проводили политику дискриминации в отношении евреев¹⁰. Объяснения были различными. Евреи обосновывали свои предубеждения религиозными аргументами, римляне на первое место выдвигали близость к столице и «цивилизации», а современные европейцы оправдывают себя успехами Европы в XIX веке. Таким образом, риск скрытого этноцентризма заключается в том, чтобы не оказаться европоцентристом в отношении этноцентризма, и это как раз та ловушка, в которую часто попадают постколониализм и постмодернизм. Но поскольку Европа, как я докажу, не «изобрела» ни любви, ни демократии, ни свободы, ни рыночного капитализма, то она не изобрела и этноцентризма.

⁷ См.: *Finley* (1981).

⁸ См.: *Bernal* (1987).

⁹ См.: *Hobson* (2004).

¹⁰ См.: *Man* (2004). P. 27.

Проблема европоцентризма, однако, осложняется тем, что частное видение мира в эпоху европейской Античности получило дополнительное усиление благодаря широкому использованию систем письменности на основе греческого алфавита и было усвоено и поглощено европейским историографическим дискурсом, предоставившим по виду научное прикрытие одному из вариантов общего явления. Первая часть этой книги строится вокруг анализа таких претензий в соответствии с хронологией мировой истории.

Во-вторых, важно понять, как возникла идея о радикальном расхождении между Европой и Азией (я буду рассматривать это в основном на материале Античности)¹¹. Первоначальный европоцентризм был усугублен последующими событиями на европейском континенте, и его мировое доминирование в различных сферах очень часто стало рассматриваться почти как естественное. Начиная с XVI столетия Европа занимает доминирующее положение в мире, отчасти благодаря Возрождению, отчасти за счет преимуществ в огнестрельном оружии и парусном оснащении¹², позволивших европейцам открыть и заселить новые территории и развить торговлю, тогда как появление книгопечатания способствовало развитию образования¹³. К концу XVIII столетия, благодаря Промышленной революции, Запад достиг всемирного экономического доминирования. Именно в условиях доминирования, в чем бы оно ни выражалось, этноцентризм начинает проявлять себя более агрессивно. «Другие народы» автоматически становятся «малыми народами», а европейская ученость (нередко расистская по тону, хотя и во многих случаях считавшая превосходство больше культурным, чем естественным феноменом) изощренно придумывала обоснование того, почему должно быть именно так, а не иначе. Некоторые думали, что такова воля Божия, христианского Бога или протестантской религии. Есть авторы, которые и до сих пор так считают. Отдельные исследователи настаивали на том, что этому доминированию надо найти объяснение. Но объяснения, основанные на долговременных фундаментальных факторах, расовых или

¹¹ Этот момент относится к спору Эрнеста Геллнера с Эдвардом Сэдом, отраженному в кн.: Gellner (1994).

¹² См.: Cipolla (1965).

¹³ Это преимущество оспаривалось Гобсоном [Hobson (2004)], но мы должны принимать во внимание успешность «европейской экспансии» не только в обеих Америках, но и (особенно) на Востоке, где она конкурирует с индийскими и китайскими устремлениями в этой области. См. также: Eisenstein (1979).

культурных, не являются удовлетворительными — не только теоретически, но и эмпирически, поскольку расхождения возникли недавно. И нам приходится опасаться телеологической интерпретации истории, то есть интерпретации прошлого с позиции настоящего, когда современные преимущества проецируются на более ранние периоды, и часто это описывается в более «возвышенных» категориях, чем кажется необходимым.

Безоговорочная линейность телеологических моделей, выносящая «за скобки» Античности всё неевропейское и втискивающая европейскую историю в череду сомнительных прогрессивных изменений, должна смениться историографией, более гибко подходящей к периодизации, — такой историографией, которая бы не исходила из превосходства Европы в мире, предшествовавшем современному, и относила европейскую историю к общей культуре «городской революции» бронзового века. Мы должны рассматривать последовательность исторического развития в Евразии в контексте динамично меняющегося набора признаков и взаимосвязей, в постоянном и разностороннем взаимодействии, особенно связанном с торговой («капиталистической») деятельностью, где идеи подлежат обмену в той же степени, что и продукты. На этом пути мы можем осмысливать общественное развитие в более широких рамках, видеть его более интерактивным и эволюционным в социальном смысле, а не загонять его в идеологически детерминированную последовательность событий, имеющих отношение только к Европе.

В-третьих, понимание мировой истории находится под влиянием таких категорий, как «феодализм» и «капитализм», предложенных историками (как профессионалами, так и любителями), в уме у которых была лишь Европа. Это значит, что «прогрессивная» периодизация была выработана для внутреннего употребления на основе сугубо европейского пути развития¹⁴. Поэтому не возникает никакой сложности с тем, чтобы представить феодализм как главным образом европейский феномен. Даже если некоторые ученые — такие, как Колборн, — замахивались на применение компаративистского подхода, они всегда начинали с привычной западноевропейской платформы и к ней же возвращались. С социологической точки зрения сравнения не должны так проводиться. Я предлагаю начать с таких явлений, как зависимое землевладение, и с разработки сетки его характеристик различного типа.

¹⁴ См.: *Marx and Engels* (1969). P. 504.

Финли показал, что различия в исторических ситуациях полезнее изучать с помощью подобной сетки характеристик, как он это сделал в отношении рабства, определяя отношения между различными категориями зависимости, включая крепостную зависимость, аренду и наем, вместо того, чтобы использовать резкое разделение — к примеру, между рабом и свободным человеком, — поскольку существовало множество возможных градаций¹⁵. Аналогичная сложность возникает в связи с землепользованием, часто грубо определяемым как «личная собственность» или «общинное держание». Идея Мейна об «иерархии прав», сосуществующих в одно и то же время и распределенных по различным слоям общества (вариант сетки), дает нам возможность избежать таких противопоставлений, ведущих в неверном направлении. Это позволяет исследовать ситуации более тонким и динамичным способом. В результате можно анализировать сходства и различия Западной Европы и Турции, не впадая преждевременно в грубые и ведущие в неверном направлении утверждения вроде: «В Европе был феодализм, а в Турции — нет». Как показали Манди и другие исследователи, в Турции было кое-что, во многом напоминавшее европейские формы¹⁶. Используя сетку характеристик, всегда можно задаться вопросом, является ли то или иное отличие настолько значительным, чтобы иметь последствия, актуальные для будущего мирового развития. Больше не нужно иметь дело с монолитными концепциями, сформулированными несравнительным, несоциологическим способом¹⁷.

С тех пор как я впервые заинтересовался этой темой, ситуация в отношении всемирной истории значительно изменилась. Множество исследователей, например географ Блаут, настаивали на том, что искажения появились благодаря историкам-европоцентристам¹⁸. Экономист Гюнтер Франк радикально изменил свою позицию по поводу «развития», выдвинув призыв к *Re-Orient**, ¹⁹. Синолог

¹⁵ См.: *Bion* (1970); фронтиспис и с. 3). У *Bion* (1963) есть также понятие системы, используемое для понимания психологических феноменов.

¹⁶ См.: *Mundy* (2004).

¹⁷ В то время как я говорю о данной форме социологического сравнения, не многие социологи способны осуществить его на уровне какого-нибудь института в мировом масштабе. То же касается и антропологов, хотя, с моей точки зрения, это согласуется с работами Рэдклиффа-Брауна. Обе эти сферы науки слишком часто замыкаются в сомнительных сравнениях Востока и Запада. Возможно, школа Дюркгейма в «*Année sociologique*» ближе всего подошла к уровню, удовлетворяющему указанным требованиям.

¹⁸ См.: *Blaut* (1993; 2000).

* «Переориентация», или переоценка, Востока.

¹⁹ См.: *Frank* (1998).

Померанц сделал научный обзор явления, названного им «Великим расхождением»²⁰ между Европой и Азией, которое, как он считает, началось лишь в начале XIX века; до этого, как он полагает, в основных направлениях развития наблюдалась относительная сопоставимость. Политолог Гобсон недавно написал исчерпывающий обзор, названный им «Восточные начала Западной цивилизации», чтобы показать первичность именно вклада восточных культур в цивилизационное развитие²¹. Кроме того, существует замечательное исследование Фернандес-Арместо о важнейших государствах Евразии, охватывающее последнее тысячелетие, в котором он рассматривает их как равные²². В дополнение к этому возросло количество ученых, изучающих период Возрождения и подчеркивающих значительную роль Ближнего Востока в «подстегивании» развития Европы²³, — в качестве примеров можно привести историка архитектуры Дебору Ховард и историка литературы Джерри Броттона, а также множество историков науки и техники, привлекавших внимание к огромному вкладу, внесенному Востоком в последующие достижения Запада²⁴.

Моя цель состоит в том, чтобы показать, как Европа не просто пренебрегала историей остального мира или преуменьшала ее значение, что приводило к последовательному искажению собственно европейской истории, но и как в Европе разрабатывали исторические концепции и периодизацию, усиливавшие восприятие Азии в определенном ключе, что, несомненно, повлияло и на понимание ее прошлого, и на представление о ее будущем. Я не стремлюсь переписать историю всей Евразии, но я заинтересован в пересмотре точки зрения на развитие этого континента с так называемых классических времен, а также в том, чтобы одновременно связать Евразию с остальным миром, желая показать, что изменение взгляда на мировую историю может быть плодотворным. Я ограничил рамки своего рассмотрения Старым Светом и Африкой. Другие, особенно Адамс²⁵, сравнивали Старый Свет и Новый Свет с точки зрения, например, урбанизации. Такое сравнение поднимает другие вопросы — торговые и коммуникационные аспекты развития цивилизации, но это очевидно потребу-

²⁰ См.: *Pomeranz* (2000).

²¹ См.: *Hobson* (2004).

²² См.: *Fernandes-Armesto* (1995).

²³ См.: *Howard* (2000); *Brotton* (2002).

²⁴ Более подробно см.: *Goody* (2003).

²⁵ См.: *Adams* (1966).

ет большего акцента на внутреннюю социальную эволюцию, чем на расширение торговли или другие формы взаимопроникновения, и будет иметь важные последствия для любой теории развития.

Моя основная цель схожа с той, которую преследовал Питер Бёрк в своей трактовке Возрождения; однако я начинаю с Античности. Бёрк пишет: «Я стремлюсь пересмотреть Великое Повествование о возвышении европейской цивилизации»; оно расценивается им как «триумфальный отчет о достижениях Запада, начиная от древних греков, в котором Ренессанс предстает связующим звеном цепи, включающей Реформацию, научную революцию, Просвещение, Промышленную революцию и т.д.»²⁶. В своей трактовке Возрождения Бёрк пытается «взглянуть на культуру Западной Европы как на одну из целого ряда сосуществующих культур, взаимодействующих со своими соседями, а именно с Византией и исламским миром, каждый из которых, в свою очередь, переживал собственный “ренессанс” греческой и римской Античности».

Эту книгу можно разделить на три части. *Первая* рассматривает обоснованность европейской концепции, в чем-то эквивалентной арабскому *иснаду*, то есть социокультурной генеалогии, восходящей к Античности, поступательно развивающейся — через феодализм к капитализму — и оставляющей в стороне Азию как «исключительную», «деспотическую» или «отсталую». *Во второй части* я обращаюсь к трудам трех известных и чрезвычайно влиятельных исследователей истории, предпринявших попытку рассмотреть Европу в ее отношениях с остальным миром, но тем не менее выделявших якобы исключительную линию европейского развития, — а именно Нидэма, продемонстрировавшего величайшие достижения китайской науки; социолога Элиаса, обнаружившего начало «процесса цивилизации» в европейском Возрождении, и Броделя, великого историка Средиземноморья, выявившего источники происхождения капитализма. Я делаю это, чтобы отметить, что даже самые выдающиеся историки, несомненно негативно относящиеся к телеологическому или европоцентристскому подходу, могут попасть в его ловушку. *Заключительная часть книги* обращается к претензиям европейцев — как ученых, так и неспециалистов — на понимание себя как хранителей определенных высокочтимых институтов, таких, как особая версия города, университет, да и собственно демократия, а также некоторых ценностей — таких, как индивидуализм, — и некоторых эмоций — таких, как любовь (так называемая романтическая любовь).

²⁶ Burk (1978). P. 3.

Иногда можно услышать жалобы на то, что критика европоцентристской парадигмы бывает слишком настойчивой. Я старался избегать такого тона и концентрироваться исключительно на трактовке фактов, вытекающей из моих прежних исследований*. Однако голоса наших оппонентов часто бывают столь безапелляционными, столь самоуверенными, что, возможно, и нам понадобится просить прощения за некоторое повышение голоса.

* Российские рецензенты данной работы Дж. Гуди высоко оценили подход автора. См.: *Маяцкий М.* Европа и ее мыслительная мускулатура: вопрос упражнения? Рец. на кн.: *Jack Goody. The Theft of History.* Cambridge UP, 2006 // Логос. Философско-литературный журнал. 2012. № 4 [88]. С. 109–114; *Сметанин А.В.* Свет с Востока, или Чувство вины профессора Гуди // Вестник Пермского университета. Серия история и политология. 2010. Вып. 1 (12). История. С. 125–128.

См. также рецензию на последнюю работу Дж. Гуди: *Березкин Ю.* Рец. на кн.: *Jack Goody. Metals, Culture and Capitalism. An Essay on the Origins of the Modern World.* Cambridge et al.: Cambridge University Press, 2012. 349 p. // Антропологический форум. 2014. № 22. С. 291–300.

Часть I

Социокультурная генеалогия

Глава 1. Кто что украл?

Пространство и время

Колониальные захваты и промышленная революция обеспечили присутствие западноевропейцев во всех частях света. С начала XIX века за этим последовало доминирование Западной Европы в конструировании всемирной истории. Другие цивилизации — арабская, индийская и китайская — располагали своими особыми всемирными историями (впрочем, все является до некоторой степени особым). В действительности не много найдется культур, у которых представления о собственном прошлом не были бы связаны, пусть и в упрощенной форме, с другими культурами, хотя многие наблюдатели склонны относить такие представления скорее к категории мифов, чем истории. Что было характерно для усилий европейцев (так же как и для представителей менее сложно организованных обществ), так это их пристрастие к навязыванию собственной истории остальному миру, следуя этноцентристской тенденции, возникающей как продолжение эгоцентрического импульса, лежащего в основе человеческого восприятия. Но европейцы были способны добиваться своего, потому что де-факто доминировали во многих частях света. Каждый видит мир собственными глазами, а не чужими. Как я уже заметил во введении, я осведомлен о недавнем появлении противоположных тенденций во взгляде на мировую историю¹. Но, с моей точки зрения, в теории это движение отражено недостаточно, особенно применительно к крупным фазам, посредством которых познается мировая история.

¹ См. в особенности начало обсуждения в кн.: *Bayly C.A. The Birth of the Modern World, 1780–1914. Oxford, 2004.*

Чтобы противостоять неизбежно этноцентристскому характеру любых попыток описания мира — в прошлом или в настоящем, — нужна более критическая установка. Это означает, *во-первых*, скептическое отношение к претензиям Запада, вернее, к любым претензиям, исходящим из Европы (или Азии), на «изобретение» неких ценностей — например, демократии или свободы. *Во-вторых*, это означает необходимость смотреть на историю «снизу вверх», а не «сверху вниз» (или из настоящего). *В-третьих* — необходимость в полном объеме отдавать должное неевропейской истории. *В-четвертых*, такая позиция требует понимания того, что даже основа истории — локализация событий в пространстве и во времени — является вариативной, зависящей от социального конструирования и, следовательно, изменяемой. Таким образом, она не состоит из непреложных категорий, создаваемых мирозданием именно в той форме, в которой присутствует в европейском историографическом сознании.

Измерения, в которых мы воспринимаем пространство и время, установлены Западом. Так сложилось потому, что европейская экспансия во всех частях света требовала учета времени и создания карт, что задавало структуру как истории, так и географии. Разумеется, любое общество имеет концепции организации пространства и времени, позволяющие структурировать ежедневную жизнь. Эти концепции стали более продуманными (и более точными) с распространением грамотности, обеспечивающей графические обозначения как для того, так и для другого измерения. Именно раннее изобретение письменности в Евразии, а не достоверность знаний о пространственно-временной организации мира дало крупнейшим обществам континента значительные преимущества при подсчете времени, а также при создании и разработке карт по сравнению, например, с Африкой — с ее устной системой передачи информации.

Время

В устных культурах время рассчитывалось в соответствии с природными явлениями: движением Солнца на протяжении суток (сменой дня и ночи), его положением на небе, фазами Луны, сменой времен года. Отсутствовал какой-либо подсчет проходящих лет, так как он требовал наличия фиксированной начальной точки, «эры». Она могла возникнуть лишь с появлением письменности.

Сам подсчет времени, как в прошлом, так и в настоящем, был монополизирован Западом. Даты, которые определяют мировую исто-

рию, отсчитываются до и после Рождества Христова (до Р.Х. и от Р.Х. или, что более политкорректно, до н.э. или н.э.). Другие эры, связанные, в частности, с Хиджрой, еврейским или китайским Новым годом, отодвинуты на задворки исторической науки и не используются на международном уровне. Одним из аспектов «похищения времени» в рамках этих эр стала, конечно, концепция столетий и тысячелетий — и она тоже принадлежит письменной культуре. Автор масштабного исследования данного вопроса, Фернандес-Арместо², включил в свой обзор изучение истории исламских стран, Индии, Китая, Африки и обеих Америк. Он написал всемирную историю «нашего тысячелетия», вторая половина которого была «нашей» с точки зрения доминирования западной цивилизации. В отличие от многих историков Фернандес-Арместо не находит корней такого доминирования в западной культуре; мировое лидерство может снова легко перейти к Азии, как раньше оно перешло от Азии к Западу. Тем не менее любое обсуждение неизбежно ведется в категориях десятилетий, столетий и тысячелетий, заданных христианским календарем. Однако на Востоке, равно как и в Центральной Азии, часто подразумевают иные тысячелетия.

Монополизация времени Западом определила не только «всеобщую эру», разграниченную Рождеством Христовым, но и привычное исчисление времени с помощью лет, месяцев и недель. Год сам по себе является достаточно случайным способом структурирования времени. Мы используем звездный цикл, тогда как другие культуры — последовательность из двенадцати идущих друг за другом лунных месяцев. Этот выбор в той или иной степени обусловлен привычкой. В обеих системах начало года, то есть день Нового года, выбрано произвольно. Используемый европейцами «звездный год» в действительности является ничуть не более «логичным» выбором, чем подсчет лунных циклов в исламских или буддийских странах. То же касается и принятого в Европе разделения на месяцы. Приходится выбирать между произвольно определяемыми годами или столь же произвольными месяцами. Наши месяцы никак не учитывают Луну, в то время как лунные месяцы мусульман куда более «логичны». Любая календарная система сталкивается с этой проблемой — как совместить звездный или «сезонный» год с лунными месяцами. В исламской системе времяисчисления год «подстраивается» под месяцы, в христианской же все наоборот. В устных культурах могут независимо существовать как сезонный, так и

² См.: *Fernandez-Armesto* (1995).

лунный принципы времяисчисления, тогда как письменность вынуждает к некоему компромиссу.

Неделя, состоящая из семи дней, пожалуй, наиболее произвольно созданная единица измерения времени. В Африке существуют эквиваленты недели, состоящие из трех, четырех, пяти или шести дней, и работа местных рынков привязана именно к ним. В Китае была принята «неделя» из десяти дней. Человеческие сообщества всегда ощущали потребность в единице измерения времени меньшей, чем месяц, способной помочь структурировать различные циклические виды деятельности — например, работу местных рынков (в отличие от больших ежегодных ярмарок). Продолжительность таких отрезков времени определяется исключительно традицией. Представление о ночи и дне полностью соответствует нашему реальному опыту, но дальнейшее разделение на часы и минуты существует лишь на наших часах и в нашем сознании; это деление было выбрано совершенно произвольно³.

Все разнообразные способы подсчета времени в обществах, знакомых с письменностью, имеют религиозную структуру, предлагая в качестве точки отсчета сотворение мира или жизнь некоего пророка или спасителя. Подобные точки отсчета продолжают оставаться актуальными наряду с теми, которые появились вместе с распространением по миру христианства в результате завоеваний, колонизации и последовавших за этим столетий господства западной цивилизации, — сегодня по всему миру приняты семидневная неделя, воскресенье как день отдыха, ежегодные празднования Рождества, Пасхи и Хэллоуина. Это произошло несмотря на то, что именно западная цивилизация во многих аспектах стала источником широкого распространения светского восприятия действительности (можно вспомнить, например, веберовскую «демистификацию мира» и «отрицание магии» у Фрэзера), в значительной степени влияющего на все население планеты.

То, что религия продолжает оказывать существенное влияние на нашу ежедневную жизнь, часто не вполне понимают и исследователи, и обычные люди. Многие европейцы расценивают общество, к которому они принадлежат, как светское, а существующие в нем институты — как не дискриминирующие те или иные конфессии. Мусульманские хиджабы или иудейские кипы могут быть разрешены (или не разрешены) в школах; все государственные учреждения могут быть надконфессиональными; изучение религий может носить

³ См.: *Goody* (1968).

сравнительный характер. Применительно к естественным наукам мы считаем, что свобода исследований природы мира и всех его составляющих является необходимым условием их существования. Религии, например ислам, часто критикуют за искусственное ограничение границ познания, хотя ислам имеет и рационалистические тенденции⁴. Тем не менее сегодня страна с наиболее развитой экономикой в мире (по экономическим и естественно-научным меркам) характеризуется чрезвычайным религиозным фундаментализмом и в значительной мере привязана к своему религиозному календарю.

Религиозные модели структурирования мира пронизывают все аспекты мысли, и, даже когда от них отказываются, их следы продолжают определять нашу концептуализацию действительности. Пространственные и временные категории, берущие начало в религиозных источниках, настолько фундаментальны и всеобъемлющи, настолько полно определяют наше взаимодействие с миром, что мы склонны забывать об их религиозном происхождении. Однако на общественном уровне двойственное отношение к религиям кажется общей чертой человеческих сообществ. Скептическая и даже агностическая установка в отношении религии периодически встречалась и в дописьменных обществах⁵. В обществах же, где была распространена грамотность, такие настроения иногда приводили к периодам развития гуманистической мысли — как, например, описанный Зафрани золотой век испано-магрибской культуры XII столетия или описанный многими период европейского Средневековья. Более радикальные перемены такого рода произошли под знаком итальянского Ренессанса XV века, сопровождавшегося возрождением интереса к классическому наследию (полностью языческому, хотя во многих случаях и адаптированному к христианству, как заметил Петрарка). Связанный с этим гуманизм (как классический, так и светский) вел к Реформации и уменьшению авторитета церкви, но, разумеется, не заменил ее. Оба направления развития способствовали частичному расширению границ познания мира и, соответственно, научных изысканий в широком смысле слова. К тому моменту Китай достиг, возможно, наибольших успехов в данной сфере. В силу отсутствия в Китае какой-то одной доминировавшей религии развитие светского знания, предполагающего проверку и переоценку обретаемой информации, не сталкивалось здесь с препятствиями, часто затруднявшими научный прогресс в христианских и исламских

⁴ См.: *Makdisi* (1981). P. 2.

⁵ См.: *Goody* (1998).

странах. Двойственное отношение к религии, сосуществование в человеческом восприятии научного и сверхъестественного, остается приметой и современных обществ, хотя сегодня ситуация выглядит совершенно иначе, и общества в большей степени разделены на «верующих» и «неверующих»; последние же с эпохи Просвещения имеют более институционализированный статус. Однако и те и другие остаются запертыми внутри религиозных концепций времени, где западные представления доминируют в мультикультурном и мультирелигиозном мире.

Возвращаясь к времяисчислению, заметим, что часы — уникальная принадлежность культур, владеющих письменностью, — внесли очевидно важный вклад в измерение времени. В античные времена они имели форму солнечных часов или клепсидры (водяных часов). Средневековые монахи отмеряли ход времени с помощью свечей. В Древнем Китае применялись сложные механические устройства. Однако изобретение механического спускового механизма, издающего звук «тик-так» и контролирующего распрямление пружины — часового механизма, — произошло в Европе в XIV веке. Другие анкерные механизмы существовали в Китае с 725 года, как и механические часы, но последние были не столь совершенны, как те, что позднее пришли с Запада⁶. Часовой механизм, ставший для некоторых философов моделью устройства Вселенной, в конце концов был встроен в устройства, которые можно было носить с собой, что существенно облегчило для людей возможность следить за временем. Это тоже питало пренебрежение европейцев к людям и культурам, не имевшим такой возможности и жившим, например, по «африканскому времени» и которые в силу этого не могли соответствовать требованиям, предъявляемым постоянной занятостью, причем это справедливо не только в отношении фабричного труда, но и в отношении работы любой большой организации. Они не были готовы к «тирании подневольного труда» с девяти до пяти.

В письме, написанном в 1554 году, посол императора Фердинанда у турецкого султана, Жислен де Бусбек, описывает свое путешествие из Вены в Стамбул. Он упоминает неудобства, вызванные тем, что турецкие сопровождающие будили его среди ночи, потому что

⁶ См.: *Needham* (2004). Нидэм предполагает, что настаивание на специфике изобретения спускового механизма часов является попыткой «сохранить лицо» Европы, как это делалось в случаях, когда в пользу Европы пересматривалось происхождение таких изобретений, как магнитная стрелка и осевой руль (р. 73).

«не знали, который час» (кроме того, он утверждает, что они не умели измерять расстояние, но это было неверно). Они умели измерять время, но с помощью призывов муэдзина на молитву, которые раздавались пять раз в день, — и, разумеется, ночью этот метод не мог быть использован; та же самая проблема касается солнечных часов, а водяные часы слишком сложны для переноски. Механические часы, как мы видели, были главным образом (но, разумеется, не только) европейским изобретением, распространявшимся достаточно медленно. В Китай они попали благодаря миссионерам-иезуитам, а широкое распространение на Ближнем Востоке часы получили лишь к XVI веку. Но даже тогда их не размещали в общественных местах, поскольку наличие часов угрожало принятому подсчету времени с помощью призывов муэдзина. Бусбек заметил, что столь медленная адаптация вызвана отнюдь не общим нежеланием использовать инновации, как утверждали некоторые. «...Ни один народ не проявлял нежелания использовать полезные изобретения других народов; например, они приспособили для собственных нужд большие и малые пушки (в действительности, возможно, китайское изобретение) и много других наших изобретений. Однако они никак не могут начать печатать книги или устанавливать часы в людных местах. Они считают, что их Писания, то есть священные книги, перестанут быть таковыми, если будут напечатаны; и они думают, что если установят в людных местах часы, то власть их муэдзинов и древних ритуалов уменьшится»⁷. Первая часть этой цитаты далеко расходится с образом статичной, не склонной к инновациям восточной культуры, доминирующим в сознании многих европейцев, что мы подробнее рассмотрим в главе 4. Однако отказ от книгопечатания оказался чрезвычайно важным в долговременном отношении с точки зрения как измерения времени, так и распространения информации в письменном виде. Оба фактора имели центральное значение для развития процесса, позднее названного «научной революцией» или рождением «современной науки», — их избирательное применение в технологиях коммуникации с определенного момента стало тормозить движение вперед, однако это совсем не означало полного неумения измерять время или отсутствия понимания такой возможности и ее важности. И еще меньше это нежелание (само по себе относительно поздний феномен) подтверждает точку зрения, согласно которой европейские способы измерения времени и европейская периодизация являются лучшими, более «правильными», чем другие.

⁷ *Lewis* (2002). P. 130–131.

Существует и другой, более общий аспект «присвоения» времени, а именно, характеристика западного восприятия времени как линейного, а восточного — как циклического. Даже великий исследователь Китая Джозеф Нидэм, так много сделавший для реабилитации китайской науки, представил это восприятие как важный вклад в понимание дела⁸. С моей точки зрения, это было чрезмерное обобщение, некорректно противопоставляющее культуры друг другу абсолютным, категоричным и даже эссенциалистским образом. Правда, что в Китае помимо долгосрочных способов времяисчисления, оперирующих эрами, существует краткосрочная циклическая система подсчета лет, где каждый год (например, «год Обезьяны») повторяется через определенное количество лет. В западном календаре точно таких же моментов не наблюдается (за исключением месяцев, каждый год повторяющихся по тому же принципу, и астрологии, построенной на халдейском зодиаке, структурирующем звездное небо как карту, в которой каждый месяц имеет определенные характеристики, как и годы в китайской циклической системе). Однако верно, что даже для исключительно устных культур, где времяисчисление неизбежно является более простым, характерно сочетание как линейных, так и циклических подсчетов. Линейные подсчеты неотъемлемо присущи историям жизни — от рождения до смерти, тогда как «космическое» время в этих культурах имеет большую тенденцию к цикличности, поскольку день сменяется днем, а лунный месяц — лунным месяцем. Любая идея об исключительно линейном или только циклическом исчислении времени является ошибочной и отражает наше восприятие западной культуры как продвинутой и обращенной в будущее, а восточной — как статичной и отсталой.

Пространство

Доминирующие ныне в мире концепции пространства тоже происходят из европейских представлений. Они также претерпели значительное воздействие не столько даже грамотности, сколько развивающейся параллельно с нею традиции графического отображения пространства. Конечно, все народы имеют представление о пространстве, в котором они живут, о мире вокруг себя и о небе над головой, однако графическое отображение является крайне значимым шагом на пути

⁸ См.: *Needham* (1965).

к более точной, объективной и творческой картографии, позволяющей изучать земли, непосредственно незнакомые читателю.

Деление на континенты вряд ли является сугубо западным изобретением, поскольку сами континенты выглядят как отдельные образования, за исключением произвольной границы между Европой и Азией. Географически Европа и Азия образуют сплошной континент Евразию; но еще греки делали различие между двумя берегами Средиземного моря в районе Босфора. Несмотря на то что греки основывали свои колонии в Малой Азии начиная с архаического периода, она оставалась для них во многих контекстах «чужой» землей, населенной чужими народами с чуждыми религиями. Позднее «мировые» религии и их последователи, стремясь господствовать над пространством в той же мере, как и над временем, даже сделали попытку официально определить новую Европу как «христианский континент», невзирая на историю европейских контактов и более того — игнорируя фактическое присутствие на этом континенте последователей ислама и иудаизма⁹ и несмотря на то, что современные европейцы (в отличие от жителей других частей света) часто отличались совершенно светским восприятием мира. Тем временем часы истории продолжали тикать в христианском ритме, так что настоящее и прошлое Европы предстало, если пользоваться названием труда Тревор-Ропера, в виде «Возвышения христианской Европы».

Однако концепции пространства не испытывали такого же сильного влияния религии, как концепции времени. Тем не менее расположение «священных городов» — таких, как Мекка и Иерусалим, — определяло не только организацию пространства и направление, в котором следовало возносить молитвы, но и жизнь множества людей, стремившихся совершить паломничество в эти святы места. Хорошо известна роль паломничества в исламе, считающем его одним из «пяти столпов веры». Оно оказывает значительное влияние на жизнь людей в различных частях света. Христиан тоже издавна побуждали к паломничеству в Иерусалим, и стремление обеспечить свободное осуществление таких путешествий стало одной из причин европейских вторжений на Ближний Восток, известных как Крестовые походы. Иерусалим был полюсом притяжения и для иудеев, возвращавшихся туда на всем протяжении Средних веков. Особенно интенсивным это движение стало после возникновения сионизма и насильственных проявлений антисемитизма в конце XIX века. Аргумент, связанный, в частности, с видением простран-

⁹ См.: Goody (2003b).

ва, с представлением об Израиле как о «доме», привел в результате к массовому возвращению евреев в Палестину, получившему значительную поддержку некоторых западных держав, что стало в конечном итоге причиной напряженности, конфликтов и войн, охвативших в последние полвека Восточное Средиземноморье. В то же время размещение западных военных баз на Аравийском полуострове предстает как одна из причин усиления исламской воинственности в регионе. Таким образом, религии довольно произвольно рисуют нам «карту мира», но по ходу дела она обретает мощное влияние на формирование идентичности. Изначальная религиозная мотивация, свойственная когда-то людям, может исчезнуть, однако порожденное ею и свойственное ей внутреннее географическое членение остается, становится «естественным» и может накладываться на другие представления уже как некая часть материального порядка вещей. Как и в случае со временем, это по сей день происходит в Европе в области написания истории, хотя в целом религия оказала на структурирование пространства меньшее влияние, чем на измерение времени.

Результаты западной колонизации очевидны. Когда Британия стала доминировать на международной арене, координаты пространства стали отсчитываться от Гринвичского меридиана в Лондоне; Вест-Индия и во многом Ост-Индия были рождены усилиями Европы — и, конечно, под влиянием европейской ориентации в мире, европейского колониализма и европейской экспансии по всему земному шару. Крайний запад и восток Евразии расположены для оценки своего положения в пространстве наилучшим образом. Как указывает Фернандес-Арместо¹⁰, в первой половине минувшего тысячелетия страны ислама занимали как бы наиболее центральное положение в мире, и их расположение наилучшим образом подходило для того, чтобы предложить продуманный взгляд на всемирную географию — такой, например, какой предлагала карта мира аль-Истахри X века, с Персией посередине. Зона исламского влияния располагалась между Китаем и христианским миром, что было удобно как для контактов, так и для экспансии. Фернандес-Арместо указывает также на искажения, возникшие в связи с принятием для карт мира меркаторской проекции: южные страны, например Индия, кажутся нам маленькими по сравнению с северными — такими, как Швеция, — размер которых эта проекция значительно преувеличивает.

¹⁰ См.: *Fernandes-Armesto* (1995). P. 110.

Герард Меркатор (1512–1594) был одним из фламандских картографов, воспользовавшихся появлением во Флоренции греческой копии «Географии» Птолемея, попавшей туда из Константинополя, а написанной в Александрии еще во II веке н.э. Трактат Птолемея был переведен на латынь и вышел в свет в итальянской Виченце, став образцом для современной географии и предоставив сетку пространственных координат, которую можно было наложить на весь земной шар. При этом линии широты нумеровались, начиная от экватора, а долготы — от островов Фортуны. Эта работа появилась во времена первых кругосветных плаваний и изобретения печатного станка — и оба эти фактора были чрезвычайно важными для картографии. «Искажения пространства», которых я коснулся, были вызваны тем, что изображение земного шара необходимо было сделать плоским для отображения на печатной странице, и такая проекция была попыткой примирить сферу с плоской поверхностью¹¹. Однако данное искажение приняло типично европейский уклон, продолжающий доминировать в картографии.

Широта определялась по отношению к экватору. Однако с долготой возникли проблемы, поскольку для ее определения не существовало отправной точки. А потребность в ней была насущной, учитывая попытки исчисления времени для навигации, которые становились все более актуальными по мере того, как морские путешествия простирались все дальше. Изыскания, проводившиеся в Королевской обсерватории в Гринвиче неподалеку от Лондона, которым способствовала работа часового мастера Джона Харрисона (1693–1776), создавшего часы, оптимально подходившие для кораблей в море, привели к тому, что в конце концов в 1884 году полностью произвольно взятый Гринвичский меридиан был выбран как основа для отсчета долготы, а также для исчисления времени (среднее время по Гринвичу) по всему миру.

Картография и навигация касались не только пространства Земли, но и неба. И конечно же, каждая культура обладала своим собственным видением неба. Но карта звездного неба была создана располагавшими письменностью вавилонянами, дело которых продолжили греки и римляне. Это знание исчезло в Европе в «темные века», однако продолжало развиваться в арабском мире, а также в Персии, Индии и Китае. Арабский мир в особенности, благодаря использованию сложных вычислений и результатов множества новых наблюдений, создал замечательные звездные таблицы и точные астрономи-

¹¹ См.: *Crane* (2003).

ческие инструменты — такие, как астрология Мухаммада Хана бен Хасана. Это и стало основой для последующих европейских достижений.

За исключением нескольких последних столетий, Европа не занимала центрального положения в известном на тот момент мире, хотя со времен классической Античности иногда выходила на первый план. Только с эпохи Возрождения, когда развитие торговли породило первые средиземноморские, а позже и атлантические державы, Европа начала доминировать в мире, сначала благодаря торговой экспансии, а затем посредством завоеваний и колонизации. В результате европейские понятия о пространстве и времени, мощным импульсом к развитию которых стала эра Великих географических открытий, как и понятия о времени, сформировавшиеся в контексте христианства, распространились на весь остальной мир. Но конкретная проблема, исследуемая в данной книге, охватывает более широкую перспективу. В этой книге рассматривается, каким образом чисто европейская периодизация с античных времен отделилась от Азии с ее революционным бронзовым веком и установила единственное направление развития — через феодализм к Возрождению, Реформации, абсолютизму и затем к капитализму, индустриализации и модернизации.

Периодизация

«Похищение истории» не только коснулось времени и пространства, но и обернулось монополизацией исторической периодизации. Большинство обществ, вероятно, предпринимали попытки структурировать свое прошлое, выделяя в нем различные длительные периоды, привязанные даже не столько к сотворению мира, сколько к появлению человечества. Говорят, эскимосы верят, что мир всегда существовал в том виде, в котором он пребывает сейчас¹², но в большинстве обществ современные люди не считаются начальными обитателями планеты. Распространение человека по миру имело некое начало, которое аборигены Австралии называют «Временами Сновидений»; народ лодага в Северной Гане считал, что первые мужчины и женщины населяли «старую страну» (*тенг-куруидем*). Судя по всему, только с появлением «видимого языка», то есть письменности, мы обрели более проработанную периодиза-

¹² См.: Boas (1904). P. 2.

цию и веру в существовавший некогда золотой век или рай, когда мир был намного лучше, но люди были вынуждены покинуть его из-за своего (греховного) поведения, — идея, противоположная идее прогресса и модернизации. С другой стороны, возникла периодизация, основанная на смене материалов, из которых изготавливали основные орудия труда, — сначала из камня, затем из меди, бронзы, железа, — такова прогрессивная периодизация «веков» человечества, принятая европейскими антропологами XIX века в качестве научной модели.

В недалеком прошлом Европа решительно «присвоила» себе право структурировать время, распространив свои представления о нем на весь остальной мир. Конечно, если унификация всемирной истории необходима, то она должна проходить в единых хронологических рамках. Но сложилось так, что это мировое времяисчисление в основе своей стало христианским, как и основные праздники — Рождество и Пасха, отмечаемые на уровне таких организаций, как ООН. Его приняли и устные культуры «третьего мира», не связанные с времяисчислением, принятым одной из крупнейших мировых религий. В определенном смысле монополизация необходима при создании любой универсальной науки — например, астрономии. Глобализация влечет за собой универсальность в измерениях — никто не может работать, используя сугубо локальные концепции. Но, хотя формирование астрономии начиналось вне пределов Европы, изменения в информационном обществе, и особенно в информационных технологиях, реализуемых в виде печатных книг (которые, кстати, как и бумага, пришли к нам из Азии), свидетельствуют, что развитая структура того, что мы называем современной наукой, является западной. То есть и в данном случае, как и во многих других, глобализация означает вестернизацию. В контексте периодизации универсализация является проблемой прежде всего для общественных наук. Концепции истории и общественных наук, как бы ни боролись ученые за веберовскую «объективность», теснее связаны с тем миром, в котором они возникли. Например, понятия «Античность» и «феодализм» совершенно определенно были сформулированы в чисто европейском контексте и подразумевают специфические особенности исторического развития именно нашего континента. Проблемы возникают при попытках применить эти концепции к другому месту или времени, когда на первый план выступают присущие им совершенно реальные ограничения.

Итак, одна из главных проблем, связанных с накоплением знаний, заключается в том, что сами общепринятые категории в основном

являются европейскими, и многие из них впервые возникли в период взлета интеллектуальной активности, последовавшего за приобщением древних греков к грамотности. Именно тогда сложилось проблемное поле философии и возникли другие научные дисциплины — такие, как зоология, — которые впоследствии были восприняты всей Европой. Так что история философии, будучи встроенной в европейскую систему образования, является историей западной философии начиная с Древней Греции. В последнее столетие западные ученые уделяли некоторое (незначительное) внимание развитию аналогичных тем в китайской, индийской или арабской философской мысли (разумеется, зафиксированной письменно)¹³. Однако общества, не имевшие письменности, пользовались меньшим вниманием, хотя мы видим, что в ритуальных декламациях некоторых народов (например, в традиции общины Багре народа лодага в Северной Гане) в значительной степени затрагиваются философские аспекты¹⁴. Таким образом, философия по определению является европейским предметом. В ней — как и в теологии, и в литературе — элементы сопоставления с опытом других культур появились совсем недавно и представляют собой не более чем вежливый кивок в знак признания значимости глобальных интересов. Сравнительный подход к истории в реальности во многом остается лишь мечтой.

Как мы уже отмечали, Дж. Нидэм заявил, что западное исчисление времени линейно, а восточное — циклично¹⁵. В этом замечании есть доля правды применительно к простым, дописьменным сообществам, почти не имевшим представления о последовательном развитии культур. Представители народа лодага периодически, особенно после ливневых дождей, находили на полях неолитические топоры, датируемые периодом, когда металлические мотыги были еще неизвестны. Лодага называли такие предметы «топорами бога» или считали, что они посланы богом дождя. Нельзя сказать, что этот народ не знал о смене культур. Лодага знали о народе джанни, населявшем данный регион до них, и показывали остатки их жилищ. Но у лодага действительно не было представления о долгосрочных культурных изменениях — от каменных

¹³ Например, Этьен Жильсон (E. Gilson) включил в свою работу «Философия в Средние века» [*«La Philosophie au Moyen Age»* (1997)] небольшой раздел, посвященный арабской и еврейской философии, поскольку они напрямую касались Европы (то есть Андалусии). Видимо, остальной мир не имел то ли философии, то ли Средневековья.

¹⁴ См.: *Goody* (1972b); *Goody and Ganda* (1980; 2003).

¹⁵ См.: *Needham* (1965).

топоров до железных мотыг. Согласно мифологии культуры общины Багре, у лодага железо возникло вместе с «первыми людьми», как и большинство основных элементов культуры¹⁶. Но жизнь не стоит на одном месте; колониализм и приход европейцев привели лодага к осознанию изменений культуры, и они стали часто использовать слово «прогресс», обычно ассоциируя его с образованием. Старое категорически отрицалось во имя нового. Идея линейного развития культуры стала доминирующей.

Однако определенная линейность присутствовала и раньше. Человеческая жизнь протекает линейно, и, хотя все выглядит так, будто месяцы и годы лишь циклически сменяют друг друга, такое восприятие во многом объясняется отсутствием письменности и соответствующей схемы исчисления проходящего времени. Но, как и в западных концепциях, цикличность смены времен года так или иначе встраивается в более общую схему. Культурные изменения более очевидны — каждое следующее поколение автомобилей немного отличается и «улучшается» по сравнению с предыдущим. У лодага рукоятки мотыг имеют одну и ту же форму из поколения в поколение, изменения происходят медленнее, и в целом подобное общество рассматривается нами как статичное, «традиционное».

Линейность является компонентом «передовой» идеи «прогресса». Некоторые считают эту идею специфической принадлежностью Запада, и в некоторой степени так оно и есть, если соотносить ее со скоростью перемен, происходивших главным образом в Европе начиная с периода Возрождения; или же с тем, что Дж. Нидэм и другие называют «современной наукой». Я бы предположил, что данная идея — «выстраивания линии» — характеризует все письменные культуры, привязанные к фиксированному календарю. Но это ни в коей мере не подразумевает однонаправленного прогресса. Большинство религий, имеющих письменную традицию, содержат в себе представление о золотом веке, рае или некоем саде, который человечество впоследствии было вынуждено покинуть. Кроме того, такое видение подразумевает как ретроспективный, так и в некоторых случаях перспективный взгляд на будущее в ожидании нового начала. Действительно, даже в устных культурах можно найти аналогичную идею «небес»¹⁷. В прошлом существовало четкое разграничение между небесным и земным, и только после эпохи Просвещения, когда светские воззрения возобладали, мы пришли к миру, управляемому «идеями

¹⁶ См.: *Goody* (1972b); *Goody and Ganda* (1980; 2003).

¹⁷ *Goody* (1972).

прогресса». Причем прогресс этот направлен не столько к конкретной цели, сколько от прежнего состояния мира к чему-то другому, что и представить себе нельзя, — как в случае с созданием самолета, воплотившего в себе результат научного познания и человеческой изобретательности.

Одним из базовых допущений западной историографии служит предположение, что течение времени сопровождается эквивалентным ростом ценности и желаемого развития организации человеческого общества — то есть прогрессом. История является последовательной сменой стадий развития, каждая из них вытекает из предыдущей и ведет к следующей, пока, как полагают марксисты, не будет достигнута кульминационная точка — коммунизм. Но такой миллениаристский оптимизм не вполне характерен для европоцентристского прочтения развития истории, поскольку для большинства историков момент написания своих сочинений воспринимается как находящийся в непосредственной близости от конечной цели развития человечества или полностью с ней совпадающий.

Итак, то, что мы называем прогрессом, является отражением специфических ценностей нашей собственной культуры, сформировавшихся сравнительно недавно. Мы говорим о достижениях науки, об экономическом росте, о развитии цивилизации и массовом признании прав человека (например, демократии). Однако существуют и другие стандарты определения изменений — причем в некотором смысле они являются контрдоводами даже с точки зрения нашей собственной культуры. Если в качестве критерия мы возьмем состояние экологии, то получится, что наше общество находится на грани катастрофы. Если мы будем говорить о духовном прогрессе (разнообразии форм прогресса в разных сообществах, даже если эти формы кажутся спорными для нас), то получится, что мы находимся в регрессивной фазе. На мировом уровне существует не так много свидетельств прогресса, связанного с духовными ценностями, хотя на Западе сейчас преобладают противоположные представления.

В этой книге меня особенно интересуют широкие концепции развития истории человечества и те способы, с помощью которых Запад стремился навязать свое видение хода событий в глобальном масштабе, а также взаимное непонимание, к которому это привело. Вся мировая история воспринимается как последовательность стадий, основывающихся на событиях, происходивших только в Западной Европе. Около 700 года до н.э. поэт Гесиод представил прошлое человечества как начинающееся с золотого века, прошедшее затем последовательно стадии серебряного и бронзового веков, а также

«эру героев» — вплоть до текущего железного века. Эта последовательность не многим отличается от той, которая была принята археологами XVIII века, взявшими за основу периодизации материалы, из которых изготавливали орудия труда¹⁸, — от каменного века к бронзовому и железному. Но начиная с Возрождения историки и ученые стали чаще использовать другой подход. Периодизация, начинающаяся с архаического общества и далее продолжающаяся Античностью, феодализмом и капитализмом, рассматривалась как действительная лишь для Европы. Остальная Евразия (то есть Азия) следовала иным путем; характерные для нее деспотические формы правления обусловили «азиатскую исключительность». Или, если использовать современную терминологию, азиатские общества не смогли осуществить модернизацию. Как вопрошал Бернард Льюис в отношении исламского мира: «Что же пошло не так?» — тем самым предполагая, что «так» все шло только на Западе. Но можно ли так ставить вопрос, и если да, то для какого периода времени?

Что должно было произойти, чтобы представление об общем социокультурном развитии Европы и Азии сменили идеи «азиатской исключительности», «азиатского деспотизма» и концепции разных путей развития восточных и западных цивилизаций? Что произошло такого, что мы стали различать Античность и культуры бронзового века Восточного Средиземноморья? Как оказалось, что всемирная история стала рассматриваться в категориях чисто европейской последовательности событий?

¹⁸ См.: *Daniel* (1943).

Глава 2. Изобретение Античности

Античность, или классическая Античность, для некоторых представляет собой начало нового (в основном европейского) мира. Этот период прекрасно вписывается в цепь исторического прогресса. Но, *во-первых*, для этой цели Античность необходимо было резко отграничить от ее исторических предшественников эпохи бронзового века, к числу которых относится множество обществ, преимущественно азиатских. *Во-вторых*, Греция и Рим рассматриваются в качестве основы современной политической системы — по крайней мере, в том, что касается демократии. *В-третьих*, значимость некоторых характеристик Античности, особенно экономических, таких, как торговля и рынок, в последующем ставших отличительными чертами капитализма, преуменьшается для сохранения более четкого различия между фазами развития, последовательность которых восходит к настоящему времени.

Моя аргументация в данной главе имеет триединую направленность. *Во-первых*, я постараюсь доказать, что изолированное изучение античной экономики (или античного общества) является ошибочным, так как она являлась частью значительно более широкой сети экономических и политических связей Средиземноморья. *Во-вторых*, Античность никогда не была настолько типологически чистой и особенной, как этого хотелось бы многим европейским историкам; в исторических исследованиях приходилось «урезать» ее до «подходящего размера», соответствующего различным телеологическим, европоцентристским рамочным схемам. *В-третьих*, я рассмотрю дебаты «примитивистов» и «модернистов», затрагивающие этот вопрос с экономической точки

зрения, и попытаюсь выявить ограниченность подходов и тех и других.

Античность для некоторых является началом политической системы полисов, родоначальницей демократии как таковой — равно как и свободы, и власти закона. Экономике же Античности отличало то, что она базировалась на рабстве и перераспределении, а не на рынке и торговле. Что касается средств коммуникации, то древние греки, с их языком индоевропейского происхождения, смогли совершить прорыв, создав алфавит, которым мы пользуемся по сей день. То же можно сказать и об античном искусстве, включая архитектуру. Наконец, я рассматриваю проблему существования значительных различий между европейскими центрами Античности и аналогичными центрами Восточного Средиземноморья, включая окружающую их Азию и Африку.

«Похищение истории» Западной Европой началось с понятий «архаическое общество» и «Античность» и продолжилось по более или менее прямой линии через феодализм и Возрождение к капитализму. Такая точка отсчета понятна, поскольку для более поздней Европы Древняя Греция и Рим были началом «истории», временем появления письменности на основе алфавита (все, что было до ее изобретения, воспринималось как «доисторическое», то есть как сфера изучения скорее археологии, нежели истории)¹. Конечно, какие-то письменные источники существовали в Европе и до Античности — в частности, в минойско-микенской цивилизации как на Крите, так и на континенте. Но эта письменность была расшифрована лишь в последние 60 лет, а сами найденные записи представляют собой в основном хозяйственные документы, но не «исторические свидетельства» и не литературу в обычном смысле. И то и другое набрало силу в Европе лишь после VIII века до н.э., когда европейцы восприняли и приспособили для своих нужд финикийское письмо, ставшее основой множества других алфавитов² (в финикийском алфавите, не содержащем гласных, уже присутствовали буквы В, С и D). Одним из первых древнегреческих письменных памятников, созданных с использованием нового алфавита, стало описание войны с Персией, положившее начало «разделению» Европы и Азии с применением оценочных характеристик, что повлекло за собой значительные последствия для интеллектуаль-

¹ См.: *Goody and Watt* (1963); *Finley* (1970). P. 6.

² Я привожу стандартные датировки. Некоторые исследователи считают, что заимствование финикийского алфавита произошло значительно раньше.

ной и политической истории, актуальные и по сей день³. Для греков персы были варварами, склонными к тирании, а не к демократии. Конечно, это было чисто этноцентристское заключение, вызванное греко-персидскими войнами. Суждение о предполагаемом упадке Персидской империи, якобы начавшемся в правление Ксеркса (485–465 гг. до н.э.), основывается на том, как ситуация выглядела из Афин; однако он не подтверждается ни эламскими документами из Персеполя, ни аккадскими — из Вавилона, ни арамейскими — из Египта, ни археологическими свидетельствами⁴. На деле персы были столь же «цивилизованными», сколь и греки, особенно если речь идет об элите. И именно через персов главным образом шла передача знаний письменных обществ Ближнего Востока к грекам⁵.

Лингвистически Европа стала домом для арийцев, пришедших из Азии и говоривших на индоевропейских языках. С другой стороны, Западная Азия была домом для народов, говоривших на языках семитской группы, являющейся ветвью афро-азиатской языковой семьи и включающей языки, на которых говорили евреи, финикийцы, арабы, копты, берберы и многие другие народы Северной Африки и Азии. Именно разделение на арийцев и всех других, вошедшее позже в нацистскую доктрину, подпитывало в фольклорной истории Европы недооценку вклада Востока в развитие цивилизации.

Мы знаем, что Античность означает в европейском контексте, хотя среди ученых идут споры о датах начала и конца этой эпохи⁶. Но почему данная концепция не использовалась при изучении других цивилизаций Ближнего Востока, Индии или Китая? Были ли веские причины для исключения из нее всего остального мира и, таким образом, для конструирования основы идеи «европейской исключительности»? Ученые, изучавшие дописьменные эпохи, подчеркивали по большей части схожее поступательное развитие древнейших обществ Европы и всего мира; это развитие могло по-разному распределяться во времени, но тем не менее в основном проходило одни и те же стадии. Это развитие продолжалось на протяжении всего бронзового века. Считается, что затем произошло

³ См.: *Said* (1995). P. 56–57.

⁴ См.: *Briant* (2005). P. 14.

⁵ См.: *Villing*, Percia and Greece // *Curtis and Tatlis* (2005). P. 9.

⁶ См. недавние ценные комментарии по поводу конца эпохи Античности в кн.: *Fowden* (2002).

расхождение. Архаические общества Греции пережили бронзовый век, затем они вступили в железный век и даже перешли из доисторической в историческую эру. Считается, что после бронзового века Европа вступила в Античность, тогда как в Азии ничего подобного не было. Основная проблема историографии состоит в том, что, в то время как множество западных историков, включая крупнейших ученых (таких, как Гиббон), изучали период упадка и падения греко-римского античного мира и зарождения феодализма, мало кто (если вообще кто-либо) глубоко рассматривал теоретические аспекты зарождения Античности или античного общества вообще как особого периода. В частности, антрополог Саутхолл пишет об азиатской модели, что «первой радикальной трансформацией стал переход к античному способу производства, развившемуся в Средиземноморье, без замены азиатского способа в большей части Азии и Новом Свете»⁷. Но почему не произошло замены? Не приводится никаких доводов, кроме того, что античная модель «совершила головокружительный скачок вперед в таких вопросах, как права человека» (правда, под «человеком» подразумевался мужчина, но не женщина). Этот переход произошел в Восточном Средиземноморье частично в результате «общественного коллапса, порожденного миграцией», то есть ситуации, складывавшейся достаточно часто.

Многие исследователи рассматривают последующую историю Европы как производное некоторого неясного синтеза римского общества и родоплеменного строя, как марксисты называли общественную организацию германских племен. В связи с этим между «романистами» и «германистами» на протяжении долгого времени шли споры по поводу вклада каждой из этих составляющих. Но и в отношении более ранних периодов мы наблюдаем ту же картину — Античность часто рассматривается как результат смешения государственных образований бронзового века и племен арийского происхождения, участвовавших в дорийских нашествиях. Таким образом, считалось, что Античность взяла черты обеих моделей — с одной стороны, централизованных и «цивилизованных» городских культур, а с другой — преимущественно сельских, пастушеских племен.

С точки зрения экономики и социальной организации в целом концепция племени мало что проясняет. Термин «племя» может указывать на некоторые конкретные признаки социальной организации, прежде всего на мобильность и отсутствие бюрократической государ-

⁷ Southhall (1998). P. 17, 20.

ственной системы, однако он мало что дает для уяснения отличительных черт хозяйствования. Одни находят племена, занимающиеся охотой и собирательством, другие — племена, практикующие мотыжное земледелие или занимающиеся пастушеством. В любом случае ясно, что цивилизация, воспринимаемая нами как классическая античная, не была построена напрямую на основе племенной экономики любого из названных типов. Скорее она создавалась на основе таких обществ, как микенское и этрускское, — пользовавшихся достижениями как сельского, так и городского уклада, обозначавшего наступление бронзового века, причем не только в Европе, но главным образом на Ближнем Востоке, на территории так называемого «плодородного полумесяца». Нечто подобное происходило также в некоторых частях Индии и Китая. В бронзовом веке, около 3000 года до н.э., в Евразии наблюдался расцвет нескольких новых «цивилизаций», которые с технической точки зрения являлись городскими культурами, основанными на развитом сельском хозяйстве с применением плуга, использованием колеса и иногда — ирригации. Эти культуры характеризовались развитыми городскими поселениями, наличием специализированных ремесел, а также форм письменности, положивших начало революции в способах коммуникации в той же степени, как и в способах производства. Эти весьма стратифицированные общества породили различные иерархически дифференцированные культурные формы, а также разнообразные ремесла — примерами могут служить культура долины Красной реки в Китае, хараппская культура Северной Индии, различные культуры Месопотамии и Египта, а позже и других частей «плодородного полумесяца» на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. В этом обширном регионе отмечалось параллельное развитие культур и коммуникации между ними. Действительно, «городская революция» влияла на развитие не только основных «цивилизированных» культур, но и племен, живших на периферии этих культур⁸ и считающихся в какой-то степени родоначальниками древнегреческого общества.

Чайлд подчеркивает роль торговли в античном мире, — ее распространение способствовало широкому взаимопроникновению культур и идей, а также смешению населения разных регионов. Работоторговля в этот период была активной, и рабы были заняты отнюдь не только на тяжелых работах, «среди них были высокообразован-

⁸ См.: *Childe* (1964). Р. 159. «Даже необходимость сопротивляться империализму порождает “экономику бронзового века”, зависящую от торговли — по меньшей мере, торговли оружием...»

ные врачи и ученые, а также ремесленники и проститутки... Восточные и средиземноморские цивилизации, влияющие друг на друга, с помощью торговых и дипломатических каналов были связаны с другими цивилизациями Востока и “варварскими” культурами к северу и югу»⁹. Подобный обмен происходил как внутри одного общества, так и между различными культурами.

Племена, населявшие периферию, в техническом смысле оставшиеся «варварскими» и не принадлежавшие к основным «цивилизациям»¹⁰, испытывали их значительное влияние благодаря развитию городов. Эти племена обменивались с городами товарами, были вовлечены в их транспортную систему (перевозку товаров), видя в ней большие возможности для собственной мобильности; для некоторых племен набеги на города или их торговые экспедиции стали образом жизни. Такую ситуацию описывал в XIV веке Ибн Хальдун, рассказывая о конфликте в Северной Африке между кочевниками-бедуинами и оседлыми арабами (или об аналогичных случаях с берберами), в котором племена проявляли большую «солидарность» (*асабийя*) в сравнении с народами, находящимися на более высокой ступени технологического развития¹¹. Эта тема была поднята Эмилем Дюркгеймом в работе «*La Division du Travail*» («О разделении общественного труда») в контексте «солидарности»¹². Большинство великих цивилизаций имели сходные отношения с соседними племенами и страдали от подобных набегов — Китай от маньчжуров, Индия от тимуридов Центральной Азии, Ближний Восток — от кочевников окрестных пустынь. В Европе аналогичным примером могут служить дорийцы. В связи с этим нет ничего уникального в том, что германские и другие племена нападали на очаги античной цивилизации, за исключением того, что они стали одной из основных причин распада Римской империи и

⁹ Ibid. P. 248–250.

¹⁰ Понятие «варвары» как противоположное «цивилизированным» народам было одним из центральных в картине мира древних греков (и других народов) и применялось не только к народам, живущим родоплеменным укладом, что преуменьшало роль других народов. Однако не все греческие авторы делили мир на «эллинов» и «варваров». Некоторые считали, что все народы одинаковы, однако «другие» получали преимущественно негативные характеристики... как следствие греко-персидских войн [von Staden (1992). P. 580]. Были также и авторы, отдававшие должное вкладу других древних цивилизаций; аналогично поступают и некоторые современные ученые (этот вопрос подробно рассмотрен фон Штаденом [1992]). Я комментирую наиболее распространенную точку зрения.

¹¹ См.: *Ibn Khaldun* (1967 [1377]).

¹² См.: *Durkheim* (1893).

временного забвения всех ее экстраординарных достижений на территории Европы. Однако эти племена были не просто «хищниками». Они многое значили сами по себе, в том числе для утверждения и развития таких ценностей, как демократия и свобода, которые почти всегда ассоциируются с греческой цивилизацией.

То, что мы считаем Античностью, уходит корнями в самые ранние периоды Греции и Рима; такой концепции придерживаются большинство историков классического периода¹³. Общепризнанным является и факт того, что Античность возникла в результате упадка более ранней цивилизации. В 1200 году до н.э. «Греция больше всего напоминала любое другое ближневосточное общество»¹⁴. Как и позднее, когда в Западной Европе после падения Римской империи наблюдался драматический перерыв в поступательном цивилизационном развитии, так и около 1100 года до н.э. аналогичный ход событий, похоже, имел место после падения минойско-микенской цивилизации. Возможно, крах этой цивилизации тоже стал результатом внешнего вторжения, но в любом случае он положил конец существованию дворцовой культуры. Соответственно, потом греческий мир характеризовался уже «суженными горизонтами: ни крупных зданий, ни многочисленных гробниц, ни широких коммуникаций, контакты с внешним миром ограничены»¹⁵.

Хотя в данном регионе сохранялось сходство с более ранними культурами (особенно в языке), для европейской истории важен также вопрос о том, что отличало античное общество от современных ему или даже от более древних обществ, пришедших на смену бронзовому веку, — как на Ближнем Востоке, так и где-либо еще. Как мы видели, с первыми точно произошли изменения. Дворцовая культура исчезла (на Западе). Утверждение железного века в этом регионе, как и повсюду, характеризовалось значительно более широким использованием металлов. Но проблема заключается не в отсутствии важных перемен с течением времени. Она состоит в том, чтобы выделить четкие различия между античным обществом и обществом архаической Греции, определить, чем первое отличается от всех других, при том, что эти различия могут быть более полезными с точки зрения развития и эволюции, особенно если первоначально они имели лишь локальное значение. Архаическое греческое общество, как и большинство современных ему, в первую оче-

¹³ См.: *Osborne* (1996).

¹⁴ *Ibid.* P. 3.

¹⁵ *Ibid.* P. 32.

редь было обществом бронзового века, тогда как античная Греция принадлежала к железному веку. Но эти периоды следовали один за другим в одних и тех же географических и экономических условиях, сменяя друг друга. Например, Артур Эванс, археолог, открывший Кносский дворец на Крите, полагал, что минойцы были «свободными и независимыми», являясь первой европейской цивилизацией¹⁶; другими словами, они создали прецедент для античных греков. Но «свобода» и «независимость» — термины относительные, минойцы зависели от других гораздо больше, чем признавал Эванс. В действительности они поддерживали тесные торговые связи с Ближним Востоком и находились вдали от запасов олова и меди (получаемых с Кипра), как и от других важных товаров. Между тем олово и медь были необходимы для изготовления бронзы. Существовали и культурные связи; свидетельством отношений минойцев с Египтом является роспись гробницы в Долине Царей (датируемая примерно 1500 годом до н.э.), которая демонстрирует взаимное влияние европейских, азиатских и африканских культур.

Способы коммуникации: алфавит

Одним из результатов позиции, акцентирующей внимание на вторжении в Грецию племен арийцев, говоривших на индоевропейских языках, стало пренебрежение к семитскому вкладу и чрезмерное подчеркивание вклада античных греков в развитие тех сфер, где действительно произошли чрезвычайно значимые изменения. Например, в вопросах коммуникации — греки добавили к семитской схеме алфавита гласные звуки и таким образом, в глазах некоторых ученых, изобрели алфавит. Новый алфавит стал важнейшим инструментом коммуникации и самовыражения. Но фактически большая часть работы была проделана при создании алфавита на основе согласных, которого вполне хватило древним евреям, чтобы написать Ветхий Завет, ставший основой для иудаизма, христианства и ислама. Это действительно стало колоссальным историческим, культурным и религиозным достижением. То же самое можно сказать об арабской и индийской литературе, написанных с помощью алфавитов, созданных на основе арамейской версии семитского письма, то есть также не содержащих гласных букв¹⁷. Однако эти

¹⁶ См.: *Evans* (1921–1935).

¹⁷ См.: *Goody* (1987).

достижения неизменно недооценивались в сравнении с достижениями древнегреческой цивилизации, рассматриваемой с точки зрения позднейшего европейского доминирования в мире — то есть с телеологических позиций. В этом и заключается проблема эллиоцентризма¹⁸.

Алфавит, содержащий только согласные звуки, существовал в Азии на протяжении долгого времени, примерно с 1500 года до н.э., и способствовал значительному распространению грамотности среди народов, говоривших на семитских языках, — финикийцев и евреев, тех, кто говорил на арамейском, а позже и на арабском. Действительно, как Ветхий Завет, так и Новый Завет были написаны с помощью именно такого алфавита. Его вклад в развитие мировой культуры часто преуменьшался учеными, изучавшими классический период и концентрировавшими свое внимание на индоевропейских языках¹⁹. Более того, используя письменность другого типа — например, логографические варианты письменности Дальнего Востока, — человечество поистине совершило чудеса в области накопления и распространения знаний. Люди, населявшие Месопотамию и Египет, также создали значительные корпуса литературных произведений, используя сходные типы письменности, но европейцами, отчасти по лингвистическим причинам, эти произведения воспринимались скорее как «восточные», а не «классические». В самом деле, множество достижений, связанных с алфавитом и считающихся уникальными, оказались возможны благодаря и другим формам письменности. Объявление алфавита (например, Лениным) средством осуществления «революции Востока» аналогично продвижению идеи национального государства в противоположность многонациональным империям, поскольку первые, как считалось, предоставляли более благоприятные условия для развития капитализма и, следовательно, социализма. Это очень европоцентристская позиция. Очевидно, что китайское письмо, с помощью которого возможны коммуникации «над национальными языками», может использоваться для распространения конфуцианства в любой культуре, а значит, этот вид письменности является признаком многонациональной империи, а не национального государства. Вот почему во время правления Мао Цзэдуна пекинский комитет Коммунистической партии Китая содействовал сокращению количества используемых иерог-

¹⁸ Всеобъемлющее и тщательное рассмотрение этой проблемы см. в кн.: *von Staden* (1992).

¹⁹ См.: *Goody* (1987). P. 60ff.

лифов в культурно-политических целях, для того чтобы иероглифы было легче запоминать²⁰.

Одной из примет перехода от архаического периода к Античности стало сокращение грамотности населения и прекращение использования так называемого линейного письма Б (*Linear B*). Идея о том, что между поздним бронзовым веком и началом железного века Греция переживала период неграмотности, была оспорена Берналем²¹, считавшим, что западносемитский алфавит распространился на побережье и островах Эгейского моря еще до 1400 года до н.э. и, таким образом, частично пересекался во времени с линейным письмом Б. Он предположил, что документы того времени должны были сохраниться, однако они все еще не обнаружены; папирус чрезвычайно плохо сохраняется в европейских климатических условиях. Однако Берналь признает, что после упадка микенских дворцовых культур, между XII и VIII столетиями до н.э., в регионе наблюдался «значительный культурный регресс».

Постепенно на смену ему пришло возрождение. Однако, когда в IX веке до н.э. в Грецию вернулась грамотность, речь не шла о возрождении микенского письма — на этот раз греками был адаптирован финикийский алфавит, что помогло передать (а с моей точки зрения — и создать) гомеровский эпос. В течение временного «периода неграмотности» поддерживались контакты с Ионией, главным образом с Финикией и в особенности с Кипром, где изготавливали железо, что имело большое значение в наступившем железном веке, ознаменовавшемся рассредоточением греков и финикийцев и распространением их алфавитов.

Коммуникации имеют не только огромное социальное значение, но часто предоставляют нам в определенном смысле модель развития: переход от чисто устной культуры к письменности; от логографического письма — к слововому и алфавитному; к появлению бумаги, книгопечатания, электронных средств массовой информации. В этой модели каждая новая форма превосходит предыдущую, но не замещает ее в полной мере, как обычно происходит при смене средств производства. Такие изменения носят иной характер. Ученые подчеркивают, что переход от доисторических, устных культур к историческим, то есть имеющим письменность, чрезвычайно важен. Это действительно так. Один способ коммуникации вытекает из другого; новый не отменяет полностью старо-

²⁰ См.: *Lenin* (1962).

²¹ См.: *Bernal* (1991). P. 4.

го, но сочетается с ним в различных формах²². Те же процессы происходили и в результате изобретения книгопечатания, которое тоже рассматривают как своего рода революцию²³. Оно и вправду стало таковой — как и появление письменности. Но устная речь и рукописное письмо продолжали сохранять для человечества огромное значение. Ментальности, возможно, изменяются, но технологии изменяются точно, и в процессе этих перемен прослеживается много различных преемственностей — как в экономической, так и в политической истории.

Переход к Античности

Обратимся к основной проблеме, выделенной одним из ведущих исследователей греческих достижений, Финли, относительно возникновения Античности. Как мы уже видели, он придерживался теории единственно возможной последовательности событий на территории Европы: классическая античная цивилизация возникла в результате перехода от «общеевропейского» бронзового века к архаической греческой культуре, а от нее — к классической античной. Архаическая Греция ушла в прошлое вместе с дворцовыми комплексами, распространившимися в древности на Ближнем Востоке, а на ее месте возникли две совершенно разные политические системы — афинская и спартанская, породившие демократию и к тому же давшие возможности для развития индивидуализма²⁴. Идея о том, что культуры Месопотамии представляли собой конгломерат высокоцентрализованных режимов, концентрировавшихся вокруг дворцово-храмовых комплексов, сейчас отклонена. Считается, что она возникла под влиянием неверной интерпретации существующих письменных источников²⁵. Археологи, «возможно, переоценивали степень централизации, а также реального могущества» этих государств²⁶. На самом деле неоднородность в этом регионе была выражена гораздо сильнее, чем предполагала существующая модель; там присутствовали различные сочетания центрбежных и центростре-

²² См.: *Goody* (1987).

²³ См.: *Eisenstein* (1979).

²⁴ См.: *Finley* (1970). Р. 140.

²⁵ По поводу недавнего пересмотра взглядов на цивилизации Месопотамии как на «храмово-дворцовые» см.: *Stein* (1994). Р. 13.

²⁶ *Ibidem*.

мительных тенденций. Например, «внутри самих этих городов государство могло контролировать производство предметов роскоши, но оно не контролировало и не могло монополизировать производство товаров для повседневных нужд — таких, как керамика»²⁷.

Архаическое общество дало миру череду «свободных изобретений». «Его политическая структура, состоявшая из представителей власти, советов и периодически созываемых народных собраний, сложилась стихийно»²⁸. Архаическая Греция многое позаимствовала у Ближнего Востока, но, что бы греки ни взяли,

«...они быстро усваивали новый опыт и перерабатывали его в нечто оригинальное... Они заимствовали финикийский алфавит, но мир не знает финикийского Гомера. Идея отдельно стоящих статуй, возможно, пришла из Египта... но не египтяне, а греки развили эту идею. В процессе этого они не только открыли изображение обнаженной натуры как форму искусства, но в некотором очень важном смысле они “изобрели искусство” как таковое... Уверенность в себе и в человеческих силах, позволявшая задаваться такими вопросами и питавшая их решение — как в политике, так и в философии и искусстве, — лежала в основе “греческого чуда”»²⁹.

Согласно Финли, греки внесли личность автора в поэзию, как и в социальную и политическую критику³⁰, создавая таким образом новый «индивидуализм» и полагая начало «зарождения первичных моральных и политических концепций». В Ионии «ставились проблемы и предлагались общие, рациональные, “безличные” ответы», оставлявшие миф в стороне во имя Логоса, или разума³¹, поощряя «рациональную аргументацию»³². Это были чрезвычайно высокие, но не необычные запросы, однако реализация многих из них настоятельно требовала дополнительной квалификации. Следы политических «изобретений» данного периода мы находим повсюду. Пусть Финикия и не дала миру Гомера, однако семиты подарили ему Библию. И как можно произвести сравнительную оценку «уверенности в себе и в человеческих силах» у разных народов?

²⁷ Ibid. P. 15.

²⁸ Finley (1970). P. 103–104.

²⁹ Ibid. P. 145–146.

³⁰ Ibid. P. 138–139.

³¹ Ibid. P. 141.

³² Ibid. P. 142.

Идея «изобретения искусства» греками (даже с оговоркой «в определенном смысле») кажется столь же европоцентристской, как и аналогичные претензии Ландеса, специалиста по экономической истории, писавшего об «изобретении изобретения» в позднейшей Европе. Аналогично и утверждения о введении античной Грецией личности автора в поэзию и социальную критику, о порождении индивидуализма, новых моральных и политических концепций, а также примата разума кажутся слишком преувеличенными и предназначенными для утверждения этноцентристских претензий на превосходство европейской традиции над всеми другими. Возможно, греческая скульптура действительно представляет собой особый случай. Она действительно в полной мере характеризует Античность, поскольку во всех других культурах и традициях не наблюдалось ничего подобного. Однако эти «другие традиции» характеризуются собственными великими достижениями — такими, как росписи египетских гробниц, где боги изображались не в реалистичной антропоморфной греческой манере, а более фантазмагорическим, «художественным» образом. Вспомним также о замечательных образцах азиатской скульптуры. Предшественниками Древней Греции были кикладская, микенская культуры, а также культура Ахеменидов, не говоря уже о хеттах и народах древнего Ближнего Востока. Совершенно очевидно, что античная культура содержит заимствования из традиций искусства, принятых в упомянутых культурах.

Говоря о наследии в сфере искусства, полученном Европой от Древней Греции, важно даже не то, что Античность наметила дальнейшие пути его развития, сколько то, что целая художественная традиция решительно отвергалась не только ранними христианами, но и всеми тремя основными ближневосточными религиями — до самого недавнего времени. Вопреки мнению Буркхардта о «духовном брачном союзе» Древней Греции и Германии, в действительности античное наследие, по крайней мере в области искусства, изымалось из европейской традиции практически на протяжении тысячелетия. Никакого прогресса в этих сферах точно не наблюдалось. Гуманистической традиции и Возрождению пришлось «заново изобрести» прошлое; во многих областях искусства ислам и, до XIX века, иудаизм практически не знали изображений человека, так же как это было в раннехристианской и, позже, в протестантской культуре. Изображения пришлось возвращать заново, по крайней мере в светском искусстве.

Попробуем рассмотреть проблему вклада Древней Греции более конкретно. Классическая Античность определенно имела преимуще-

ство перед другими цивилизациями не только в военном и технологическом отношении, но и в уровне коммуникаций, в том, что я называю «интеллектуальными технологиями», — применительно к развитию упрощенной письменности на основе алфавита. В исследовании под названием «Последствия грамотности»³³ Уотт и я предполагаем, что изобретение алфавита открыло путь к новым богатейшим возможностям для интеллектуальной деятельности, развитию которых препятствовали прежние формы письменности (которые, разумеется, были величайшим достижением бронзового века). Впоследствии мне пришлось модифицировать эту точку зрения, но я не совсем от нее отказался. Появление греческого алфавита хронологически связано с созданием небывалого количества письменных источников, охватывающих множество различных сфер, характеризующих античный мир и формирующих наше восприятие этого периода. Если в утверждениях Финли по поводу индивидуализма, новых поэтических стилей, «рациональной аргументации», большей уверенности в человеческих силах и критике мифов и есть рациональное зерно, оно может быть связано с повышением рефлексивности, сопутствующей распространению грамотности. Когда есть возможность видеть свои слова записанными, мысль углубляется, становится более пытливей и, возможно, более дисциплинированной. Мысли других также подвергаются гораздо более внимательному исследованию, если они представлены в «видимом облике». Дело было не только в алфавите, но и в том, что письменность вновь оказалась элементом культуры, которая на какое-то время отошла от грамотности и теперь стремилась нагнать упущенное. И она нагнала — не только восприняв новый алфавит и другие материалы для записи (больше никаких глиняных табличек!), но и распространив письменность на множество различных областей, касающихся как развития искусства, так и интеллектуальной деятельности, — то есть значительно расширив поле применения грамотности.

Существовали и другие области, благодаря которым цивилизация классической Античности может по праву гордиться значительными преимуществами, — особенно это касалось строительных технологий, позволивших создать колоссальные памятники, по сей день украшающие ландшафты Европы и Малой Азии. Великолепные города были построены в Греции, в других областях Европы, а позже и в Риме. Этот процесс продолжался и по завершении периода классической Античности. В эллинистических государствах «возникли крупнейшие греческие города... делая их с этого времени наиболее

³³ См.: *Goody and Watt (1963)*.

урбанизированными регионами античного мира... Распространение греческих городов на Восток сопровождалось подъемом международной торговли и развитием общественной собственности»³⁴.

Технологии и развитие городов являются такими сферами деятельности, где можно отследить конкретные достижения на протяжении длительного времени, причем таким способом, который сложнее применить к другим аспектам человеческой жизни. В иных сферах теоретическому осмыслению приходится иметь дело с цивилизационным процессом, значительно меньше поддающимся установлению³⁵. «Другие культуры» были такими же «цивилизованными» в очень широком смысле. Однако, если говорить о технологиях, греки не только строили города, даже руины которых производили колоссальное впечатление на тех, кто населял эти места позднее. Они, как и остальное население Ближнего Востока, воспользовались выгодами металлургии, подешевевшей с началом изготовления железа, что значительно облегчило строительство. Распространение выплавки железа около 1200 года до н.э. привело к тому, что металлические орудия труда стали намного дешевле, а также снизило зависимость мелких производителей от импорта, осуществляемого государством или «крупными владельцами». Железная руда была доступна практически повсеместно, что стало одним из аспектов развития демократических процессов не только в Греции.

Предполагаемая уникальность европейской античной эпохи рассматривалась Финли как закономерная предпосылка грядущего капитализма, а по мнению других исследователей — как столь же закономерная предпосылка феодализма. Согласно принятой концепции, и тот и другой строй должны были быть уникальными, поскольку уникальным являлось само развитие Европы. С точки зрения Финли, «опыт Европы со времен позднего Средневековья в сферах технологии, экономики и ценностных установок был уникальным для человеческой истории вплоть до недавнего начала его экспорта»³⁶. Этот телеологический подход разделяли и оправдывали многие историки. Например, один из исследователей писал недавно, честно признавая некоторые телеологические проблемы:

«Поскольку Древняя Греция и Древний Рим в прошлом имели особый статус в европейском восприятии, каждому достаточно легко

³⁴ Anderson (1974a). P. 47.

³⁵ См.: Elias (1994a).

³⁶ Finley (1973). P. 147.

представить себя в мире, где актуальны политические сочинения Аристотеля или проблемы демократии в Афинах. Вновь и вновь, воспринимая историю нашего собственного общества, чтобы понять его существующие формы, мы обнаруживаем себя осмысливающими древнегреческие мифы, а через них — историю Древней Греции»³⁷.

Однако специфичность статуса Античности в европейском сознании, к которой апеллирует Финли, не предполагает неперменного уникального статуса и первичности происхождения. Она просто показывает, что авторы периода после Возрождения опирались на древнегреческие мифы. Это не мешает Осборну предъявлять претензии по поводу вклада Греции — и Запада как такового — в мировую историю, особенно в историю искусства.

«Не только европейская мифология обнаруживает свои корни в классическом греческом наследии; мы находим множество примет греческого наследия во всей европейской культуре. Сам образ нашего мышления и его выражения имеет источник в Греции 500–300 годов до н.э., как и самосознание, абстрактное политическое мышление и моральная философия; риторика как самоценная наука; трагедия, комедия, пародия и история как таковые; западное натуралистическое искусство и женская нагота; демократия как теория и как практика»³⁸.

Последнее предложение является чрезвычайно сильной претензией, несмотря на то что она относится к Западу. Автор, видимо, полагает, что весь мир как таковой обязан Древней Греции определенными моделями мышления. Она была их «источником» — и это кажется еще более серьезной и наименее приемлемой претензией.

Однако многие из этих примет в зачаточном состоянии присутствовали в греческом обществе доклассического периода. Более того, они присутствовали и в других обществах. Говорить о моральной философии как об исключительной особенности Греции — значит пренебрегать трудами китайских философов, таких, как Мэн-цзы. Возможно, что в этом контексте важно рассмотреть зачаточные морально-философские воззрения, вроде тех, что сохранила в приущей лодага устной традиции община Багре³⁹. Правда, что *изучение*

³⁷ Osborne (1996). P. 1–2.

³⁸ Ibid. P. 2.

³⁹ См.: Goody (1972b).

риторики и истории могло быть чертой, присущей обществам, имеющим письменность, и являться результатом активного ее использования, как и «осознанное абстрактное политическое мышление», и другие моменты, перечисляемые Осборном. Но было бы ошибочным считать, что понимание, например, силы формальной риторики⁴⁰ и политики⁴¹ было «введено» греками. Они могли трактовать эти аспекты «более осознанно», поскольку грамотность стимулирует способность к рефлексии, однако это не указывает на их отсутствие в более раннее время.

У Осборна, классического историка, возникает проблема — из-за его настойчивого заявления о правильности телеологического подхода — при попытке найти в античном мире доказательства наличия «условий нашего возникновения в форме цивилизованного общества»⁴². В самом деле, он продолжает утверждать, что «в определенном смысле классическая Греция создала современный мир»⁴³. С тем же успехом можно сказать, что современный мир «создал Грецию», — эти два аспекта слишком тесно сплетены воедино. В том, что европейская культура ощущала свои корни в Древней Греции, была, несомненно, положительная сторона — это стало частью европейской идентичности. Буркхардт действительно писал о «мистическом союзе» между Грецией и своей родиной — Германией, так что с этой точки зрения древние должны были отличаться всеми положительными качествами, характеризующими современников. Такие утверждения могут породить скептицизм у критически настроенного читателя.

Экономика

Значительная часть уникальных черт Античности, которые, как считается, обеспечили ей независимый путь развития, связана с успехами в области просвещения, которые сделали греков уверенными в собственных достижениях и целях. Грекам приписывается прорыв не только в сфере искусства, но и в области политики. Однако есть одна область, в которой греки, по мнению некоторых исследователей, совсем не выглядели передовыми, а именно экономика.

⁴⁰ См.: *Bloch* (1975).

⁴¹ См.: *Bayly* (2004).

⁴² *Osborne* (1996). P. 3.

⁴³ *Ibid.* P. 17.

Влиятельный историк Античности, Мозес Финли, твердо настаивал на признании фундаментальных различий «античной экономики» и экономической системы обществ бронзового века⁴⁴. Его мнение в значительной степени опирается на работы Карла Поланьи, но также связано со спорами, имевшими место в XIX веке. Центром этих дискуссий стали двое ученых, Карл Бюхер и Эдуард Мейер⁴⁵, но на более широком уровне в них участвовали также Маркс и Вебер. Бюхер полагал, что европейская экономика прошла три стадии развития: *первая* основывалась на *ойкосах* — домохозяйствах; *вторая* — городская, характеризовалась развитием торговли и профессиональной специализации, а также территориальной и национальной экономической спецификой (эти фазы, по его мнению, соответствовали античному и средневековому периодам); *третьей стадией* он считал современную ему экономику. Мейер же уделял значительное внимание рыночным, то есть «современным», аспектам античной экономики. Последний подход соответствовал ранним идеям Вебера (которые позже были модифицированы и приблизились к марксистским) о том, что римское общество уже имело черты капитализма, по крайней мере «политического капитализма»⁴⁶. Для некоторых авторов, придерживающихся данной тенденции, проблема, говоря словами Гарлана, заключалась в модернизации теорий, «часто ведущих к апологии системы капиталистической эксплуатации», путем утверждения существования рыночной системы в античную эпоху⁴⁷. Сам Финли последовательно избегал связывания Античности как с древними ближневосточными, так и с капиталистическими обществами.

Разумеется, древние греки не «изобрели» экономику, как это приписывалось им применительно к демократии и алфавиту. С точки зрения Финли, они вообще не имели рыночной экономики, однако смогли развить обособленную экономическую форму, отделявшую их от бронзового века и позволившую впоследствии сформировать уникальную европейскую экономику. Но вместе с тем он признавал, что рынок как таковой появился лишь одновременно с капитализмом и буржуазией. Так что марксистские наклонности не позволяли Финли предполагать наличия каких-либо капиталистических черт

⁴⁴ См.: *Finley* (1973).

⁴⁵ См.: *Will* (1954).

⁴⁶ См.: *Love* (1991). P. 233.

⁴⁷ См.: *Cartledge* (1983). P. 5 (перевод автора).

в античной экономике. Они, однако, обязывали его определить, что именно отличало античную экономику от других обществ, и трактовать ее как подготовительную стадию для последующих ступеней европейской истории.

С позиций своих представлений о развитии капитализма Финли видит, что «европейская цивилизация имеет уникальную историю, поэтому правомерно рассматривать ее как самостоятельный предмет»⁴⁸. Согласно данной схеме, «исторические и доисторические периоды должны оставаться отдельными предметами исследования». Это предполагает исключение из рассмотрения «важных и изобильных древних ближневосточных цивилизаций», обычно воспринимаемых как «доисторические», в то время как Греция была «исторической», хотя в этом разделении мало рационального с точки зрения как способов коммуникации, так и способов производства. Наличие алфавита и, соответственно, грамотности оказалось в высшей степени полезным для классических обществ с точки зрения развития коммуникации, а расширение использования рабского труда, возможно, оказалось столь же полезным для развития производства; но ни в одной из названных сфер эти общества не были уникальными. Тем не менее Финли не признает это достаточным аргументом для включения ближневосточных обществ в «сеть» взаимосвязанных «классических культур», чтобы не подчеркивать наличия заимствований, а также экономических и культурных связей между греко-римским миром и Ближним Востоком. Свое игнорирование фактора множества культур он поясняет на примере веджвудского синего фарфора, чей внешний вид, по его мнению, не доказывает необходимости включения Китая в качестве обязательного элемента анализа Промышленной революции.

С другой стороны, подчеркивание этих связей также может повести нас в неверном направлении. Я бы предложил поставить в центр изучения Промышленной революции соперничество технологий производства фарфора в голландском Делфте и в английской «Черной стране», как и в случае с индийским хлопком, — потому что именно эти технологические процессы, заимствованные на Востоке, сформировали затем основу для преобразований. Что же касается разделения «истории» и «предыстории», я не вижу достаточных оснований для столь радикальной дихотомии, если опираться на свидетельства прошлого и особенно если это означает пренебрежение важной проблемой перехода от культур бронзового века. Однако

⁴⁸ *Finley (1973). P. 27.*

Финли пытается охарактеризовать античную экономику более конкретно, когда пишет:

«В ближневосточных экономиках доминировали большие дворцовые или храмовые комплексы, владевшие большей частью пахотной земли и фактически монополизировавшие все, что можно называть “промышленным производством”, а также внешнюю торговлю (которая включала в себя не только торговлю в чужих краях, но и торговые связи между отдельными городами). Такие центры организовывали экономическую, политическую, военную и религиозную жизнь общества с помощью единственной сложной бюрократической операции, требующей ведения записей. Чтобы определить суть этой операции одним словом, я бы выбрал термин “нормирование”, понимаемый в самом широком смысле. Ничего подобного не было в греко-римском мире до завоеваний Александра Македонского и того более позднего времени, когда римляне присоединили к себе значительные территории на Ближнем Востоке».

В результате, добавляет он, «не существует ни одной темы, которую я мог бы рассматривать, не классифицируя заново разрозненные части»⁴⁹. Таким образом, Ближний Восток был исключен. Греко-римский мир объявлялся источником «частной собственности», тогда как Ближний Восток с данной точки зрения приближался к тому, что обозначалось понятием «азиатская деспотия», — если «концентрироваться на доминирующих типах и характерных моделях поведения». Средиземноморье было зоной неорошаемого земледелия (что авторы-европоцентристы, такие, как Манн, считали важнейшим преимуществом Европы⁵⁰), его население специализировалось на выращивании олив, тогда как в долинах великих рек Египта и Месопотамии для функционирования ирригационных систем требовалось наличие сложной социальной организации. Но Финли признает, что греки в правление Александра Македонского (умер в 323 г. до н.э.), а позже и римляне контролировали именно эти, требующие ирригации регионы и к северу от Средиземного моря добились значительных успехов в управлении водными ресурсами, хотя и необязательно в сельскохозяйственных целях. В любом случае вода является лишь одним элементом этой дихотомии. Понятия азиатской деспотии и коллективной собственности соответствуют

⁴⁹ Ibid. P. 28.

⁵⁰ См.: Mann (1986). P. 185.

представлениям XIX века о Востоке. (Критика этих представлений, как и соответствующей им политики, будет представлена в главе 4 книги). То же касается и идеи централизованной власти, рассматриваемой в связи с управлением водными ресурсами. Хотя и верно, что речные долины с их плодородными почвами, позволяющими собирать несколько урожаев в год, имели важнейшее значение для экономики, в Месопотамии были также многочисленные районы неорошаемого земледелия; точно так же, как и выращивание олив было чрезвычайно важным элементом экономики некоторых регионов Северной Африки, например Карфагена и близлежащих территорий. Храмовые комплексы, о которых говорит Финли, присутствовали на Ближнем Востоке не везде, а появлялись в том числе и в классическом обществе. Финли сам упоминает в этом контексте об «огромном дворцово-храмовом комплексе в Делосе»⁵¹ и о подробных записях, связанных с финансовым учетом на его территории. Ни одну из экономик этого региона невозможно отнести к какому бы то ни было «чистому типу»; между экономическими практиками различных обществ можно проследить достаточное количество параллелей, чтобы не доверять любым притязаниям на уникальность античной Греции.

Тем не менее Финли (и его многочисленные современные последователи) рассматривает зарождение Античности в контексте специфического исторического процесса, происходившего в Греции, и больше нигде. За упадком цивилизаций бронзового века (не вполне уникальное явление) пришли «темные века», воспетые в гомеровских поэмах (некоторые исследователи относят их к микенской культуре); затем последовало появление архаической Греции с ее новыми политическими институтами, и, наконец, состоялся расцвет классической Античности.

Однако речь идет не только о природе экономики, но и о том, существовал ли вообще данный институт. В недавнем обзоре происходящей полемики на эту тему Картледж пошел по стопам Финли (а также Хасбрека), считая полис «уникальным для истории» (а что не уникально?) и утверждая, что ««экономика», фактически, не являлась, а значит, и не могла быть теоретически осмыслена как дифференцированная, квазиавтономная сфера общественной деятельности в архаической и классической Греции» и что она «принадлежит к классу докапиталистических экономических формаций, в которых товарное распределение и обмен приобретают различные формы,

⁵¹ См.: *Finley* (1973). P. 186.

непохожие на принятые в современном мире и являющиеся, таким образом, “доэкономическими”, скорее всего, из-за отсутствия связанных между собой рынков, формирующих цены»⁵². Это более широкое и абстрактное отличие не отделяет Античность от обществ бронзового века. Вдохновителем здесь снова является Карл Поланьи⁵³. В исследовании «Торговля и рынки древних империй» он показывает три основные модели интеграции — а именно взаимобмен, перераспределение и рыночный обмен. Эти модели более или менее прямо ассоциируются со специфическими институциональными структурами. Как мы видели, представления начала XIX века об экономике архаической Греции находились под влиянием идеи о контроле *οἶκος*⁵⁴; по мнению многих авторов, рыночные отношения появились позже. Под влиянием авторитетного голоса Поланьи, который на каком-то отрезке времени стал определять угол зрения на историю Античности (но не Ближнего Востока), изменения экономики укладывались в более широкую теоретическую структуру, предполагавшую, что древним обществам присущи скорее взаимобмен и перераспределение, чем торговля. Поланьи признавал возможность существования неких смешанных вариантов, однако в целом его позиция склоняется к наличию категорически различных типов экономики, где одна модель исключает другую. Рыночные отношения могли возникнуть лишь в капиталистическом обществе. Но, несмотря на стремление отдельных исследователей определять «рынок» максимально узким образом, рыночные отношения реально существовали и в более широких рамках. Даже в Африке с ее экономиками, относящимися к добронзовому периоду, в каждой деревне в течение долгого времени существовали постоянные рынки, а также проводились еженедельные ярмарки, функционировавшие в соответствии с широко понимаемыми рыночными принципами, которые имел в виду Поланьи. И это не просто личное мнение, а точка зрения большинства историков и антропологов, занимающихся данной сферой. Частично спор зависит от разницы в понимании термина «рынок», от того, что в каждом конкретном случае имеется в виду — постоянно существующие рынки (рыночные площади) или же абстрактные принципы рыночного обмена. Лично я считаю, что одно невозможно без другого. Поланьи настаивает на том, что он называет «замкнутостью» греческой и других докапиталистических экономик, то есть на том, что характер таких

⁵² Cartledge (1983). P. 5–6.

⁵³ См.: Polanyi (1957).

⁵⁴ См.: Will (1954).

экономик не дифференцируется в зависимости от социальной системы. Но, как замечали многие исследователи, он делает это, игнорируя рыночные элементы этих экономических систем. Оппенгейм, весьма сочувствующий подходу Поланьи, уже критиковал его за игнорирование Месопотамии. Многие критики сделали то же самое применительно к Греции, тогда как другие, признавая, подобно Хопкинсу, отдельные слабости концепции категорического разделения, все же защищали ее. Исследовав Месопотамию и сравнив ее с недавней историей Центральной Америки, Гледхилл и Ларсен предположили, что по сравнению как с Поланьи, так и с Марксом мы нуждаемся в менее статичном и более динамичном взгляде на экономику: «Это может быть полезнее теоретически — сфокусироваться на процессах, ведущих к циклам новой централизации после “феодальных” эпизодов, которым подвержены все древние империи, а не сосредотачиваться на статичных вопросах, касающихся лишь институционализации экономических процессов в рамках фаз политической преемственности. Долгосрочная перспектива ясно показывает, что древние империи были более динамичными и сложными на протяжении своей эволюции, чем часто считается»⁵⁵. В древних городских цивилизациях, таких, как цивилизации Месопотамии или Центральной Америки, торговцы имели большое значение — как для власти, так и для самих себя. Аккадские цари оказывали поддержку купцам, занимавшимся внешней торговлей, а среди ацтеков отказ в торговле считался поводом для войны⁵⁶.

Проблема в том, что, похоже, все эти экономические категории применяется лишь по отношению друг к другу. Если принять позицию Поланьи, что античная экономика основывалась на перераспределении (и в этом смысле отличалась от современной), это вызовет у нас склонность недооценивать все явления, которые можно рассматривать как рыночные взаимодействия. Именно это мы и наблюдаем в работе Финли, посвященной античной экономике, где его исследовательские усилия, как и у Поланьи, мотивированы тем, что этим авторам не нравится рыночная концепция. Это неотъемлемая часть их социалистической идеологии. Альтернативное видение Поланьи, вызванное значительным отклонением от прежнего курса, не вызывает большого доверия. В то время как Картледж полностью остается на прежних позициях Поланьи, сам Поланьи признает, что торговля имела важное значение — если и не в отношении керамики, то,

⁵⁵ Gledhill and Larsen (1982). P. 214.

⁵⁶ См.: Adams (1966). P. 164.

по крайней мере, в том, что касалось металлов (как это должно было быть в эпоху бронзы и — в несколько менее выраженных формах — в век более широко распространенного железа), но утверждает, что нам необходимо признавать предложенное Хасбреком различие между заинтересованностью в импорте и коммерческим интересом. Но действительно ли это различие было взаимоисключающим? Как и относительно большинства более ранних обществ, у нас нет свидетельств того, что неолитические общества не занимались рыночной торговлей и коммерцией, — напротив, мы располагаем обратными свидетельствами. Действительно, в недавно изученных обществах такого типа наблюдалось, что обмен товаров и услуг, совсем необязательно происходивший на «деньги», имел большое значение⁵⁷. Конечно, легко догадаться, что существовавшие тогда постоянные рынки (рыночные площади) функционировали не так, как современные, но сложно представить, что они могли быть полностью изолированы от давления факторов спроса и предложения. Действительно, изучая подобную «неолитическую» ситуацию, я в начале 1980-х годов осуществил крупный обмен с помощью «ракушечных денег» (каури), когда этот вид «валюты» становилось все сложнее приобрести; фактор спроса и предложения совершенно определенно сыграл свою роль. Несмотря на попытки администраций Ганы и Верхней Вольты утвердить собственную валюту, каури продолжали использоваться в трансграничной торговле, а также применялись для некоторых ритуальных целей. И поскольку эти ракушки встречаются все реже и реже, их стоимость растет — как это происходит и с современными валютами. С моей точки зрения, попытка полностью отделить местные рынки и рыночные принципы (спрос и предложение) от других способов осуществления транзакций обречена на поражение.

Природа древних экономик и роль торговли в них занимают преобладающее место в статьях недавно вышедшего сборника, посвященного торговле в период Античности и идейно связанного с трудом Финли⁵⁸. Один из авторов, Снодграсс, описывает, какие большие грузы перевозились в архаической Греции в процессе импорта железной руды и мрамора⁵⁹, но при этом принимает узкое определение «торговли» как «приобретения и перемещения товара, при которых последующий покупатель неизвестен и его нельзя идентифицировать»⁶⁰.

⁵⁷ См. примеры у *Coquery-Vidrovitch* (1978) — «African mode of production».

⁵⁸ См.: *Garnsey, Hopkins and Whittaker* (1983).

⁵⁹ См.: *Snodgrass* (1983). P. 6ff.

⁶⁰ *Ibid.* P. 26.

Таким образом, большинство сделок данного периода не классифицировалось как «торговля», поскольку конечный покупатель был известен. Снодграсс полагает, что финикийцы находились в аналогичном положении, хотя они и считались величайшими торговцами Средиземноморья⁶¹. Но, даже если дело обстояло именно так, его определение было далеко не единственным и к тому же имело мало общего с традиционным определением торговли, а его применение, похоже, было вызвано желанием представить Грецию «другой» и более «примитивной», в духе Поланьи.

Идея о том, что торговые операции тех времен были идентичны современным, совсем не является альтернативой этому предположению. Как верно замечает Хопкинс вслед за Снодграссом, товары можно было обменивать различными способами⁶². Но при этом всегда присутствовал коммерческий аспект, как можно увидеть из различных греческих торговых соглашений, а также из признания, что на финальной стадии изготовления архаической статуи «клиент выплачивал содержание художнику и его помощнику за время всего периода работы», а также оплачивал расходы на мрамор и доставку статуи⁶³. Оплата могла осуществляться различными способами. И снова мы не настаиваем на полной идентичности этих операций современным (хотя конкретно в приведенном примере они напоминают Ренессанс — а именно оплату работы Микеланджело в каррарских каменоломнях), но, по крайней мере, они сравнимы и могут быть отнесены к одной ячейке сетки экономических отношений. Хотя некоторые исследователи могут считать, что греческая торговля демонстрировала фундаментальное различие между доходом от импорта и «коммерческим интересом», другие могут и не воспринять эти категории как взаимоисключающие. Хопкинс называет модель античной экономики, выдвинутую Финли, «несомненно, наиболее подходящей», вместе с тем он предлагает программу ее «развития» в виде семи пунктов, «соответствующих умеренному экономическому росту и упадку». По-видимому, эти предложения призваны радикально реформировать взгляд Поланьи на античную экономику, поддерживаемый Финли. Хотя Хопкинс провозглашает модель Финли «достаточно гибкой, чтобы учитывать эту умеренную динамику»⁶⁴, может показаться, что данное

⁶¹ Он заявляет (неуверенно), что те могли легко перейти к сельскому хозяйству.

⁶² См.: *Hopkins* (1983). P. x.

⁶³ См.: *Snodgrass* (1983). P. 20.

⁶⁴ *Hopkins* (1983). P. xxi.

признание во многом было вызвано физическим присутствием этого «харизматичного и авторитетного» ученого во время обсуждения, а фактически Хопкинс ясно указал на проблемы, которые может вызвать «примитивистская» позиция, если одновременно не принять «модернистскую».

Таким образом, точка зрения Финли не была полностью принята исследователями Античности. Тэнди считал рост торговли и населения в VIII веке до н.э. крайне важным для развития Греции, и особенно для появления новых заморских колоний, где торговлей занимались преимущественно *aristoi* («лучшие люди»). Эта деятельность, в свою очередь, способствовала развитию системы полисов, «упадку системы перераспределения»⁶⁵ и укреплению того, что он называет «ограниченной рыночной системой, которая стала машиной, создавшей предпосылки для экономических и социальных сдвигов: зарождения частной собственности, возможности отчуждения земли, появления долговой системы и, наконец, полиса»⁶⁶. Для Тэнди это означало зарождение капиталистического мира, и такой вывод приводит его однозначно в «модернистский», а не в «примитивистский» лагерь; позже рыночная экономика уже прочно установилась. Однако в данном споре Тэнди просто продвигает идею «примитивизма» *ойкоса* дальше, в доархаические времена, где отсутствие рынков по-прежнему остается под вопросом, допуская, что этот тип экономики — единственный, способный в конечном итоге привести к капитализму, — остается европейской прерогативой.

Несмотря на реальный спор в среде историков Античности между «модернистами» и «примитивистами» и использование категорий Поланьи при характеристиках операций, связанных с обменом, а также невзирая на все заявления субстантивистов, сама их идея о «примитивных» экономиках (и об обществе в целом) основана на недостаточной информации. Идеи такого рода предполагают четкое разграничение либо между античной экономикой и предшествующими ей экономиками (как в исследовании Тэнди), либо наоборот — между античным миром и последующими типами экономики, особенно «капиталистическими» (как в труде Финли). Здесь существуют две проблемы. *Во-первых*, различия между разными древними обществами были значительными, например между городскими поселениями бронзового века и племенами бушменов — охотников и собирателей. Рассмотрение всех этих общества как в равной

⁶⁵ См.: Tandy (1997). P. 4.

⁶⁶ Ibid. P. 230.

степени первобытных было бы очень наивным подходом. Попытка Тэнди сравнить все первобытные общества с «темными веками» Греции как раз и была примером такого подхода — когда все дописанные культуры объединяются в одну категорию. Тэнди считает термины «мелкомасштабный» и «доиндустриальный» эвфемизмами слова «первобытный», употребляемыми, чтобы не задеть ученых, считающих оскорбительными попытки сравнить архаическую Грецию и бушменов Калахари. Невзирая на терминологию, факт остается фактом — Тэнди проводит близкие аналогии между древнегреческим обществом VIII века до н.э. и первобытными сообществами, не связанными с «западной» культурой; для него Древняя Греция до формирования системы полисов была в этом смысле первобытной, то есть «не западной в нашем понимании»⁶⁷. Такое сравнение является не столько оскорбительным, сколько неадекватным. Существовало множество «незападных» обществ, которые можно сравнить с архаической Грецией, но последняя определенно окажется куда ближе к современному обществу, чем те же бушмены Калахари, никогда не знавшие «городской революции» бронзового века. Объединение в одну категорию таких несходных обществ, как первобытные бушмены и архаическая Греция, может совмещаться с идеологическими концепциями Финли и других исследователей, но ее едва ли можно подкрепить доступными антропологам данными.

Во-вторых, в то время как в разных контекстах делается различный акцент на том или ином типе обмена, было бы фундаментальной ошибкой не признавать возможность существования нетоварного обмена (или взаимодействия, как в современных семьях) параллельно с рыночными транзакциями. Например, изучение таких операций в Африке⁶⁸ не предполагает, что политическая экономия рассматриваемых обществ является «капиталистической» в любом из смыслов, вкладываемых в это слово в XIX веке, однако постоянно существующие рынки там в равной мере используются как для местной торговли, так и для товарообмена на более дальние расстояния. Рынок развивался задолго до Древней Греции и тем более до пришествия промышленного капитализма. Вебер считал рост латифундий с их избыточным производством началом зарождения «аграрного капитализма»⁶⁹. В этом он пошел по пути Моммзена — и подвергся критике со стороны Маркса, отрицавшего приложение

⁶⁷ См.: Tandy (1997). P. 8.

⁶⁸ См.: Bohannan and Dalton (1962).

⁶⁹ См.: Love (1991). 18ff.

самой идеи капитализма к древним обществам⁷⁰. Маркс использовал данный термин для конкретной модели, существенной частью которой является система фабричного производства. Очевидно, что такая система как важная черта капитализма возникла в более поздние времена, однако другие фундаментальные приметы капитализма появились существенно раньше.

Следует добавить, что как Финли (в ниспровергающей существующие представления статье, посвященной браку в гомеровской Греции), так и Тэнди использовали антропологические сравнения, но они делали это (особенно Тэнди), как мы видели, неким внеисторическим, внесоциологическим образом, сравнивая Античность с недифференцированными первобытными обществами. Такой подход порожден противостоянием модернистов и примитивистов, трудами Маркса, который уделял докапиталистическим формациям мало внимания (за исключением работы «Экономические рукописи, 1857–1861 гг.»), а также Вебером, рассматривавшим традиционные общества в последнюю очередь, после более сложных систем (1968), и Поланьи, считавшего их противоположностью рыночного общества. Как мы видим из названия работы Поланьи о «нашем устаревшем рыночном складе мышления»⁷¹, эти позиции часто были крайне идеологизированными, направленными на формирование определенного отношения к современному обществу, пронизанному рыночной активностью. Но такого рода деятельность сама по себе не должна ассоциироваться лишь с современным миром. Мы не настаиваем на позиции «модернизации», свойственной историкам классического периода. Современная западная экономика действительно очень отличается от древней. Но отсюда не следует, что у этих различных укладов нет общих элементов — таких, как торговля и рынки, даже если они находились на совершенно ином уровне развития. Не признавать наличия рыночных отношений в эпоху Античности — значит закрывать глаза на факты⁷².

Как мы видели, вряд ли могут возникнуть сомнения в том, что позиции многих исследователей данного вопроса определяются их

⁷⁰ См.: *Marx. Capital*. 1976. Vol. I. P. 271.

⁷¹ См.: *Polanyi* (1947).

⁷² Наличие этих отношений постоянно подчеркивается у исследователя доисторических обществ Гордона Чайлда, придерживающегося марксистских взглядов (см., например: *Child* (1964). P. 190, где он говорит о «международном сообществе купцов», повлиявшем на распространение алфавита).

идеологическим видением рынка и нежеланием признавать, что рыночные отношения охватывали всё большие сферы человеческой жизни, что это происходило постоянно — и, несомненно, с некоторыми пагубными последствиями. Однако попытки охарактеризовать античные⁷³ или древние ближневосточные⁷⁴ общества как «нерыночные» являются утопическими и нереалистичными, как и заявления о «первобытном коммунизме» и об отсутствии «частной собственности» при неолите или в обществах охотников и собирателей. В одних аспектах эти общества были более «коллективистскими», чем последующие, тогда как в других — отличались большим индивидуализмом⁷⁵.

Проблема рынков, очевидно, связана со статусом купцов и торговых гаваней (эмпориев), подробно рассматриваемым многими авторами. Например, Моссé предполагает, что купцами становились люди «скромного происхождения», мало связанные с жизнью города, а «мир эмпория» был маргинальным по отношению к Афинам. «Торговля оставалась частным делом»⁷⁶. Однако купцы взаимодействовали с остальным обществом, например в случаях, когда нуждались в займах для своей дальнейшей деятельности, и для этой цели был учрежден «морской заем», ставший «основным механизмом», пережившим «эллинизм, Древний Рим, Средние века и наше время, дожив до XIX столетия»⁷⁷, доказывая тем самым преемственность традиций и практик торговли со времен «эмпориев» на протяжении более чем двух тысяч лет. Разумеется, сам институт купцов существовал и раньше, в том числе у других цивилизаций, — везде, где были развиты города и торговля, что вызывает еще большие сомнения по поводу подхода Поланьи, Финли и их сторонников. Не то чтобы в торговых системах отсутствовали различия, но у них были и аналогии, чрезвычайно важные для понимания культурной истории. Так что, согласно Гледхиллу и Ларсену, заявление Поланьи о том, что «в Месопотамии никогда не было купцов, просто не выдерживает внимательного рассмотрения»⁷⁸. Аналогично заявление, что в Древней Греции отсутствовала экономика⁷⁹, может расцениваться сход-

⁷³ См.: *Finley* (1973).

⁷⁴ См.: *Polanyi* (1957).

⁷⁵ См.: *Goody* (1996a).

⁷⁶ *Mossé* (1983). P. 56.

⁷⁷ *Millet* (1983). P. 37.

⁷⁸ *Gledhill and Larsen* (1952). P. 203.

⁷⁹ См.: *Finley* (1973).

ным образом, с учетом исследования Тэнди⁸⁰ о рыночной власти в Древней Греции, а также работ Миллета⁸¹ о системе займов в Древней Греции и Коэна⁸² об афинских кредитных институтах.

Поланьи, однако, достаточно подробно рассмотрел важный вопрос, который мы затронули, — о различиях между Грецией и Месопотамией, Античностью и ближневосточными обществами бронзового века⁸³. На одном уровне эта проблема проста. Греция относится не к бронзовому, а к железному веку, располагает большими запасами дешевых металлов и, соответственно, большими возможностями для изготовления оружия и орудий труда. Но Поланьи использует свои собственные категории обмена — взаимообмен и т.п. Отметив наличие того, что он называл широким базисом распределения в этих древних обществах, он также видел другие способы осуществления трансакций, имевшие большое экономическое значение. Торговые операции действительно развивались, но в Месопотамии их понимали как управляемую торговлю, которая велась на основе использования эквивалентного обмена (фиксированных цен), платежных единиц, создаваемых под конкретные цели, а также торговых гаваней — и по мнению, которое Поланьи разделял с Финли, там не было никаких рынков, а Финли, как мы видели, говорит о монополии в торговых операциях дворцовых или храмовых комплексов. Гледхилл и Ларсен (известный исследователь экономики Месопотамии) замечают, что такое утверждение не вполне справедливо⁸⁴; даже там, где не существовало рыночных площадей, рынки все равно были. Хотя Поланьи заявлял, что в языке того времени даже не было слова, обозначающего этот институт, с тех пор было обнаружено три таких слова. Кроме того, обмен не ограничивался «управляемой торговлей»; купцы часто действовали по собственному усмотрению, а состоятельные люди использовали свои средства, чтобы приобретать дома. Оба автора пишут о частных архивах в Канише и Анатолии, состоящих из «писем, контрактов, счетов, сопроводительных документов, правовых текстов, вердиктов различных чиновников и различных заметок»⁸⁵. Они предоставили свидетельства существования партнерских контрактов (комменд) семейного и несемейного

⁸⁰ См.: *Tendy* (1997).

⁸¹ См.: *Millet* (1991).

⁸² См.: *Cohen* (1992).

⁸³ См.: *Polanyi* (1957). P. 59.

⁸⁴ См.: *Gledhill and Larsen* (1982). P. 203.

⁸⁵ *Ibid.* P. 209.

характера, учитывающих риски, связанные с торговлей (обсуждаемые при продлении договора), прибыли и убытки. Эти исследователи настаивают на том, что оперирование аргументацией такого рода не предполагает, как сказал бы Маркс, «смазывания всех исторических различий, обнаружения буржуазных отношений во всех общественных формациях»⁸⁶, но говорит лишь о признании наличия или отсутствия определенной преемственности.

Я предположил, что одна из преемственностей такого рода относится к сфере торговли, важность и разнообразие форм которой в бронзовом веке подчеркивались Гордоном Чайлдом. Когда в Месопотамии развивалась городская цивилизация, плодородные долины рек приносили крестьянам дополнительные ресурсы, но не давали множества важных материалов — дерева, камня, металлов. Все эти материалы приходилось импортировать, в основном с помощью крупнейших рек. После «революции транспорта металлургия, колесо, использование вьючных животных и кораблей обеспечили основу новой экономики»⁸⁷. Значение торговли тогда существенно возросло и привело к появлению торговых поселений в Канеше во II тысячелетии до н.э. Она стала «более значимым фактором распространения культуры, чем сегодня. Свободные ремесленники могли путешествовать с караванами в поисках рынка для своих навыков, а рабы были частью продаваемых товаров. Все они, а также те, кто обслуживал караван или корабль, должны были размещаться в городе. Иностранцы могли исполнять свои религиозные обряды... Если так распространялись религиозные культы [данный пример относился к индийскому культу, отправляемому в Аккаде], то полезные ремесла и виды искусства могли распространяться с той же легкостью. Торговля способствовала собиранию различного опыта, накопленного людьми»⁸⁸.

Проблема позиции Поланьи, как и многих его последователей, состояла в том, что она предполагала категорический и холистический, а не исторический подход к экономической деятельности. Этот подход требовал считать экономику либо рыночной, либо основанной на перераспределении, тогда как на практике такого противостояния не существовало. В одно и то же время в различных социальных контекстах были в ходу различные практики — например, взаимный обмен в семье, рыночные отношения за ее пределами,

⁸⁶ Marx (1973). P. 105; Gledhill and Larsen (1982). P. 24.

⁸⁷ Childe (1964). P. 97.

⁸⁸ Ibid. P. 105–106.

перераспределение, производимое государством. Конечно, каждая из этих моделей проявляла себя более или менее выражено, что частично зависело от модели производства; по крайней мере, на уровне средств производства можно обнаружить значительную разницу — например, если сравнить мотыжное и плужное земледелие. Но эти изменения не порождают и не отменяют рынков. Нам нужно внимательнее трактовать наличие или отсутствие преемственности, «модернизм» или «примитивизм». Что действительно необходимо, это рассматривать проблему обменных операций с точки зрения координатной системы, явной или неявной, так, чтобы появился шанс оценить степень возможностей (по вертикали) по отношению к специфике устройства общества или способов производства (по горизонтали). Такой подход окажется точнее, чем обычный исторический подход, предполагающий наличие отдельных категорий (часто единственных в своем роде). Так мы сможем удовлетворительнее проверить гипотезу об уникальности Древней Греции.

Политика

Для определения политики часто используют такие же узкие категории, как и для экономики, и в результате получается, что некоторые общие признаки приписываются исключительно Древней Греции. В подобном контексте политика рассматривается как «политические меры, проводимые государствами, но не как процессы, лежащие за пределами принятия этих мер»⁸⁹, — очень ограниченная точка зрения, очевидно исключающая из сферы рассмотрения общества, где государство еще не сложилось, а также огромное разнообразие различных действий, которые многие расценили бы как политические. В частности, такое определение не оставляет места для «первобытной демократии», часто являющейся признаком небольших обществ.

Следовательно, изучение политики поднимает ряд вопросов, параллельных таковым в экономике. Например, Финли отрицает возможность применения к античному обществу термина «классы», введенного Марксом (поскольку там не было рынка), и считает, что как «классы», так и «рынок» возникают намного позже (вместе с «капитализмом»). С другой стороны, он выделяет «общественные группы» веберовского толка (характеризуемые «образом жизни»),

⁸⁹ *Cartledge* (1983). P. 14.

а не экономические классы, рассматриваемые Марксом. Так или иначе, Финли не вполне последователен, поскольку в числе прочего пишет о возникновении около 650 года до н.э. «среднего класса, состоявшего из относительно состоятельных крестьян, не принадлежавших к аристократии, с “отдельными вкраплениями” в виде купцов, моряков и ремесленников»⁹⁰, когда его представители продемонстрировали свое наличие в обществе, став персонажами лирической поэзии. Эта группа способствовала «наиболее важному усовершенствованию военного строя в греческой истории», будучи организованной в фалангу тяжеловооруженных пехотинцев, получивших название «гоплитов», самостоятельно обеспечивавших себя оружием и доспехами. «Фаланга изначально предоставляла более состоятельным общинам возможность играть более важную военную роль». Зарождение («изначальное») других постоянных признаков современной политической жизни Финли также относит именно к Древней Греции, — особенно демократии и свободы. Действительно, некоторые авторы относили политику как таковую именно к этому истоку, а один исследователь Античности даже бесстрашно назвал свою книгу «Греция, открывшая политику»⁹¹. В недавней статье Жижек заявил, что явление, называемое им и другими исследователями «собственно политическое», возникло впервые в Древней Греции, когда «люди из демоса (занимавшие четкое место в социальной иерархической структуре) считали себя представителями всего общества, всех его слоев»⁹². Здесь политика, видимо, относится лишь к демократии, но это слово можно использовать применительно к любой деятельности правительства, равно как и к манипуляции властей на более низком уровне («политика местнических интересов») и даже к системам, не имеющим формальной власти («лишенным главы»).

В данной сфере, как и в других, вклад Греции в последующее социально-экономическое развитие был крайне важным для Европы и, следовательно, для всего мира. Однако ограничение политической деятельности (или даже ее изобретения) рамками только Греции или исключение из нее действий, касающихся экономики, является чрезвычайно специфичным использованием этого положения. Единственное возможное ограничение сферы политики заключается в том, что политика как таковая не может существовать, если она институционально отделена и не интегрирована в общество, как это делает

⁹⁰ *Finley* (1970). P. 101.

⁹¹ См.: *Meier* (1990).

⁹² *Žižek* (2001).

Поланьи с экономикой. Однако тот факт, что процесс социальной эволюции влечет за собой появление более сложных и комплексных структур (то есть частичную дезинтеграцию деятельности), а затем их интеграцию в самостоятельные институты, не означает того, что мы не можем с успехом использовать категории из экономики, политики, религии или системы родственных отношений до того, как это произойдет. Действительно, антропологи всегда исходили из того, что это возможно, и именно так трактуется само понятие социальной системы в работах Толкотта Парсонса и многих других социологов. Однако подход некоторых историков Античности к этому вопросу создает ненужный разрыв между концепциями исследователей, занимающихся различными периодами истории и разными типами общества.

Классическая традиция рассматривает три типа политических систем, не похожих друг на друга, относящихся к одновременно существовавшим обществам и переносимых на реалии Западной Европы: *демократию, свободу и власть закона*. Считается, что демократическая система являлась характеристикой Древней Греции, в противоположность «деспотизму» и «тирании» ее азиатских соседей. Это предположение исходит от наших современных политиков, поскольку призвано демонстрировать долгосрочные демократические традиции Запада по сравнению с «варварскими режимами» в других частях света. Современный аспект данной проблемы я более подробно рассматриваю в части III (глава 9) — здесь я сосредоточусь на Древнем мире. Рассматривая проблему происхождения демократии, Финли признает возможность «существования ранних форм демократии, например так называемых “племенных демократий” или демократий Древней Месопотамии, — некоторые специалисты по изучению Ассирии полагают, что обнаружили их следы»⁹³. Но, каковы бы ни были факты, заключает он, влияние этих демократий на историю, на последующие общества было незначительным. «В этом смысле демократию открыли греки, и только греки, — как Америку открыли не викинги-мореплаватели, а Христофор Колумб... Именно греческих авторов, чьи труды были порождены опытом Афин, читали в XVIII и XIX столетиях...» Так-то оно так, но этот подход отражает сугубо европейское и «книжное» видение истории и «изобретения» демократии. Если мы вслед за Ибн Хальдуном предположим, что «племенные демократии» существовали повсеместно, то, даже если они и не стали образцом для европейцев XIX века, они определенно сыграли роль модели для других народов. Греки,

⁹³ Finley (1985). P. 14.

конечно же, придумали само слово «демократия» и, возможно, были первыми, кто описал это понятие доступным для других образом, но саму практику демократии изобрели не они. Демократия в той или иной форме характеризовала политику многих народов.

Один из народов, ведущих «племенной» образ жизни, с которым я работал, лодага, представляет собой нецентрализованную, не имеющую главы группу сообществ (характер которых был подробно описан Фортсом и Эванс-Притчардом в работе «Африканские политические системы»⁹⁴), — сообществ, где полномочия власти минимальны, а также нет никакого института, аналогичного институту вождей, существующему у их соседей в Северной Гане, у племен гонжа. Эти группы пользовались всеми выгодами отсутствия политического доминирования и наслаждались собственной свободой, хотя не имели даже слова для обозначения данного понятия. Они считали себя свободными в том же смысле, в котором была свободной шайка Робина Гуда.

Наличие подобных политических систем особенно характерно для регионов Африки, практиковавших мотыжное земледелие с чередующейся обработкой земли. Но свидетельства о «республиканских» группах такого рода существуют даже в контексте более сложных сельскохозяйственных систем, относящихся к бронзовому веку и часто находившихся на холмистых территориях, труднодоступных для контроля со стороны любой внешней власти. Например, Оппенгейм⁹⁵ сообщает о наличии таких обществ в Месопотамии, а Тапар⁹⁶ — в Индии. В Китае аналогичное политическое устройство, близкое к «примитивным мятежникам» или «бандитам»⁹⁷ Роби-

⁹⁴ См.: *Fortes and Evans-Prichard* (1940).

⁹⁵ См.: *Oppenheim* (1964).

⁹⁶ См.: *Thapar* (1966). В недавней книге (2000) она представляет обзор Древней Индии и кратко рассматривает родоплеменное общество в структуре развития, как уже делала ранее в работе «От рода к государству», где прослеживается эволюция от одного к другому. Однако за пределами ее исследования остается не только вопрос, почему родовые структуры продолжают существовать в рамках государств, но и такая проблема, как сосуществование родоплеменных сообществ наряду с государствами. Таким образом, Тапар рассматривает проблему сосуществования различных политических систем, ситуацию, предлагающую населению альтернативные модели (как это происходит в Северной Гане). Я не предполагаю, что возможно переносить процедуры представительства родоплеменных сообществ на более сложные системы, но хочу указать, что такие альтернативы не только существуют, но и могут оказывать стимулирующее воздействие в контексте повсеместно распространенного стремления людей к каким-то формам представительства.

⁹⁷ См.: *Hobsbawm* (1959, 1972).

на Гуда, существовало на «водных границах». По поводу Северной Африки я ссылаюсь на труды великого историка Ибн Хальдуна, писавшего о племенах пустыни. В Европе мы можем найти группы такого рода в холмистых регионах, куда не дотягивались руки государства, — примером могут служить шотландские и албанские кланы. Более крайний пример — внутренняя организация пиратских кораблей, часто основывавшаяся на «демократических» принципах, поскольку сообщества, избегающие вмешательства государственной власти, склонны выбирать более коллективные формы организации; нечто подобное мы видим в прежних североамериканских колониях. Итак, без лишних слов очевидно, что нет никакого смысла в утверждении о том, что греки якобы «изобрели индивидуальную свободу» или демократию. Кроме того, контраст с древним Ближним Востоком воспринимается особенно остро именно в контексте идеи «азиатского» или какого-то еще «деспотизма», которая так долго характеризовала европейское видение восточных культур.

Даже сильные центральные правительства редко правят, не принимая в расчет «народ». Но были и периоды большего насилия, когда положение «народа» игнорировалось. Поэтому различные протесты, сопротивление, «движения за свободу» возникали в разных частях света независимо от Древней Греции. Невозможно предположить, что народное возмущение, характеризующее положение дел в послевоенном Ираке 2004 года, по крайней мере среди суннитов, имеет какое-либо отношение к античному наследию. То же самое можно сказать и о более ранних событиях в Индии и Китае. Ни силы, вызвавшие эти события, ни их происхождение никак не были связаны с Грецией или Европой, хотя аналогичные проявления в современном мире и могут иногда иметь такие корни. Они связаны с постоянной проблемой делегирования власти и властных полномочий в обществах с централизованными политическими системами и, соответственно, с «хрупкостью авторитетов», которая часто их характеризует.

Влияние классической Античности на последующую историю Европы и всего мира не является прямым. Запад может смотреть на афинскую демократию как на модель, но она была не единственной политической системой, существовавшей в Греции. «Тирания» присутствовала там в той же мере. При этом ни тирания, ни демократия тех времен не характеризовались критериями, которые отличают их в наше время. Финли пишет, что тиранию часто вводили по требованию народа, «демоса», желавшего лишиться аристократию монополии на власть. «Парадокс заключался в том, что тираны,

стоявшие над любыми законами, в конечном счете способствовали укреплению полиса и его институтов, что повышало роль демоса, то есть народа в целом, укрепляло его политическое самосознание, и в результате в некоторых случаях это приводило к власти народа, “демократии”⁹⁸. Таким образом, тирания рассматривается как подготовительная стадия на пути к демократии (примерно так же, как рабство — для свободы), что является весьма оптимистичным взглядом на мир. В любом случае Античность характеризовалась периодическими колебаниями от одного к другому, а не прямым развитием в одном направлении, поскольку многие люди в те времена полагали демократию чем-то дурным. В Европе демократия также не считалась однозначно позитивным решением до XIX века⁹⁹, когда развитие централизованных правительств с быстро растущим бюрократическим аппаратом и усиление военной мощи потребовало постоянных финансовых вливаний от населения, получаемых в виде налогов. И даже тогда некоторые политические мыслители все еще выступали в поддержку сильной власти «немногих», «лучших», «элиты».

Насколько же в действительности отличалась Греция от своих соседей? Разумеется, различия существовали, но вопрос состоит в масштабах этих различий. Большинство историков предъявляли неумеренные претензии по поводу уникального вклада Греции в мировое развитие. Дэвис пишет о том, что мы унаследовали у греков демократию, об «афинской революции», о том, что греки «правильно считали, что по сравнению с другими они являлись более цивилизованными»¹⁰⁰. Однако к этим «другим» относились с пренебрежением. Касториадис тоже считает, что Греция «создала демократию». Он пишет даже, что «интерес к другим начался с греков. Этот интерес является другой стороной критического взгляда на собственные институты»¹⁰¹. Нельзя усомниться в том, что греки действительно думали о своих институтах; это было результатом постоянного использования письменности, что приводило к повышению рефлексивности¹⁰². Однако считать их инициаторами интереса к другим народам означало бы потерять всякую связь с пониманием природы человеческого общества. Интерес к другому

⁹⁸ *Finley* (1970). P. 107.

⁹⁹ См.: *Finley* (1985). P. 19.

¹⁰⁰ *Davies* (1978). P. 23, 63.

¹⁰¹ *Castoriadis* (1991). P. 268.

¹⁰² См.: *Goody and Watt* (1963).

всегда был константой человеческого поведения, хотя он мог принимать и принимал множество различных форм. Считать эту черту признаком сугубо афинской «цивилизованности» означало бы неверно понимать как природу человеческого общества, как и концепцию современности.

Утверждение о том, что греки изобрели демократию, тоже выглядит подозрительно. Различные европейские авторы часто утверждали, что и просто организованные общества также демонстрировали признаки демократии. В качестве одного из примеров можно привести гоббсовское видение первобытных обществ как вовлеченных в «войну всех против всех», которую могло сдерживать лишь появление авторитарного лидера — то есть вождя на том этапе государственной организации. Но в то же время существовало и мнение таких философов, как Кропоткин, или социологов, как Дюркгейм, полагавших, что древние общества характеризовались «взаимопомощью» или механической солидарностью разрозненных систем. Оба названных автора оказали влияние на позицию антрополога Рэдклиффа-Брауна (известного среди своих коллег по кембриджскому Тринити-колледжу как «анархист Браун»), разработавшего теорию «сегментарных политических действий» в не имеющих государственности родоплеменных обществах, которая определяла обсуждение политических систем Африки, о котором говорилось выше.

Сегментарные системы представляли собой сочетание прямой и представительной демократии, равно как и взаимообмена (как в позитивном, так и в негативном ключе) — с «распределением благ в зависимости от заслуг»¹⁰³.

Одним из основных способов выражения мнения населения Афин было голосование (в данном случае с помощью черепков с надписями). Однако эта процедура была присуща не только Греции. Когда Дэвис исследует зарождение демократии, он упоминает в своем обзоре Карфаген лишь в связи с войнами, не углубляясь в его политическую систему. Финикия рассматривается им еще более поверхностно. Однако население Карфагена — финикийской колонии — ежегодно избирало представителей власти, или суффетов, которые во времена Ганнибала представляли собой верховную власть. Некоторые авторы считают этот термин синонимом слов «басилевс» или «рекс», другие возводят этот институт к Риму, однако семитологи указывают, что в V веке до н.э. в Тире у власти

¹⁰³ По поводу еще более примитивно организованных обществ см.: *Barnard* (2004).

находились одновременно два суффета¹⁰⁴. «Некоторые предлагают связать постоянный институт ежегодно избираемых суфетов в Карфагене с “демократической революцией”, которая, как считалось, произошла в городе в результате 1-й Пунической войны» — эта гипотеза обязана своим возникновением древнегреческому историку Полибию (205–123 до н.э.), попавшему в Рим пленником и участвовавшему в разгроме Карфагена Сципионом в 146 году до н.э. Он писал: «В Карфагене голос народа был главнейшим при рассмотрении дел, тогда как в Риме сенат обладал всей полнотой власти. Для карфагенян главным было мнение большинства людей, а для римлян — лишь мнение лучших граждан»¹⁰⁵. Иными словами, вариант представительной демократии в виде народного собрания периодически существовал не только в Карфагене, но и в Азии, в финикийском Тире.

Фактически, было бы правильным сравнивать политические институты Греции с аналогичными западносемитскими институтами Финикии, помимо всего прочего, в связи со сходными географическими условиями этих регионов. Оба региона были «изломанными, географически расчлененными территориями без центральных организующих осей»¹⁰⁶, в Финикии Ливанские горы, заросшие лесами, спускались к морю, в Греции берега были покрыты холмами с узкими долинами между ними. В обоих случаях население больше обращало свои взоры в сторону моря, чем суши. Эти условия соответствовали «свободному миру многочисленных небольших городов-государств», которые часто противопоставлялись «восточным военно-бюрократическим деспотиям Египта и Месопотамии». Но такое противопоставление не вполне корректно, как отмечает Астор, поскольку Месопотамия начинала именно с небольших городов-государств, «и сильные пережитки автономии крупных городов существовали даже в действительно деспотической второй Ассирийской империи. Но даже Ассирия на ранних этапах своего развития была городом-государством почти республиканского типа»¹⁰⁷. В некоторых случаях представители власти назначались на год и при этом избирались из числа наиболее состоятельных граждан¹⁰⁸. Чайдл характеризует эти древ-

¹⁰⁴ См.: *Lancel* (1997). P. 118.

¹⁰⁵ *Polybius*. VI, 51; *Lancel* (1997). P. 118. К сожалению, большая часть архива Полибия была утеряна.

¹⁰⁶ *Astour* (1967). P. 358.

¹⁰⁷ *Ibid*. P. 359, n. i.

¹⁰⁸ См.: *Oppenheim* (1964).

ние города-государства Месопотамии как «примитивные демократии». Следовательно, не существует четких различий между «восточным деспотизмом» и «полисной демократией» Греции или Финикии. По поводу Месопотамии, где было много городов-государств, Адамс пишет: «Сорок лет спустя его преемник на царствовании в Уруке все еще был ограничен необходимостью принимать решения, связанные с военными действиями, совместно с советом»¹⁰⁹. В этом сходстве Астор видит основу древних семитских колоний на территории Греции, а после — для греческих колоний на финикийском берегу.

Я бы предположил, что стремление к определенной форме представительства, желание, чтобы твой голос был услышан, является неотъемлемо присущим человеку, хотя часто авторитарные голоса элиты выступают против этой практики и на протяжении долгого времени могут превалировать над всеми остальными. Действительно, Финли¹¹⁰ предполагает, что даже в современном мире многие представительные демократии становятся скорее институтами, служащими поддержанию власти элиты; в результате все большей профессионализации политиков, ежегодные выборы которых по карфагенской модели могут привести к сопротивлению¹¹¹; в нынешних моделях не хватает большей оборачиваемости, больших возможностей для отзыва политиков, большего участия граждан.

Вторым важным аспектом политики, традиционно считающимся унаследованным от Греции, является «свобода»; признак, часто ассоциируемый с ясной и индивидуалистической идеологией греков, хотя они, как и римляне, широко использовали рабский труд. Данная форма зависимости сохранялась в Европе и позже, несмотря на периодически провозглашаемую приверженность свободе; в самом деле, во времена Каролингов рабы составляли важную часть

¹⁰⁹ Adams (1966). P. 140.

¹¹⁰ См.: Finley (1970).

¹¹¹ Изучение и верное понимание Карфагена, в отличие от «классических» европейских обществ, ограничены в связи с недостатком документальных свидетельств. Это стало результатом разрушения или перемещения библиотек (см.: Lancel (1997). P. 358–359). Аристотель также «восхваляет демократические принципы Карфагена» (Fantar (1995)), где избираемый сенат имел множество полномочий, включая право объявления войны, а народное собрание избирало высших должностных лиц государства (суфетов) сроком на один год. Фантар пишет, что Карфаген был «глубоко демократическим, дающим предпочтение коллегиальным структурам» (p. 57). Личная власть там не одобрялась, тирания осуждалась; уважением пользовалась власть законов, признавались личные права граждан, так что слово «свобода» вполне подходит к данному случаю.

экспорта континента. Различные формы рабского труда существовали, фактически, до Промышленной революции, результаты которой, правда, нередко также характеризуют как «капиталистическое рабство», поскольку большинство людей в результате так и не имели прямого доступа к средствам производства и, таким образом, вынуждены были наниматься на работу. Итак, «свобода» более сложное понятие, чем думают многие. И, как заметил Исайя Берлин, следует провести разграничение между негативной и позитивной концепцией свободы, то есть между свободой от подавления и насилия, рассматриваемой как позитивный фактор, и свободой самореализации во всех проявлениях, которая легко превращается в оправдание насилия по отношению к другим¹¹².

Несмотря на эти очевидные упущения, понятие «свобода» как сугубо европейский атрибут, унаследованный от греков, возвращается снова и снова. Размышляя о том, почему исламские общества не смогли «модернизироваться», Льюис перебирает множество альтернативных ответов на вопрос: «Что пошло не так?», перепрыгивая от фундаментализма к отсутствию демократии. Сам он склоняется к «недостатку свободы — свободы мысли от давления и идеологической обработки, дающей возможность задавать вопросы, искать ответы и говорить; свободы экономики от всеобъемлющего и коррумпированного управления; свободы женщин от мужского шовинизма; свободы граждан от тирании»¹¹³. Хотя фактически свобода часто считалась монополией Запада, но в столь широком контексте подобное толкование данного понятия имеет мало смысла. Свобода мысли означает секуляризацию, которая определенно является одним из факторов появления новых знаний и новых решений. Если кто-то отвергает или видоизменяет ответы, предлагаемые религией, тот неизбежно открывает для остальных новые возможности. Но для многих такое решение является проблемой, поэтому люди могут просто стремиться к тому, чтобы ограничить область действия религии, но не расчищать путь к полномасштабной секуляризации. Однако, что касается вопроса Льюиса, Ближний Восток отставал в «революции познания», влияющей на «интеллектуальные операции», о которых он говорит как о показателях свободы. Как я предположил, частично это было связано с отсутствием печатного станка, который мог бы стать инструментом распространения информации, как и Промышленная революция с ее ростом торговых сетей (атлан-

¹¹² См.: *Berlin* (1958); *Finley* (1985). P. 6.

¹¹³ *Lewis* (2002). P. 177.

тических и тихоокеанских), — она и предшествовала «революции познания», и следовала за ней. С появлением новых атлантических морских портов, связавших Западную Европу с остальным миром, все каналы обмена проходили мимо Ближнего Востока. Это были более конкретные специфические факторы, приводящие к свободам, о которых говорил Льюис.

Кроме того, свобода — это относительная, а не абсолютная концепция. Свобода для шиитов Ирана не означает свободы для суннитов, курдов или других меньшинств; она определяется лишь применительно к большинству более или менее произвольно выбранного электората, тогда как «демократия» в какой бы то ни было форме выступает одним из аспектов «свободы» для многих. Электоральные процедуры могут работать, когда люди голосуют за ту или иную политику; там же, где референтная группа изначально выбирается исходя из этнической или религиозной принадлежности, они вряд ли могут быть названы репрезентативными. Свобода одной группы означает зависимое положение другой. Не могло быть никакой свободы для аборигенов Австралии или коренного населения Соединенных Штатов. Свобода для них могла бы выглядеть как поражение большинства, состоявшего из завоевателей, что вряд ли поддержали бы ярые приверженцы «всеобщей свободы».

Финли настаивает, что свобода является оборотной стороной рабства. Согласно его парадоксальному утверждению, рабство связано со свободой.

«Хорошо известно, что греки “изобрели” как саму идею личной свободы, так и институты, позволяющие ее реализовать. Догреческий мир — мир шумеров, вавилонян, египтян и ассирийцев (я не могу удержаться и не добавить также микенцев) был, в некотором глубоком смысле, миром, в котором не было свободных людей, в том смысле, в котором Запад воспринимает концепцию свободы... Одним из аспектов греческой истории стало *одновременное* развитие свободы и института рабства»¹¹⁴.

Некоторые историки тоже пытались связать достижения античного мира и его специфику с использованием рабского труда, то есть с рабовладельческим способом производства, если пользоваться марксистской терминологией. Действительно, полный контроль над рабочей силой предоставлял возможность для сооружения колоссальных

¹¹⁴ Finley (1960). P. 164.

зданий, которыми отмечено то время. Но и другие формы организации труда приводили к аналогичным результатам. В любом случае неясна степень распространения рабского труда, часто зависевшая от завоеваний. Множество видов деятельности в античном мире осуществлялось посредством других форм организации труда; некоторые из них представляли собой вариации, незначительно отличающиеся от рабства как такового. Определенно у нас нет четкого представления о сравнительном уровне использования рабского труда в различных цивилизациях бронзового века. Иногда высказывалось мнение, что, хотя рабство и существовало во всех этих цивилизациях, «доминировало» оно только в античном мире. Однако доминирование, как отмечает Лав, сложная для употребления концепция¹¹⁵. Конечно, рабство было широко распространено — главным образом в результате агрессивной военной политики государств и их торговых успехов. Но и другие формы организации труда также имели большое значение, особенно в городском и ремесленном секторах. Проблему рабства на древнем Ближнем Востоке рассматривает Адамс¹¹⁶. Относительно Финли он заключает: «В этом свете противоречия между советскими историками экономики, характеризующими древние общества как “рабовладельческие”, и западными специалистами, настаивающими на сравнительно небольших масштабах распространения рабства, в некоторых отношениях становятся больше вопросом терминологии, чем содержания». Характеристика «рабовладельческих обществ» определяется тем, что рабовладение являлось, например, «доминирующим» институтом античных времен, тогда как в Месопотамии его уровень был незначительным¹¹⁷. Масштабы распространения рабства крайне важны, классическое рабство Средиземноморского региона не было уникальным институтом, но и его повсеместное существование может быть преувеличено. Концепция «свободы» определенно не зависит от конкретных цифр.

Говоря о центральном месте рабовладения в социальной жизни античной Греции («это был основной элемент греческой цивилизации»¹¹⁸), Финли признает также наличие множества других типов организации труда, вносивших значительный вклад в формирование рабочей силы. В сельской местности мелкие держатели земли

¹¹⁵ См.: Love (1991).

¹¹⁶ Adams (1966). P. 103–104.

¹¹⁷ Ibid. P. 96.

¹¹⁸ Finley (1960). P. 69.

нанимались на временную работу, особенно на время уборки урожая; это было «нечто среднее между свободным и рабским трудом»¹¹⁹. В городах имелось еще более широкое поле для временной работы. Однако «наиболее развитые города-государства Греции» с большей вероятностью характеризовались «истинным рабовладением». Вместе с тем, несмотря на центральное место, занимаемое рабовладением в Греции, рабство определенно не было единственным или даже основным источником рабочей силы — как в сельском хозяйстве, так и где бы то ни было еще¹²⁰. Неясно также, насколько эта мера свободы применима к любым другим обществам; нерабский труд совершенно точно существовал в Месопотамии.

Альтернативная точка зрения связана с недоумением по поводу позиции Финли, который считает, что Античность отличается от великих ближневосточных цивилизаций бронзового века, в частности, отсутствием ирригационного земледелия, а также тем, что греки «открыли личную свободу» и одновременно — рабство. Чайлд тоже рассматривает греческую философию железного века как решающую вопрос о взаимоотношении индивида и общества (подобно индийской философии), что, говоря более конкретно, было личными размышлениями людей, свободных от полной зависимости от своей группы благодаря появлению железных орудий труда и чеканки монет¹²¹. Однако более осторожно он замечает, что подобные размышления появились у людей еще в палеолите, так что понятия свободы и личности не являются уникальными для Греции. Это выглядит совершенно верным.

Финли справедливо «озабочен языком, используемым для описания этих статусов», и именно в подобном контексте он и другие («хорошо известно») могут говорить об «изобретении» свободы. Он доказывает свою точку зрения заявлением, что ни ближневосточные, ни дальневосточные языки (включая иврит) не содержат слова, означающего «свобода» (*eleutheria* по-гречески, *libertas* на латыни). Поскольку институты, приближающиеся к рабовладению, существовали во всех упоминаемых Финли обществах, независимо от того, можно ли было считать их «основными» или «доминирующими», кажется невероятным, чтобы в этих обществах не было никакого призна-

¹¹⁹ Ibid. P. 155.

¹²⁰ «Рабовладельческое общество» Берналь воспринимает как возникшее в то время, когда «народы-мореплаватели» вторгались на левантийский берег, что привело к замене городов бронзового века (с монархической системой правления, однако ведущих торговлю) на города, возникающие вокруг храма (см.: Bernal (1991). P. 8).

¹²¹ См.: Childe (1964). P. 224.

ния различия между рабским статусом и его отсутствием, даже если в языке и не существовало единого слова, обозначающего это различие. В обществах, с которыми я работал в Северной Гане, существовало рабство, и в языке этих народов тоже не было специального слова, обозначающего статус свободного человека. Тем не менее они не испытывали никаких сложностей с тем, чтобы провести границу между «рабом» (или «заложником») и другими людьми. В самом деле, если человек не является рабом (*gbangbaa*), предполагается, что он является свободным, а это не нуждается в специфических обозначениях.

Третьим вкладом, который Античность предположительно внесла в политику, было установление власти законов — признак, преимущественно ассоциируемый с римской традицией. Действительно, римляне разработали кодекс писаного права, как это делали и другие общества, знакомые с грамотностью. Но было бы крайне ошибочным считать, что устные культуры не управляются законом в широком смысле этого слова, как показали Малиновский¹²² и бесчисленные антропологи, в особенности Глюкман в его подробном исследовании права среди баротсе* (лози)¹²³. Действительно, понятие «власть закона» интерпретировалось носителями письменных культур слишком узко. Законы нуэр, тсвана и многих других племен были в итоге записаны; устные законы часто входили в письменные кодексы новых наций, сформированных на основе племен. Правда, недавние события в Африке к югу от Сахары могут создать впечатление, что на этом континенте законы соблюдаются недостаточно. Однако аналогичные выводы можно сделать и из недавних событий в Ираке, на Балканах, в Восточной Европе — а временами и в Западной. Военное вмешательство, где бы оно ни происходило, противоположно власти закона, несмотря на то что одним из результатов таких вмешательств может стать именно становление последней.

Если мы перейдем на более специальный уровень, то широко распространенное утверждение о том, что право частной собственности является изобретением римского права — или Запада, — полностью игнорирует сложный анализ юридического порядка устных культур, проведенный антропологами. Как может функционировать сельско-

¹²² См.: *Malinowski* (1947).

* Народ численностью около 1 млн человек, населяющий область Баротселенд в Замбии.

¹²³ См.: *Gluckman* (1955; 1965).

хозяйственное общество без выделения прав (не обязательно исключительных или постоянно действующих) на обрабатываемую землю? У лодага в Северной Гане, народа устной культуры, не имеющего дефицита угодий для обработки, границы участков обозначаются очень ясно с помощью камней, часто с нарисованными на них черными крестами, предупреждающими об опасности (в основном мистической), могущей угрожать за вторжение на чужую землю. Споры о границах, пусть и непостоянных, определенно происходят в этой культуре, как и в любой, предполагающей соседские отношения. Они часто разрешаются с помощью признанных юридических процедур, собраний общины, посредников или угроз насилием. Более сложные письменные культуры, конечно, имеют собственные методы, включающие записи и документы, что и было обнаружено в обществах, относящихся к позднему бронзовому веку. Записанные «договоры» использовались в Китае как «документированные декларации», например на передачу земли, и были известны начиная с периода Тан. Один тайваньский документ XIX века начинается так: «Исполнитель данного договора об окончательной продаже сухой пахотной земли...»¹²⁴ Продавец сообщает, что он спрашивал своих ближайших родственников, хотят ли они купить эту землю, получил отрицательный ответ и продолжает процесс продажи, «поскольку моя мать нуждается в деньгах». Сделка зафиксирована в письменном виде, «потому что мы опасаемся, что наше устное соглашение не будет надежным». Это подтверждает возможность передачи прав на землю в устной форме, без использования процедуры записи, однако такая сделка была бы менее определенной.

Идея отсутствия подобных прав до появления в Европе римского права поддерживалась многими историками. Например, Вебер сначала предполагал, следуя за своим учителем Моммзеном, что изначальное состояние человека было, «в сущности, общественным»¹²⁵; так же считал и Маркс. Но одно дело — принимать такие допущения историкам XIX века и совсем другое — практикам века двадцатого. Раньше ученые испытывали нехватку источников и, следовательно, могли иметь воображаемые представления о прошлом. Позже историки получили в свое распоряжение множество исследований, посвященных недавно существовавшим обществам с отчасти сходной политической экономией. Они демонстрируют обоснованность понятия Мейна об иерархии прав на землю, иногда

¹²⁴ *Cohen* (2004). P. 41.

¹²⁵ См.: *Love* (1991). P. 15.

привязанной к личностям, иногда — к отдельным группам. Предложенная им градация обходится без более ранних дихотомий индивидуального и общественного — категорий, недостаточно адекватных для характеристик землевладельческих обществ в прошлом и настоящем. Дописьменные общества тоже имели иерархию прав, включая категории прав, которые можно грубо обозначить как индивидуальные и коллективные¹²⁶. Разумеется, существуют очевидные методологические опасности при сравнении юридических соглашений Античности с результатом комплексного исследования почти современных дописанных юридических систем, например такого, которое Глюкман провел в Замбии, используя значительную доказательную базу. Но такую процедуру, очевидно, имеет смысл предпочесть обобщенному допущению некой «общественной фазы», относящемуся скорее к области мифов, чем к истории. Пренебрежение альтернативными «источниками» отчасти является следствием невежества, а также взаимной изолированности соответствующих дисциплин и способствует формированию неполной исторической картины.

Религия и «Черные Афины»

Частичное решение общей проблемы греческой культуры предлагается учеными, которые не постулировали уникальности классического античного общества, а постарались установить связи и преемственность между эгейской цивилизацией и Ближним Востоком, в особенности связи с Египтом и Южным Левантом (в трудах Бернала) и с Месопотамией и Северным Левантом (в работах других историков). Преувеличение роли Греции и недооценка торговой деятельности и рыночной экономики названных стран оборачиваются утратой более широкого контекста греческих достижений, пренебрежением контактами с Финикией и Египтом, а также недооценкой значимости торговли этих стран в морях Восточного Средиземноморья и на Черноморском побережье. Это основа критического взгляда, высказанного Берналем в «Черных Афинах».

Принятая интерпретация культурной истории Древней Греции обозначается Берналем¹²⁷ как арийская модель, связанная с идеей

¹²⁶ По поводу общей проблемы коллективного и индивидуального, исторического и социологического, а также анализа этой дихотомии см.: *Goody* (1996a). P. 17.

¹²⁷ См.: *Bernal* (1987; 1991).

вторжения в Европу индоевропейских племен (или индо-хеттских, в его более инклюзивных категориях), которое, как считалось, повлекло за собой далеко идущие последствия; европейская история отделилась от истории соседних регионов, а также уменьшилось семитское (и афро-азиатское — к этой семье и относятся семитские языки) влияние на Восточное Средиземноморье. Эта модель преуменьшает значение связи Греции не только с Финикией, но и с Египтом, который, по мнению Берналя, внес самый большой вклад в греческую цивилизацию, что видно из заглавия его основного труда¹²⁸. Арийская модель, с точки зрения Берналя, сделала «историю Греции и ее отношений с Египтом и Левантом соответствующей видению мира, принятому в XIX веке, и конкретно — его систематическому расизму»¹²⁹. Берналь отрицает этот подход в пользу «исправленной модели Античности», то есть принимает в расчет античные сведения о финикийской и египетской колонизации Греции. Другими словами, он соглашается с тем, что на Грецию оказывали воздействие контакты со всеми странами Восточного Средиземноморья, что повлияло на ее язык, письменность и культуру в более широком смысле этого слова, как изначально предположил Геродот (отсюда «античная модель»).

Одной из проблем, связанных с позицией Берналя, является его утверждение о том, что дисбаланс в сторону арийской модели (от модели античной) появляется лишь в XIX веке, с усилением расизма и антисемитизма. Действительно, такие настроения укреплялись вслед за развитием европейского доминирования в мире, последовавшим за Промышленной революцией. Но Берналь связывает появление таких воззрений с возникновением в 1840-х годах индоевропейской филологии, в результате развития которой появилось «необыкновенное отвращение» к прослеживанию любых взаимосвязей между греческим и любыми неиндоевропейскими языками.

Однако, с моей точки зрения, тенденция к преуменьшению значения взаимосвязей с Востоком отсылает нас к более широким проблемам «корней» европоцентризма, отягченным экспансией ислама, начавшейся с VII века¹³⁰, поражениями крестоносцев и потерей христианами Византии. В то время противостояние между Европой и Азией обрело форму противостояния между христианской Европой и исламской Азией, унаследовавшими, соответственно, более

¹²⁸ См.: Ibid. P. 72.

¹²⁹ Ibid. P. 442.

¹³⁰ См.: Goody (2003b).

ранние «демократические» и «деспотические» стереотипы. Ислам воспринимался как угроза для Европы, не только военная, как это было раньше в Средиземноморье, но и как моральная и этическая; Данте определил Мухаммеда в восьмой круг Ада. На самом широком уровне этноцентризм отделяет нас от «других», позволяя таким образом самоидентифицироваться. Но при этом этноцентризм является плохим проводником по миру истории — особенно всемирной истории.

Еще одной причиной, по которой Берналь, как мне кажется, ошибается, датируя всплеск этноцентристских настроений таким поздним временем, является то, что «источником» Возрождения и гуманизма он считал классическую античную литературу. В эпоху Возрождения достижения древнегреческой и древнеримской мысли стояли выше любых прочих, обеспечивая гуманизм «значительной частью его базовой структуры и метода». Возможные связи с Ближним Востоком, семитскими и афро-азиатскими культурами были отодвинуты в сторону, как и влияние ислама, которое ко времени Возрождения так или иначе присутствовало в Европе на протяжении столетий. Античность являла собой «живительный контраст» по отношению к средневековому христианству, воплощаясь в греческих и римских авторах, произведения которых можно было прочесть.

С другой стороны, Берналь полагает, что существует достаточно параллелей, например, в религии и философии, позволяющих утверждать, что греческая религия является в основе своей египетской, заимствованной некогда в результате колонизации. Некоторые свидетельства проистекают из лингвистических сравнений, однако мой ограниченный опыт в сфере африканской филологии убеждает, что такие сравнения часто являются слишком малозначительными и рискованными, чтобы сформировать основу для глубоких выводов в сфере истории культуры. В любом случае религии испытывали постоянные инновации и спады, периоды устаревания и возрождения, что делает их неудобным материалом для проследивания заимствований, например как в случае с «культом быка», которому Берналь уделяет большое внимание. Любое общество, занимающееся скотоводством, с высокой вероятностью будет иметь подобный культ; все такие культы время от времени деградировали, а потом могли заменяться новыми. Поэтому я бы предположил, что в значительной степени в Греции происходило то, что антропологи называют «независимым открытием» в сфере культа, и думаю, что такая гипотеза вполне допустима. Это не происходит повсеместно; влияние египетских иероглифов на минойское письмо считается

общепризнанным, как и влияние египетских колонн на греческую архитектуру. Но возникновение религиозных культов часто происходит независимо.

Разумеется, взаимовлияние происходит в обоих направлениях. Египет испытывал влияние в связи с постоянными коммуникациями с Левантом и наймом солдат и моряков из этого региона. Во время гиксосского периода страной правили иноземцы, избравшие резиденцией Аварис (совр. Телль-эль-Даба) в дельте Нила; они проводили активную политику, торговали с Азией, имели открытый доступ к добыче бирюзы в Серабит эль-Хадим и вели торговлю с помощью караванов. В это время Египет испытывал недостаток морского флота и мог приветствовать защиту со стороны минойцев¹³¹. Большая часть керамики импортировалась; в Аварисе были найдены фрагменты минойской росписи стен, напоминающей стенные росписи Акрополи на острове Тира (Санторин)¹³². В этот период «контакты между Кноссом и Дельтой были более глубокими... чем раньше»¹³³.

Тема возможного вклада Древнего Египта в становление религий Евразии рассматривалась Фрейдом в монографии «Моисей и монотеизм» (1939). В ней он определенно заявил, что Моисей был египтянином, чей монотеизм восходил к «фараону-еретику» Эхнатону. Я не могу судить о вероятности подобного влияния. Однако я бы добавил, что возможность перехода к монотеизму и обратно (что, по мнению некоторых протестантов, происходило с христианством) является постоянной для множества человеческих обществ благодаря мифу о сотворении мира, в котором подчеркивается уникальность процесса сотворения. Одна из причин такой возможности состоит в том, что акт Творения рассматривается как уникальный (часто осуществляемый Богом-Творцом), тогда как менее значительные божества распространялись позже и воспринимались как посредники.

Фрейд утверждал, что «власть в империи фараона была внешней причиной появления монотеистической идеи»¹³⁴. Политическая централизация привела к централизации религиозной. Однако многие миссионеры и антропологи отмечают в примитивных культурах если не наличие монотеизма, то, по крайней мере, существование Верховного Божества, Бога-Творца, создавшего других, менее значительных божеств. В Африке таким божеством стал *deus otiosus* (бог

¹³¹ См.: *Beitak* (2000). P. 40.

¹³² См.: *Davies and Schofield* (1995); *Sherrant* (2000).

¹³³ *Warren P.* Minoan Crete and Pharaonic Egypt // *Davies and Schofield* (1995). P. 8.

¹³⁴ *Freud* (1964 [1939]). P. 108.

отдыхающий). Поклонялись ему нечасто, однако тот факт, что он создал мир, предусматривает возможность его нового активного проявления. В этом контексте нетрудно понять появление моно-теизма.

Несмотря на некоторые спорные моменты, у меня нет сомнений в правильности основных положений Берналя:

- а) в отмеченном пренебрежении значительную роль сыграли «расистские» факторы. (Но я считаю, что эти факторы имеют гораздо более долгую историю, чем предполагает Берналь, и связаны они с идеями не только расового, но и культурного превосходства);
- б) взаимосвязи Древней Греции и Ближнего Востока существенно игнорировались; маргинализация Финикии и Карфагена является очевидным примером этого процесса. Религия Карфагена формировалась под влиянием как Греции, так и Египта.

Берналь не единственный, кто пытался установить большую общность между различными обществами Средиземноморья, чем это признавалось обычно. Основой работ множества еврейских семитологов, в особенности Сайруса Гордона¹³⁵, было утверждение взаимосвязи между семитоязычными народами азиатского берега и греками. Гордон впервые предпринял исследование грамматики угаритского языка, анализируя этот вновь открытый семитский язык по материалам клинописных табличек, обнаруженных в городе на севере Сирии и продемонстрировавших нам древнейший семитский алфавит. Гордон предпринял попытку связать финикийское поселение Угарит с Критом и в 1955 году опубликовал монографию под названием «Гомер и Библия», где сделал вывод, что «греческая и древнееврейская цивилизации были параллельными структурами, построенными на одном и том же средиземноморском фундаменте»¹³⁶. Для многих в то время такая идея выглядела еретической. Однако со времен Второй мировой войны отношение к отрицавшемуся ранее финикийскому влиянию на Грецию изменилось. Более приемлемой стала мысль о том, что финикийские поселения располагались не только на островах, но и в Фивах, то есть на материке¹³⁷; так что сейчас считается, что начало влияния на Грецию железного века можно датировать X столетием до н.э.

¹³⁵ См. также исследования его коллег: *Astour* (1967); *Ward* (1971).

¹³⁶ *Bernal* (1987). P. 416.

¹³⁷ См.: *Bernal* (1991). P. 6.

Финикийцы путешествовали по всему Средиземноморью. Они жили по берегам и постоянно искали возможности для международной торговли (особенно в сфере металлов), а также развивали письменность, основанную на алфавите и обеспечивавшую самый простой способ фиксирования сделок. Хорошо видно, как финикийцы начали торговать деревом и металлами. Горы Ливана фактически спускались к морю — от Сидона и севернее. Даже Тир располагал лишь небольшой прибрежной полосой свободной земли. Таким образом, ливанские кедры выменивались у египтян на постройку кораблей (древесины в Египте не было), а в Израиле строили храмы в обмен на пшеницу. Финикийцы плавали по всему Средиземноморью — в Карфаген, Кадис и даже в Корнуолл — в поисках металлов, а в два последних места — за оловом, использовавшимся для изготовления бронзы. Одним из результатов этих странствий стал Карфаген — крупная колония на территории нынешнего Туниса. Говорят даже, что финикийцы возглавили египетскую морскую экспедицию вокруг Азии около 600 года до н.э. В любом случае они были великими мореплавателями и богатыми торговцами, известными не только на побережье Эгейского моря, но и по всему Средиземноморью. Пока ученые XIX века, такие, как Белох, решительно отрицали присутствие финикийцев в Эгейском море до VIII века до н.э., археологические свидетельства указывали на «процветающие торговые отношения между Эгейским миром и восточносредиземноморским берегом во II тысячелетии [до н.э.]», а также в минойский и микенский периоды¹³⁸. Действительно, Джидеджан заявляет, что миф о Кадме «отражает проникновение древних семитских народов в материковую Грецию»¹³⁹. Согласно Геродоту, Кадм, сын царя Тира, посланный на поиски своей сестры Европы, в конце концов основал греческий город Фивы. Именно этот Кадм-финикиец принес алфавит в греческую область Беотию; существуют истории о наличии финикийских поселений на Родосе и в других местах; согласно мифам, Кадм основал династию, к которой принадлежал Эдип. Следовательно, финикийцы имели многочисленные международные контакты и оказывали влияние на другие народы не только в рамках Ближнего Востока, но и по всему античному миру, частью которого они являлись.

В исследованиях большинства историков, занимающихся этим периодом, сосредоточение на Греции и Риме обернулось не только

¹³⁸ См.: *Jidejian* (1996). P. 66.

¹³⁹ По поводу тщательной оценки взаимосвязей между Египтом и Эгейским морем между 2200 и 1900 годами до н.э. см.: *Ward* (1971), особенно p. 119ff.

преуменьшением значения вклада Финикии в возникновение алфавита (за 750 лет до появления греческого алфавита здесь был изобретен алфавит на основе согласных), как и достижений семитских языков в области грамотности, но и принижением исторической роли Карфагена, бывшего сначала финикийской торговой колонией, а позже ставшего крупной державой Западного Средиземноморья, вытеснением его «на задворки истории». И не просто вытеснением, но принижением вплоть до «варварского» статуса — отчасти из-за того, что римские источники утверждали, будто в Карфагене совершались жертвоприношения детей (по сомнительным свидетельствам). В любом случае неясно, почему это считалось более варварским, чем множество ситуаций, описанных в Ветхом Завете, — таких, как жертвоприношение Исаака, или чем оставление незаконнорожденных детей на верную смерть, принятое в Риме, или чем некоторые практики, применяемые в Спарте, понимаемые, однако, как воспитание дисциплины. Ясно, что высокоразвитая цивилизация, соперница и предшественница Древнего Рима, была исключена из Античности примерно так же, как и общества Ближнего Востока, несмотря на то, что она была современной и во многом аналогичной греческой, а позже и римской, начиная с V века до н.э., когда разрозненные «эмпории» были объединены.

Одной из проблем, касающихся нашего знания о вкладе Карфагена и Финикии в культуру Средиземноморья, является то, что мы располагаем очень небольшим количеством финикийских письменных источников. Финикийцы, очевидно, вели записи разных видов, с тех пор как изобрели алфавит. Кроме того, Иосиф Флавий позже писал, что «среди народов, общавшихся с греками, именно финикийцы больше всего использовали письменность как для записи событий, связанных с жизнью, так и для запоминания значимых событий». Далее он комментирует, что «долгие годы люди Тира имели общественные архивы, собранные и тщательно хранимые государством, — о памятных событиях их истории и об отношениях с другими народами»¹⁴⁰. Ни один из этих документов не сохранился до наших дней, возможно, потому, что они могли быть записаны на непрочном папирусе, импортируемом из Египта, а не на более долговечных клинописных табличках. Примеры финикийского письма, в основном короткие, были обнаружены во всех прибрежных городах, однако в других местах их обнаружено мало или вообще не найдено, если мы только не расширим горизонты наших исследований до источников, связанных с иудаизмом.

¹⁴⁰ Bernal (1991). P. 6.

Вот почему, несмотря на значительное место, занимаемое финикийцами в античном мире, они не оставили богатого литературного или художественного наследия, аналогичного греческому или римскому. Что касается литературного наследия, то библиотеки Карфагена или были уничтожены во время разрушения города римлянами в 146 году до н.э., или исчезли после этого. Существуют данные о достижениях финикийцев в области сельского хозяйства, о применении ими прогрессивных для того времени методов земледелия; стоит упомянуть, что финикийская книга, посвященная этому вопросу, была переведена на латынь.

Таким образом, принижение роли семитов в Восточном Средиземноморье противоречит свидетельствам о широком присутствии финикийцев, осваивавших моря в этом регионе. Финикийцы населяли множество известных городов-государств (согласно описаниям) по левантийскому побережью (в основном на территории современного Ливана), простиравшихся от Акры в Израиле/Палестине до Угарита в Сирии.

Вывод: Античность и дихотомия Европа–Азия

Не только сами греки определяли себя как «отличных от других» — эту точку зрения разделяло и позднейшее население Европы. Что же историки Античности, такие, как Финли, считали движущей силой предполагаемого отделения Греции от остального Ближнего Востока, с которым у нее происходил активный обмен товарами и идеями? Предполагаемые политические различия вряд ли сами по себе являются достаточными. Какими бы ни были специфические характеристики античного мира, в оценках исследователей не хватает информации о том, как и почему дороги Европы и Средиземноморья после бронзового века расходятся так, что в результате возникает определенный (возможно, прогрессивный) тип организации общества и способ производства. Достижения греков в таких сферах, как система познания, скульптура, драматическое искусство, поэзия, были чрезвычайно значительными, но я уже выразил свои сомнения относительно существования у них специфического общественного устройства. Преобладание рабовладения было отмечено многими исследователями как ключевое отличие античных обществ. Такая организация труда, как я показал, имела как преимущества, так и недостатки применительно к развитию культуры и экономики. В любом

случае в данном аспекте, возможно, не отмечалось такого колоссального различия между западным и восточным образом жизни, как можно было бы предположить, исходя из дихотомии между античной и азиатской моделями. Использование рабского труда могло быть весьма широким, но при этом технические различия в средствах производства, вероятно, были незначительными. В античном обществе важные последствия имели широкое использование и повсеместная доступность железа — более дешевого металла, чем бронза или олово, но это касалось всех обществ в данном регионе¹⁴¹. Любые другие успехи, особенно в гидротехнике и развитии сельскохозяйственных культур, были тесно связаны с предшествующими им достижениями. На этом уровне контраст заметно меньше, чем допускают большинство историков.

Сама идея того, что нечто, возникшее на Востоке, следует считать «азиатской исключительностью», а «нормальной» является именно западная последовательность событий, базируется на безосновательном допущении европейцев (отражающем преимущественное положение Европы в XIX веке), согласно которому существует единственная дорога человечества — по направлению к «капитализму». Эта идея возникает в контексте объединения понятия капитализма в широком смысле, в котором этот термин часто использовал Бродель, с развитием промышленного производства, — гораздо более специфической экономической категорией, зачастую определяемой как «инвестирование в производство» (хотя данный фактор является общим для всех обществ, даже сельскохозяйственных). Но, если в XIX веке Западная Европа сама стала «исключением», неочевидно, что ранее она как-то заметно отличалась от других значительных цивилизаций, за исключением достижений эры Великих географических открытий, возможно связанной с техническим преимуществом в сфере «пушек и кораблей», а также с распространением книгопечатания, уже давно известного в Китае, и адаптацией его к буквенному шрифту с использованием съёмных печатных форм. Эти достижения способствовали ускорению накопления и распространения информации — преимуществу, плоды которого уже давно пожинали китайская и арабская цивилизации благодаря использованию бумаги и своему первенству в книгопечатании.

Разграничение античного и азиатского путей развития после бронзового века порождает проблему, связанную с объяснением различия между ними. В то же время оно отбрасывает вопрос проис-

¹⁴¹ См.: *Childe* (1964). Ch. 9.

хождения капитализма назад, к предполагаемым корням европейской культуры. Ведь согласно многим исследователям, Европа вступила на путь этого развития уже в Античности, тогда как Азия «сбилась с пути». До недавнего времени так считали большинство «гуманистов», рассматривавших европейскую культуру как выросшую уникальным образом из достижений Древней Греции и Древнего Рима. Эти достижения были отнесены на счет «греческого гения», как сделал, например, Буркхардт в манере, которую сложно расценивать с точки зрения обычной истории или социологии. Иногда их рассматривали в связи с изобретением алфавита, пренебрегая азиатскими (семитскими) корнями систематической фонетической транскрипции, как и значительными достижениями других систем письменности¹⁴². Иногда греческая наука (или логика) наделяется уникальным статусом с точки зрения последующих достижений — положение, по-видимому опровергнутое энциклопедическим трудом Нидэма «Наука и цивилизация в Китае»^{143, 144}. Каждый из названных факторов в какой-то степени относится к средствам коммуникации, внесшим вклад в дальнейшее развитие с эпохи Возрождения; но до этого периода сложно говорить о резком различии уровней развития на Западе и Востоке, в Европе и Азии. В самом деле, многие согласятся с тем, что до этого времени культурный и экономический багаж, накопленный в разных частях света, различался не так уж сильно и что рыночный «капитализм», городская культура и научная деятельность были представлены по всему миру примерно в равной степени.

¹⁴² См.: *Goody* (1977).

¹⁴³ См.: *Needham*. *Science and Civilization in China* (1954). Это не вполне вывод Нидэма, поскольку он склонен считать «современную науку» возникшей исключительно на Западе по причинам, восходящим к грекам. В последней главе я комментирую это предположение.

¹⁴⁴ Эта тема была тщательно раскрыта G.E.R. Lloyd (1979) с несколько иной точки зрения.

Глава 3. Феодализм: переход к капитализму или крах Европы и преобладание Азии?

Слово «феодализм» используется в самых различных контекстах. Часто в обыденной речи его употребляют, говоря о любой иерархической структуре, в которую нельзя попасть путем избрания или иных достижений, — такова была, например, изначальная палата лордов. Если говорить на более профессиональном языке, то вслед за Стрейером мы должны видеть следующие различия в употреблении термина: «Одна группа ученых использует это слово для описания специальных соглашений, в результате которых вассалы становятся зависимыми от сеньоров, а земельная собственность (с соответствующими экономическими выгодами) преобразуется в систему зависимого держания фьефов. Другая группа ученых использует термин “феодализм” как обобщающее понятие, включающее все основные формы социальной и политической организации в Средние века»¹. В предисловии к работе Марка Блока «Феодальное общество» Постан проводит схожее разграничение между англосаксонскими историками, говорящими о фьефах, получаемых за военную службу, и советскими учеными, акцентирующими внимание на классовой борьбе и эксплуатации крестьян землевладельцами. Как и Блок, Постан предпочитает последний подход². Здесь я использую этот термин для обозначения периода, который последовал в Европе за классической Античностью.

¹ *Strayer* (1956). P. 15.

² См.: *Postan M.*, предисловие к кн.: *Bloch* (1961).

Переход от Античности к феодализму

С западной точки зрения феодализм часто рассматривался как переходная фаза на пути к капитализму, «прогрессивный» этап развития Запада, фаза, которой другие общества не смогли достичь сходным образом. Его отсутствие, как и отсутствие Античности, исключает подобные общества из движения по «пути модернизации». Однако в этот период проявляется очень немногое из того, что позднее определено будет присуще распространению торгового и зарождению промышленного капитализма, за исключением разве того, что за фазой упадка и регресса иногда следуют более ярко выраженные инновации, как мы уже показали применительно к «темным векам» в Греции, — здесь вступает в силу так называемое преимущество отсталости. Наследником Римской империи стал скорее Константинополь, а не Меровинги и Каролинги. «Рассматриваемый как часть мировой истории, Запад был “ужат” до забытого угла мира, тогда как центр теперь располагался в Восточном Средиземноморье, а именно в Византийской империи, а позже и в арабских странах»³. В действительности же этот центр находился еще восточнее.

В противовес мнению, что феодализм был чем-то исключительным, почти во всех культурах, пришедших на смену эпохе бронзы, существовали крупные земельные владения. Более того, на Востоке продолжали развиваться городские культуры — с некоторыми паузами, но отнюдь не настолько значительными, как на Западе, который в этом отношении дает основания для утверждения как раз о «западной исключительности». Упадок не распространялся на Восточное Средиземноморье, где города и городская культура, например в Константинополе и Александрии, во многих отношениях продолжали развивать достигнутое ранее. Особенно это касалось экономических достижений, поскольку города оставались центрами ремесла, образования и торговли, особенно с Востоком.

Упадок на Западе, преемственность на Востоке

Тогда как временные рамки перехода от Античности к феодализму могут быть предметом споров, сами связанные с ним события не вы-

³ *Slicher van Bath* (1963). P. 31.

зывают сомнений. На Западе произошел, по меньшей мере, настоящий крах, поэтому важной чертой Запада стало не поступательное развитие культуры римского периода, о чем предпочитают рассуждать многие, а катастрофический упадок городских культур в связи с крахом самой империи. Политическая экономия на западе Европы всегда была более хрупкой, чем на востоке, и в меньшей степени опиралась на «городскую революцию» бронзового века. Соответственно, в условиях ослабления империи она оказалась уязвимой в еще большей степени и потерпела крах. Очевидно, что аспект коллапса, а позднее и возобновления был очень важным для европейского феодализма, а Саутхолл считает этот момент центральным для всех типов феодализма, которые он, соответственно, рассматривает как широко распространенное явление⁴.

Крах Западной Европы частично был результатом действия внешних факторов в виде варварских нашествий, а также возвышения христианства и усиления христианской власти. Но многие авторы считают его также следствием внутренних факторов, таких, как слабость (противоречия) рабовладельческого способа производства и, возможно, длительный экономический спад, начавшийся с 200 года н.э. или около того, а также обусловленное им уменьшение численности населения. В расчет принимался также процесс производства, поскольку значительное увеличение крупных поместий (латифундий), ставших практически самодостаточными, стало шагом в сторону развития феодализации. Некоторые полагают, что проблема экономического спада относилась скорее к экспортным отраслям⁵, стимулы для дальнейшего развития которых стали исчезать. Экспортируя золото в обмен на товары, римская экономика пришла к банкротству.

Об упадке социальной жизни в последний период существования Римской империи написано много⁶. Север империи страдал больше всего, особенно Британия, «где города, как и христианство, казалось,

⁴ См.: *Southhall* (1998).

⁵ См.: *Childe* (1964). P. 283.

⁶ Термин «упадок» используется здесь с учетом специфических критериев (например, уровня грамотности) и рассматривается в контексте того, что обсуждалось в главе 1, то есть отличий «поступательного движения» от «прогресса». Последний предполагает оценку, показывающую превосходство достигнутого во всех сферах общественной жизни. Концепция «поступательного движения» отвергает идею взаимозависимости всех сфер и признает, что движение происходит в некоторых направлениях, например в способах производства и коммуникации.

практически исчезли»⁷; то же происходило на Балканах, хотя в других регионах ситуация выглядела лучше, особенно на юге Испании. Даже на севере Италии три четверти из сотни муниципий дожили до 1000 года н.э. Тем не менее крах Запада рассматривался как парадигматический фактор мировой истории, а падение Античности и античных городских центров — как фактор распространения феодализма, поздние стадии которого отмечены зарождением капитализма. Признание «отдельной» истории для Запада и «другой» — для Востока и южной части Средиземноморья показывает общий ход исторических событий совершенно в другом свете.

Важно задаться вопросом о том, так ли глубоко повлияло падение Рима на восточную часть империи, как на западную. Европейские историки во многом смотрели на эти события с точки зрения Западной Европы, исключая как Восточную Европу, так и Восток в более широком смысле. Даже во времена господства Рима между востоком и западом империи существовали значительные различия. Восток был более тесно связан торговлей с Азией, с огромными римскими городами на территории Леванта — такими, как Пальмира или Аппамея, и в целом с Западной Азией. Эта разница четко обрисована в книге Андерсона «Переходы от Античности». Население западных регионов было менее диверсифицировано, урбанизация здесь была выражена меньше, а их политическая экономия не основывалась на опыте сложных цивилизаций Ближнего Востока, существовавших в Египте и Леванте. Превалировало неорошаемое земледелие, было меньше городов и торговли. Запад переживал упадок: сельские области «наступали» на территорию городов, чья активность значительно уменьшилась⁸. Большие поместья (латифундии) расширялись, включая при этом крестьян и ремесленников в рамки своей закрытой экономики. Римляне сменили основу своей экономики, начав использовать более комплексные земледельческие техники, часто организованные вокруг виллы и благодаря ей, а в некоторых аспектах — благодаря латифундии, где они базировались на экстенсивном рабском труде. Таким образом, в сельской местности западных регионов империи отмечалось некоторое развитие. Дальнейшая механизация стала возможной в связи с появлением водяного колеса, применение которого распространилось в позднеантичный период⁹.

⁷ Материалы следующего раздела впервые были представлены в лекции Тийон, прочитанной в Эксе в марте 2004 года.

⁸ См.: *Petit* (1997). P. 336.

⁹ См.: *McCormick* (2001). P. 10.

Но восток империи меньше страдал от вторжений, городская жизнь там была более активной, а крестьяне противились стремлению поселить их в латифундиях. В таких городах, как Карфаген, Афины, Константинополь, Антиохия и Александрия, продолжала развиваться система образования.

На востоке Средиземноморья, согласно Чайлду, городская жизнь продолжалась, невзирая на все изменения.

«...Большинство ремесел продолжало использовать все технические навыки и оборудование, принятые в классические и эллинистические времена. Сельское хозяйство функционировало с помощью научных методов и снабжало рынок. Бартер не в полной мере вытеснил экономику, основанную на денежных расчетах, а самообеспечение не полностью парализовало торговлю. Грамота не была забыта. Действительно, в Александрии и Византии научные и художественные тексты тщательно копировались и сохранялись. В больницах с благословения христианской церкви использовали античные медицинские знания»¹⁰.

Запад пострадал больше, однако и там выросли города с кафедральными соборами, продолжались путешествия, развивалось производство стекла и использование водяного колеса.

Существовало мнение, что процветание Римской империи зависело от взаимозависимости различных регионов в ее составе. Уорд-Перкинс оспаривает мнение Финли по поводу обособленности местных экономик, но признает, что все части империи не были уж настолько тесно связаны. Когда Рим пришел в упадок как политическая система, то же произошло и со всей экономикой, зависящей от этой системы, однако на западе и востоке бывшей империи это привело к разным результатам. Особенно показателен «V век, который был периодом роста экономического процветания на востоке и экономического спада на западе»¹¹. В 600 году н.э. ситуация в Средиземноморье чрезвычайно напоминала ситуацию в этом же регионе в доримскую эпоху, примерно в 300 году до н.э. В то время развитая экономика, основанная на торговле, была характерна для востока Средиземноморья и распространялась на Карфаген, Сицилию и Южную Италию, тогда как на западе господствовало «варварство». Отчасти такое различие обусловлено тем, что восток

¹⁰ *Childe* (1964). P. 290.

¹¹ *Ward-Perkins* (2000). P. 382.

и в какой-то степени юг были теснее интегрированы в рыночную экономику Азии. К VII веку Италия и даже Византия «выглядели совершенно иначе, чем современный им (и к этому времени арабский) Ближний Восток, где отмечалось гораздо больше свидетельств сохранения комплексной экономики и экономического процветания»¹².

Насколько сильно отличались города и рынки на Востоке? Утверждают, что города и рынки исламских стран представляли собой отдельную категорию, отличную от городов и рынков на Западе и даже от тех, что были расположены еще восточнее¹³. Можно выделить несколько общих характеристик, которые действительно отличали их, однако при всех вариантах они сталкивались со схожими проблемами, имели сходные признаки, сходную организацию скопившегося в них населения. Сторонние наблюдатели всегда были склонны гиперболизировать эти различия (которые часто были «культурными», «лежали на поверхности») и пренебрегать общими чертами (часто «структурными», имеющими глубокие корни). Возьмем ситуацию с городами. На Дальнем Востоке городская экономика описывалась как «экономика уличных разносчиков»¹⁴, на Ближнем Востоке — как «базарная», и эти варианты всегда противопоставлялись западной экономике¹⁵. Фактически, все эти способы продажи мелких товаров в городах имели структурные параллели с тем, какими были рынки, магазины и странствующие торговцы Запада. В любом случае они представляли собой лишь один аспект общей экономической картины этих различных обществ, где формы торговли, кредитования и инвестирования гораздо больше похожи на европейские. Это же верно и для городов, которые могли быть обнесены стенами или не иметь таковых; где улицы, населенные ремесленниками одной «профессии», могли присутствовать или отсутствовать; где богатые и бедные могли жить бок о бок или отдельно друг от друга, — все это важные, но не определяющие факторы роста экономики; города существовали и развивались в разных обстоятельствах.

Запад потерял связь с этими достижениями; с IV века постепенная утрата знания греческого языка «отрезала» его от Константинополя вплоть до эпохи Возрождения. Падение Римской империи

¹² Ibid. P. 360.

¹³ См.: *Goitein* (1999).

¹⁴ См.: *van Leur* (1955).

¹⁵ См.: *Geerts* (1979); *Weiss and Westerman* (1998).

сопровождалось ростом и развитием христианства, значительно повлиявшего на художественную культуру и интеллектуальную жизнь. Как и в других монотеистических религиях, христианская церковь изначально выступала против многих видов искусства — особенно театра, скульптуры, светской живописи. Догматические верования обретали все больший размах и это вело к сокращению пространства для интеллектуального поиска. Мы знаем, что на западе империи Юстиниан не одобрял преподавания философии, которая стала объектом нападков со стороны последователей христианства, поскольку поднимала вопросы о сотворенности мира, связи между «человеческим» и «божественным», — то есть затрагивала проблемы, в отношении которых религия уже провозгласила свое авторитетное мнение. Во многих случаях следствием стало уменьшение знаний. В числе сфер, где это определенно произошло, оказалась медицина, поскольку вскрытие и препарирование человеческого тела («созданного по образу Божьему») были теперь запрещены.

В первые века христианской эры в Риме уже появились образованные медики, одним из которых был Гален — наследник великой традиции эллинистической медицинской школы в Александрии, где Герофил практиковал анатомическое препарирование. Однако к тому времени вскрытие человеческого тела стало незаконным, и Гален был принужден продолжать свои исследования на животных. После падения Рима образование перестало высоко цениться, эксперименты не поощрялись, а оригинальность идей стала опасной. Историк науки Чарлз Сингер так описывает антинаучную позицию христианства по отношению к медицине, переживавшей период «постепенной дезинтеграции»¹⁶: «В раннем Средневековье медицина перешла в чрезвычайно несхожие руки — с одной стороны, христианской церкви, а с другой — арабских ученых... Болезнь рассматривалась как наказание за грех, его следовало принимать со смирением, требовались лишь молитва и покаяние»¹⁷. Лишь в одном отношении он видит полезность христианства: за больными стали ухаживать монахини, что привело к развитию сестринского ухода за больными, значительно облегчавшего их состояние. Однако больницы отнюдь не были христианским изобретением, а уход за больными осуществлялся, например, в больших больницах Багдада, и не только. Единственный реальный вклад Запада в сохранение накопленных ранее

¹⁶ *Singer* (1950). P. 215.

¹⁷ *Guthrie and Hartley* (1977). P. 890.

медицинских знаний, если не в их увеличение, состоял в переводе греческих медицинских книг на латынь и сохранении этих переводов в монастырях¹⁸. В некоторой степени более динамично развивалась ситуация в рамках восточного христианства. Персидские христиане — несториане — способствовали передаче античного медицинского знания, переводя медицинские тексты на арабский язык. Родом из Персии был врач Разис (Аль-Рази, вторая половина IX века) и Авиценна (980–1037), чей основной труд «Канон врачебной науки» использовался в медицинской школе Монпелье вплоть до 1650 года. Но сами арабы не многое добавили в развитие анатомии и физиологии; они были ограничены теми же запретами на препарирование человеческого тела, что и христиане. На Западе вскрытия вновь были разрешены лишь после основания медицинских школ в XII столетии. Со времени Возрождения и, соответственно, распространения знаний такого рода в городах Северной Италии — Милане, Флоренции, Болонье — были построены огромные анатомические театры. В двух первых упомянутых городах Леонардо да Винчи провел около тридцати исследований. История медицинских изысканий, таким образом, демонстрирует, что на средневековом Западе многие знания были утеряны.

Однако на востоке и юге ситуация была иной, по крайней мере в том, что касалось торговли. Процветание Восточного Средиземноморья в целом меньше зависело от торговли с севером и западом бывшей Римской империи. В первые века нашей эры Пальмира — город в Сирии, среди пустыни, — импортировала множество видов товаров с Востока — как из Китая, так и из Индии, — что зафиксировано в известном Тарифе 187 года. Этот документ определяет множество объектов торговли, включая рабов, пурпур, ароматические масла, оливковое масло, соленья, скот и проституткок. Сирийцев называли посредниками античных времен. Их суда плавали повсюду, а сирийско-финикийские менялы присутствовали на всех рынках. Сообщества купцов Пальмиры были почти повсюду: от Дура-Европос на реке Евфрат на востоке до Рима на западе. Раскопки показали, что торговцы предлагали шелка и нефрит из Китая, а также муслин, специи, эбеновое дерево, мирру, слоновую кость, жемчуг и драгоценные камни. Стекло привозили из Сирии, глазурованную керамику — из Месопотамии, некоторые виды керамики — из Антиохии; торговали также широким ассортиментом предметов роскоши¹⁹.

¹⁸ См.: *Reynolds and Wilson* (1974). P. 112ff.

¹⁹ См.: *Browning* (1979). P. 16–18.

Мы больше не считаем, что господство вандалов в Северной Африке — Магрибе и Карфагене — вело к экономическому спаду, поскольку внешняя торговля продолжалась, как и раньше; не произошло его и после византийского завоевания — вплоть до вторжения арабов. Например, экспорт красноглазурной керамики из Африки сохранялся до IX века. Вторжение Византии в 533 году существенно не изменило ситуацию. Создается впечатление, что в Карфаген пошло больше инвестиций, и торговля переориентировалась с западного направления на Константинополь и на восток, но тут в середине VII века в регион вторглись арабы. Однако и при арабах провинция по-прежнему оставалась богатой маслом и пшеницей, а многие ценные товары ввозили в нее с Запада, хотя позже эта тенденция прекратилась²⁰.

Городская жизнь, и особенно торговая деятельность, больше пострадала в связи с утверждением христианства на Севере, чем на Юге под влиянием ислама. Как я уже показал, на Востоке торговые центры были особенно вовлечены в торговлю с дальними странами, тогда как на Западе широкомасштабная торговля прекратилась вместе с падением Рима. Действительно, мы видим, что там в это время начинают возникать «города молитвы», то есть города, где доминирующим элементом становилась деятельность церкви, — отчасти в связи с упадком торговли, процветавшей в Римской империи, частично в связи с усилением влияния церкви. Это усиление сопровождалось перераспределением финансирования в городах в пользу церкви. Как было замечено, «для данного периода характерно смещение баланса щедрости: от прежних проектов, связанных с жизнью города, таких, как бани или театры, — к постройке церковных зданий»²¹. В исламских регионах также существовала проблема финансирования религиозных учреждений, однако там соответствующие потребности требовали меньших затрат. Величественные мечети, а позже медресе часто пользовались финансовой поддержкой рынков, к которым они были «приписаны», однако сама организация ислама, не предусматривавшая епископов и в целом не имевшая даже постоянного штата священнослужителей, а также не знавшая никакого аналога культуры монашества, требовала от экономики значительно меньших затрат.

Из трудов Гойтена — историка, посвятившего свою жизнь исследованию средневековых еврейских рукописей, обнаруженных на ка-

²⁰ См.: *Cameron* (2000).

²¹ *McCormic* (2001). См. также: *Speiser* (1985).

ирском кладбище в конце XIX века, — а также из других источников мы знаем, что Каир оставался центром торговли со странами к востоку от Египта, как это было и в римский период²². Еврейские и мусульманские торговцы постоянно посещали малабарский берег Западной Индии, а население Восточной Индии путешествовало в Египет²³. Нечто подобное наблюдалось и в Константинополе. Нидэм ссылается на китайского ученого, прибывшего в Багдад, а европейцы время от времени продолжали добираться до Китая по суше. Это не означало, что упадок торговли с Западом не имел последствий. Из-за упадка Европы Ближний Восток сосредоточил свои торговые усилия на других регионах. Западная Европа теперь находилась «в конце очереди». Если ее потребности в предметах роскоши с Востока, в восточных специях, тканях, благовониях и керамике уменьшились, то для сбыта этих товаров существовали и другие рынки. Продолжалась и торговля с Северной Африкой, как показал пример купца, путешествовавшего между Индией и Тунисом, который впервые привлек внимание Гойтена к существованию такой торговли. Кроме того, Ближний Восток располагал собственными активно действующими рынками, которые было необходимо снабжать. Итак, торговля в восточном направлении продолжалась и после того, как важность западного направления значительно снизилась. Индия оставалась целью для купцов Ближнего Востока, о чем свидетельствует история еврейских, христианских и мусульманских поселений на малабарском берегу, что нашло существенное отражение в документах Генизы. Множество упоминаний о закупках перца в Юго-Западной Индии можно найти в «Перипле Эритрейского моря», известном руководстве, написанном для купцов около 50 года н.э. греческим лоцманом, а также в других римских источниках. Торговля с Индией со времен Римской империи имела важное значение. Торговый город Музирис, расположенный рядом с нынешним городом Кочи (Кочин), считается предполагаемым местом, куда с миссионерской целью прибыл святой Фома, за которым последовали сирийские христиане (несториане)²⁴. Этот город был важным центром для александрийских моряков, как видно из записанного на папирусе около 150 года н.э. контракта на перевозку товаров из порта на Красном море на таможенный склад в Александрии. Хотя и принято считать, что между II и IV столетиями это

²² См.: *Miller* (1969).

²³ См.: *Ghosh* (1992).

²⁴ См.: *Rukkal and Whittaker* (2001).

направление торговли переживало спад, сейчас уже не кажется, что дело обстояло именно так. В VI веке индийские торговые суда все еще возили перец в Египет для последующей продажи на римском рынке. Музирис продолжал оставаться основным торговым центром Западной Индии для христиан, евреев и мусульман до времен Генезы и позже.

Между тем Турция и Сирия стали предоставлять альтернативные рынки для товаров из Китая и Индии, а также с Кавказа. Но эти страны не ориентировались на Европу. Именно в данную структуру торговли с Востоком впоследствии успешно внедрилась Венеция, а за ней другие города Западной Италии — Парма, Генуя, Амальфи, возобновив ведение торговли, поскольку европейская экономика в новом тысячелетии укрепилась благодаря Крестовым походам и появлению выходов к Средиземному морю.

Однако Венеция оказалась не единственной средиземноморской державой, вновь открывшей для себя торговлю между Европой, Азией и Африкой. Один из итальянских городов, появившихся в связи с возрождением торговли в Восточном Средиземноморье, недалеко от Салерно на юге и от Неаполя на востоке, был основан не Венецией или Тосканой, которые были родиной крупнейших купеческих родов Флоренции (Медичи) или Прато (Датини), но городами Кампаньи, особенно Амальфи (и Равелло), находившимися под властью Анжуйской династии. Эти города с момента своего возникновения проявляли значительную торговую активность (*mercantia*). Уже в 836 году герцоги Ломбардии даровали жителям Амальфи «необычную свободу путешествовать»²⁵. Амальфианцы быстро воспользовались предоставленной свободой, извлекая из нее значительные выгоды при торговле зерном, маслом и лесом с Византией, Сирией и Египтом, где покупали шелк и специи, часть которых затем продавали в Аглабидском эмирате в Северной Африке и на Сицилии за золото, бывшее редким товаром на Западе в это время. Купцы из Амальфи торговали с Константинополем, Каиром, Антиохией и даже Кордовой еще с X века, а с крупной торговой общиной в Иерусалиме — с XI-го. Действительно, как византийская валюта, так и деньги Фатимидов широко использовались в тот период в местных торговых операциях, что дает представление о масштабах международной торговли того времени. Итальянские города, пользуясь поддержкой правительства Ломбардии, возродили часть торговой сети, ориентиро-

²⁵ См.: Caskey (2004). P. 9.

ванной на Восток и Византию. Но это возрождение было мало связано с Античностью или феодализмом, отражая более общее укрепление торговой культуры.

Торговая деятельность Амальфи принесла городу процветание. Причем это достижение нельзя в полной мере считать «западным» или «христианским», поскольку в торговле участвовало разнообразное население южных регионов — как христианское, так и иудейское и исламское. Можно говорить о мультикультурном обществе, и данный факт отражен в различных продуктах ремесел, создание которых поддерживали *mercantantia* из округа Амальфи, — например, бронзовые двери местных соборов были сделаны в Константинополе около 1061 года. Каски охарактеризовал эту коммерческую активность как «зарождающийся капитализм»²⁶, фактически вступавший в конфликт не только с христианскими ценностями, но и с отношением всех авраамических религий к ростовщичеству. Торговля и религия вступали в противоборство, и в конце концов торговля одержала победу; вклад купцов в поддержку существующих режимов становился частью этого процесса.

Многие из произведений ремесленного искусства в Амальфи были заказаны купцами, особенно домом Руфоло из Равелло, ставшим знаменитым после того, как Боккаччо описал его в одной из своих ранних новелл, посвященных торговым предприятиям. Рассказанная в ней история показывает не только преимущества образа жизни купца, но и подстерегающие его опасности. И действительно, эта семья была обвинена в коррупции, а ее глава в 1283 году казнен по приказу Карла Анжуйского, правителя Салерно, позже ставшего королем Сицилии под именем Карла II, которой он правил с 1265 года по благословению Папы²⁷.

Южная Испания, как и отдельные части Италии, оставалась частью средиземноморской торговой сети — благодаря ее связям с исламскими странами. Очевидно, что мусульмане, которые, возможно, во многом способствовали упадку европейской торговли в Средиземноморье²⁸, после 711 года поддерживали контакт с завоеванными испанскими территориями. Торговля между Андалусией и основными африканскими территориями продолжалась и развивалась²⁹, как и между Сицилией и «Ифрикой» (Тунисом). Взгляд

²⁶ Ibid. P. 8.

²⁷ См.: *Hogdes and Whitehouse* (1983).

²⁸ Как отмечали *Pirenne* (1939), а также *Hogdes and Whitehouse* (1983).

²⁹ См.: *Constable* (1994).

на тогдашнее Средиземноморье с позиций современной Западной Европы может серьезно исказить культурную и историческую картину данного региона. Нам необходимо переориентироваться, как требовал Франк³⁰, ведь Восток тогда не пострадал в той же степени, как Запад. Продолжение развития экономической, научной и городской культуры на востоке и юге Европы в послеримский период сыграло свою критически важную роль позже, когда дало Западной Европе возможность восстановить позиции, утраченные после падения Рима и в период раннего феодализма, ассоциируемого с упадком торговли и городской жизни и с их неизбежными последствиями для сельского хозяйства и сельской жизни.

Роль армии на Востоке и Западе также различалась. Она была важным институтом, позволявшим поддерживать закон и порядок внутри страны, а также защищать ее границы и осуществлять завоевания. Помимо этого, армия представляла собой рынок для различных товаров (таких, как керамическая посуда *terra sigillata*) и услуг. В противоположность Западу, «Восток смог выжить, оставив свою военную организацию практически неизменной»³¹. Армия там «оставалась институтом, подчинявшимся императорской власти, а не независимой силой, способной диктовать свою волю ее номинальным хозяевам»³². Запад же, напротив, находился под влиянием как военных сил, так и племенных объединений. Местные феодалы были вынуждены брать на себя обязанности по защите своих территорий и их жителей, — это условие стало основой феодальной децентрализации и связанных с ней военных обязанностей. И в данном случае такая форма социальной организации предстает скорее в виде западного ответа на общий упадок, а не какой-то новой, прогрессивной стадией развития цивилизации.

Рассматривая переход от Античности к феодализму, Уикхэм никоим образом не касается демократии, напротив. Античный мир характеризуется сильным центральным правительством в Риме, значительными вооруженными силами, требовавшими больших (и возрастающих) налогов, которые складывались в суммы большие, чем деньги, затрачиваемые на аренду земли. Желание избавиться от налоговых тягот побуждало крестьян искать поддержки у крупных землевладельцев, которые, получая арендную плату, брали на себя

³⁰ См.: Frank (1998).

³¹ Whitby (2000). P. 300.

³² Ibid. P. 305.

ответственность за все налоги. Сами землевладельцы из тех же соображений, связанных с налогами, склонялись к альянсам с германцами; вооруженные силы стали организовываться не на национальной, а на территориальной основе, так что в перспективе ненавистные налоги исчезли, а их место заняли арендная плата и услуги, оказываемые на территориальной основе. Разумеется, все это произошло не моментально; впервые землевладельцы предприняли шаги в этом направлении после 568 года³³.

Переход к феодализму

Никакого «общего перехода» от Античности к феодализму не было — разве что на Западе и в головах западных ученых. В любом случае даже на Западе феодализм не возник немедленно после краха Античности. В своем исследовании перехода от Античности к феодализму Андерсон признает, что события времен заката Античности носили скорее «катастрофический», чем «кумулятивный» характер. Однако регресс, который пережила Европа, рассматривается им как расчистка пути для «последующего динамичного рывка в новый способ производства, рожденный из ее [Античности] разрушения»³⁴. Этот новый способ вырос из «соединения Античности и феодализма». Вместе с тем Андерсон утверждал, что именно элемент Античности отсутствовал в Японии — стране за пределами Европы, ближе всего, с его точки зрения, подошедшей к тому, что называется феодализмом, и во многих других отношениях имеющей сходные с ним черты³⁵. Андерсон негативно отзываясь о римском сельском хозяйстве, распространяя подобные комментарии на всю римскую экономику, отмечая разрыв между интеллектуальными и политическими достижениями греко-римского мира и «тесными экономическими рамками в его основе»³⁶. Действительно, «надстроечное наследие» Античности осталось в веках, хотя и в компромиссной форме вследствие посредничества церкви, способствовавшей разрушению античной политической системы. «Надстройка античной цивилизации была намного выше феодальной — и это на протяжении тысячелетия, вплоть до эпохи, осознанно выбравшей для себя название “Возрождение”,

³³ См.: Wickham (1984). P. 20.

³⁴ Anderson (1974b). P. 418.

³⁵ Ibid. P. 420.

³⁶ См.: Anderson (1974a). P. 136.

чтобы обозначить предшествующий ей регресс»³⁷. Андерсон видит, что церковь все это время выступала в роли моста над этим разрывом, являясь хранилищем грамотности и образования. Тем не менее это было очень ограниченное образование, намеренно исключавшее значительную часть классического наследия.

Итак, для Андерсона прогрессивным началом феодализма выступала не «надстройка», а «базис», то есть экономика. Он пишет о контрасте между статичной экономикой Античности (сравнивая ее с динамичным базисом феодализма) и «культурной и надструктурной жизнеспособностью» этого мира. Время от времени Чайлд тоже принижает вклад Рима, заявляя, что тот «не стал источником новых производительных сил»³⁸. Его мнение основано на том, что широкое использование рабского труда в римском сельском хозяйстве тормозило развитие технологий, поскольку ручной труд рабов был дешевле машинного. С точки зрения Чайлда, рабовладение препятствовало «развитию промышленности»³⁹. Несмотря на то что феодализм возник в результате коллапса Западной Европы, он тем не менее считается прогрессивным — отчасти вследствие идеи, наиболее ярко выраженной традиционными марксистами: по их мнению, «рабовладельческий способ производства вел к технической стагнации; он не содержал стимула к усовершенствованиям, облегчающим труд»⁴⁰. Однако эти авторы предпочитают игнорировать тот факт, что данный период принес с собой и множество «усовершенствований», вследствие чего некоторые заявления, касающиеся рабовладельческих обществ, нуждаются в корректировке⁴¹. Далее, рабовладельческий способ производства не ведет автоматически к экономической стагнации; несмотря на использование рабского труда или, возможно, вследствие его использования, сельское хозяйство на римских виллах производило такое количество избыточных продуктов, что его хватало не только на то, чтобы обеспечивать роскошный уровень жизни высших классов, но и экспортировать, например, вино в другие страны — как и керамику, ткани и мебель.

Усовершенствования не обязательно были «трудосберегающими», потому что, как показала Бозеруп⁴², технологический прогресс

³⁷ Anderson (1974a). P. 137.

³⁸ Childe (1964). P. 280.

³⁹ Ibid. P. 209, 268.

⁴⁰ Anderson (1974a). P. 132–133.

⁴¹ См.: White (1970).

⁴² См.: Boserup (1970).

может требовать больше, а не меньше трудовых усилий. Если усовершенствование означает, что можно произвести такое же количество продукции усилиями одного раба вместо двух, то должен существовать стимул для его внедрения. На Сицилии и в карфагенских владениях большие поместья, обрабатываемые трудом рабов или сервов, управлялись «научно-капиталистически»⁴³. Действительно, по всей Европе римляне внедряли «капиталистический порядок»⁴⁴. Одно не противоречит другому. Минц и Вульф, анализируя производство сахара на Карибах с помощью рабского труда, описывают использование инновационной техники как «капитализм до капитализма»⁴⁵. Избавление от рабского труда считается одним из положительных эффектов падения Римской империи, хотя рабство определенно не исчезло полностью. «Понятие “Античность” использовалось только применительно к Греции и Риму и ассоциировалось с “рабовладельческим способом производства”»⁴⁶, но в Европе полагают, что рабство существовало на протяжении значительно более долгого периода, до тех пор пока феодализм наконец не установился⁴⁷. И даже позже Европа была активно вовлечена в работорговлю — то есть в пленение людей и продажу их на мусульманских рынках, что являлось одной из основных статей экспорта⁴⁸. Тем не менее для многих авторов рабовладельческий способ производства исчез вместе с Античностью, и с их точки зрения феодализм, как и предшествующий ему период, считается шагом вперед на пути к капитализму. Однако это не единственный взгляд на средневековую экономику. «С экономической точки зрения, — пишет историк сельского хозяйства в Европе Сличер ван Бат, — манориальная система не была вполне удовлетворительной. Крестьяне производили немногим больше, чем было необходимо для их собственного потребления, капитал не накапливался, а разделение труда почти отсутствовало»⁴⁹. По крайней мере, сначала в производстве наблюдался упадок, точно так же, как он был свойствен образованию и «надстройке» в целом. Восставление происходило медленно.

⁴³ См.: *Childe* (1964). P. 244.

⁴⁴ *Ibid.* P. 276.

⁴⁵ *Mintz and Wolf* (1950).

⁴⁶ *Anderson* (1974a). P. 47.

⁴⁷ См.: *Bonmassie* (1991).

⁴⁸ См.: *McCormick* (2001).

⁴⁹ *Slicher van Bath* (1963). P. 37.

Существуют и более положительные оценки сельского хозяйства римского периода, отличные от позиции Андерсона, но развивающие идею «прогрессивного скачка» к феодализму. Хопкинс⁵⁰, который весьма доказательно поддержал взгляды Финли на античную экономику, утверждает, что общий объем сельскохозяйственного производства рос по мере увеличения площадей обрабатываемой земли. Для более сложных в обработке северных почв употреблялся тяжелый плуг с железным отвалом, приводимый в действие упряжкой волов, — чтобы переворачивать пласты земли, а не просто царапать ее поверхность, как это делал средиземноморский плуг. Население также возросло — как в целом, так и конкретно в городах, где жило большинство ремесленников и мелких торговцев. Это повлекло за собой увеличение спроса на продукты питания, а также привело к разделению труда и росту его производительности на душу населения. Значительная часть успехов в области производительности труда была достигнута к I столетию н.э. в результате распространения стандартов производительности, сложившихся ранее в различных областях Восточного Средиземноморья. Это произошло благодаря прогрессу, связанному с «более широким использованием железных орудий труда, улучшением сельскохозяйственных инструментов (например, винтового пресса) и существованием справочных руководств по сельскому хозяйству, что являлось признаками попыток рационализации труда, в особенности рабского»⁵¹.

Рост производительности труда наблюдался не только в сельском хозяйстве, поскольку теперь мышечная сила «дополнялась использованием рычагов, блоков, храповых механизмов, огня, воды (в позднеантичных водяных мельницах и в процессе шлихования*), ветра (в корабельных парусах, но не в мельницах) и технических знаний». «Технический прогресс» отмечался в строительстве (например, в связи с использованием цемента), в применении ротационных мельниц, в усовершенствовании методов использования воздушного потока при выплавке железа, а также в развитии транспорта (постройка более значительных транспортных средств, например больших кораблей). И во всех этих видах деятельности большую роль играло использование железа, более дешевого металла (поскольку

⁵⁰ См.: *Hopkins* (1983). P. 70–71.

⁵¹ *Ibid.* P. xvi.

* Один из старейших способов разведки и добычи полезных ископаемых путем промывания грунта или раздробленных горных пород.

руда была доступна практически повсеместно), делавшее возможным развитие некоторых форм механизации.

Римляне отличались не просто «культурным превосходством» в узком смысле «высокой культуры» и «надстройки» — они изменили облик большей части Европы с помощью городских построек, виадуков, гипокаустов*, театров и общественных бань. Они создали также правовые кодексы, различные литературные произведения, образовательные учреждения и всевозможные массовые развлечения. Все это стало возможно лишь благодаря процветающей экономике. И это была экономика, очень широко использовавшая рабский труд как в сельском хозяйстве, так и в градостроительстве — начиная от самого Рима до небольших городских центров в Британии или таких величественных городов, как Пальмира или сирийская Апамея. Эти достижения слишком велики, чтобы считать их «побочным эффектом» статичной инфраструктуры. На таком фоне феодальный период воспринимается не столько динамичным, сколько незначительным.

Однако раннее Средневековье принесло определенный прогресс в сельское хозяйство. Изменения касались использования плуга⁵², но речь идет главным образом о распространении ранее изобретенных практик. К тому же тогда появилось множество изобретений, «ставших величайшими достижениями римской эры. Некоторые из них были заимствованы из других стран мира, но они стали проявлениями технического мышления, которое позже окажется столь характерным для западноевропейской цивилизации»⁵³. Никто не подвергает сомнению последующие технические достижения Европы. Однако трудно понять, каким образом изобретения, заимствованные у других стран, могут быть проявлениями западноевропейского технического мышления; подобный взгляд демонстрирует нам типичный евроцентризм, в данном случае — применительно к технологиям. «Это было у нас позже, следовательно, раньше это у нас тоже было», где «это» — некое гипотетическое «техническое мышление», один из аспектов нашей ментальной структуры, передающийся по наследству. Фактически же, внедрение импортированных технологий следует считать показателем изобретательности других народов, особенно китайцев⁵⁴.

* Система отопления помещений нагретым воздухом, проходящим через каналы под полом и в стенах здания.

⁵² См.: *Slicher van Bath* (1963). P. 69.

⁵³ *Ibid.* P. 70.

⁵⁴ См.: *Hobson* (2004). P. 50ff.

Основными изобретениями, перенятыми Европой в то время, согласно Линн Уайт (1962), были шпоры, подковы и водяная мельница. Шпоры, первоначально применяемые в военных целях, попали в Европу через арабские страны, как и многие другие усовершенствования, касающиеся лошадей. Подковы появились в то же время, что и новая сбруя, — в IX веке — и, возможно, были заимствованы из Византийской империи. Это улучшило конную тягу, так же как шпоры увеличили мобильность всадника. Водяная мельница, использовавшаяся для китайских доменных печей, по крайней мере, в 31 году н.э., появилась в Европе к концу римской эпохи; воду для таких мельниц отводили от акведуков. Такие мельницы очень медленно распространялись у арабов в IV веке, затем они попали в Западную Европу и к VIII веку достигли Британии. В Европе эти устройства первоначально использовались для перемалывания зерна и лишь значительно позднее — для отжима масла, размягчения кож в дубильнях, прокатки металлов, пиления леса, нанесения краски, а после XIII века — для производства бумаги. В Англии термин *mill* («мельница») стал общим для обозначения любого механизированного завода, как в известной строке Блейка — «меж темных фабрик сатаны»*, ставших позже символом Промышленной революции.

Несмотря на эти приобретения, в целом цивилизация находилась в стадии упадка, как признает Андерсон. Сколько времени прошло, прежде чем общественные бани и театры вернулись в Европу? Сколько времени прошло до возрождения системы образования? А как скоро вернулась утонченная кухня? И сколько еще времени потребовалось, чтобы светское искусство и светская литература вновь обрели большое значение для культуры? Когда все это, наконец, произошло, началась эпоха Ренессанса, то есть возрождения классической античной культуры. Но до этого времени было еще далеко — и на пути к нему Европа переживала периодические локальные «возрождения» — такие, например, как каролингское возрождение XII века.

Каролингское возрождение и зарождение феодализма

Падение Римской империи не привело автоматически к зарождению феодализма, хотя некоторые исследователи считают, что пред-

* В оригинале — «dark Satanic mills».

шественниками феодализма были самодостаточные поместья поздне-неримского периода⁵⁵. Феодализму, характерному для западноевропейского Средневековья и воспринимаемому многими как уникальное явление, предшествовали «темные века», так что некоторые относят его зарождение лишь к появлению в VIII–IX веках государства Каролингов. Этот период Андерсон характеризует как «настоящее административное и культурное возрождение» Запада. Но основное достижение данной эпохи состояло в «постепенном появлении фундаментальных институтов феодализма под прикрытием аппарата имперского правительства»⁵⁶.

Считается, что огромные поместья, являющиеся неотъемлемой частью каролингской феодальной сельской экономики, были характерным феноменом, «отражавшим динамичность экономики и требовавшим ее». Крестьянское хозяйство, в свою очередь, вносило в эту экономику свой вклад рентными платежами и трудом⁵⁷. Именно в таких обширных поместьях происходило «зарождение европейской экономики»⁵⁸. Некоторые из этих поместий были очень велики, тем не менее вряд ли их можно считать полностью самодостаточными. Поэтому в VIII–IX веках отмечалась тенденция к «монетизации податей сельских домохозяйств»⁵⁹ и к их участию в рыночных операциях. В то же время некоторые поместья вкладывали значительные средства в создание водяных мельниц, хотя такие устройства, вопреки расхожему мнению, были гораздо больше распространены в античные времена⁶⁰. Многочисленные раскопки показали, что на территории поместий существовали и ремесла, которые принято считать городскими занятиями. Товары, произведенные ремесленниками в поместьях, иногда распространялись с помощью собственных, зависимых торговцев, в результате чего торговля постепенно начала распространяться все шире, особенно на севере, — росло и население.

Не только причины возникновения феодализма, но даже его временные рамки и территориальное распространение являются предметом споров о каролингском периоде. Очевидно, что первое значительно зависит от последнего, от того, был ли это «чисто евро-

⁵⁵ См.: *Coulbourn* (1956); *Goody* (1971).

⁵⁶ *Anderson* (1974a). P. 139.

⁵⁷ См.: *McCormic* (2001). P. 7.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ *Ibid.* P. 9.

⁶⁰ *Ibid.* P. 10.

пейский феномен и когда он появился (или исчез)». В глубоком обзоре, вошедшем в последний (XIV) том «Кембриджской истории Древнего мира» Фоуден подвергает сомнению периодизацию, согласно которой Античность на Западе заканчивается в 600 году н.э. или, еще хуже, в 310 году, с приходом к власти Константина, как говорилось в более раннем издании⁶¹. Последняя дата игнорирует тот факт, что на Востоке «новый Рим» «имел как императора, так и епископа, и это счастливое состояние продолжалось для данного государства еще восемь с половиной столетий»⁶². Действительно, император Юстиниан (482–565) «искренне стремился к воссоединению Римской империи». Его преемники смотрели в сторону Востока, особенно после того, как мусульманские завоевания урезали возможности коммуникации с Западом. Фоуден настаивает на том, что распространение ислама следует рассматривать в контексте иудаизма и христианства как «свежий, более ясный взгляд на божественное начало», позволивший установить единый религиозный континуум на территории от Афганистана до Марокко, соединивший южную, восточную и западную части Средиземноморья. Принятие 600 года как даты «окончания» Античности означает исключение из рассмотрения ислама, который, таким образом, оказывается чем-то принадлежащим к совершенно отдельной азиатской культуре. Это могло бы привести к игнорированию существовавших на всех уровнях последовательностей, поэтому Фоуден счел, что лучшей вехой станет 1000 год н.э.

Французская наука традиционно следовала в том же направлении, концентрируясь на позднейших политических изменениях, которые рассматривались либо как радикальные (например, революция), либо как последовательные (мутация). Данная традиция относит возникновение феодализма на период значительно более поздний, чем Каролингский, датируя его примерно 1000 годом. Этот период описывался некоторыми французскими историками как «резкий разрыв», «социальная буря»⁶³. Однако другая группа подвергает критике саму идею радикальных перемен, апеллируя к более умеренной, постепенной модели. Ее сторонники отрицают существование ярко выраженного насильственного периода между относительно стабильными историческими промежутками до 1000-го и после 1200 года и особенно утверждение, будто он повлек за собой

⁶¹ См.: Fowden (2002).

⁶² Ibid. P. 684.

⁶³ См.: Barthélemy (1996). P. 197.

значительные экономические перемены, заявляя, что нет никаких оснований считать, что насилие со стороны сеньоров, землевладельцев, было инструментом установления нового вида зависимости⁶⁴. Тем не менее обе группы ученых по-прежнему воспринимают феодализм как необходимую стадию, предшествующую становлению современной Европы. «Феодализация XI столетия считается необходимым предварительным условием зарождения современного государства»⁶⁵.

Феодализм играет роль предшественника, потому что «модернизация» не считается характерной чертой более ранних периодов. Утверждалось, что в зарождающемся «феодальном способе производства... ни труд, ни продукты труда не были товаром»; способ производства зависел от земли и натурального хозяйства⁶⁶. Другой автор написал, что «падение Римской империи и переход от Античности к Средним векам могут рассматриваться, с экономической точки зрения, как повторный переход от денежной системы к натуральному хозяйству»⁶⁷. Однако он же утверждает, что «натуральное хозяйство» в конечном итоге привело к развитию городов.

Не вполне ясно, что же собой представляет «натуральное хозяйство», но очевидно, что сама эта характеристика в чистом виде ориентируется лишь на Западную Европу и непременно предполагает крах и возрождение городов (хотя повсюду, как мы видели, наблюдалась значительная преемственность). С этой точки зрения Восток, чья история считается столь отличной от европейской, вообще не имел Средневековья (потому что там якобы не было Античности и «капитализма», между которыми находятся эти «средние» века) и феодализма, поскольку города там продолжали процветать, как и мануфактуры и торговля, хотя несколько иначе, чем на Западе. Это же справедливо и для Восточного Средиземноморья. Города и даже города-государства продолжали существовать, в частности, в Сирии во времена Крестовых походов⁶⁸. Даже в Италии «городская цивилизация позднеантичных времен никогда не исчезала окончательно, и городская политическая организация — смешанная с властью церкви... процветала начиная с X века»⁶⁹.

⁶⁴ См.: White (1996). P. 218.

⁶⁵ Barthélemy (1996). P. 196.

⁶⁶ См.: Anderson (1974a). P. 147.

⁶⁷ Slicher van Bath (1963). P. 30.

⁶⁸ См.: Maalouf (1984).

⁶⁹ Anderson (1974a). P. 155.

Одна из проблем, связанных с определением изменений в социальной жизни в самых общих понятиях способов производства, заключается в том, что дефиниции последних не только категоричны, но и часто весьма узко интерпретируются на основе радикального разделения «базиса» и «надстройки». Однако «базис» в значительной степени зависит от того, что происходит на другом уровне, и достижения в области систем знания часто оказывают глубокое влияние на экономику, являясь в данном смысле значительной частью «базиса». В любом случае даже сельскохозяйственное производство зависит не только от технологий (в узком смысле этого слова), но и от транспорта (например, от римских дорог), от техник выращивания и распространения сельскохозяйственных культур, а также от организации труда и человеческого фактора.

Несмотря на эти оправданные сомнения по поводу природы усовершенствований, привнесенных феодализмом, обширный пласт истории рассматривался западными учеными только с точки зрения событий, происходивших в их собственной части Европы. Античность и феодализм — это части единой причинной цепи, ведущей к западному капитализму. Все, что в нее не вписывалось, считалось, по выражению Маркса, «азиатской исключительностью». Но, если посмотреть на ситуацию с более широкой перспективы мировой истории, становится очевидным, что именно Запад на тот момент представлял собой «исключение». Все согласны с тем, что он пережил «катастрофический упадок», последствия которого чрезвычайно медленно преодолевались во многих сферах. Андерсон, как и многие другие авторы (например, Линн Уайт), подчеркивает технические достижения Средневековья, которые сравнивает (не вполне оправданно) со «статичной» экономикой — не только азиатской, но и римской. Например, он комментирует тот факт, что, хотя римляне и позаимствовали водяную мельницу из Палестины, а значит, из Азии, они не применяли ее сколько-нибудь постоянно (хотя есть новые свидетельства более широкого применения). Вода с течением времени все чаще использовалась как на Востоке, так и на Западе. Римляне определенно достигли в этой сфере значительных успехов — с их акведуками, водяным отоплением и сложными системами подачи воды, например в Араме (Сирия) или в Пон дю Гар (Прованс). Поэтому взгляд на политическую экономию, сосредоточенный лишь на сельскохозяйственных технологиях (да и то в ограниченном смысле), для которого Рим в любом случае выглядит «статичным» (даже если иметь в виду появление и распространение здесь новых культур, использование водяных мельниц и общих

успех римской производительной системы), представляется ограниченным.

О производительности западного сельского хозяйства можно сказать то же, что и о прогрессивной природе европейского общества в период феодализма, — она, несомненно, увеличилась с течением времени, но при сопоставлении с очень низкой исходной точкой. Однако она ни в коей степени не приблизилась к уровню производительности орошаемого земледелия Ближнего Востока, Северной Африки или Южной Испании и тем более Дальнего Востока⁷⁰, где «к XIII веку Китай имел, таким образом, наиболее сложную сельскохозяйственную систему в мире, и единственным его возможным соперником была Индия»⁷¹. Некоторые авторы даже говорят о «зеленой революции» в Среднем Царстве в VI веке н.э., тогда как другие исследователи считают, что она произошла позже⁷². В Европе сельское хозяйство совершенствовалось в период между VIII и XII веками. Но насколько значительными были эти усовершенствования? На сей счет существуют различные точки зрения — Андерсон и Хилтон считают их крайне «прогрессивными», тогда как на других ученых они производят гораздо меньшее впечатление.

Конница в военном деле

Если рассматривать средства поражения (а не средства производства или связи), то развитие феодализма в Европе связано также с появлением конного войска⁷³. Разумеется, конные сражения происходили и намного раньше, чем возникло общество, которое большинство историков считают феодальным; другое дело, что ученых гораздо больше интересовали политические и экономические изменения. Конная форма ведения войны и связанное с ней рыцарство стали результатом различных международных событий. Между 370 и 1000 годами н.э. Европа сталкивалась со множеством проблем, поскольку ее восточные степные границы постоянно захлестывали интенсивные волны миграций из Азии, по-

⁷⁰ О вкладе мусульманских обществ в развитие сельского хозяйства см.: *Watson* (1983); *Glick* (1996).

⁷¹ *Elvin* (1973). P. 129.

⁷² См.: *Hobson* (2004). P. 56.

⁷³ См.: *White* (1962); *Goody* (1971).

рожденные глобальными изменениями, происходившими в том числе и в далеком Китае⁷⁴. Проникновение на континент аваров привело к тому, что множество германских племен расселилось по Италии, Испании, Галлии и Англии, тогда как славяне заняли большую часть Балкан. Местные правители реагировали на это поразному, в том числе и военными средствами. В результате возникла ударная кавалерия, использовавшая заимствованные с Востока стремена, предоставлявшие всаднику возможность сражаться копьем или мечом, оставаясь в седле. Западные историки часто приписывают изобретение такой кавалерии Карлу Мартеллу во время битвы при Пуатье в 733 году, что привело к победе, которая, как утверждают легенды и эпос, спасла Европу от мусульман-язычников. В действительности же для мусульман эта операция была не более чем незначительной военной вылазкой⁷⁵. В то время они были гораздо больше обеспокоены отпором, полученным под Константинополем. В любом случае предметы, относящиеся к новой военной технологии, предположительно спасшей Европу, также пришли с Востока.

Использование стремей известно в Китае с III века н.э. — в то время китайские стремена делались из бронзы и чугуна. Ударная кавалерия входила в состав персидской и византийской армий, а также различных мусульманских войск, тогда как «конные воины, стреляющие из лука» появились на Ближнем Востоке за много столетий до этого. Все формы конного ведения войны требуют значительных затрат на снаряжение⁷⁶, и предполагалось, что именно необходимость тратить значительные ресурсы на обеспечение ударной кавалерии легла в основу феодальной системы. Конным воинам приходилось компенсировать свои затраты за счет военных трофеев либо за счет местного крестьянства (в обмен на защиту). Подобные ожидания были свойственны и всадникам конного войска владения Гюнья в Западной Африке, но там возможности более ограничены, и компенсировать расходы планировалось скорее за счет трофеев, нежели за счет крестьян. Я вовсе не отождествляю эту систему с европейским феодализмом, поскольку мотыжное земледелие, в отличие от возделывания земли с помощью плуга, приводимого в движение волом или лошадью, практически не предполагает «излишков» как для самих земледельцев, так и для

⁷⁴ См.: *Hobson* (2004). P. 105.

⁷⁵ См.: *Goody* (2003b). P. 23–24.

⁷⁶ *Ibid.* P. 47.

тех, кто ими управляет. Тем не менее некоторые параллели можно провести — в техниках, способах материального обеспечения и восприятии.

В целом мы не обязаны оценивать европейское Средневековье как «прогрессивную стадию» в развитии общества, хотя многие европейские мыслители хотели бы, чтобы мы думали именно так⁷⁷. В их число входят те, кто разделяет концепцию пяти стадий развития человеческого общества: «общинной» или «племенной», «азиатской», античной, феодальной и буржуазной (капиталистической)⁷⁸, — считая каждую из них необходимой и зарождающейся на основе предшествующей. «Античная стадия», с их точки зрения, — это «история городов, опирающихся на... сельское хозяйство»; здесь доминирует рабовладельческая экономика, в незначительной степени присутствует и торговля. Представляя собой результат развития этой стадии, феодализм вряд ли может демонстрировать превосходство Европы над Азией.

В средневековый период определенно имело место некоторое улучшение качества жизни населения, однако было бы неуместно рассматривать феодализм как прогрессивную стадию по сравнению с регионами орошаемого земледелия, с жизнью городов, не прекращавших своего существования, с активно развивавшимися культурами Ближнего и Дальнего Востока. Превосходство Запада никоим образом не проявлялось до окончания эпохи Возрождения, опиравшейся на достижения производства и торговли в итальянских городах (в особенности заметны были успехи в изготовлении тканей). Именно эти города указали Европе дорогу к промышленному капитализму и развитию финансовой системы, а также дали толчок к достижениям в области образования и развитию эстетики. Обретенные преимущества базировались на переменах не только в способе производства, но и в средствах коммуникации — благодаря запоздалому появлению в Европе бумаги и печатного станка, изначально возникших в Китае, но впервые использованных применительно к алфавитному письму.

⁷⁷ Используя термин «прогрессивный», я имею в виду контекст технологического прогресса, который предположительно в какой-то степени доступен измерению.

⁷⁸ См.: *Hobsbawm* (1964). P. 38.

Подъем торговли и производства

Труды историков медицины открыли нам первую стадию восприятия арабской науки каролингскими медиками — это заимствование стало возможным благодаря восстановлению международной торговли в Средиземноморье, что повлияло не только на экономику. Этот момент был проявлением более широкого процесса в обществе, получившего название «каролингское возрождение», результатом которого стало не только повышение значимости образования и появление новых учебных заведений, но и развитие торговли и производства. «Беглый взгляд на импорт шелка позволяет получить нам пусть и несколько хаотичные, но вполне поддающиеся исчислению данные»⁷⁹. Торговля в Европе действительно начала возобновляться благодаря совместным торговым предприятиям со странами Леванта, появившимся в конце VII века, но достигшим скольконибудь значительного уровня развития к X–XI векам «с помощью ускорения торговли между Венецией и Южной Италией, с одной стороны, и странами Ближнего Востока — с другой»⁸⁰. Тогда возобновилась средиземноморская торговля с Западом (до этого торговля в регионе продолжалась между восточными и североафриканскими портами), что некоторые историки воспринимают как самое начало капитализма. В широком смысле слова так оно и было — для средневекового Запада. Поскольку расширение торговли означало восстановление контактов и с крупнейшими торговыми городами Восточного Средиземноморья — такими, как Константинополь и Александрия, — и с множеством менее значительных городов, не знавших упадка, который пережили города Запада, а напротив — долгое время существовавших в условиях сложившейся рыночной экономики. Эти контакты создали условия для процесса постепенного восстановления Европы и стали источником как различных предметов роскоши, так и товаров повседневного спроса, технологических новинок, научных достижений, а также различных литературных и научных влияний.

Зависимые торговцы в каролингский период работали на крупные церковные структуры и столь же крупные поместья; независимые же — на городскую экономику. Поэтому торговля способствовала возрождению многих городов Италии, что обеспечило совершенно

⁷⁹ *McCormic* (2001). P. 23.

⁸⁰ *Slicher van Bath* (1963). P. 34.

другой взгляд на центр так называемого натурального хозяйства в каролингской Европе, где, как считается, развивался феодализм. Города находились в значительном упадке в Западной Европе, а не на Востоке, и теперь они возрождались благодаря такому стимулу, как торговля с восточными странами. Торговля в Восточной Европе начала оживляться к концу VIII столетия благодаря маршрутам не только на Север, к Балтике, а также через Россию в Иран, но даже и в Средиземноморье, где пряности (и лекарства), благовония и шелка обменивались на шерсть, мех, олово, франкские мечи, но особенно — на рабов. Рабы были одной из основных статей экспорта Европы, что продолжалось вплоть до турецкого владычества. С этой точки зрения «небольшие миры Европы в итоге оказались связанными с более значительными мирами благодаря мусульманским экономикам»⁸¹ — «расцвет и экономическая консолидация исламского мира изменили природу зарождающейся европейской экономики»⁸².

В средневековой Англии международная торговля в значительной степени зависела от производства шерсти и тканей и их экспорта в Европу, хотя наибольшие прибыли возникали не в сфере производства, а в связанных с ним видах деятельности — международной торговле и ростовщичестве. Текстильная промышленность стала центральным фактором растущей европейской экономики и, особенно в эпоху Ренессанса, фактором возрождения и распространения культурной деятельности, проистекающей из экономических успехов. Первое, что должно было возникнуть, — местное производство шерсти. Затем началось изготовление шелка (который изначально импортировался, а потом стал производиться на месте), потом — хлопковых нитей (тоже первоначально импортируемых), и, наконец, все эти ткани стали производить в Европе. Текстильное производство послужило основой Промышленной революции в Англии.

На ранней стадии промышленного производства шелк из Китая распространялся по исламскому миру и ткался в Бурсе (Турция). Там, как и в Англии, ценился индийский хлопок, но увеличение его импорта стало вызывать жалобы на отток золота, используемого для закупок⁸³, — ведь коммерческая деятельность на Востоке отнюдь не сводилась к активности «уличных торговцев»⁸⁴, как утверждали некоторые, но включала крупномасштабные торговые операции,

⁸¹ *McCormic* (2001). P. 797.

⁸² *Ibid.* P. 718.

⁸³ См.: *Inalcik* (1994). P. 354–355.

⁸⁴ См.: *Steensgaard* (1973).

в том числе связанные с экспортом и импортом. Значительный объем импорта в конце концов привел к зарождению местного производства хлопка в Бурсе и Алеппо, где имитировались индийские ткани (то же самое произошло с известной черепицей из Изника, изготовители которой копировали китайские образцы)⁸⁵.

Шерсть была первым сырьем, пошедшим на экспорт, и в конечном счете экспорт именно этого товара стал играть важную роль в торговле с Ближним Востоком. Изготовление шерстяных тканей превратилось в важнейшую и наиболее активно растущую отрасль западной экономики, производительность которой, «возможно, более чем утроилось... с появлением горизонтального педального станка»⁸⁶. Производство тканей значительно усовершенствовалось с внедрением нового станка, самый ранний вариант которого стал известен в Европе в X веке. Этот тип станка на Востоке знали давно — начиная с эпохи Шан-Инь в Китае*. То же можно сказать и о сложных устройствах для наматывания нити, заложивших основу для гораздо более позднего изобретения — намоточной машины для шелка, приводимой в движение водой и появившейся сначала в Лукке, а затем в Болонье⁸⁷.

Производство шелка достигло в Китае значительного развития задолго до того, как оно было механизировано в Италии (а позже в Британии, что касалось и остальных тканей). Элвин описывает большие прядильные машины для пеньки, приводимые в движение водой, в основе своей напоминающие ту, которая использовалась в Северной Сун** для мотания шелка и приводилась в действие с помощью педали, вытягивая нити из емкости с кипящей водой, куда были погружены коконы шелковичных червей⁸⁸. В XIII веке такая машина была адаптирована для пеньки и стала приводиться в движение водой или животными. Элвин сравнивает ее с той, которая использовалась в конце XVII — начале XVIII века, с машиной для мотания льна и шелка, иллюстрации которой были приведены в «Энциклопедии» Дидро, замечая, что сходство между этими машинами было настолько поразительным, что «подозрения об их китайском происхождении — возможно,

⁸⁵ См.: *Inalcik* (1994). P. 354–355.

⁸⁶ *Anderson* (1974a). P. 191.

* Подразумевается период существования на территории Китая государства Шан (с 1600 по 1027 г. до н.э.).

⁸⁷ См.: *Elvin* (1973). P. 196; *Poni* (2001a and b).

** Один из двух периодов существования империи Сун (960–1127) в Китае.

⁸⁸ См.: *Elvin* (1973). P. 195.

через итальянский *filatorium* для мотания шелка — практически невозможно отвести»⁸⁹. Другими словами, в Китае зародилось не только изготовление шелка, но и механизация этого процесса, которая способствовала впоследствии появлению в Европе собственного производства тканей, которое возникло как «альтернатива импорту» шелка и хлопка.

Достижения текстильной промышленности имели определяющее значение для возрождения торговли в Европе — как с точки зрения экспорта шерстяных тканей, так и импорта шелка, на который шерсть часто обменивалась на Ближнем Востоке. И тому и другому способствовало движение в сторону дальнейшей механизации и даже индустриализации. В Европе использование гидравлических машин в текстильном производстве началось в Италии (производство изделий из шерсти в районе Абрुцци) в X веке, и вода использовалась в них, чтобы приводить в движения огромные молоты для отбивания фетра⁹⁰ (что тоже было, возможно, заимствовано из Китая⁹¹). Город Прато неподалеку от Флоренции (товары, произведенные в этих городах, за границей не всегда различали) зависел от созданных в римскую эпоху каналов и мельничных прудов (*gore*), необходимых как для стирки и обработки шерсти, а также для работы гидравлических машин.

Текстильная промышленность Прато возникла в XII веке благодаря обильным водам реки Бизенцио. Кроме того, это место чрезвычайно подходило для завершения процесса изготовления шерстяных тканей из-за обилия сукновальной глины. Ранние источники отмечают, что шерстяные ткани сушили вдоль рвов, окружавших городские стены. В XII веке развитие производства этих тканей, повсеместно наблюдавшееся в Евразии, привело к переходу от их домашнего изготовления к тому, что принято называть промышленным производством. Активная торговля тканями предполагала, что в городах должно было быть много менял, хотя банковская деятельность в полном объеме появилась лишь к концу этого столетия. К 1248 году торговцы шерстью и сукном организовали собственные объединения, включавшие мигрантов из Лукки и некоторых районов Ломбардии⁹². В 1281 году некий купец из Прато уже обменивал

⁸⁹ Ibid. P. 198.

⁹⁰ См.: *Duhamel de Monceau*. Il Lanaioli (1776).

⁹¹ См.: *Needham* (2004). P. 223 — см. относительно молотов, приводимых в движение водой.

⁹² См.: *Cardini* (2000). P. 38.

свою шерсть на шелка и мех горноста в Пере, франкском квартале Константинополя, основанном генуэзцами. Взаимный обмен шерстью и шелком был основополагающей торговой операцией между представителями Европы и Ближнего Востока. К концу XII века купцы уже ездили на ярмарки в Шампань, а в XIII веке — к папскому двору в Авиньон. В конце XIII века еще один купец из Прато действовал в качестве сборщика налогов французского короля; этот торговец вдохновил Боккаччо на историю, открывающую «Декамерон» (1358)⁹³. Банковское дело и торговля тканями часто были тесно связаны как в Европе, так и в других местах — например, в Индии.

К XIII веку в Прато было 36 мельниц, используемых для обработки зерна или шерсти. Значительное расширение производства шерстяных тканей в этом городе произошло благодаря Франческо ди Марко Датини (1335–1410), чья статуя стоит в центре городской площади перед муниципалитетом. После Датини остался значительный архив писем и бухгалтерских документов, обнаруженных в его доме и демонстрирующих уровень образованности автора в вопросах коммерции. Датини не имел детей и оставил все свое состояние благотворительным учреждениям на помощь бедным. Путешествуя, он посетил Авиньон, когда там находился папский престол (значительный рынок для текстильной продукции), и, вернувшись домой, построил фабрику, на которой осуществлялись все стадии производства тканей, включая окрашивание. Развитие текстильной промышленности и связанной с ней коммерческой деятельности в Италии происходило одновременно с развитием бухгалтерии — одно требовало другого. Поэтому Прато населяли не только успешные купцы, подобные Датини, но и бухгалтеры, юристы и торговцы.

Торговцы шерстью не только производили ткани, но и окрашивали их, а также заканчивали процесс изготовления тканей, закупаемых ими повсюду — от Ломбардии до Англии, где производилась шерсть наилучшего качества и где активная деятельность купцов и банкиров, задействованных именно в торговле шерстью, отражена в названии улицы в центре Лондонского Сити — Ломбард-стрит. На этой улице располагались самые первые международные банки. Английская шерсть способствовала развитию торговли на континенте и значительному процветанию Восточной Англии с ее известны-

⁹³ См. также: *Origo I. The Merchant of Prato: daily life in a medieval Italian city*. Harmondsworth: Penguin, 1984 [1957].

ми «шерстяными церквями»* и «мешком с шерстью», на котором традиционно сидит канцлер казначейства. Шерсть экспортировалась во Фландрию, особенно в Брюгге, где использовалась фламандскими ткачами, благодаря которым Брюгге тоже обогащался, украшаясь новыми зданиями и произведениями искусства, что привело к фламандскому Ренессансу в XIV веке. В Тоскане в основе художественного триумфа Возрождения также лежала торговля тканями. Начало Возрождения было положено благодаря работам художников (*i primi lumi*) конца XII–XIII веков, — это как раз то время, когда в Прато быстро развивалась торговля шерстью, а по всей Европе — бухгалтерия. Сами Медичи занимались как торговлей шерстью, так и банковскими операциями, имели резиденцию в «шерстяном» районе Абрुцци возле Акилы и поддерживали тесные связи с Прато, где построили церковь Санта-Мария делле Карчери неподалеку от дворца.

Для возрождения средневековой экономики чрезвычайно важным фактором оказался обмен, включая международный, — особенно в Средиземноморье, где он, в свою очередь, стимулировал производство. «Городская экономика Средневековья была неотделимо связана с морским транспортом и обменом»⁹⁴. В начале арабских завоеваний «внутреннее море» контролировали арабы. Но к XI веку море было частично освобождено от мусульманских кораблей — примерно ко времени Первого Крестового похода и открытия итальянцами пути к Атлантическому океану через Средиземное море и Ла-Манш. Появление турок изменило эту ситуацию, и их флот стал важным фактором, по крайней мере, до поражения турок в битве при Лепанто (1571) в Греции. Однако обмен оставался чрезвычайно важным для общей тенденции возрождения — не только экономики, но и для знаний, идей.

Другие «феодализмы»?

Поглощенные идеей феодализма, некоторые европейские ученые стремились найти признаки его присутствия или, наоборот, отсутствия во всем остальном мире. Колборн искал его в Азии, особенно в Японии⁹⁵; другие нашли его в глубине Африки⁹⁶. Для этих ученых

* Церквями, построенными преимущественно на доходы от торговли шерстью.

⁹⁴ *Slicher van Bath* (1963). P. 193.

⁹⁵ См.: *Coulbourn* (1956).

⁹⁶ См.: *Rattray* (1923).

любой сколько-нибудь децентрализованный режим является предметом рассмотрения (и большинство режимов демонстрируют определенную степень местной автономии в отношениях между центром и периферией). Говоря конкретнее, эти исследователи ищут признаки связанности военных обязанностей с землевладением. И такие признаки несложно найти. В итоге получается, что во многих случаях понятие «феодализм» оказывается применимым к некоторым неевропейским, например африканским, режимам⁹⁷. Однако этот поиск «универсального феодализма» оказывается ошибочным, поскольку наряду с тем, что политические условия, обычно воспринимаемые как «феодалные», были широко распространены, европейское и азиатское общество были основаны на плужном земледелии, что привело к совершенно другой системе «держания земли», чем та, которая сложилась в Африке.

Одна из проблем, связанных с более широким, не столь ограниченным взглядом на феодализм, заключается в предлагаемом объяснении несомненно уникальной динамики развития Европы. «Ни один историк не заявлял, что промышленный капитализм развился спонтанно где-либо, кроме Европы и ее “продолжения” — Америки»⁹⁸. Согласно данной точке зрения, это связано с более ранней феодальной формацией, которой Европа обязана своим «экономическим первенством», а оно уже привело к уникальной Промышленной революции и соответствующим трансформациям других обществ по всему миру. Приверженность позиции «западной исключительности», единственно возможной линии поступательного развития от Античности через феодализм к капитализму, подталкивает исторические трактовки в конкретном направлении. Нам необходимо учитывать, что первенство Европы, достигнутое в XIX веке (или ранее), совершенно необязательно восходит к периоду Средневековья, «уникальному феодализму» (или имеет причины, обусловленные этим периодом). Действительно, как может тезис об уникальности сочетаться с идеями китайских ученых о «ростках капитализма», одним из которых Элвин считает манориальную систему (а Нидэм — «бюрократический феодализм»), или с идеями Неру и его сторонников о движении Индии в сторону капитализма, сдерживаемом колониальным захватом? Как это может сочетаться с точкой зрения таких ученых, как Померанц и Брей, считавших отдельные части Китая и Европы вплоть до конца XVIII века находившимися

⁹⁷ См.: *Goody* (1971).

⁹⁸ *Anderson* (1974a). P. 402.

на одном уровне — как с экономической, так и с культурной точки зрения?

Хотя мы отказались от идеи «африканского феодализма» из-за значительного несоответствия систем производства, ситуация в Азии, где существовали комплексные типы производства, была иной. Идея о «ростках капитализма» в Азии была предложена несколькими учеными, но решительно отвергнута более ортодоксальными европоцентристами. Молодой русский историк Ковалевский, состоявший в переписке с Марксом, заявлял, что в Индии также сложился феодализм определенного типа; Маркс и Андерсон возражали против этого предположения, считая, что оно игнорирует совершенно иную политическую и законодательную ситуацию в Европе. Обе точки зрения необходимо пояснить. Разумеется, европейский феодализм был уникальным, как и все остальные общественные формации; тем не менее отношения собственности в рамках таких различных режимов имели некоторые общие черты. В этой ситуации было бы полезно построить сравнительную социологическую таблицу, чтобы показать, какие элементы феодализма присутствуют или отсутствуют в различных регионах. Важнейший вопрос состоит в том, внесли ли какие-либо уникальные признаки Европы сколько-нибудь значительный вклад в зарождение промышленного капитализма. Данную точку зрения приводят сторонники «западной исключительности» в своих «эволюционных» аргументах; однако основаны ли эти аргументы на чем-либо, кроме преимущества во времени?

Большинство ученых считают феодализм стадией, необходимой для последующего развития капитализма, а значит — присущей только Европе. Например, Андерсон полагает, что нигде за пределами этого континента (за исключением, возможно, Японии) не было такой феодальной стадии развития общества, которая оказалась бы способной развиться в стадию капиталистическую. Феодализм в Европе развивался именно так, как мы видели, рассматривая Античность; считалось, что он частично основывался на «германской системе», которая характеризовалась множеством отдельных домохозяйств, представляя собой, таким образом, значительно больший потенциал для «индивидуализации», чем античная система, где индивидуумы были представителями некоего объединения. Аналогичной была ситуация в обществах с интенсивным сельским хозяйством, с населением, живущим компактными поселениями и участвующим в коллективном труде. Многие внимательные ученые считают такой неясный атрибут, как «индивидуализм», неотъемлемым признаком рыночного капитализма в противоположность более раннему «кол-

лективизму» и одним из важнейших вкладов, внесенных феодализмом в развитие капитализма в Европе. Эту точку зрения мы обсудим позже. Согласно Андерсону, феодальный способ производства возникает в результате одновременного взаимодействия пережитков рабовладения и племенного строя — «сочетания крупной собственности на землю, контролируемой эксплуататорскими классами, с мелкими хозяйствами зависимых крестьян»⁹⁹. Считалось, что первые позволяли, чтобы «на промежуточных землях» вырастали автономные города, а также отдельные церкви и системы поместий¹⁰⁰, что в итоге способствовало «раздробленности».

Таким образом, феодализм мог сложиться только на западе Европы. Не только в Африке и Азии, но и в Восточной Европе были другие режимы. Недостаточно ясна ситуация с Византией, сохранившей сложившиеся ранее различия между восточными и западными регионами Римской империи. То, что в дальнейшем происходит с этими различиями, Андерсон описывает так: «Формы феодальных отношений поздней Византии стали результатом длительного процесса *распада* единой политики империи», тогда как западный феодализм осуществил «быстрое *соединение* двух предшествующих способов производства [племенного и рабовладельческого] в единое целое, что помогало поднять производительные силы на беспрецедентную высоту»¹⁰¹. В лучшем случае, заявляет он, процесс, происходивший в Византии, «способствовал определенному интеллектуальному подъему», торговля же в столице империи была скорее «узурпирована» итальянскими купцами, чем осуществлялась силами местных торговцев. Однако фактически торговлей в Константинополе занимались как местные, так и иностранные (в самом прямом смысле прибывшие из дальних стран — от Венеции до Лондона) торговцы; такое описание еще больше подходило Бурсе и другим ближневосточным городам.

В целом Византию считают страной, находившейся в состоянии экономической стагнации как в сельском хозяйстве, так и в различных сферах производства (исключение составляют появление некоторых новых злаков и расширение сферы применения водяной мельницы). Однако основной прорыв имел место в Константинополе, где «заводы, принадлежавшие государству... пользовались всеми выгодами единоличной монополии на экспорт в Европу до появле-

⁹⁹ Anderson (1974b). P. 408.

¹⁰⁰ Ibid. P. 410.

¹⁰¹ Anderson (1974a). P. 282–283.

ния итальянских торговых городов»¹⁰², которые позже стали производить большую часть продукции, поступавшей ранее из этого региона. Даже техника обработка шелка в Турции, как говорят, была «скорее заимствованием с Востока, а не местным изобретением». Но что означает полностью «местное» изобретение? Множество изобретений, ставших базовыми для европейской культуры и сыгравших значительную роль в подъеме Европы, имеют восточные корни. То же можно сказать о производстве шелка в Европе, важнейшем экономическом факторе итальянского Возрождения. Говорили, что шелковичные черви были провезены в Византию контрабандой с Востока в посохах несторианских монахов. Король Сицилии Рожер II, в свою очередь, в 1147 году похитил мастеров, умевших ткать шелк, из византийских городов Фивы и Коринф. В результате производство шелка распространилось на север Италии — в Лукку, где снова была предпринята попытка сохранить монополию на эту технологию. Однако с помощью работников-иммигрантов она была перенесена в Болонью, где, в свою очередь, выработали еще более сложные технологии механизированной перемотки шелка, распространившиеся далее на север. Оттуда важную часть механизированного процесса тайно позаимствовал английский торговец шелком в начале Промышленной революции в Англии. Когда мы сталкиваемся с характеристиками Турции как отсталой азиатской страны, имеет смысл вспомнить о моментах сходства (но не полной идентичности) в системах держания земли (не важно, объявленных «феодалными» или нет) и в широком развитии производства и торговли в городах, особенно европейских и средиземноморских.

Существует распространенное мнение, что частичным исключением из общего правила, согласно которому феодализм в других частях света не существовал, для многих европейских историков является Япония¹⁰³. Можно предположить, что восприятие этого паттерна связано с обратной проекцией в связи с ранними достижениями Японии в области приближения к промышленному капитализму (часто рассматриваемыми по контрасту с опытом Китая — что может быть крайне преждевременным суждением). Согласно Андерсону, Япония к XIV–XV векам развила социальную систему, аналогичную европейской, хотя существовало и отличие — держание земли в этой стране никогда не обретало формы домена или фермы при поместье.

¹⁰² Ibid. P. 275.

¹⁰³ О феодализме в Японии см. также: *Bloch* (1961). P. 446. Для М. Блока феодализм не ограничивался рамками Европы — Япония также прошла через эту фазу.

Однако он заявляет, что капитализм в Японии развился не сам по себе, а возможно, был заимствован у Европы. Кроме того, японский феодализм не обеспечивал «экономической динамики феодального способа производства, существовавшей в Европе и позволявшей высвободить возможности для первоначального накопления капитала в масштабе континента»¹⁰⁴, что готовило бы почву для появления буржуазии. Как и Бродель, Андерсон считает, что капиталистический способ производства может возникнуть лишь благодаря промышленной революции, основанной на «крупном рыночном землевладении» и наличии буржуазии. С этой точки зрения Япония могла проходить через стадию феодализма, но никогда не знала политического абсолютизма, который Андерсон, внося свой личный вклад в доминирующую концепцию, считает неотъемлемым предшественником капитализма. Соответственно, он критически настроен к ученым, считавшим последовательные фазы социально-экономического развития универсальными, а значит, полагавшим феодализм широко распространенным в мире явлением¹⁰⁵. По его мнению, такая точка зрения является реакцией на предположения о первенстве Европы, но тем не менее он настаивает на более узком определении феодального способа производства как сочетания крупного землевладения с «законодательной и конституциональной системами, становящимися... внешними структурами; разделенный суверенитет, вассальная иерархия и система фьефов являются недостаточными признаками».

В чем же предположительно состояли уникальные характеристики Древней Японии? Считается, что там, как и в Западной Европе, феодальное сельское хозяйство создало «исключительный уровень производительности»¹⁰⁶. Однако производительность сельского хозяйства в этой стране была не большей, чем в других муссонных районах Азии, таких, как Индонезия, Южный Китай или Южная Индия. В этих регионах тоже существовали высокоурбанизированные режимы с «распространяющимся крупным рыночно-ориентированным землевладением». Они активно торговали с Западом — особенно специями — и долгое время находились в центре комплексной системы обмена, в которую входили ткани из Индии, а также многочисленные «культурные заимствования»: санскрит, буддизм, индуизм, различные храмы и значимые моменты «светской» культуры.

¹⁰⁴ *Anderson* (1974b). P. 414–415.

¹⁰⁵ *Ibid.* P. 401.

¹⁰⁶ *Ibid.* P. 418.

Несмотря на достигнутый Японией уровень производительности, считается, что стимул к переходу к капитализму в этой стране «появился извне», — и это мнение игнорирует тот факт, что в Японии, как и везде в Азии, существовали соответствующие внутренние, местные достижения, например рыночный капитализм.

Андерсон утверждает, что Япония является исключением среди стран Азии, благодаря чему этой стране удалось легко «воспринять» капитализм. Его аргументация по-прежнему остается весьма европоцентристской, поскольку, в соответствии с ней, у восточных стран, и даже у такого исключения, как Япония, нет никакой возможности развить у себя капитализм, кроме как «позаимствовав» его у Запада. По Андерсону, одной из причин такой невозможности является отсутствие Античности. В одной из его статей высказывается предположение о том, что японский феодализм стал результатом медленного процесса дезинтеграции «империи, заимствованной у Китая»¹⁰⁷. Характерной же чертой Европы было «бессмертное наследие классической Античности»¹⁰⁸, то есть «последовательная смена Античности и феодализма», а не просто дезинтеграция Римской империи. В Европе продолжали существовать «остаточные явления» предыдущей формации; классическое наследие подготовило для нее путь. Возрождение этого наследия в итоге привело к эпохе Ренессанса, «вершине европейской истории»; тогда как «берегов Японии не коснулось ничего, хотя бы отдаленно напоминающего Ренессанс»¹⁰⁹. Очевидно, что в Японии не было необходимости что-либо «возрождать», поскольку до этого ничего не «умирало» (или не впадало в упадок). Итак, поскольку ни Античности, ни феодализма нигде в мире не существовало, эти явления (последовательно вытекающие одно из другого) и не могут быть обнаружены где-либо за пределами Европы.

Это заявление сталкивается с очевидной проблемой: пока историки безуспешно пытаются определить характеристики феодализма, Античность в основе своей является историческим периодом, на протяжении которого в мире доминировали Греция и Рим и который в целом не поддается экономическому определению. К тому же Античность была так специфично локализована географически, что ее наличие исключалось даже у основных торговых партнеров (и соперников) Греции и Рима — у Карфагена, Ближнего Востока, Индии и стран Центральной Азии.

¹⁰⁷ Ibid. P. 417.

¹⁰⁸ Ibid. P. 420.

¹⁰⁹ Ibid. P. 416.

Тем не менее Япония часто рассматривается как некая параллель Европе, — этот взгляд основан не только на формальных аналогиях, но, что более значимо, на исторических итогах развития. «Сегодня, во второй половине XX века, лишь один крупный регион за пределами Европы (или европейских поселений за ее пределами) достиг уровня развитого индустриального капитализма: это Япония. Как в полной мере продемонстрировали современные исторические исследования, социально-экономические предпосылки японского капитализма лежат глубоко в японском феодализме, который так потряс Маркса и других европейцев в конце XIX века»¹¹⁰. И снова еще один телеологический взгляд на вещи. По мере роста «четырёх азиатских тигров», особенно Гонконга, а теперь уже и самого Китая приходится отделять развитие азиатского капитализма от предшествующего ему феодализма (если только не принять другую, возможно еще менее удовлетворительную точку зрения о повсеместной распространённости, «универсализации» феодализма). Япония больше не является экономически уникальной. Вслед за Броделем я бы поспорил, будто отделение капитализма от феодализма было необходимым во всех случаях, — например, стоит ли отрицать связь между капитализмом и индустриализацией на основании того, что индустриализация является характеристикой не только капиталистических, но и социалистических режимов? И то и другое существует и давно присутствовало в самых различных обществах (в большем их количестве, чем часто принято считать).

В Европе процесс развития капитализма из феодализма начался с процесса, который можно охарактеризовать как очень специфическую эволюцию городов в условиях, называемых Андерсоном «раздробленностью» (казавшейся «неуместной»); у них появилось «муниципальное наследие». В сельской местности подобную роль сыграло наследие римского права, которое, как считалось, сделало возможным окончательный переход от владения собственностью на определенных условиях к независимой частной собственности¹¹¹; появление капитализма связано с этим «законным порядком», осуществляемым благодаря «письменно зафиксированному гражданскому праву». Возрождение римского права в Болонье сопровождалось «фактическим перераспределением всего культурного наследия античного мира»¹¹². Считалось, что в этот же процесс входят институ-

¹¹⁰ *Anderson* (1974b). P. 415.

¹¹¹ *Ibid.* P. 424.

¹¹² *Ibid.* P. 426.

ционализация дипломатического обмена (если посмотреть на Китай или на исламский мир, такое мнение окажется особенно европоцентристским) и возникновение абсолютизма — особой формы государства, положившей конец феодальной раздробленности и проложившей путь капитализму. Абсолютизм возник в то время, когда товарное производство и обмен были достаточно развитыми, что разлагало «изначальные феодальные отношения в сельской местности»¹¹³. Но одновременно с централизацией в Европе, предположительно отсутствовавшей в точно такой же форме в других частях мира, наблюдается окончательное оформление еще одного неотъемлемого признака капитализма — независимой частной собственности.

В связи с данной картиной возникают некоторые проблемы. *Во-первых*, юридическая интерпретация, ограничивающая сущность законов лишь письменным правом. Очевидно, что все человеческие объединения имеют «законы» в широком смысле слова — включая «обычное право»; помимо этого, все они также вступают в некие «дипломатические» отношения со своими соседями и имеют какие-то формы «частной собственности». *Во-вторых*, германские племена больше, чем римские граждане, напоминали членов групп, объединенных по профессиональному признаку; парадоксально, но существование таких групп является основой «свободного труда» при капитализме. *В-третьих*, существует европоцентристская трактовка «индивидуализма», продвигаемая значительным количеством европейских ученых. Исследования показали, что среди многих народов, находящихся на родоплеменной стадии развития, акцентировалась мысль о существовании отдельных индивидов, как это видно, например, в классическом исследовании Эванс-Притчарда, посвященном народу нуэр в Судане. В любом случае, как я везде подчеркиваю, капиталистическая организация труда (например, на фабрике) требует гораздо большего подавления индивидуальности, чем охота или земледелие¹¹⁴. Жизнь отшельника типа Робинзона Крузо или поселенца на пограничных землях не является нормальной для большинства людей и больше всего напоминает жизнь охотников и собирателей самых ранних формаций, чем их потомков. Наконец, создается впечатление, что в споре о вкладе феодализма в возникновение капитализма заметно пренебрежение ролью городов (которые Маркс считал ядром будущего развития); городов, выросших в условиях феодализма и постепенно начавших преобладать над сельскохозяйственными

¹¹³ Ibid. P. 429.

¹¹⁴ См.: Goody (1996a).

отношениями; городов, чья история уходит корнями в бронзовый век; городов, процветавших в постантичный период почти везде за пределами Западной Европы. Маркс рассматривает возможность развития капитализма начиная с Рима или Византии, но утверждает, что доход, полученный от торговли или ростовщичества, еще не являлся «капиталом». Фактически же вложение инвестиций происходило как в торговлю, так и в мануфактурное производство; как в процесс изготовления шелка, так и в сельское хозяйство или производство бумаги. Торговля и ростовщичество также, разумеется, были необходимы для дальнейшего развития, как и наличие «свободного» крестьянства и городских ремесленников. Именно из этих двух последних категорий впоследствии стала формироваться рабочая сила для промышленности.

Таким образом, феодализм рассматривается как формация с децентрализованным государственным строем, предоставляющая «в промежутках» возможности для развития и допускающая проявления «малой толики» свободы. Восток, начиная с Ближнего Востока, считался зоной ирригационного земледелия и деспотизма, сопутствующих «азиатскому способу производства», который мы рассмотрим в следующей главе. Утверждалось, что «деспотические» системы» были не способны обеспечить условия для развития капитализма (хотя абсолютизм оказался способным это сделать). Однако они вполне сочетались с наличием городов, крупными масштабами производства (например, шелковых тканей в Турции или тканей из хлопка в Индии), даже с определенной долей механизированного производства. Эти страны участвовали также в комплексном обмене между Европой, с одной стороны, и Азией — с другой. Как же они могли бы участвовать в этом важном для них обмене товарами и технологиями, если бы имели настолько отличающийся социально-экономический базис? Не были ли элементы капиталистического развития распространены значительно шире, чем допускают многие ученые, — и как мы это увидим, анализируя труды Броделя?

Глава 4. Азиатские деспоты и общества: в Турции или где-либо еще?

В позднее Средневековье самой близкой к Европе крупной азиатской державой была Турция. С XIV века турецкие армии постоянно нападали на европейские и «христианские» территории, в том числе на Византию и Балканы. Задолго до этого Европа пережила вторжение мусульман (мавров) из Северной Африки в Испанию, на Сицилию и в Средиземноморье в целом. Мавры и турки стали воплощением враждебных Европе деспотических сил, чуждых христианским добродетелям, варварских и жестоких: одним словом, они были мусульманами.

В глазах европейцев, даже интеллектуалов, Турция была деспотией, особенно после XVII века. В «Государе» Макиавелли описывает Порту как государство, где лишь один человек является властителем, а все остальные — его рабы или слуги. Через несколько лет после Макиавелли другой автор, француз Боден¹, противопоставил европейские монархии азиатскому деспотизму с его неограниченной властью, подчеркнув, что такую систему никогда бы не потерпели в Европе². Другие мыслители полагали, что важнейшие различия между Востоком и Западом обусловлены отсутствием в Турции наследственной знати³ или частной собственности⁴, причем и то и другое рассматривалось в то время как инструмент защиты людей и их земных благ. Французский философ Монтескье считал, что

¹ См.: *Bodin* (1576).

² См.: *Anderson* (1974b). P. 398.

³ См.: *Bacon* (1632).

⁴ См.: *Bernier* (1658).

в восточных системах имущество людей в любой момент могло быть конфисковано⁵; такое отсутствие безопасности стало символом восточного деспотизма, в противоположность европейскому феодализму, уважавшему личную собственность человека.

Разумеется, восприятие турецкого деспотизма со временем менялось. В начале XVI века венецианские послы благожелательно сравнивали институты Османской империи с западными. А после 1575 года оценка прямо поменялась на противоположную⁶. «Хотя принципы, на которых основана его [султана] власть, и противоречили принципам Венецианской республики, тем не менее империя производила впечатление дивного порядка»⁷. Что изменило ситуацию? Кое-что изменилось в Стамбуле; там стало больше «тирании». Атлантические державы стали получать дополнительные ресурсы из Нового Света, повлиявшие на их экономику. Битва при Лепанто стала величайшей военной победой. Но самым значимым фактором, по мнению Валенси, было то, что Европа вновь открывала для себя Аристотеля, точнее, открывала концепцию деспотии, «отделение Азии (или Востока) от Европы: концепцию восточного деспотизма»⁸. Призрак абсолютной власти стал преследовать Европу.

Итак, в начале Нового времени Турция стала восприниматься в Европе как типичный пример восточного деспотизма, точно так же, как для античной Греции таким примером являлась Персия. Как мы видели в главе 2, греческие этноцентристские установки были интегрированы в последующую западную историографию и культурный анализ. Созданная греками жесткая дихотомия собственных «демократических систем» и того, что они воспринимали как персидское, деспотическое, «другое», соединилась с более поздним мнением о турках и создала в европейском сознании парадигму, характеризующуюся тем, что Маркс называл «азиатской исключительностью». Однако и Европа, и Восток являются наследниками цивилизаций бронзового века, протянувшихся от зоны «плодородного полумесяца» на Ближнем Востоке по всей Азии вплоть до Китая, а также ставших основой развития Европы в античный период. Так что вменяемое противопоставление европейских и азиатских обществ имеет незначительную аналитическую ценность применительно к древней истории. Например, в самом начале нашей эры существовали две великие

⁵ См.: *Montesquieu* (1748).

⁶ См.: *Valensi* (1993). P. 71.

⁷ *Ibid.* P. 98.

⁸ *Ibidem.*

империи — Рим на Западе и Китай на Востоке. С точки зрения развития их мало что отличало друг от друга. Обе державы были построены на основе экономик бронзового века и сумели организовать себя, используя письменные системы знаний и коммуникации, в одном случае на базе одного из вариантов финикийского алфавита, в другом — тщательно продуманного логографического иероглифического письма. С точки зрения систем знаний они были во многих случаях сравнимыми (как показал Нидэм на примере ботаники⁹). И в Риме, и в Китае экономические и культурные достижения были построены на сходных тенденциях развития, берущих начало в бронзовом веке. Но, при том что как Рим, так и Китай использовали в сельском хозяйстве плуг — практика, широко распространенная в культурах, возникших из городских обществ бронзового века, расселившихся по всей Евразии, — в Китае географические условия благоприятствовали крупномасштабной ирригации в долинах рек. Это и способствовало появлению идеи об азиатском деспотизме, поскольку считалось, что организация таких масштабных совместных действий возможна только под руководством сильной центральной власти. Организация такого рода охватывала также различные виды ремесленной деятельности, связанные с постройкой городов, мануфактурами и обменом, включая распространение грамотности.

«Городская революция» бронзового века привела к еще более выраженной экономической стратификации, поскольку теперь с помощью животной тяги, необходимой для подобных перемен, один человек мог обработать значительно большую площадь земли, чем с помощью мотыги. Этот момент придал гораздо большее значение дифференциации собственности, поскольку, имея больше земли, человек мог использовать вьючных животных и нанимать людей, чтобы полученные излишки продать затем на городских рынках. Ценность земли стала совершенно иной, чем в эпоху мотыжного земледелия. Экономика большинства обществ Евразии базировалась не только на сходных технологиях производства, но и на широко распространенных сходных практиках организации труда, в большей степени связанных с рабством на Западе, в несколько меньшей — на Востоке. Позже к бронзе добавилось железо — более «демократичный» металл, который использовался как для мирных занятий, то есть для изготовления плугов, так и для войны, то есть для производства оружия. Развитию социальной дифференциации, порожденной совершенствованием сельскохозяйственного произ-

⁹ См.: *Needham* (1992).

водства, способствовал также обмен натуральными продуктами и изготовленными товарами, предметами роскоши, охватывавший значительные расстояния, а также и местный обмен товарами повседневного спроса. Интенсификация всех видов обмена возросла благодаря использованию колесного и водного транспорта. Письменность стала одним из специфических видов деятельности, появившихся в условиях «городской революции», вместе с которой пришло то, что в понимании многих является «цивилизацией», с характерными для нее крупными конгломерациями в отличие от небольших поселений прежних времен. Все это сопровождалось как культурной, так и политико-экономической стратификацией во всех основных обществах Евразии. Каждое общество по-своему реагировало на зарождающееся социальное расслоение, что порождало многообразие политических систем, — и в мои цели не входит сглаживать различия между системами правления и организации общества в различных культурах. Однако все это разнообразие укладывается в широкую структуру, которую Эрик Вульф назвал «трибутарное государство», — такие структуры были более централизованными на Востоке и менее — на Западе¹⁰, но без всякой жесткой дихотомии, которую предполагает идея о существовании «типичного азиатского деспотизма».

В недавно вышедшем труде Фернандес-Арместо, посвященном всемирной истории последнего тысячелетия, была предпринята попытка восстановить баланс, нарушенный господством прежних европейских концепций; он трактует «превосходство Запада» как «несовершенное, сомнительное и кратковременное». Лидерство перешло от Атлантики к Тихому океану, это произошло уже в начале II тысячелетия н.э., и сохранялось там дольше, чем часто полагают европейцы.

«На протяжении XVIII века, несмотря на значительное расширение некоторых европейских империй, Китай почти по всем стандартам все еще оставался наиболее быстрорастущей империей мира. Он также выглядел “родиной” более “современного” общества... будучи более образованным обществом, где более миллиона человек закончили учебные заведения; более предпринимательским обществом, с большим количеством крупных предприятий и большим слиянием рыночного и промышленного капитала, чем где-либо еще; более промышленным обществом, с более высоким уровнем производства, причем более механизированного и специализированного; более

¹⁰ См.: *Wolf* (1982).

урбанизированным обществом с высокой плотностью населения в большинстве регионов; а с точки зрения распределения ролей среди взрослых членов общества — *adult roles* — даже более эгалитарным обществом, где благородное сословие имело привилегии, аналогичные тем, которые имели люди того же социального статуса в Европе, но при этом находилось в подчиненном положении по отношению к ученым-чиновникам, которые были выходцами из различных слоев общества»¹¹.

Учет даже некоторых из этих черт не только требует переоценки роли Китая в мировой истории вплоть до XVIII века, но и вполне определенно подрывает представление о статичном восточном деспотизме.

На самом деле идея азиатского деспотизма совершенно не соответствует действительности. «Великое учение» Конфуция чрезвычайно любопытным образом проливает свет на природу или, по крайней мере, на идеальный образ китайского государства. В отличие от того, что предполагает типичная картина «азиатского деспотизма», Конфуций утверждает, что «любой, кто теряет поддержку народа, теряет страну»¹². Такая поддержка напрямую зависит от добродетельности правителя. Необходимость заручиться поддержкой народа предполагает некий вариант консультационного процесса, а совсем не автократическое правление. Правитель обязан помогать народу вести «процветающую и счастливую жизнь», и именно этого требует мандат, получаемый им от Небес.

Очевидно, что проводить прямое противопоставление Европы и деспотической Азии опрометчиво, и такое противопоставление основано на невежестве или предубеждении. Далее в этой главе мы продолжим изучать аспекты, традиционно разграничивающие «ненормальный» и «тиранический» Восток и Запад, идущий по пути демократического развития, и проанализируем обоснованность такой дискриминации, более близко рассмотрев ближайший к Европе пример «азиатской исключительности», то есть Турцию.

Я хочу представить три аспекта оттоманского общества, чтобы уточнить определенные аспекты европейских предубеждений по отношению к Турции и в самом общем виде поразмышлять о европейской периодизации истории и европейской историографии. Этими аспектами являются: переход к огнестрельному оружию — тема,

¹¹ *Fernandes-Armesto* (1995). P. 245.

¹² *Confucius* (1996). P. 46.

которая позволит нам коснуться вопроса об «исламском консерватизме»; организация сельского хозяйства (и представление о «крестьянине как рабе») и уровень развития торговли, которая, как обычно считают, находилась на Востоке под контролем государства (хотя я берусь утверждать, что Турция демонстрировала определенную степень развития меркантильного капитализма).

Рассмотрение этих вопросов позволит нам прийти к выводу, что и в названных аспектах, и в области управления государством Турция напоминала Европу гораздо больше, чем было принято считать, — как своим государственным строем, так и экономикой, а также тем, что касается «культуры». Ее вооруженные силы охотно перешли на использование огнестрельного оружия и пороха, а в Средиземноморье ею вскоре был создан военный флот. Крестьяне имели тот же статус в обществе, что и в других странах, и не считались рабами правителя страны. Наиболее важно то, что ее так называемое «деспотическое» правление поощряло торговлю (включая частное предпринимательство) и развитие торговой экономики — особенно в сферах торговли шелком, бумагой (а также их изготовления) и пряностями. Во всех этих сферах наблюдалось существенное развитие, которое в конце концов прекратилось не столько из-за внутренних факторов, сколько из-за перехода к производству тканей в самой Европе и открытия атлантическими странами морских путей на Восток (за специями и тканями) и в Америку (за золотом и сельскохозяйственными продуктами), что существенно уменьшило масштаб предшествующих достижений Ближнего Востока. Большая часть данной главы посвящена Турции, традиционно воспринимаемой в качестве страны, в наибольшей степени отрицающей европейские ценности, а в ее завершающей части мы обратимся к Дальнему Востоку — тоже часто противопоставляемому демократичному, динамично развивающемуся Западу. Здесь же мы глубже рассмотрим сходные черты двух сторон Евразии, которые я обозначил выше.

Войско султана

Взгляд на Турцию как деспотическую страну тесно связан с идеей «исламского консерватизма» — проявляющейся, в частности, в представлениях о технологической отсталости¹³ Османской империи, свойственных европоцентристским подходам таких ученых, как

¹³ См.: *Agoston* (2005). P. 6.

К.М. Сеттон¹⁴, Э.Л. Джонс¹⁵, П. Кеннеди¹⁶. Консерватизм подразумевает неохотное восприятие технологических инноваций других стран, а также наличие тенденции подчинять любые нововведения в области технологии, в сфере социальной и экономической жизни скорее идеологическим, чем практическим соображениям и осуществление их под автократическим диктатом светских или религиозных авторитетов, не оставляющих места для проявления личной инициативы и «свободы воли», характеризующих, как подразумевается, европейское общество.

Европа, возможно, первой начала использовать огнестрельное оружие и совершенствовать его, а Османская империя, столкнувшись с такой новинкой своих врагов, вскоре взяла с них пример. Быстро, в прагматичной и эффективной манере Турция изыскала материалы, необходимые для изготовления оружия и пороха, начала производить собственное оружие, чрезвычайно результативно организовала это производство, учитывая также сопутствующие техники, и даже изменила структуру армии.

«Изобретение» пороха, появление огнестрельного оружия и особенно его использование в боевых действиях стали характерными чертами позднего Средневековья¹⁷. Порох был впервые изготовлен в Китае в VII или VIII веке н.э., но, согласно Нидэму, «действительно “настоящее” орудие, ружье или бомбарда... появились... примерно после 1280 года»¹⁸. За несколько десятилетий эти виды оружия достигли как исламских стран, так и христианской Европы. Неизвестно точно, каким именно образом порох и огнестрельное оружие появились в Турции. Свидетельства об использовании монголами какого-то вида оружия на основе пороха относятся к 30-м годам XIII века¹⁹, а с середины того же столетия они же способствовали его распространению на территории нынешних Ирана, Ирака и Сирии; настоящее огнестрельное оружие появилось там позже, в XIV веке. Похоже, что в Европе очень быстро осознали ценность нового вида оружия и усовершенствовали его, создав пушки (в Китае, согласно Нидэму, первые пушки появились в XIII веке²⁰). Они использова-

¹⁴ См.: *Setton* (1991).

¹⁵ См.: *Jones* (1987).

¹⁶ См.: *Kennedy* (1989).

¹⁷ См.: *Agoston* (2005). Р. 1.

¹⁸ *Needham* (1986b). Р. 10.

¹⁹ См.: *Agoston* (2005). Р. 15.

²⁰ См.: *Needham* (1986b). Р. 4.

лись в 20-е и 30-е годы XIII века при осаде городов, а также размещались на кораблях. К середине столетия пушки применялись в Венгрии и на Балканах, а к 1380 году их знала и Османская империя. Пушки использовались при завоевании Константинополя турками в 1450 году. В начале XIV века их стали устанавливать на европейских кораблях в Средиземноморье, что позволило Европе доминировать там.

Изготовление пушек было сложной задачей. Турки для этой цели пользовались бронзой, поскольку имели доступ к запасам меди; европейцы в основном использовали железо, которое было менее дорогим, но более тяжелым материалом, связанным с большим количеством рисков. Как бронза, так и железо требовали наличия литейных цехов с необходимой организацией и разделением труда — и так было повсюду в Средиземноморье. Рассказывая о большом венецианском Арсенале, Зан описывает его как огромный завод, на котором работало множество рабочих, что подрывало систему гильдий. По всей Османской империи появилось много литейных цехов (*тофане*) — в Авлони, Эдирне и других городах, включая Имперскую литейную (Товане-и-Амире) в Стамбуле. Как и в Западной Европе, в стамбульском Арсенале изготавливали пушки для кораблей.

«В конце XV — начале XVI века Имперская пушечная фабрика, Арсенал (Чебехане-и-Амире), Пороховой завод (Борутхане-и-Амире) и Морской арсенал (Терсане-и-Амире) представляли собой, возможно, крупнейший военно-промышленный комплекс в Европе раннего Нового времени, с которым мог соперничать только венецианский Арсенал»²¹. Стамбульская литейная производила в год до 1000 ружей (обычно меньше); количество работавших там людей в разные годы было разным: в 1695–1696 годах там было занято 62 литейщика плюс «целый отряд» других рабочих и еще от 40 до 200 поденщиков²². Наряду с большими осадными пушками там производили и другое оружие. Как показал Агостон, бытовавшее в Европе мнение, что турки не имели массового производства небольших пушек, являлось ошибочным. Конечно, массовое производство пушек было новой технологией для Турции, но таким же новым делом оно было и для Запада; впрочем, некоторые предвестники появления новых арсеналов и литейных цехов для производства пушек и оснащения ими кораблей уже давали о себе знать, и Турция совсем не медлила в усвоении новых тех-

²¹ Agoston (2005). P. 178.

²² Ibid. P. 181.

нических приемов и способов организации труда, обычно определяемых как «капиталистические».

Итак, вопрос о «технологическом консерватизме» отпадает. «Когда техническая восприимчивость Османской империи соединилась с широкими возможностями массового производства и высочайшим качеством местной логистики, войско султана, оснащенное огнестрельным оружием, обрело к середине XV века очевидное преимущество над своими европейскими противниками»²³. До самого конца XVII столетия огневая мощь и логистическое превосходство позволяли Турции успешно противостоять империи Габсбургов и Венеции.

Точно так же нельзя обвинить Турцию и в «организационном консерватизме». Постоянная армия, состоявшая из янычар, существовала в Османской империи задолго до того, как нечто подобное появилось в Европе. В правление Мурада I (1362–1389) регулярная армия была признана в качестве необходимой «силы, которая будет выше религиозных, культурных и этнических различий»²⁴. Янычары рекрутировались по системе *devsirme* (призыва), состоявшей в том, чтобы периодически разлучать с семьями и «отуречивать» юношей христианского происхождения в возрасте от 15 до 20 лет. После прохождения обучения такие войска поступали в прямое подчинение султану и получали оплату от казначейства. Среди стран — соседей Османской империи впервые регулярная армия появилась в габсбургской Австрии, где постоянные войска скольконибудь значительной численности были созданы во время Тридцатилетней войны (1618–1648), то есть 250 лет спустя.

Все это в сочетании с появлением пушек большого размера показывает, что Османская империя была склонна к нововведениям в военных вопросах. Легкость, с которой турки адаптировались к новым требованиям, касающимся военной ситуации, — как техническим, так и организационным, — предполагает, что реальная динамичность турецкого общества отличалась от представлений ученых, приверженных идеям «азиатской исключительности» и «европейской уникальности», по крайней мере, в отношении консерватизма и технологической отсталости, которые якобы сдерживали перемены. Историки, признававшие достижения Турции в военной сфере, настаивали на том, что технологии заимствовались благодаря иностранной рабочей силе, привлекали внимание к количеству иностранцев, работавших на предприятиях по производству оружия и

²³ Ibid. P. 9.

²⁴ Ibid. P. 22.

иногда — служивших в турецких войсках. Турецкие достижения порой интерпретировались с позиции «теории зависимости», рассматривающей Османскую империю как «третьеразрядного производителя», неспособного полностью самостоятельно организовать массовое производство. Однако это не доказывает нестабильности Турции или ее организационной несостоятельности, поскольку наем иностранцев был распространенной практикой и в других странах — например, в Испании приглашали немецких рабочих-металлистов. Что касается вооруженных сил — вспомним Отелло, венецианского мавра, командующего армией на Кипре, или британского адмирала Слейда в турецком флоте²⁵. Так что «заимствования» разного рода не были отличительной чертой Турции, и европейцы тоже пользовались услугами иностранной рабочей силы. Точно так же привлечение рабочей силы из других стран нельзя считать показателем консерватизма или свидетельством более низкого уровня развития данной страны. Быстрое признание турками преимуществ нового инструмента, метода или другого типа рабочей силы, достаточная адаптивность, чтобы принять новое, полностью расходятся с европейской версией «азиатской исключительности». Они были не просто «потребителями оружия» (а кто им не был?), но и «значимыми участниками динамического процесса военных действий между Европой и Азией»²⁶.

Правильнее было бы воспринимать процессы развития и заимствования технологий интерактивно, чем просто пытаться определить, кто был первым в развитии того или иного нововведения — например, в сфере промышленного производства. С этой точки зрения вопросы превосходства и вторичности обретают совершенно иную перспективу.

Крестьяне как рабы?

Один из европейских аргументов состоит в том, что положение рабочей силы в Турции значительно отличалось от положения тех же категорий населения на Западе, где рабство трансформировалось в феодальную зависимость; считалось, что турецкое крестьянство находилось практически в рабской зависимости. Но так ли это было на самом деле? Можно ли было продавать и покупать турецких

²⁵ См.: *Yalman* (2001). P. 271.

²⁶ *Agoston* (2005). P. 12.

крестьян, как движимое имущество? Разве не было у них прав, связанных с родством? Определенно, в Порте были периоды усиления центральной власти, однако считать турецких крестьян рабами означало бы принимать риторические обороты за реальное положение вещей. В действительности сельское хозяйство Османской империи базировалось на возделывании арендованных земель — так называемой системе *чифт-хане* (*cift-hane*). Эту систему организации крестьянских хозяйств исследовал турецкий историк Иналчик в связи с аналогичными работами Чаянова по истории России²⁷. Он полагал, что турецкая система вполне укладывалась в общеевропейскую схему. Подобный тип семейного держания земли был столь же важен для сельского хозяйства, как и гильдии для турецких городов²⁸. Организационная структура как того, так и другого типа хозяйства активно поддерживалась государственными чиновниками, проводившими регулярные опросы. Другими словами, европейская и турецкая системы были вполне сравнимыми демографически, экономически и социально. Крестьянское домохозяйство включало в себя супружескую пару, державшую определенный участок земли (5–15 гектаров) и пару волов. Идеологическое обоснование государственной собственности на эту землю предназначалось главным образом для того, чтобы поддерживать эту систему и защищать крестьян от раздела земли, нападений и чрезмерной эксплуатации. Государственная защита была важна еще и потому, что такое держание составляло базовую единицу налогообложения.

Турецкое государство проводило протекционистскую политику по отношению к крестьянам и скотоводам хотя бы потому, что видело в них налогоплательщиков, и эта защита предусматривала обеспечение общего права на обладание средствами к существованию. Крестьян и скотоводов могли селить на вновь завоеванных землях в обмен на выполнение ими определенных обязательств по отношению к государству. Поскольку само государство было не в состоянии принять все виды «феодальных» трудовых повинностей, оно конвертировало их в деньги. Налогами облагалось семейное крестьянское хозяйство, «признаваемая законом автономная единица»²⁹, появившаяся еще в позднеримский период и пережившая упадок империи. Роль турецкого государства, фактически, не многим отли-

²⁷ См.: Chayanov (1966).

²⁸ См.: Inalcik (1994). P. 143.

²⁹ Ibid. P. 174.

чалась от верховной собственности европейских владык, дававшей им право судить, облагать налогами и мобилизовывать на службу своих подданных. Крестьянство было одновременно «зависимым и свободным», как и большинство держателей земли повсюду; государство защищало его от произвола землевладельцев и сборщиков налогов³⁰.

Таким образом, держание земли в Османской империи оказывается организационно более сложным, чем считали те, кто характеризовал Турцию как «азиатско-деспотическое государство»; подобное мнение было характерно отнюдь не только для ученых-марксистов, но и являлось общеевропейским подходом в отношении восточного «иного». Поскольку Османская империя была по сути своей государством-завоевателем, именно факт завоевания новой территории устанавливал все государственные права на землю (*miri*). Однако по данному поводу существовали и разногласия — одни считали, что все права на эту землю переходят умме как «сообществу истинно верующих», другие — что султану как ее представителю. В действительности, как мы видели, завоеватели оставляли местные крестьянские сообщества на их собственной земле, просто выступая в качестве сборщиков «арендной платы»³¹. Государство обретало «верховную собственность» на эту землю, и, поскольку его дальнейшие планы на продолжение завоеваний требовали содержания войска, оно нуждалось в поступлении налогов.

«Земля и крестьяне могут принадлежать султану», гласит персидская поговорка. Но необходимо тщательно разобраться, какие конкретно реальные права могли подразумеваться под словом «принадлежать». В самом деле, турецкое гражданское право было тесно связано с римско-византийскими практиками³². Как и в римском праве, право на землю предусматривало «верховное достояние» («собственность»), владение и узуфрукт (право пользования); два последних варианта полностью относились к крестьянам и интерпретировались самыми разнообразными способами. При определенных обстоятельствах крестьянин мог продать государственную землю, хотя это была бы не самая простая сделка; в подобных случаях исламское право требовало установить «абсолютного собственника»³³. Как и в Европе, верховное владение означало лишь

³⁰ См.: *Inalcik* (1994). P. 145.

³¹ *Ibid.* P. 104.

³² *Ibid.* P. 105.

³³ *Ibid.* P. 117.

высшее право на осуществление юридического контроля, тогда как для подданного могло быть установлено право «полной собственности» (*mulk mahz*), что давало крестьянину возможность передавать землю религиозным объединениям. Иналчик использует термин «свободное держание» именно в таком контексте, хотя, как и везде, свобода подобного рода означала лишь расширение контроля.

Крестьянин мог также использовать свои права на землю в коммерческих целях. В некоторых случаях, особенно в случае *waaf*, то есть земли, переданной в свободное держание, «крестьяне собирали большие излишки урожая пшеницы, которые и продавали на удаленных рынках — в городах империи и в Европе»³⁴. Другими словами, они поддерживали связь с рынком и выращивали культуры, предназначенные для продажи: хлопок, кунжут, лен и рис. Права, связанные с частной собственностью такого рода, были установлены исламскими законами, а такой факт внутри исламского государства нельзя игнорировать; «власть закона» в нем прямо касается имущественных прав, как и многих других. Постоянная напряженность между светскими и религиозными властями фактически защищала права крестьян и ремесленников от слишком больших поборов в пользу одной из сторон. Действительно, в Османской империи, как и в других государствах, всегда наблюдалась некоторая напряженность между государственной и религиозной властью, то есть между султаном и кади, создававшая некую «раздробленность власти», которая, как мы показали в предыдущей главе, считалась уникальной характеристикой европейского феодализма³⁵. Разумеется, интересы церкви и государства в Европе тоже далеко не всегда были идентичными, в теории они оставляли сходное пространство для маневра как в городе, так и в деревне.

Несмотря на свой материалистический подход, многие авторы марксистского толка сосредоточивали свое внимание на достаточно абстрактных видах прав (больше, чем на практических), применяя широкие категории государственной, общинной или личной собственности. Но, как подчеркивал Генри Мейн, во всех обществах мы обнаруживаем иерархию прав на землю, когда какая-то их часть принадлежит тому, кто эту землю обрабатывает (или его домохозяйству), другая часть — местному землевладельцу, а остальные права относятся к более высоким политическим уровням. Суще-

³⁴ Ibid. P. 126.

³⁵ Ibid. P. 128.

вует множество вариаций прав, которыми наделяется тот или иной уровень, и было бы ошибочным считать, что в каком-либо конкретном обществе все возможные права на землю могли быть сконцентрированы на одном уровне. В сфере сельского хозяйства, которое обеспечивало существование большинства людей, имела место значительная дифференциация прав, относящихся к орудиям труда и методам обработки земли, в основном зависевшая от того, являлось ли земледелие ирригационным или основанным на естественном орошении, являлось ли оно постоянным или переменным по характеру, плугом или мотыгой обрабатывалась земля, а также от некоторых других, более скрытых различий. Кроме того, существовала дифференциация в отношении прав на землю. Сложный характер этих прав в Османской империи, а также поверхностность прежних европейских взглядов нашли свое отражение в недавнем исследовании собственности на землю (фьефов за военную службу) в исламской (ханафитской) юриспруденции в Египте от мамлюков до времен Османского владычества³⁶. «Иерархия прав», в самых разных видах распространявшаяся из Европы, оказалась, по меньшей мере, столь же сложной и на практике, и в переменчивых дебатах юристов, хотя теоретическим осмыслением этих вопросов творцы политической идеологии занимались так же мало, как и предположениями о таинственном происхождении иерархии прав³⁷. Споры разворачивались по поводу природы этих прав и велись юристами высочайшего уровня. Разнообразные выводы, к которым они приходили, разумеется, имели влияние на государственную политику, особенно когда дело доходило до суда, но часть этих споров представляла собой попытки письменно сформулировать существующие сложности общественной жизни, имеющие отношение к собственности. Следует добавить, что, в отличие от того, как воспринимали ситуацию многие европейские юристы, пришествие ислама и последовавшая за ним смена режима не отменяли полностью существовавших ранее прав (как, несомненно, случалось во многих других ситуациях, связанных с завоеванием новых земель), хотя, разумеется, некая реорганизация имела место.

Помимо крестьянских наделов, земельные пожалования осуществлялись за военную и административную службу в обмен на выполнение определенных обязанностей. Европейцы «убедительно» доказывали, что, поскольку такое пожалование могло быть отозвано,

³⁶ Mundy (2004).

³⁷ Ibid. P. 143.

обозначавший его арабский термин *икта* следовало переводить как «административное пожалование», а не как «фьеф»³⁸. Однако ясно, что концепции того и другого были очень схожими, и их, как и китайскую систему, называемую «манориальной»³⁹ (а у Нидэма — «бюрократическо-феодальной»), следовало бы проверить с помощью *sociological «grid»* (социологической «сетки»), а не используя базовый подход «есть—нет», основанный на чисто европейском опыте. Когда это будет сделано хотя бы номинально, может оказаться, что ситуация в Турции была куда ближе к европейской, чем предполагают многие теории. Но на самом деле сопоставление условий, существовавших на Ближнем Востоке к началу наступления турок, с тем, что наблюдалось в начале европейской истории, уже было проведено. Оказалось, что после своей смерти в 1193 году Саладин оставил режим, напоминавший «монархию, скрепленную узами сюзеренитета и вассальной зависимости, угрозой для сохранения которых становилось ослабление сюзерена»⁴⁰.

Сельское хозяйство Турции никогда не оставалось чисто натуральным; оно с неизбежностью должно было производить определенные излишки. Стамбул был огромным городом, более крупным, чем любой другой в Европе, и его снабжение являлось предметом важнейших забот османских правителей, как ранее их христианских и римских предшественников. Большая часть пшеницы поступала из северных районов Крыма, где выращивание хлеба на продажу достигло значительных масштабов; тот же район в определенный период снабжал хлебом и Венецию. Но хлеб в города поставлялся и из других частей страны, в то время как население значительных территорий вокруг самой столицы занималось выращиванием домашнего скота или фруктов и овощей. Крестьяне никогда не работали лишь для обеспечения собственных потребностей; рынок и торговля всегда были важны для них. Положение Стамбула по отношению к множеству городов Северного Средиземноморья было примерно таким же, как и во времена владычества Рима, когда город снабжался по системе, известной как *аннона* (форма «дотаций»). По многим аспектам турецкие города можно было сопоставить с городами Востока и Запада; Турция была частью «средиземноморского мира», и все крупные городские области испытывали проблемы, связанные со снабжением; часто это были проблемы поставок со стороны крестьянских хозяйств.

³⁸ См.: Cahen C. (1992); Mundy (2004). P. 147.

³⁹ См.: Elvin (1973). P. 235.

⁴⁰ Fernandes-Armesto (1995). P. 90.

Торговля

Если сельское хозяйство Турции в основе своей мало чем отличалось от европейского, то примерно то же самое можно сказать и о статусе городов и состоянии торговли. Торговля была как государственной, так и частной, а значит, требовала наличия буржуазии, которая никак не может полностью находиться под «деспотическим» контролем, что подвергает сомнению само представление о «деспотизме». И Римская, и Византийская империи старались не выпускать торговлю, то есть обращение и продажу товаров, из-под государственного контроля⁴¹; Османская империя последовала их примеру. Однако в торговле участвовали также и независимые купцы и буржуа. Дом Мендесов, управляемый марокканскими евреями, изгнанными из христианской Испании, располагал сетью агентов во всех крупнейших городах Европы и «контролировал значительную часть международной торговли»⁴². «Каждая европейская страна, стремясь к торговой экспансии как предпосылке своего экономического развития, желала получить экономические привилегии от султана», то есть торговые привилегии в столице, которыми ранее обладали Венеция и другие итальянские города⁴³. «Запад зависел, по крайней мере вначале, от поставок из Османской империи (или проходящих через ее территорию) для развития новых для него отраслей — производства тканей из шелка и хлопка»⁴⁴. Поворотным моментом стала битва при Лепанто (1571) и появление в 1580–1590-х годах в Средиземноморье морских сил атлантических держав — Британии и Голландии; регион стал открытым для новых компаний этих стран по торговле с Левантом. Поэтому первые успешно функционировавшие западные компании, занимавшиеся фрахтом судов, были компаниями левантийской торговли, то есть вели дела в большей степени с Ближним Востоком, чем с Индией и еще более удаленными странами, и они возникли задолго до основания Ост-Индской компании.

В течение XVI века «Османская империя играла доминирующую роль в мировой торговле»⁴⁵. Стамбул стал точкой пересечения

⁴¹ См.: *Inalcik* (1994). P. 198.

⁴² *Ibid.* P. 213.

⁴³ См.: *Braudel* (1949). В Европе история Турции часто трактовалась с весьма односторонней точки зрения. Однако исследование Броделя, посвященное Филиппу II, рассматривает эту исламскую империю как неотъемлемую часть Средиземноморья.

⁴⁴ *Inalcik* (1994). P. 3.

⁴⁵ *Ibid.* P. 4.

торговых путей с Юга на Север (к Черному морю и дунайским портам) и с Востока на Запад (в Индию и далее). Он не только обеспечивал связь с Венецией и Генуей, но с 1400 года находился у истоков «вертикального» торгового пути, соединявшего Север и Юг — через Дамаск, Бурсу, Аккерман и Львов, по которому восточные товары достигали Польши, Московии и Прибалтийских стран; этот путь совпадал с более ранним торговым путем от Балтики до Ближнего Востока, ознаменовавшим возобновление общеевропейской торговли в период каролингского возрождения⁴⁶. С Запада импортировались преимущественно шерстяные ткани (и золото, как обычно), обмениваемые на «восточные товары» — различную местную продукцию, шелк и ковры, то есть в основном (но не полностью) на предметы роскоши. Некоторые римские моралисты были чрезвычайно озабочены тем, что золото Рима тратится на товары с Востока. Они считали Восток не столько оплотом деспотизма, сколько источником роскоши, полагая, что потакание стремлению к роскоши может оказать слишком сильное влияние на римскую воинскую доблесть. Однако торговля продолжала сохранять важное значение.

Торговые операции осуществлялись как в Европе, так и в Азии. Византийское экономическое и политическое доминирование на Черном море закончилось к 1204 году, когда в западных районах Эгейского моря и в Константинополе стала главенствовать Венеция, а восточную часть Эгейского моря захватила Генуя, приступившая к созданию колоний по берегам Черного моря. Позже Турция разрушила латинские колонии в этом регионе и восстановила старую традицию Византийской империи — самостоятельно контролировать источники поставок. Это было связано и с тем, что Мехмед Завоеватель лелеял надежду восстановить границы Восточной Римской империи, и поэтому Порте было необходимо контролировать Черное море, чтобы обеспечивать Стамбул пшеницей, мясом и солью. Торговля Северной Турции с Северным Причерноморьем шелком, хлопком и пенькой в обмен на продукты сельского хозяйства свидетельствовала о том, что Малая Азия «индустриализировалась» в этих отношениях еще до того, как западные и российские мануфактуры вступили с ней в соревнование в конце XVIII века⁴⁷. В Индийском океане также отмечалось активное присутствие Турции и Египта (номинально в течение долгого времени под верховным правлением

⁴⁶ См.: *McCormic* (2001).

⁴⁷ См.: *Inalcik* (1994). P. 275.

Турции). В какой-то момент Турция пыталась поддержать исламское царство Ачех в Индонезии как своего торгового партнера, военной силой и оружием — чтобы помочь ему в борьбе против европейского флота, проявлявшего в то время активность в регионе. Хотя Турция начинала как сухопутная держава, однако, достигнув Средиземноморья, она показала высокую адаптивность при создании флота, который впоследствии долгое время доминировал на море. Открытие Америки дало Старому Свету дешевое серебро, хлопок и сахар (последний ранее был доступен только благодаря торговле с исламскими странами), что впоследствии изменило существовавший баланс возможностей.

Производство шелка

Торговля способствовала развитию конкретной сферы мануфактурного производства, а именно той отрасли, в которой Турция была доминирующим игроком, — отрасли, оказавшей огромное влияние на подъем западного мира, в первую очередь Италии. Это производство шелка.

Шелк как сырье попадал в Византию из Китая с помощью персидских посредников — сухопутным путем или через Индийский океан. Император Юстиниан попытался разрушить персидскую монополию, особенно после того, как из-за монголов прямой путь оказался перекрытым; он искал альтернативные пути покупки шелка: на юге — у эфиопских купцов Аксума, на севере — в Крыму, на Кавказе (царство Лазики), а также в турецких степях. Шелк стал «товаром первоочередной важности». Вскоре после 561 года агенты Юстиниана тайно привезли шелковичных червей в Константинополь, что привело к появлению там полного цикла производства шелка, освободившего страну от зависимости от Востока. Фактически, это стало «одной из наиболее важных для средневековой Византии экономических операций».

Начиная с VI века н.э. шелковые ткани из Китая попадали также в Европу. С открытием Великого шелкового пути во II веке шелковые ткани стали поступать оттуда в больших количествах. После 114 года н.э. «ежегодно дюжины караванов, груженные шелками, шли из Китая через пустыни Центральной Азии»⁴⁸. Сирия, Палестина и Египет импортировали и шелк, как сырье, и шелковые ткани,

⁴⁸ Childe (1964). P. 249.

здесь начала процветать и отрасль шелководства. К IV веку производство шелка распространилось в Персии, а затем в Византии, у которой эту отрасль наследовали турки, много сделавшие для ее развития. В мусульманской части Испании шелк появился в правление кордовского эмира Абд-аль-Рахмана II (755–788), в то время когда тот принял титул халифа Умейядов. Он монополизировал чеканку монеты, а также, по примеру Аббасидов и правителей Византии, создал собственные мануфактуры по производству роскошных тканей. В кордовский Алькасар, а также в Севилью и Малагу были завезены шелковичные деревья и шелкопряды, в открытые здесь мастерские приглашены сирийские ткачи. Как и техника производства, большинство рисунков для тканей были заимствованы с Ближнего Востока, а некоторые — из сасанидской Персии⁴⁹.

Производство шелка реально «формировало структурную основу развития оттоманской и иранской экономики»⁵⁰. Бурса к XIV веку стала «мировым рынком»; множество западных купцов прибывало в порты Эфеса и Анталии. Однако генуэзцы в Пере (Константинополь) торговали напрямую с Бурсой, находившейся тогда под оттоманским владычеством. Генуэзские купцы даже проникали в глубь континента, чтобы совершать покупки напрямую в Тебризе и Азове. Торговля шелком демонстрирует нам тесные связи между производителями и купцами Европы и Ближнего Востока, особенно Турции. Сначала шелковые ткани приходили с Востока как предмет роскоши, потом Европа стала импортировать сырье и производить ткани самостоятельно и, наконец, переняла весь процесс производства — начиная с выращивания шелковиц и разведения шелкопряда. На примере этого процесса мы видим взаимосвязь регионов между собой, а также то, как идеи и техники распространяются от одного региона к другому. Изучая его, нам приходится смотреть на Евразию не с позиции различий и барьеров, разделяющих Европу и Азию (на политическом — деспотия — или ином уровне), но скорее с точки зрения постепенного проникновения товаров и информации из одних регионов в другие. В Европе производство шелка появилось существенно позже возникновения средств его механизации (даже ее ранних стадий), крупномасштабного производства и продажи тканей на Востоке (включая Турцию); в любом случае оно началось в Европе для замены импорта. «Одновременно с высокоразвитыми отраслями, связанными с производством шерсти и тканей из нее,

⁴⁹ См.: Reynal (1995).

⁵⁰ Inalcik (1994). P. 219.

производство шелка стало важнейшим источником международного обмена, а также обогащения западных стран в XIII–XVIII веках»⁵¹. Утверждалось⁵², что мода стала двигателем развития экономики, и ношение представителями привилегированных слоев общества шелковой одежды (тенденция, возросшая после Крестовых походов) способствовало процветанию производства предметов роскоши.

Из Испании производство шелка постепенно распространялось по Европе. В итальянском Салерно шелк как сырье использовался в IX веке, а в долине По — в десятом; техники производства заимствовались из Греции и с Ближнего Востока задолго до того, как Рожер II Сицилийский привез соответствующих специалистов из Греции. Однако настоящий прорыв произошел в городах Северной Италии, что, возможно, было вызвано сложностями с покупкой шелка на Ближнем Востоке в связи с завоеваниями монголов и другими катаклизмами. Шелкоткачество появилось в Лукке в XIII веке, когда многие ткачи переехали туда из Сицилии после французского завоевания в 1226 году⁵³. Они начинали с использования сырья, ввозимого через Геную из прикаспийских областей — через Персию, Сирию и «Румынию»; в связи с ростом торговых связей с Востоком этот вариант оказывался все более доступным⁵⁴. Конечно, шелковые ткани предназначались для рынка предметов роскоши — то есть для княжеских дворов, богатых аббатств, крупных соборов и, наконец, для успешных купцов. Были предприняты попытки с помощью закона ограничить потребление шелковых тканей придворными кругами и некоторыми привилегированными категориями общества, но в конечном итоге все эти попытки потерпели неудачу. Торговля неизбежно росла. Купцы торговали тканями на ярмарках Шампани, а с конца XII века — в Париже, Брюгге и Лондоне⁵⁵. Возросли как спрос, так и предложение. Успешный опыт производства шелка скопировали Болонья и Венеция, в то время как Флоренция сохранила специализацию на изготовлении шерстяных тканей, в основном из английской шерсти, став при этом, возможно, наиболее значительным промышленным центром Европы XIV века⁵⁶.

⁵¹ *Inalcik* (1994). P. 218.

⁵² В соответствии с мнением немецкого экономиста Зомбарта.

⁵³ Согласно некоторым источникам, шелкоткачество появилось в Лукке уже в XI веке.

⁵⁴ См.: *Arizzoli-Clémental* (1996).

⁵⁵ E. de Roover собирала материал для своего исследования, предназначенного «*La Sete Lucchesi*» (1993), в том числе в соборе Св. Павла в Лондоне.

⁵⁶ См.: *Tognetti* (2002). P. 12.

Таким образом, наблюдается интересная последовательность в развитии производства тканей на Востоке и Западе. Внедрение механизации изначально шло медленно, но этот процесс постепенно повысил эффективность ткачества — не везде и не сразу, но часто под влиянием перемен в других сферах, ставших результатом коммуникации. Процесс механизации стал развиваться в Китае с использованием силы воды в работе устройств для скручивания нити, что потом было воспринято Европой. То же касалось и производства шелка как сырья. Турция постепенно утратила свои прежние позиции ведущего игрока на рынке производства и торговли шелком, передав их Европе, которую так сильно напоминала в сфере организации коммерции, что говорить о значительных контрастах в этом отношении между Европой и Турцией было бы неверно.

Торговля пряностями

Производство и торговля шелком (в основном за золото) не были единственным направлением, в котором Турция и другие исламские страны демонстрировали настолько бурную коммерческую деятельность, что впору говорить о развитии там торгового капитализма, с присущей ему определенной степенью участия в процессе частных предприятий и частной инициативы, ответами на запросы рынка и сочетанием производства и торговли. Помимо шелка, на развитие торговли значительное влияние оказали изменения, происходившие в такой сфере, как торговля пряностями, и способствовавшие также португальской, голландской и английской колонизации Востока. Ранняя Турция, как и Ближний Восток в целом, тоже играла важную роль на этом рынке. Характеризуя ее, Келленбенц утверждает, что «капиталистический дух проявлялся в торговле перцем наиболее ярко, делая данную сферу одной из наиболее важных для дальнейшего развития»⁵⁷. Торговля пряностями находилась главным образом в руках индивидуальных купцов, регулярно посещавших великих ханов и наполнявших караван-сарай по всему континенту; ведение такой торговли требовало капиталистического предпринимательского духа в той же мере, как и аналогичная деятельность на территории Европы.

⁵⁷ Kellenbenz H. Le commerce du poivre des Fugger et le marché international du poivre // *Annales: Economies, Sociétés, Civilisations*. 1956. Vol. xi (1). P. 27. Цит. по: *Inalcik* (1994). P. 344.

В античный период пряности попадали в Европу с Востока и на протяжении долгого времени являлись значимой статьей обмена со странами Ближнего Востока, Индией и Китаем. В Черной Африке перец составлял важную часть местного рациона, но в Средиземноморье его приходилось ввозить с Востока, и местные купцы занимались этим с давних времен. Как и в случае с шелком, турки после захвата Константинополя переняли и эту торговую традицию. Ранее ислам распространился в Юго-Восточной Азии, Малайзии и Индонезии, и в этих странах исламские купцы продолжали свою деятельность даже после того, как португальцы открыли морской путь оттуда в Западную Европу, — первый груз пряностей прибыл в Лиссабон в 1501 году. Однако и после этого корабли из Индии и Ачеха (Суматра), принадлежавшие главным образом мусульманам, продолжали снабжать специями район Красного моря, невзирая на противодействие португальцев. Далее эти корабли везли свой груз в Персидский залив, где в 1546 году Османская империя основала свой опорный пункт — Басру. Поэтому полного отступления не было; Турция продолжала поддерживать прямые связи с царством Ачех, которое она стремилась поддерживать как политически, так и военными силами; Венеция тоже продолжала покупать некоторые восточные пряности.

С появлением в Индийском океане англичан и португальцев и с потерей Португалией в 1622 году порта Ормуз, контролировавшего проход в Персидский залив, началось колоссальное расширение торговли со стороны атлантических держав. К тому же открытие Америки склонило геополитический баланс именно на сторону Атлантики — в контексте появления такой колониальной продукции, как сахар, табак, кофе и хлопок, привозимой из обеих Америк⁵⁸. От подъема экономики атлантических держав пострадали как Венеция, так и Османская империя.

Типичным примером изменений в производстве и торговле тех времен была ситуация с сахаром. Сахар считался одной из важнейших «специй»; секрет его производства был принесен в Персию из Южной Азии, затем попал к арабам и далее — в Южное Средиземноморье. Изготовлением сахара активно занимались турки, как и христианские королевства под властью крестоносцев. Организация работ включала в себя чрезвычайно важные аспекты. «Поместья, в которых выращивался сахарный тростник, заметно напоминавшие возникшие позже американские плантации, появились в христианских королев-

⁵⁸ См.: *Inalcik* (1994). P. 353.

ствах, основанных крестоносцами в Палестине, в XII–XIII веках. К XIV веку основным производителем сахара стал остров Кипр»⁵⁹. Эти плантации были созданы рыцарями-госпитальерами, а также каталонскими и венецианскими семьями; работали на них местные крестьяне, а также сирийские и арабские рабы — то есть рабочая сила имела смешанный характер. Далее производство сахара распространилось на запад — на Крит, в Северную Африку и на Сицилию, где оно процветало даже после норманнского завоевания в XII веке. Еще со времен завоевания мавров, в течение многих столетий, сахарный тростник культивировался на Иберийском полуострове трудами рабов христианского и мусульманского происхождения, а оттуда сахар продавался по всей Европе, часто при посредничестве итальянских (генуэзских) купцов. В XV веке рабов ввозили из Африки к югу от Сахары; особой активностью в этой области отличались португальцы. Из Алгарве производство сахара и связанные с ним занятия распространились на Мадейру и другие острова Атлантического океана, а позже и в американские колонии.

Процесс изготовления сахара в Средиземноморье был усовершенствован благодаря использованию жерновов для размалывания тростника. Постепенно данная отрасль становилась все более и более механизированной. В этом регионе или где-то на островах появился новый механизм, включавший два вращающихся цилиндра, соединенных друг с другом; теперь тростник не нужно было предварительно разрезать, и в результате из него можно было извлечь больше сока. Именно на Канарских островах зародилось комплексное производство сахара, которое впоследствии описывалось как «капиталистическое» (вновь под управлением генуэзцев)⁶⁰ и совершенно определенно требовавшее значительного капитала для установки *engenhos*, машин для дробления тростника. Торговцы стали промышленниками, инвестирующими в производство капитал и использующими машинное оборудование; отрасль обрела все более комплексный характер. Предприятия такого рода с самого начала были ориентированы именно на рынок, но теперь их продукция экспортировалась в Северную Европу. Условия, существовавшие на острове Сан-Томе (Западная Африка), особенно благоприятствовали использованию труда африканских рабов и развитию такой модели предприятия, которая в конце концов сформировалась для этой отрасли в Бразилии. Это произошло не позднее 1516 года, еще до того,

⁵⁹ Schwartz (1985). P. 3.

⁶⁰ Ibidem.

как через треть столетия после открытия Кабралом этих обширных земель, в 1533 году, здесь была создана правительственная администрация. В Южной Америке на таких предприятиях работало значительное количество европейских мастеров, а также индийских (позже — африканских) рабов. Следовательно, структура общества, основанная на зарождающемся коммерческом сельском хозяйстве, была смешанной как с этнической, так и с профессиональной точки зрения, что могло служить моделью для механизированных капиталистических предприятий в других отраслях.

С течением времени Турция оказалась неспособной конкурировать с Западом в производстве ряда дешевых товаров, хлопка, изделий из шерсти, стали, а также в горном деле; прежняя лидирующая роль в производстве сахара была утрачена в связи с выращиванием тростника и развитием отрасли на Канарских островах и в Бразилии, так что сахарные производства на Кипре и в Египте были вынуждены прекратить свое существование; теперь технологии переместились в Атлантику, где началось то, что Минц и Вульф назвали «капитализмом до капитализма».

Статичное общество?

Все показанные выше виды производственной и торговой деятельности позволяют утверждать, что Турцию вряд можно отнести к числу стран со «статичной экономикой», что обычно считается свойственным для деспотических государств. То же самое можно сказать о ее обществе в целом. Отсутствие гибкости, динамики приписывалось не только государству, априори рассматриваемому как деспотическое, но и исламу как таковому; в подобном контексте часто упоминается нежелание пользоваться печатным станком, уже известным к тому времени в Китае на протяжении столетий. Я же, напротив, утверждаю, что турецкое общество было открытым для самых различных влияний и подвергалось многим изменениям. Ограничения в использовании печатного станка (и, возможно, других нововведений, например часов) не имеют ничего общего с нежеланием перемен. Подобные особенности обусловлены скорее религиозными убеждениями и обладают в связи с этим особой спецификой. Вследствие ошибочных обобщений, сделанных на основе частных решений частных проблем, часто возникает вопрос, почему исламский мир держался за подобные убеждения дольше, чем христианский или иудейский, и это казалось сутью проблемы. Установ-

ление независимой светской власти шло в Турции более медленными темпами. Некоторые ученые утверждали, что, в отличие от других религий, особенно ислама, христианство допускало секуляризм. Так считает, например, Бернард Льюис: «Секуляризм в современном политическом значении — то есть идея, что власть религиозная и власть политическая, церковь и государство являются разными институтами и могут или должны быть разделены, — можно считать, в глубоком смысле, явлением христианским»⁶¹. Такая оценка кажется мне не вполне адекватной. Правда, что Христос предписывал своим последователями «отдавать кесарю кесарево», то есть подчеркивал разделение между церковью и государством. Но это разделение стало менее очевидным после того, как позже в Европе появилась Священная Римская империя, правители которой претендовали на то, чтобы считаться «защитниками веры». В средневековой Европе религия оказывала решающее влияние на большинство сфер жизни. Существовали и течения мысли противоположного характера, такие, как скептицизм и даже агностицизм, встречающиеся не только в христианской традиции, но и в рамках других религий. Однако в целом светское мышление стало характерным лишь для постренессанса и даже для времени, последовавшего за эпохой Просвещения, когда оно обрело более постоянный статус. Это стало важным шагом на пути развития общества. Но и позднее кое-где во многих отношениях продолжал превалировать старый образ мышления, например в южных штатах США, несмотря на их современную экономику, не говоря уже об общинах ортодоксальных иудеев в различных частях света. Ислам в этом отношении отличают лишь степень влияния религии и иные временные рамки. Более того, он тоже переживал периоды «гуманизма», когда процветало именно светское знание. Таким образом, до эпохи Возрождения между двумя религиями наблюдается не так уж и много фундаментальных различий в этом отношении.

На что действительно указывает наше беглое рассмотрение турецкой ситуации, при акцентировании внимания на системе управления, положении крестьянства и торговле, так это на то, что было бы ошибкой сосредоточивать внимание на анализе какого-либо отдельного аспекта режима, особенно если аргументы сводятся к выискиванию различий. Конечно, поиск различий важен при попытках объяснить «модернизацию». В Европе после введения книгопечатания стали развиваться сложные системы знания, а после

⁶¹ *Lewis* (2002). P. 107.

Промышленной революции — равная им по мощи экономика, что дало возможность примерно в это же время достичь значительных преимуществ в производстве огнестрельного оружия и кораблестроении (хотя масштаб этих преимуществ остается под вопросом)⁶². Однако связывать эти достижения с политическими системами (европейской демократией в противоположность «азиатскому деспотизму»), с различиями в системах держания земли («отсутствие феодализма») или системой права (предположительно с отсутствием традиции римского права в Турции) — значит пытаться проецировать настоящее на прошлое совершенно неприемлемым способом, интерпретируя историю на основе реалий сегодняшнего дня.

В любом случае если говорить о процессе обретения знаний, то исламский мир до появления печатного станка в Европе имел перед ней значительные преимущества. Экономика, как в сфере производства, так и в сфере обмена, развивалась здесь в равной с ней степени, при этом Ближний Восток являлся центром производства шелковых тканей и других предметов роскоши. Это развитие не сдерживалось (по крайней мере, в значительной степени) предположительно «деспотическими» режимами или такими факторами, как (декларируемое) отсутствие права, независимых городов или свободы. Города в Турции остались как наследие античной эпохи, и в них развивались гильдии, рынки и благотворительные учреждения (*вакуф*), — все как на Западе. Исламское право базировалось на римской юриспруденции и постиудейских ближневосточных кодексах. Обсуждение вопросов юриспруденции касалось таких же сложных и тонких вопросов, как и в Европе⁶³. Деятельность крестьян и купцов получала судебную защиту, причем женщина могла выступать в суде в качестве истца. Концепция азиатского деспотизма, таким образом, предстает как способ отрицания Европой легитимности азиатских государств, возникший во времена Древней Греции и затем получивший продолжение в исследованиях ученых эпохи постренессанса. От подобной концепции необходимо отказаться.

Османская империя, находившаяся в центре всех этих событий, с экономической точки зрения не являлась примером «статичной восточной деспотии». «По любым стандартам, — пишет Фернандес-Арместо, — [она] оставалась чрезвычайно динамичной до того, как прошла, по меньшей мере, значительная часть XVII столетия»⁶⁴.

⁶² См.: *Hobson* (2004). P. 189.

⁶³ См.: *Mundy* (2004).

⁶⁴ *Fernandes-Armesto* (1995). P. 220.

Тот же автор отмечает, что «Османское государство с XV по XVII век с точки зрения эффективности и адаптивности могло бы дать фору своим западным конкурентам, с которыми у нее было множество общих традиций»⁶⁵. Общие традиции были важным фактором; Турция никогда не была просто одной из «чужих восточных стран» — ни с экономической, ни с политической точки зрения. «В XVI веке турецкая политическая мысль шла в ногу с развитием западного христианского мира. Великий Абу Су'уд сформулировал оправдание абсолютизма, демонстрирующее полную приверженность римскому праву»⁶⁶. Турция описывается как «государство потрясающей гибкости»; только «предательский ретроспективный взгляд» историков «предрекал ее ранний упадок». Адаптивность также была налицо. Турция, изначально опиравшаяся в военном отношении на конницу, стала могущественной морской державой на Средиземном море, а ее инженеры «быстро восприняли артиллерию». Автор восхваляет «дальновидность Стамбула в отношении пересмотра карт»; это было актуально в связи с географическими открытиями мирового значения — как Колумба, так и других мореплавателей, — так сильно изменившими впоследствии положение Османской империи⁶⁷.

Сходство культур Востока и Запада

Хотя Турция была ближайшим к Европе азиатским государством, основной мишенью для критики после эпохи Просвещения стал Китай. В глазах многих европейцев эта огромная страна была обречена на то, чтобы оставаться «традиционной», «статичной», «деспотичной» и даже «отсталой». В своих прежних публикациях я пытался показать обратное — что во многих областях культура Китая развивалась курсом, параллельным европейскому⁶⁸. Я начал с семьи и брака, утверждая, что демографические данные дают нам мало свидетельств о каких-то моделях, отличных от европейских; то же касалось и вопроса о размерах домохозяйств; а эти факты дают нам представление о степени «индивидуализации» супружеских пар⁶⁹. Такие черты «индивидуализации» были характерны для систем, пред-

⁶⁵ Ibid. P. 222.

⁶⁶ Ibid. P. 223.

⁶⁷ Ibid. P. 219.

⁶⁸ См.: *Goody* (1982, 1993, 1996a).

⁶⁹ См.: *Goody* (1976).

полагающих выделение приданого, где часть собственности родителей передавалась как дочерям, так и сыновьям в связи с их вступлением в брак или позже, как наследство, что давало возможность развития, в частности, «женских прав собственности» (эндогамии в браке, специфических стратегий управления и наследования — таких, как усыновление и союзы, основанные на центральной роли женщины, и т.д.). Подобная система, скорее всего, характеризовала все основные общества Евразии после бронзового века. Развитое сельское хозяйство вызывало в таких обществах выраженную экономическую стратификацию («классы»), в условиях которой переходы из одной страты в другую, очевидно, варьировали; родители стремились поддерживать или даже улучшать положение своих дочерей и сыновей после их вступления в брак. Целые группы братьев и сестер наделялись родительской собственностью, хотя и не в равной мере. Чтобы подчеркнуть момент сходства Европы и Азии в этом вопросе, мы можем сравнить такую ситуацию с положением дел в Африке к югу от Сахары: там мотыжное земледелие не способствовало развитию экономической и социальной дифференциации такого рода; она была минимальной и не влияла на выбор брачного партнера (или на размер выплат, связанных с браком), за исключением, возможно, отдельных случаев (связанных с торговцами)⁷⁰.

В других аспектах «культуры» также существовали похожие параллели, позволявшие видеть больше сходства, чем расхождения. Сходства между Востоком и Западом показывают, что расхождение, которое историки выводят как из идеи Античности, так и из последовавшей за ней концепции *иснада*, или генеалогия, ведущая к западному капитализму и оставляющая Азию в стороне как «маргинальную», «деспотичную» и даже «отсталую», представляются совершенно недостаточными для объяснения присущих им различных уровней сложности. Я считаю, что изощренные кулинарные приемы, известные как *haute cuisine**, Европе надо отделять от более простых стратифицированных форм кулинарии, а те, в свою очередь, от в целом недифференцированной кулинарии, существующей даже в политически стратифицированных обществах Африки, где, помимо прочих факторов, сельское хозяйство и основанная на нем экономика не способствовали подобному разделению⁷¹. Простая стратифицированная кулинария была присуща всем ос-

⁷⁰ См.: Goody and Tambiah (1973).

* Высокая кухня (фр.).

⁷¹ См.: Goody (1982).

новным культурам Евразии после бронзового века, но в некоторых из них мы находим развитие *haute cuisine*, искушенность в которой играла значительную роль в придворных кругах, а также в различных элитных группах общества, включая купцов и высшую буржуазию. «Высокие кухни» такого рода должны быть и в Китае⁷², Индии, на Ближнем Востоке⁷³, и в Европе — как в античной, так и в современной⁷⁴. Несмотря на то что эта тема может показаться мало важной, вопрос существования кулинарии различных уровней сложности имеет отношение и к вопросам стратификации общества (то есть существования классов), и к самой пище, потребляемой людьми.

То же можно сказать и об аспектах культуры, связанных с цветами, выращиваемыми в различных обществах для того, чтобы использовать в эстетических, ритуальных и других сходных целях, таких, как поднесение в дар или различные обряды⁷⁵. И снова — то, что может показаться незначительной частью культуры, в действительности касается не только ритуалов или подарков, но и сельского хозяйства, и стратификации общества. Страны Африки к югу от Сахары до эпохи колониальных захватов не только не выращивали никаких разновидностей цветов, но и, фактически, не использовали даже диких цветов в ритуальных и иных социальных контекстах. Это сильно отличало их от Китая, Индии, Европы и Ближнего Востока. Африканские культуры (и экономики) предпочитали цветам фрукты, то есть нечто съедобное — чему-то декоративному. В Евразии же выращивание цветов часто было отдельным занятием. Разновидности цветов выращивали для садов придворных и других представителей высших слоев общества, а также для соответствующего рынка, предоставлявшего цветы для религиозных обрядов (но не на Ближнем Востоке), для различных коммуникаций (подарки, подношения), а также для украшения. В некоторых частях Китая фруктовые деревья в цвету срубали, чтобы ставить в вазы для украшения купеческих домов к Новому году; такие деревца преподносили в подарок, чтобы продемонстрировать «целенаправленную трату ресурсов», — срубивший дерево не дожидался, когда оно начнет плодоносить. Развивалась культура использования цветов в «эстетических» целях — как и в примере с «высокой кухней», развитие

⁷² См.: Chang (1977).

⁷³ См.: Rodinson (1949).

⁷⁴ См.: Goody (1982).

⁷⁵ См.: Goody (1993).

мастерства в данной сфере отмечалось во всех основных обществах бронзового века. В интересе к этим сферам были замечены не только политические, но и торговые элиты, поэтому неудивительно, что они оказывались причастными к развитию торговли соответствующими товарами и даже к развитию самих этих отраслей. Действительно, в противоположность многим взглядам, бытовавшим в Европе, следует отметить, что наслаждение тонкими яствами и цветами было распространено на Востоке даже больше, чем на Западе.

Сходство культур Европы и Азии отмечается в целом ряде видов деятельности, связанных с искусством. Театр кабуки возник в Японии примерно в то же время (в начале XVII века), когда в ренессансной Европе развивается светская драматургия, предназначенная сходной аудитории — купечеству и буржуазии. Такая литературная форма, как роман, появляется в Китае в XVI веке — то есть даже раньше, чем в Европе, где это происходит в XVIII веке; в Японии же он возник еще раньше, если учитывать «Повесть о Гэндзи» (XI век). Подобные параллельные тенденции возникали благодаря системе обмена, существовавшей по всему миру среди групп населения, занимавшихся торговлей. Такие группы обеспечивали себя посредством обмена товарами, неотъемлемо включавшего также обмен идеями и технологическими секретами. Именно таким образом секреты изготовления бумаги или шелка в течение столетий проникали с Востока на Запад. Другие же секреты — например, связанные с изготовлением стекла⁷⁶ или использованием перспективы в живописи — распространялись в обратном направлении. Некоторые графические мотивы «путешествовали» точно так же: акант и лотос — в одном направлении, драконы — в другом⁷⁷. Однако одновременно с такими формами межкультурных коммуникаций шли и другие процессы — внутреннего развития стран (или их социальной эволюции). Начиная с бронзового века общества, имеющие городскую культуру, характеризуются ростом ремесла и интеллектуальной деятельности, значительными изменениями в технологиях⁷⁸ и постройкой новых зданий. То есть эти общества развивались в соответствии со своей внутренней динамикой, лишь частично подхлестываемой «рынком», что приводило к появлению параллельных социально-культурных процессов в различных частях света. Представление о совершенно отличных друг от друга паттернах развития разных

⁷⁶ См.: *MacFarlan and Martin* (2002).

⁷⁷ См.: *Rawson* (1984).

⁷⁸ См.: *Singer* (1979–1984).

обществ после бронзового века кажется чрезвычайно сомнительным, по крайней мере если воспринять «антрополого-археологический» подход к современному миру.

Здесь я хотел бы предложить альтернативу «культурной» оценке различий между теми или иными обществами. Такая оценка претендует на некоторую статичность и, фактически, помещает группы людей в биологическую структуру, включающую тем не менее скорее культурные объекты (называемые мимами), чем физические. Альтернативный же подход должен быть более динамичным, учитывающим как внешний информационный обмен, так и внутреннее развитие, а также коммуникации различных сложных поведенческих форм друг с другом на протяжении долгого времени. Культурное и социальное развитие такого типа представляет собой совершенно иной процесс, чем биологическая эволюция, хотя в некоторых случаях оно происходило по «селекционистским» схемам. Возможным, но не неизбежным результатом анализа культур с точки зрения «глубинных структур», прослеживающего гомологические моменты (сходные структурные элементы) между различными компонентами, является генетический вариант изучения культур, представленный разновидностями «когнитивной антропологии», ориентированной на «встроенные» функции сознания. Такие «глубинные структуры» несомненно существуют, но только в сочетании с более динамическими процессами, проистекающими из «социальной эволюции», то есть из внешних коммуникаций и «внутреннего» развития. Именно они важны при рассмотрении развития различных обществ Евразии в долгосрочной перспективе и аргументов в пользу понимания этих культур в рамках структуры, отчасти интеракционистской, исключающей радикальное отрицание любых значимых компонентов как «деспотических». В таком контексте любые сравнительные преимущества любого из обществ являются строго временными.

Более динамический подход к истории культур предусматривает поиск проявлений сходства и расхождения культур, имевших общую отправную точку, но отклоняет категорическое разделение между «деспотиями» и «демократиями». Подобная позиция предложена Эриком Вульфом в его классификации государств, где он относит как западные, так и восточные государства к числу «трибутарных»; при этом восточные он считает, возможно, несколько более централизованными, но все же принадлежащими к одной общей категории. Под «трибутарным» я подразумеваю государство, получающее финансовую поддержку от населения и тем самым

оставляющее открытым путь к «правлению народа», обеспечивающему это финансирование. Сходный параллелизм, возможно, показан Нидэмом в описании западного «военного феодализма» и восточного «бюрократического феодализма». Оба эти автора избегают термина «азиатский деспотизм»⁷⁹.

По моему мнению, подход Вульфа решает проблему, которую я усматриваю в других исследованиях (как марксистских, так и иных), — проблему «азиатской исключительности» и «ориентализма»; иными словами, вопрос о процессе развития от параллелизма бронзового века до последующего разнообразия обществ, начиная с периода Античности и далее. Но такой подход требует радикальной смены концепции, расставания с идеей типично европейской последовательности способов производства, коммуникации и оружия уничтожения. Вместо этого нам придется рассмотреть развитие «трибутарного государства» по всей Евразии, а также развитие параллельных городских цивилизаций, рост обмена товарами и идеями и, следовательно, появление по всей Евразии «рыночного капитализма», рынков, финансовой деятельности и мануфактурного производства. На этой картине не находится места «азиатским деспотиям», «азиатской исключительности» или каким-то способам производства и моделям организации общества, полностью отличным от европейских.

⁷⁹ См.: *Wolf* (1982); *Needham* (2004).

Часть II

Три научных ракурса

Глава 5. Наука и цивилизация в Европе эпохи Возрождения

В последующих главах этой части книги я хотел бы рассмотреть работы трех достойных авторов, пишущих на исторические темы. Это не означает, что их труды являются самыми современными (хотя выводы Нидэма появились в 2004 году), но речь идет о наиболее цитируемых и влиятельных ученых, сыгравших значительную роль в формировании современного восприятия всемирной истории. *Во-первых*, это Джозеф Нидэм, изначально ученый-биолог широкого профиля, посвятивший вторую половину своей жизни изучению истории науки в Китае. Он написал и издал серию влиятельных трудов под общим названием «Наука и цивилизация в Китае» (1954–), где показал, что до XVI века китайская наука не только не отставала от западной, но могла и превосходить ее. Далее он попытался объяснить, почему позже Запад занял лидирующее положение в мире, обозначив так называемую «проблему Нидэма». *Во-вторых*, в главе 6 я рассмотрю концептуальный труд немецкого специалиста в области исторической социологии Норберта Элиаса «О процессе цивилизации», где доказывается, что последний достиг своего зенита в Европе вслед за эпохой Возрождения. *В-третьих*, я обращусь к трудам великого французского историка Фернана Броделя, который в книге «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.» рассматривает различные формы капитализма в разных частях света, но заключает, что «истинный капитализм» был сугубо европейским достижением.

Эти авторы (каждый по-своему) обращаются к весьма реальной проблеме — сравнительному преимуществу, достигнутому Европой в результате Промышленной революции конца XVIII века и, в не-

которой степени, Возрождения XVI века. Это преимущество необходимо объяснить. Я утверждаю, что объяснения названных авторов некорректны, так как они либо находят корни этого преимущества в далеком прошлом, либо показывают позднейшие преимущества Европы сомнительным образом, что скорее искажает мировую историю, чем проливает на нее свет¹. Более современные авторы продвинулись немногим больше, делая сходные допущения об уникальности Европы и присущих ей буржуазии, капитализму, даже цивилизации. Такие подходы в некоторых случаях могут быть модифицированы иной оценкой мировой истории и даже культурным релятивизмом, но фактически они демонстрируют тот же европоцентризм, что и большинство трудов по истории и общественным наукам.

В трех следующих главах я сосредоточусь на нескольких общих утверждениях, привлекающих внимание историков. *Во-первых*, Европе приписывается «изобретение» некоторых характерных институтов, ставших провозвестниками капитализма: университетов, возникших в XII веке, а также торговых городов, — и те и другие предположительно радикально отличались от их восточных аналогов. *Во-вторых*, сформировалась концепция, согласно которой в ходе исторического развития, в любом случае восходящего к Античности, лишь Европа может претендовать на такие ценности и практики, как демократия, свобода, индивидуализм, семья. Наконец, в главе 10 я рассматриваю претензию, разделяемую многими уважаемыми историками, относительно того, что столь же уникальным для Европы было культивирование такой эмоции, как любовь (или, по крайней мере, романтическая любовь). Утверждения такого рода представляются в высшей степени этноцентристскими и телеологическими, возникающими из попыток объяснить последующее доминирование Европы в мире путем совершенно неправомерного проецирования достигнутого превосходства на прошлое.

За феодализмом следовало Возрождение — эпоха, считавшаяся уникальной для Запада и крайне важной для его модернизации. Достижения этого периода часто относятся европейскими учеными-гуманитариями прежде всего к сфере искусства. Но искусство тесно связано как с политикой, так и с экономикой. Недавно один из исследователей прокомментировал ситуацию следующим образом:

¹ Разумеется, лишь в отдельных аспектах; я полностью согласен с большей частью написанного этими авторами.

«Искусство Ренессанса начала XV века возникло в результате усиления власти элиты — в основном городской и торговой, стремящейся продемонстрировать свое благосостояние, заказывая изысканные произведения искусства, и желания церкви создавать и распространять среди верующих последовательную телеологическую систему взглядов... [Произведения искусства] чаще обращались к классическому прошлому, чем к библейским прецедентам, чтобы обеспечить новые политические идеологии должными интеллектуальными обоснованиями, внушающими доверие»².

Действительно, в этот период происходило возрождение конкретных видов искусства, особенно театра и скульптуры (не говоря уже о светской живописи и музыке), которые ранее были подавлены или запрещены церковью.

Несколько позже Возрождение (или раннее Возрождение) достигло Фландрии. Считается, что Ян ван Эйк (1395–1441), творивший при дворе бургундского герцога Филиппа Доброго³, значительно развил (если не изобрел) масляную живопись, создав свое «Поклонение агнцу» (1432) в Генте. Его последователь Рогер ван дер Вейден из Турне (1399/1400–1464) посетил Рим, где был благосклонно принят гуманистами, учился живописи и впоследствии стал писать картины как для Медичи, так и для короля. Ханс Мемлинг (1430/1435–1494) работал для представителей дома флорентийских Медичи и для вновь сложившейся в Любеке Ганзейской лиги. Уже тогда город Брюгге был крупнейшим центром Европы⁴, известным своей торговой деятельностью. Сюда привозили пряности и другие товары с Востока, а также английскую шерсть, что формировало основу экономики и обеспечивало сырьем знаменитых фламандских ткачей. Таким успехам способствовало установление тесного контакта с балтийским Любеком, центром огромной Лиги, а также с ярмарками Шампани, с Флоренцией, Испанией и южными странами. Процветание экономики и развитие тенденций Возрождения шли рука об руку, поскольку они поддерживались духовенством, правящей верхушкой и богатыми купцами, заказывавшими предметы художественного творчества, украшавшие город.

² *Brotton* (2002). P. 138–139.

³ Ранние работы ван Эйка (начало XV века) отмечены влиянием бургундских миниатюр.

⁴ В XIV веке, согласно *Letts* (1926). P. 23. В то время население Брюгге составляло 40–50 тысяч человек, превращавшиеся в глазах хронистов в 100–150 тысяч.

Броттон задается вопросом по поводу итальянского Возрождения: не был ли этот термин «придуман для создания убедительного мифа о культурном превосходстве Европы»⁵? Действительно, Возрождение часто воспринималось именно в таком ключе. В последнем томе «Истории Франции в XVI веке» (1855) историк Мишле писал, что оно означало «открытие мира и открытие человека... Человек осознал себя заново»; и, с его точки зрения, это касалось не столько всей Европы, сколько конкретно Франции. Аналогичным образом Буркхардт в Швейцарии и Пэйтер в Оксфорде развивали почти националистические идеи о «духе» Возрождения, характеризующемся «ограниченной демократией, скептическим отношением к церкви, могуществом литературы и искусства и триумфом европейской цивилизации над всеми прочими»⁶. Другими словами, это был «гуманизм», где Человек, Ренессанс и само возрождение, были присвоены Западом, что «подкрепляло становление европейского империализма XIX века», оправдывая доминирование Европы в остальных частях мира.

Считалось, что Восток не был способен к чему-либо подобному. Однако возникли и определенные отклонения от стандартного восприятия Китая на Западе. Критические замечания отмечались и раньше (например, у Вико, Юма, Руссо и д-ра Джонсона), иезуитские миссионеры, посетившие эту страну, благосклонно высказывались о ее институтах, идеологии и обычаях. После Промышленной революции позитивный элемент в оценках такого рода почти исчез, и установилось распространенное мнение, что Китай является страной отсталой, деспотичной и не подверженной изменениям. В XVIII веке в Европе возрос интерес к китайскому искусству, однако немецкий историк Винкельман полагал, что лишь античная художественная традиция отражает «истинный идеал красоты», тогда как китайское искусство является его низшей, «застывшей» формой. Лингвист Гумбольдт считал китайский язык «низшим», поэт Шелли называл китайские институты «застывшими и жалкими», Гердер насмешливо отзывался о национальном характере китайцев, де Квинси считал их старомодными, согласно Гегелю, Китай находится на низшем уровне всемирно-исторического развития (он называл эту стадию «теократическим деспотизмом»). Конт, Токвиль и Милль называли Китай «низшим», варварским и косным⁷. Синофо-

⁵ Brotton (2002). P. 20.

⁶ Ibid. P. 25.

⁷ См.: Brook and Blue (1999). P. 91–92.

бия даже приобрела расовый подтекст в работах Гобино и других европейцев, а философ Леви-Брюль считал «китайский менталитет» «закостенелым»⁸.

Учитывая некоторый скептицизм, связанный с Возрождением, в этих главах я рассмотрю, как ученые восприняли европоцентристскую идею об уникальности данной эпохи и вклада, внесенного ею в развитие капитализма, а также то, каким образом Возрождение закладывало экономические, социальные и эпистемологические основы для дальнейшего интеллектуального и идеологического развития Европы, другими словами — для современности. В китайском языке не было эквивалентов словам «современность» или «капитализм», которые и в английском появились лишь в XIX веке. Однако применительно к китайскому языку их отсутствие считалось обозначающим фундаментальную проблему, показывало неспособность Китая достичь успеха, сравнимого с европейским, в течение нескольких последних столетий.

Таким образом, для многих европейских авторов без Возрождения не было бы никакого прогрессивного развития, ведущего к появлению современного мира, — отсюда следовал вывод о том, что сам современный мир является чисто европейским феноменом, как и все его достижения: капитализм, секуляризм, динамичная система искусства, современная наука. Как мы видели, более крайняя версия этой позиции предполагает, что превосходство Европы было достигнуто, по меньшей мере, уже при феодализме или даже задолго до Античности и появления христианства, но даже самые осторожные формулировки не допускают сомнения, что Европа опередила своих потенциальных соперников не позднее, чем начались трансформации, связанные с эпохой Возрождения. В подобном контексте «современность» (*modernity*) рассматривается как нечто «отдельное» от капитализма. В качестве отправной точки для анализа обоснованности этих претензий я возьму авторитетный труд Джозефа Нидэма, посвященный китайской науке, для реинтеграции которой в мировую историю он сделал так много. Тем не менее, когда Нидэм рассматривает достижения западной науки последних столетий, он снова обращается к общепринятым представлениям об уникальности как Возрождения, так и появления буржуазии, модернизации, развития капитализма и «современной науки».

Однако все «возрождения» в мировой истории являлись уникальными, и все общества, знакомые с письменностью, в некотором смыс-

⁸ Ibid. P. 82.

ле переживали нечто подобное. Проследивание общего направления развития от «городской революции» к «современности» показывает, что все общества данной традиции имели, как мы увидим, буржуазию и капитализм — по крайней мере, рыночный. Итальянское Возрождение хронологически вело на Западе к современности и «современной науке», но уникальность его основных признаков, уходящих корнями в прошлое Европы, является дискуссионным вопросом. «Современность» воспринимается как чисто западный этап развития, но даже критерии его возникновения далеко не ясны, хотя и обозначены довольно категорично.

Такое использование западной концепции «современности» любопытным образом анализируется в работах Брука применительно к принятию ее китайскими учеными, и его слова весьма соответствуют проблеме «современной науки».

«Поскольку разрыв с прошлым является ключевым дискурсивным моментом при изложении истории современности, все, что ей предшествовало, должно было восприниматься как нечто совсем иное, в корне отличное от современного мира, несовместимое с ним, но при этом готовящее почву для того, чтобы современность могла вырасти и преодолеть его. Отделяя “современность” от ее предшественниц, современная история дискредитировала предшествующие эпохи как источник ценностей своего времени»⁹.

Достижения Возрождения, на которые ссылается Нидэм, конечно, не ограничивались только сферой искусства. В это время происходили значительные перемены в области образования, вызванные потребностями торговой и управленческой деятельности, так что и содержание, и диапазон образования значительно расширились, по мере того как оно все больше и больше относилось к светской деятельности. Университеты сложились ранее, переняв многое от прежних институтов, дававших высшее образование, — таких, как медресе; хотя религия все еще занимала в них основное место, программы медресе включали также ряд не связанных с ней дисциплин. С XV века увеличивалось количество средних школ (и эквивалентных им учебных заведений) в городах Британии (церковные школы появились раньше, в X веке), и аналогичная тенденция наблюдалась повсюду. Затем в середине этого столетия в Европе появилось книгопечатание, то есть механизация и индус-

⁹ *Brook and Blue* (1999). P. 115.

триализация фиксирования информации, известная на Дальнем Востоке с 868 года¹⁰, но теперь его использовали для алфавитного письма, а не для тысяч иероглифов. Этот процесс, сделавший возможным быстрое и точное производство множества копий текста, сыграл крайне важную роль в увеличении числа школ и университетов, а также в развитии информации и способов ее передачи¹¹.

Броттон подчеркивает важность вклада, внесенного Востоком (главным образом Турцией) в развитие европейского Возрождения, как с коммерческой точки зрения, так и с точки зрения знаний¹². Выделение Европы из ряда других стран покажется любопытным, если мы вспомним, что Возрождение не было вызвано исключительно внутренними причинами. Кроме того, нам необходимо принять во внимание различные локальные «возрождения», имевшие место в разные времена в Европе и в других культурах. Возрождение как таковое не является уникальным феноменом, как мы говорили выше в контексте гуманизма. Действительно, любая культура, имеющая письменность, всегда располагает возможностью вновь обратиться к более ранним стадиям своей истории, то есть в некотором смысле «возродить» их (как это было с Античностью); записанная информация позволяет сделать это вполне точно. Погружение в культуру Западной Европы начиная с эпохи Возрождения, в сочетании с чтением работ европейских историков искусства, неизбежно требует признания исключительности этой традиции. Несмотря на определенную предрасположенность, проистекающую из самой культуры, европейское Возрождение не было единственным в своем роде, как часто принято считать. Существовали различные исторические параллели. Во всех обществах, возникших из культур, прошедших «городскую революцию», отмечалось развитие художественных и других «культурных» форм наряду с ростом уровня жизни

¹⁰ См.: Bloom (2001). P. 36.

¹¹ Европейцы часто критиковали Китай за отсутствие алфавита. Не совсем ясно, какую роль могло бы играть его наличие или отсутствие в развитии естественных наук.

¹² Мне представляется проблемным предположение Броттона о том, что «в XV веке не существовало четких географических или политических барьеров между Востоком и Западом». Он считает, что лишь в XIX веке мы обнаруживаем «убеждение в абсолютной культурной и политической разделенности исламского Востока и христианского Запада, что затрудняло обмен между двумя культурами в области торговли, искусства и идей». Такая датировка кажется слишком поздней, как и у Берналя, связывавшего данное разделение с зарождением империализма. Обмен существовал намного раньше, однако у него была и отрицательная сторона, связанная с религиозным противостоянием, — что мы видим на примере изгнания мавров, еврейских погромов, а также нападений на христианские общины.

в торговых и буржуазных объединениях, а также в обществах, частью которых они являлись. В разные времена в сферах деятельности, характерных для европейского Возрождения, отмечался рост, приводя обычно к тому, что городское общество становилось более сложным. Период, получивший в исторической науке название «Возрождение», многие историки относят к раннему Новому времени; такой подход ориентирован в большей степени вперед, на «рождение» нового, чем назад, на смерть и «возрождение» старого. В Европе этот процесс выглядел особенно впечатляющим в силу того, что ранее одна из мировых религий, а именно христианство, слишком сильно ограничивала здесь развитие познания и искусства и влияла даже на семейную жизнь. Реформация, также явившаяся возвращением к более ранним письменным источникам христианства, ознаменовала отказ от определенных установленных догматов, открыв путь для аналогичных возможностей развития светского знания. Во всяком случае, «область священного» была ограничена, а на семейную жизнь уже не оказывали влияния правила католической церкви.

Рассматривая не только Возрождение, но и развитие капитализма с европоцентристской точки зрения, Нидэм разделяет и позицию Вебера, тоже протестанта, относя «прогресс» на счет экономической этики, присущей данной конфессии. «Успех Реформации включал в себя решительный разрыв с традицией, и европейцы быстро пришли к выводу, что это действительно является настоящим изменением истории и что Господь на самом деле может обновить все что угодно. Протестантизм, с его прямым обращением к Богу, предполагал грамотность»¹³, впервые создав «грамотную рабочую силу», сметая классовые барьеры; за Возрождением должна была последовать Промышленная революция, как и «современная наука». В действительности же, когда протестантские страны продемонстрировали рост грамотности, этот рост был незначительным, и вскоре за ними последовали католические регионы. В любом случае в последних, особенно в Италии, «рыночной революции», развитию производства шелка и бумаги, банковского дела, бухгалтерии и кредитных институтов способствовало влияние импорта с Востока, проявлявшееся тем или иным образом. Более того, первыми европейцами, которые содействовали переносу некоторых западных научных наработок в Китай, были не протестанты, а миссионеры-иезуиты, такие, как Риччи.

¹³ *Needham* (2004). P. 63.

Запад характеризовался одной особенностью — на протяжении многих столетий системы коммуникации и образования были здесь ограничены, и не только из-за негативного отношения церкви (что было отмечено и в исламской, и в иудейской культуре, также имевших свои «гуманистические» периоды), но и в связи с отсутствием бумаги (появившейся в Китае и ставшей неотъемлемой принадлежностью исламского мира). Возрождение произошло на Западе с открытием его для влияния Востока, отчасти потому, что случившийся ранее упадок Запада привел к таким печальным результатам, что последовавший за этим период стали называть «темными веками». Чтобы преодолеть существовавшие ограничения, действительно было необходимо Возрождение. Когда оно пришло, на Западе начался прорыв — как в науке, так и в искусстве (частично в светском), что стимулировалось средствами, получаемыми благодаря росту торговли с Левантом. Данный аспект Возрождения присущ исключительно Западу, тогда как Восток никогда не переживал столь значительного спада, сопровождаемого к тому же колоссальными изменениями в идеологии в связи с появлением христианства.

Тем не менее Восток также знал периоды большей или меньшей активности в сферах развития знания и искусства, частично связанные с уровнем торговли, как и на Западе. Зафрани указывает на «гуманистические периоды» в мусульманской и иудейской традициях, когда процветало скорее светское, чем религиозное знание. В исламском обществе постоянно присутствовала тенденция противопоставления эллинистических знаний («древней науки») и религиозных текстов, которые ортодоксы считали источником всякого знания. Поэтому, пока некоторые правители и богатые купцы собирали в своих библиотеках все источники знаний, какие могли, другие в то же время сторонились подобных источников по религиозным соображениям. В Европе эта тенденция была более линейной, в исламских странах она проявлялась более хаотично — сокращение и возрождение светского знания, особенно унаследованного от греков, сменяли друг друга в пространстве и во времени. Аналогичные колебания мы обнаружим в исламской культуре в отношении к изобразительному искусству, которое, невзирая на религиозные запреты, процветало в Персии, Египте, Индии и при дворе Моголов. Дворы монархов вообще часто игнорировали ограничения, связанные с религией. В то же время быстрый рост торговли и производства вел к направленным изменениям по всей Евразии. Везде буржуазия, нуждаясь в поле деятельности, укрепляла свое положение в обществе, а также увеличивала свой вклад в развитие знания, образования и искусства.

Именно поэтому, как я упомянул в предыдущей главе, мы и обнаруживаем в городских культурах всех основных обществ Евразии развитие «высокой кухни» и искусства аранжировки цветов. Мы находим параллели между западным театром XVI века и японским драматическим искусством несколько более позднего времени, параллели в живописи и в появлении жанра реалистического романа в Китае и на Западе. Исследователи европейского Возрождения, — такие как Бёрк и Броттон, недавно показали важность ближневосточной культуры для процессов, происходивших в Европе, однако их анализ не был слишком глубоким. Необходимо принимать во внимание, что во всех основных «цивилизациях» на протяжении времени периодически возникали тенденции к возрождению культурного наследия прошлого. Но в Западной Европе этот процесс оказался более выраженным, так как следовал за глубоким спадом, вызванным упадком Рима и главенствующей ролью христианства, а также под воздействием быстрой смены способов связи (благодаря появлению в Европе книгопечатания и бумаги в сочетании с алфавитным письмом). Конечно, Китай на протяжении долгого времени имел сравнительные преимущества по обоим этим параметрам (там были и бумага, и книгопечатание), но теперь Европа сделала значительный рывок благодаря «преимуществу отсталости» при «прорыве к модернизации».

Эти изменения вызвали в Европе значительный всплеск активности, в том числе развитие «современной науки». Итальянское Возрождение обычно связывают с развитием искусства, хотя не только эта сфера отмечена в данный период значительными достижениями. Другим важным моментом стала «научная революция», или зарождение «современной науки». Вопросы, связанные с данным обстоятельством, послужили основой для создания одного из величайших исследований по истории человечества — труда Джозефа Нидэма «Наука и цивилизация в Китае», в полной мере сравнимого с «Историей упадка и разрушения Римской империи» Гиббона. Как замечает Элвин во введении к «последнему» тому (VII, часть 2), «представления человека о мире изменились»¹⁴ — это произошло благодаря «открытию колоссального пространства китайской культуры, славящейся триумфальными достижениями в математике, естественных науках и технологиях; и во всех этих сферах она существенно чаще превосходила Западную Европу до 1600 года, чем отставала от нее». Но, хотя вклад Китая часто был весьма значимым как для Запада, так

¹⁴ Needham (2004). P. xxiv.

и для Востока, он был лишь ограниченно интегрирован «в “кровоток” науки в целом».

Около 50 лет своей жизни Нидэм посвятил документированию развития китайской науки, в результате чего появилось научное исследование поистине эпических масштабов. Однако я хотел бы высказаться не о его изучении науки в Китае, но о попытке Нидэма объяснить, почему, несмотря на первоначальное преимущество, не Восток, а Запад совершил то, что он считает прорывом к «современной науке». Этот парадокс получил название «проблема Нидэма». Объяснение Нидэма соответствует представлениям многих западных специалистов по социальной истории и предполагает близкую взаимосвязь развития науки, подъема буржуазии и роста капитализма.

В начале своего масштабного исследования Нидэм пишет: «Изначально наш вопрос формулировался так: почему современная наука зародилась только в Западной Европе вскоре после эпохи Возрождения?»¹⁵ Однако далее он добавляет: «Одно следствие может скрывать за собой другое. Нам вскоре придется осознать, что за первым вопросом стоит еще более интригующий вопрос, а именно: почему Китай был успешнее Европы на протяжении четырнадцати предшествующих столетий?» К первому вопросу Нидэм вернулся в своих «заключительных» комментариях, написание которых растянулось на несколько десятилетий. Они основывались на допущении, что после 1600 года в Европе стала быстро развиваться «современная наука», то есть наука, включающая в себя сочетание экспериментального метода и прикладной математики. Нидэм пытался понять, как более отсталая Европа смогла сделать такой решительный рывок не только к «современной науке», но и к капитализму, несмотря на превосходство Китая в науке и экономике. Отвечая на этот вопрос, он концентрируется на таких сферах, как политика, экономика и внутренние характеристики систем знания.

Согласно Нидэму, китайская наука опережала европейскую вплоть до эпохи Возрождения. Наиболее наглядной является схема, приводимая им в томе, посвященном ботанике, где показано, что около 400 года до н.э., во времена Теофраста, ученика Аристотеля, уровень Европы и Китая в знании различных видов растений был примерно одинаковым. Однако после этого Европа «пошла вниз», а Китай продолжал прогрессировать вплоть до XVI века, когда Европа сделала внезапный рывок и превзошла Китай¹⁶. Нидэм предпола-

¹⁵ Ibid. P. 68.

¹⁶ См.: Needham (1954). P. xxx.

гает, что это случилось благодаря зарождению «современной науки», определяемой как «математизация гипотез, касающихся природы, и их тщательная проверка постоянными экспериментами»¹⁷. Греки экспериментировали мало, а китайцы делали это постоянно — скорее в практических, чем в теоретических целях. В самом общем виде «современная наука», согласно Нидэму, возникла «одновременно с Возрождением, Реформацией и становлением капитализма»¹⁸.

Однако Нидэм считает, что некоторые аспекты, способствовавшие возникновению современной науки, существовали еще до эпохи Возрождения, поскольку на Западе был Евклид, а Восток так и не выработал понятия «геометрическое доказательство»¹⁹ (а также не развил тригонометрию). Причины этого он видит в «общественном характере греческой городской жизни», в которой публичный обмен идеями требовал более подробных и детальных доказательств (кроме того отсутствовало принятое в Вавилоне деление круга на 360 градусов). Вслед за Вебером и его последователями Нидэм считает европейский город уникальным явлением, внесшим значительный вклад в развитие науки благодаря увеличению численности буржуазии и значимости ее ценностей. Восток не располагал таким преимуществом, как традиция греческих городов-государств. «Афины дали начало (с приходом эпохи Возрождения) Венеции, Генуе, Пизе и Флоренции, благодаря которым, в свою очередь, сформировались Роттердам и Амстердам... и в конце концов Лондон.... В этих городах... купцы могли укрыться от вмешательства феодальной знати... до дня, когда они должны были пойти дальше...»²⁰ Таким образом, здесь Нидэм тоже считает определенный образ жизни в городах и городскую буржуазию (а также капитализм) уникальными чертами Запада, напрямую унаследованными от античной эпохи. И он также проводит различие между «военным феодализмом» на Западе и «бюрократическим феодализмом» на Востоке, считая, что последний влиял на происходящие процессы, ограничивая их развитие²¹. В некотором смысле данная попытка толковать европейскую историю как свидетельство постоянного и длительного превосходства этого континента противоречит подчеркиванию Нидэмом достижений китайской науки.

¹⁷ *Needham* (2004). P. 211.

¹⁸ *Ibid.* P. 210.

¹⁹ *Ibidem.*

²⁰ *Ibid.* P. 211.

²¹ Выражение «бюрократический феодализм» использовалось японским историком-марксистом Моритани Кацуми. См.: *Brook and Blue* (1999). P. 138.

Очевидно, что в Европе важные события происходили во всех сферах — в экономике, классовой системе и «натурфилософии». Однако Нидэм предполагает, что «становление буржуазии» не происходило ни в какой другой цивилизации — ни в Индии, ни в Южной Азии, ни в Китае. На Западе военно-аристократический феодализм (отличный от китайского «бюрократического феодализма») «был заменен» господством буржуазии, больше готовой к экспериментам, поскольку «точное знание обещало большие выгоды». Различие между двумя феодальными структурами в существенной степени отвечает на вопрос Нидэма. Но как в Европе часть аристократии была вовлечена в торговую и кредитную деятельность, так и китайские мандарины часто занимались торговлей, уходя в отставку (и даже «во время государственной службы»). Таким образом, они могли «сидеть на двух стульях», причем не только в качестве государственных чиновников и местных землевладельцев, но и в качестве официально признанных землевладельцев и инвесторов, вкладывающих ресурсы в торговлю. Они использовали свое прежнее положение в правительственном аппарате и обретенные связи, чтобы обеспечить себе институциональную поддержку, недоступную в пределах официального законодательства²².

Но была и другая, ранее существовавшая буржуазия, другие купцы и владельцы мануфактур, заинтересованные в выгоде и «точном знании», даже если они не всегда были очень успешными в своих поисках. Более того, утверждение, что в Европе на смену аристократии пришла буржуазия, является не совсем корректным. Последняя получала власть и влияние постепенно, но она существовала в Европе задолго до Возрождения: мы видим ее представителей в компании, путешествующей в Кентербери и описанной Чосером, в Лукке, Венеции и Палермо, а также в ближневосточных городах — Стамбуле, Каире, Алеппо — и еще восточнее. В самом деле, этот социальный слой существовал еще со времен «городской революции» бронзового века, и его роль существенно возростала при развитии экономики, основанной на обмене. Такая экономика не могла ограничиваться рамками одной страны или континента, — она была распространена по всей Евразии. Понятие «уникальности» в значительной степени зависит от определения «современности» при оценке капитализма или науки. В следующих разделах, посвященных политике и экономике, я хочу подробнее рассмотреть ряд факторов, которые Нидэм считает причинами различий между

²² Этим замечаниям я обязан д-ру Макдермотту.

Китаем и Западом и пытается объяснить ими позднейшие (временные?) диспропорции в научных достижениях, следовавшие за итальянским Возрождением.

Государство и буржуазия

Нидэм высоко оценивает китайскую бюрократическую систему мандарината за раннее внедрение в нее порядка формирования администрации на основе «достижений» (получаемых в процессе прохождения экзаменов начиная со II века н.э.) в отличие от принятого в остальных типах «феодализма» порядка назначений в зависимости от занимаемого положения. Нидэм полагает, что древнекитайское государство и его чиновничий аппарат, хотя и мало вмешивались в экономику страны, внесли значительный вклад в развитие науки — например, строя астрономические обсерватории (и не только их, разумеется), ведя и сохраняя тысячелетние хроники, организуя экспедиции и иницилируя создание энциклопедий.

На Западе же, напротив, наука в целом была «частным делом» и, соответственно, развивалась медленно. По словам Нидэма, «социальная и экономическая система средневекового Китая была гораздо более рациональной, чем в средневековой Европе»²³. Изначально она поощряла развитие науки, но впоследствии стала препятствием на ее пути, когда, согласно Нидэму, буржуазные частные предприятия стали обеспечивать для ее развития лучшую базу. «Государственная наука и медицина в Китае, когда пришло время, оказались неспособными к качественному скачку», который на Западе привел к появлению современной науки²⁴. Частично он относит это на счет природы китайской бюрократии, не поощрявшей соревнование как таковое. Однако то, что способствовало развитию науки ранее, вполне могло продолжать делать это и позже, если только такая возможность не исключалась автоматически самим определением «качественного скачка» от «древнего» к «современному», частично проистекающем из номиналистической проблемы. Допущение, лежащее в основе анализа Нидэма, исключает, что ранее в Китае была буржуазия, существование которой, как и существование гильдий, он считал невозможным в условиях китайской бюрократической системы. Отсутствием буржуазии (и системы денежно-кредитного обращения) Нидэм объясня-

²³ *Needham* (2004). P. 9.

²⁴ *Ibid.* P. 18.

ет невозможность развития в Китае как современной (да и любой другой) модели капитализма, так и «современной науки».

Хотя мы можем утверждать, что Китай в прошлом не мог быть модернизирован из-за отсутствия буржуазии, наличия бюрократической системы (мандарината) и, соответственно, отсутствия капитализма, в XX столетии эта страна достигла не только «социализма» (который Нидэм считает вполне сравнимым с более ранней бюрократической системой Китая), но и «капитализма». Правда, в данном случае возможно считать капитализм привнесенным с Запада, но более разумным было бы сравнить западные модели с их восточными предшественницами. Действительно, альтернативные варианты демонстрируют слишком примитивный уровень анализа и пренебрежение всей историей Востока. Качественный скачок европейской науки должен был открыть для Китая возможность быстро нагнать Запад — хотя Африке, например, воспользоваться такой возможностью было бы сложнее. Социально-экономический строй Китая отличался от африканского и значительно больше приближался к европейскому, чем позволяет предположить видение Маркса, Вебера и даже Нидэма²⁵. Возможность прорыва для Китая была гораздо вероятнее, чем полагали эти авторы, оглядываясь назад с позиции превосходства Европы.

Разумеется, основные культуры Евразии в каждый конкретный момент отличались своими достижениями в области познания, однако они были частями общей системы взаимосвязанных единиц обмена, где более «отсталые» культуры в течение измеримых отрезков времени могли нагонять более «продвинутые». Взгляды Нидэма, конечно же, не являются полностью неверными, но сформулированы в несколько марксистском, этноцентристском духе. Он признает, что ранее его весьма привлекало понятие «восточного деспотизма» Виттфогеля. Однако эта гипотеза слишком тесно связывала экономику (иригационное земледелие) и политику (деспотизм); контроль над использованием воды в разных ситуациях предполагал различные требования и разную организацию процесса, но в любом случае «бюрократический» контроль — более адекватное описание положения вещей, чем «деспотический», и определенно был шагом вперед. Заявление об отсутствии буржуазии в Китае напрямую выте-

²⁵ Китайская клановая структура периода 1500–1950 годов не имела европейского эквивалента, однако в исследовании Форе (1989) высказывается предположение, что она не препятствовала развитию коммерческих отношений так, как считал Вебер. По крайней мере, во внешних владениях Китая это было именно так.

кает из европейского марксизма, который, исходя из установок XIX века, считает капитализм специфически европейским феноменом. Это мнение выражал и Нидэм в своих комментариях по поводу средневековых общин, а также в той части своего труда, где он привлекает внимание к уникальности греческой традиции.

Утверждалось, что «бюрократическое государство», как называли Китай, стремилось к поддержанию социальной стабильности больше, чем к дальнейшему экономическому росту. Этому государству было выгодно «поддерживать базовую аграрную социальную структуру, а не вовлекать ее в какие-то формы рыночного или промышленного развития (или просто разрешить таковые)»²⁶. Такое утверждение вытекает из принятия категориальной схемы развития, согласно которой сельскохозяйственные общества предшествуют рыночным по уровню своего развития. Но такая схема является очень упрощенной. Даже неолитические общества в некоторых аспектах уже зависят от торговли и коммерции, как мы упоминали, говоря о рынках; везде в подобных обществах существовали ремесла, предполагающие обмен товаров и услуг. Этот компонент общества значительно вырос во время «городской революции» бронзового века, оказавшей на Китай такое же влияние, как и на другие великие цивилизации. Разумеется, для большинства населения этих обществ сельскохозяйственная деятельность оставалась очень важной, но в городах развивались новые сферы деятельности, которые часто были в значительной степени вовлечены в рыночные отношения. Подобные государства имели сложную идеологию и сочетали в себе сельскохозяйственный и городской уклады.

В то время как ведущие представители «доминирующего» сельскохозяйственного сектора могли презрительно относиться к торговле, буржуазия развивала собственные ценности. Ценности эти еще долго не занимали в обществе главенствующего места, но тем не менее обеспечивали альтернативный взгляд, способствуя распространению грамотности и развитию искусства за пределами придворных кругов, а также церкви и органов управления. «Третье сословие» существовало даже тогда, когда оно не было официально представлено в правительстве. И, как сам Нидэм говорит о Китае, богатые купцы могли играть значительную роль и при дворе, помимо того что они занимали центральное место в городской жизни, особенно в прибрежных городах²⁷. Более того, страну, производив-

²⁶ *Needham* (2004). P. 61.

²⁷ *Ibid.* P. 50.

шую значительное количество товаров, превосходящих по качеству европейские, в промышленных или рыночных условиях (частью для огромного внутреннего рынка, частью — на экспорт), вряд ли можно считать отрицающей рыночные отношения, даже несмотря на то, что некоторые слои общества имели о торговле неоднозначное мнение. Однако подобная амбивалентность не является основанием, для того чтобы утверждать, что в стране отсутствовала «подлинная» буржуазия²⁸. Как заметил Бродель, «город — всегда город», и городское население всегда включает в себя зарождающуюся буржуазию. Система мандарината могла тормозить ее развитие, как и развитие гильдий (что происходило и в других цивилизациях), но не могла полностью подавить его. С позиции социальной истории Нидэм не смог в полной мере допустить сочетания рыночных элементов в сельском хозяйстве и все более возрастающей роли рынка в политической и социальной жизни страны в целом. Отрицание существования третьего сословия кажется неким рудиментом телеологической истории раннемарксистского толка. Если тогда не было никакой буржуазии (и никакой денежно-кредитной системы), то ее отсутствие считают объяснением того, почему Китай лишен как современного (то есть в действительности любого) капитализма, так и «современной науки».

Взгляды Нидэма по поводу сдерживающих факторов развития капитализма в Китае имеют более продуманную аргументацию, чем точка зрения Вебера, считавшего, что наибольшим препятствием было китайское «чиновничество», то есть слой ученых-чиновников. Нидэм полагает, что бюрократия изначально стимулировала развитие страны, тогда как Вебер считает ее полностью негативным фактором. Вебер утверждает, что купцы всегда были угнетены, по крайней мере после воцарения династии Сун. Здесь он идет по стопам известного французского историка-китаиста Этьена Балаша, писавшего о «деспотической власти ученых чиновников» (которых, однако, отбирали по результатам экзаменов), чье существование тормозило развитие буржуазии и, следовательно, городов Китая²⁹.

Ход мыслей Балаша может представлять интерес как пример влияния идеологии на результаты исследований. Он работал в тесном контакте с Броделем в Практической школе высших исследований Парижа и очевидно оказывал влияние на его видение истории Китая, как мы убедимся в главе 7. Существует мнение, что на позицию

²⁸ Ibid. P. 8, n. 22.

²⁹ См.: *Zurndorfer* (2004). P. 195.

Балаша значительно повлияли события его собственной жизни и политические катаклизмы, с которыми он сталкивался³⁰. Вначале он занимал бескомпромиссную позицию по поводу «неудачи», которую претерпел Китай, попытавшись опереться на достижения экономики династии Сун. Цурндорфер пишет о своих «поисках среди томов бесконечной статистики, бесчисленных личных записей и громоздких правительственных отчетов в надежде найти какие-либо свидетельства в защиту своей идеи, что торговцы постоянно страдали от действий чиновников или что крестьяне всегда являлись жертвами безжалостной, подавляющей государственной машины»³¹. Балаш был вынужден отойти от «этих стереотипных взглядов» на императорский Китай, чтобы исследовать «сложности взаимоотношений государства и общества» после выхода в свет в КНР сборника «Очерки дебатов о ростках капитализма в Китае» (1957). Он особенно заинтересовался развитием горного дела в эпохи Мин и Цин, когда государство соперничало с частным предпринимательством. Исследуя организацию производства, трудовые конфликты и прибыль, которую приносила добыча меди, серебра и железа, Балаш пришел к выводу, что государство не препятствовало частному предпринимательству, когда это было не в его интересах. В отличие от своих прежних «книжных» исследований, в центре внимания которых неизбежно оказывались просвещенные круги общества и бюрократы, теперь Балаш использовал информацию, касающуюся рабочих и местных торговцев³². В результате ему пришлось признать, что за пределами слоя государственных чиновников в Китае существовал «некий вид буржуазии» и в стране развивался «капитализм определенного рода». Вместе с тем он придерживался мнения, что положение торговцев в государстве вынуждало их защищать себя, давая чиновникам взятки, и что они никогда не были способны на «автономные» решения³³. Вместо этого они поощряли своих сыновей к тому, чтобы те становились чиновниками и вкладывали доходы в землю. До тех пор пока Балаш оставался под влиянием дебатов о «ростках капитализма» и матери-

³⁰ См.: Zurndorfer (2004). P. 193.

³¹ Ibid. P. 234–235. Слово «личных» не следует воспринимать дословно. Как указал мне д-р Макдермотт, доступными источниками являются некоторые гильдейские и конторские книги, но не действительно личные записи. Он также полагает, что ошибочно отождествлять китайских торговцев с классом «купцов», как делают многие.

³² Ibid. P. 214.

³³ Д-р Макдермотт указывает, что купцы не приветствовали такой «автономности», которая могла бы привести их к разорению.

алов, подвигших его на их изучение, он отрицал концепцию китайских марксистов, согласно которой феодализм занимал значительный промежуток времени в масштабах истории страны (в подобной манере Элвин отрицал использование данного термина Нидэмом), но в то же время стремился телеологически оценивать позднейшую «неудачу» Китая при попытке развить «современную модель капитализма», концентрируясь на правовом аспекте положения торговцев. Однако оказалось, что поведение последних в Китае не значительно отличается от такового в других местах, где торговля считалась менее престижным занятием, чем землевладение, — положение, с течением времени изменившееся повсюду³⁴. Нидэм также повторяет давние сетования на то, что торговцы и само их занятие «не относились к наиболее одобряемым в Китае»³⁵, поэтому купцы использовали свои доходы, чтобы войти в круг «образованного дворянства». Так же поступала эта категория населения и в Европе.

Не только Нидэм, Вебер и Балаш принимали в расчет противоречивые точки зрения на развитие в Китае капитализма и науки. Вся марксистская традиция разделилась во мнениях относительно положения Китая в мировой истории. Сам Маркс полагал Китай и Азию в целом исключенными из общего процесса развития способов производства в человеческом обществе (от древнейших — к феодальным и «буржуазным»). Он видел в Китае «разлагающуюся полумодернизацию древнейшего в мире государства»³⁶. *. Среди ученых-марксистов были распространены два существенно различавшихся подхода. После Октябрьской революции некоторые из них стремились к тому, чтобы усилить в Китае антиимпериалистическую и крестьянскую борьбу. Этим особенно отличались местные коммунисты, не желавшие мириться с тем, что Китай постоянно оказывался исключенным из процесса развития, ведущего к модернизации³⁷. Для них требовалась более динамичная версия истории. Одна из групп ученых-марксистов считала, что ранее Китай был феодальным (*fengjian*) и в стране оставалась возможность для прогрессивного развития в марксистском понимании (в соответствии с теорией пяти формаций); таким образом, Китай не «исключался»

³⁴ Smith (1991). P. 9) утверждает, что значительная роль государства в раннюю эпоху Сун предусматривала «зерна капитализма».

³⁵ Needham (2004). P. 59.

³⁶ Blue (1999). P. 94.

* Данная характеристика принадлежит Ф. Энгельсу и дана в статье «Персия и Китай». См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 12. С. 184.

³⁷ См.: Brook (1999). P. 130ff.

из хода всемирной истории. Некоторые даже утверждали, что в последние столетия в Китае господствовал рыночный капитал. Другие, например Виттфогель, полагали, что в стране существовала одна из разновидностей азиатского способа производства³⁸. В конечном итоге в 1931 году советское руководство отказалось от идеи о статичном азиатском способе производства, вновь появившейся в европейской историографии в 60-е годы XX века³⁹.

Развитие коммерции в «феодалном» обществе некоторые китайские марксисты считали признаком возникновения «ростков капитализма», появившихся на Востоке, так же как и на Западе⁴⁰. Такая позиция, в отличие от взглядов евромарксистов, кажется чрезвычайно разумной. Она означала отрицание азиатского способа производства и принятие универсальной концепции «феодализма», которая может выглядеть размытой, если только не относить ее к высокостратифицированным сельскохозяйственным обществам общего типа, возникшим вследствие социального расслоения в процессе сельскохозяйственного производства, сложившегося после бронзового века и появления тяглого плуга. Считалось, что Китай, как и Запад, прошел этап, который Гейтс (1989) назвал «мелкокапиталистическим способом производства» за счет «трибутарного способа», несмотря на стремление правительства сдержать его наступление. Тем не менее деньги преодолели все — что выразилось, в частности, в реформах налоговой системы «Новый кнут» 1581 года, предусматривавших уплату налогов в основном в денежной, а не в натуральной форме.

Как эта ситуация повлияла на историю развития мысли, особенно на историю науки? Вспомним, что на Западе понятие «скачка в развитии» связано не только с «головокружительным подъемом современной науки», но и с появлением «капитализма» и Возрождением. Однако подобный скачок происходил не только на Западе. Применительно к Китаю Нидэм говорит о «слиянии» «восточной» и «западной» астрономии к середине XVII века⁴¹. Действительно, на графике, приводимом им в томе «Чиновники и ремесленники»⁴² показаны временные точки, в которых Запад нагоняет Восток («точки пересечения»), а также точки слияния (см. рис. 5.1).

³⁸ См.: Wittfogel (1931). P. 57.

³⁹ См.: Godelier (2004); Hobsbawm (1968).

⁴⁰ См.: Brook and Blue (1999). P. 153.

⁴¹ См.: Needham (2004). P. 28.

⁴² См.: Needham (1970).

В таких сферах, как астрономия, математика и физика, Запад догнал Восток около 1600 года и тридцатью годами позже перенял многие его достижения. Это вряд ли предполагает, что следует искать глубокие причины невозможности для Китая развить «современную науку»; следует скорее обратиться к причинам случайным. Говоря «случайные», я обращаюсь к признакам так называемой «интерналистской» модели науки, но необязательно ограничиваться лишь ими; между «социальными» и «интернализированными» объяснениями может не существовать никаких существенных противоречий⁴³.

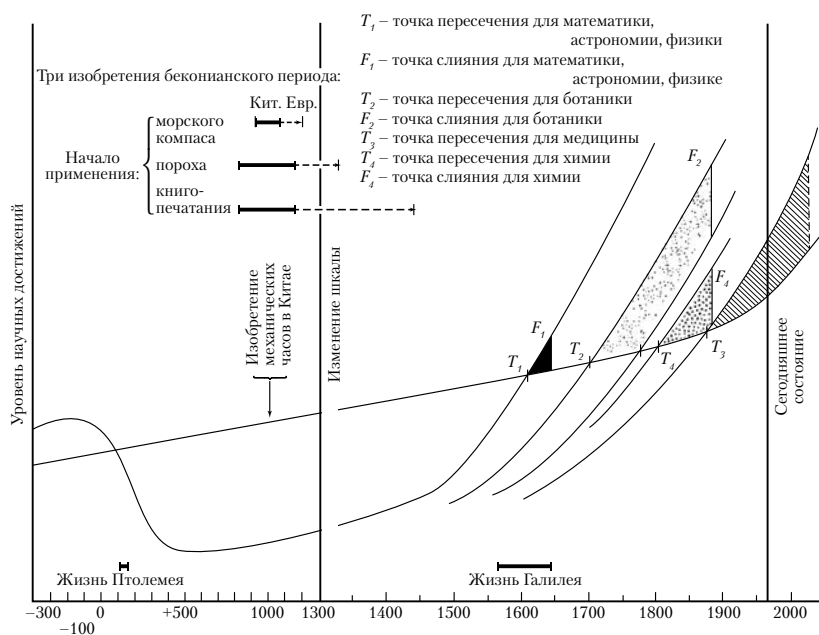


Рисунок 5.1. График, демонстрирующий точки пересечения и слияния китайской и западной науки

Источник: *Needham (1970). Clerks and craftsmen. Fig. 99.*

⁴³ См.: *Needham (2004). P. 22.*

Экономика и право

Одним из политических факторов, который Нидэм считал препятствием для внутренней торговли, было отсутствие в Китае «закона и порядка». На дорогах, утверждает он, бесчинствовали разбойники, города наполняла масса «лиц без определенных занятий», силы, охранявшие порядок, были крайне незначительными. Но чем это отличается от ситуации в Британии XVIII века, с грабежами на дорогах, городской беднотой, местными констеблями и междоусобицами «горных кланов»? Однако Британия смогла развить внутреннюю торговлю и фабричную систему. Как мы видели в предыдущих главах, «закон и порядок» определенно не являлись прерогативой Запада, как предполагают некоторые исследователи. Все общества сдерживают насилие, все стремятся торговать, и все сталкиваются при этом с некоторыми проблемами.

Нидэм замечает также, что деловые соглашения в Китае соблюдались благодаря этическим принципам, «без принуждения закона»⁴⁴. Но «джентльменские договоренности», предусматривающие взаимные обязательства, до сих пор распространены в предпринимательских кругах и представляют повод для обращения в суд, на что, очевидно, и ссылается Нидэм; при этом они не являются единственно возможным вариантом ведения бизнеса, особенно в случаях долгосрочных взаимоотношений между различными юрисдикциями. В той же мере это касается и периода расцвета викторианской Англии — периода триумфального развития капитализма; там в некоторых кругах тоже можно обнаружить «врожденный антикоммерциализм», так что его недостаток вряд ли может объяснить, почему Европа «совершила скачок», а Китай — нет. Автор снова мыслит телеологически и пытается обнаружить глубокие и долговременные «социальные» различия, что выглядит не вполне уместным.

Другой проблемой, усмотренной Нидэмом в китайской торговле, является то, что в ее рамках не развивалась кредитная система⁴⁵. Это означало, что масштабы торговли не увеличивались и, соответственно, не росло количество купцов, не развивался капитализм и «современная наука». Он пишет о «низком уровне развития денежной экономики в Китае», противопоставляя его «современной финансовой

⁴⁴ См.: *Needham* (2004). P. 60.

⁴⁵ *Ibid.* P. 55.

системе»⁴⁶. В силу этого никто не мог «вести дела там, где не присутствовал лично»⁴⁷. Такое предположение кажется весьма нереалистичным. Даже в полностью бесписьменных культурах люди имеют возможность пользоваться неким кредитом⁴⁸. В культурах же, имеющих письменность, — таких, как Китай, — это явление имеет гораздо более широкие масштабы. Действительно, распространение кредита стало одним из первых достижений, связанных с появлением письменности в Месопотамии, Китае и других регионах. Предположение Нидэма, отвергнутое Элвином от имени специалистов по экономической истории, определенно не стыкуется с огромным объемом экспорта золота из Европы и Америки; Элвин отмечает, что ни один серьезный историк экономики не считает период Сун «практически не охваченным денежной системой». Нидэм признает, что позже в стране произошла революция в отношении к деньгам и кредиту, но считает, что за ней не последовало институциональных изменений. Он также упоминает, что торговцам помогали счетоводы, что показывает высокий уровень торговой активности и деятельности гильдий, но по-прежнему сохраняет критическую позицию в отношении ученых (в основном китайских), считавших «промышленников эпохи Хань» «несостоявшимися капиталистическими предпринимателями»⁴⁹, провозглашавших «пробуждение капитализма» в эпоху Мин, а к эпохе Сун относивших «возрождение» и «рыночную революцию». Все эти построения, по его мнению, были безуспешными, поскольку существовало «фундаментальное институциональное несоответствие между центральным бюрократическим аппаратом в аграрном обществе и развитием денежной экономики»⁵⁰. Но они были безуспешными только с телеологической точки зрения, являющейся частью домарксистского (хотя и христианского) видения Китая как не имеющего буржуазии и потому неспособного двигаться по направлению к капитализму⁵¹.

Такое восприятие китайской экономики как неспособной на рычок к независимой рыночной деятельности любопытно, но только до тех пор, пока не становится понятной его идеологическая подоплека. Элвин косвенно критикует его в своих вводных замечаниях, когда

⁴⁶ Ibidem.

⁴⁷ Ibid. P. 58.

⁴⁸ См.: Goody (1986). P. 82ff.

⁴⁹ См.: Needham (2004). P. 57.

⁵⁰ Ibid. P. 57–58.

⁵¹ Ibid. P. 52.

пишет, что, «оставив в стороне иерархическое право государства на отчуждение собственности, имевшее большое значение вплоть до конца I тысячелетия, но редко применявшееся позже», мы увидим внутри Китая множество вариаций. Он критикует понятие «бюрократический феодализм»⁵² Нидэма, поскольку перемены на протяжении двух тысяч лет были слишком велики, чтобы какое-либо определение могло «быть равно справедливым для всех периодов»⁵³. Использование данного понятия демонстрирует склонность Нидэма «биологизировать» историю Китая, он подчеркивает, что «преемственность» и «целостность» являются практически наследственными (он употребляет слово «инстинктивные») характеристиками «китайского образа мыслей», который он сравнивает, часто в позитивном ключе, с наследием «религий Священного Писания», поскольку в Китае не было господствующей религиозной идеологии. «Многие месторождения разрабатывались частным образом, начиная с эпохи Сун и до эпохи Цин; частные инструменты кредита также широко использовались как в государстве Сун, так и в Цин, где развивались частные финансовые институты, напоминавшие меняльные лавки или банки с ограниченным набором функций. В период Цин переводы денег на значительные расстояния, помимо прочего, осуществлялись через банки Шанси, технически являвшиеся частными, хотя и находящимися в симбиотической связи с правительством»⁵⁴. Элвин представляет совершенно другую картину кредитных и коммерческих операций, чем Нидэм, — картину, гораздо более согласующуюся с остальной Азией⁵⁵ и более близкую европейской, что снова подрывает основы предположения о том, что Европа вырвалась вперед намного раньше. Ключ к очевидному противоречию между тем, что пришлось сказать Нидэму по поводу науки в Древнем Китае, и его видением экономики содержится в замечании Элвина: «Вероятно, ему было просто неловко в связи с перспективой объяснения логики исторического развития Китая, которое могло бы оказаться слишком далеким от застывшей европоцентристской формулы, предлагаемой в то время советским и китайским марксизмом». В соответствии с нею никакой буржуазии до европейского капитализма не было.

⁵² О более ранних примерах употребления термина «бюрократический феодализм» в контексте Китая см. в кн.: *Brook and Blue* (1999). P. 138. Основным результатом дебатов о социальной истории (1928–1937) стало утверждение, что императорская власть в Китае была «феодальной», хотя некоторые предпочитали термин «деспотическая».

⁵³ *Needham* (2004). P. xxx.

⁵⁴ *Ibid.* P. xxix.

⁵⁵ См.: *Goody* (1996a). P. 82 ff.

Нидэм активно поддерживал идею об ограниченности этих достижений только Европой⁵⁶. Вслед за Валлерстайном⁵⁷ и, конечно, Марксом, а также другими исследователями XIX века он считает развитие капитализма уникальным для Европы; аналогичным образом он трактует и буржуазию, которая должна была появиться в результате упадка средневековой европейской общественной структуры (сеньориальной системы, церкви и т.д.). А «с появлением буржуазии возник современный капитализм, идя рука об руку с современной наукой». Но при рассмотрении всех этих вопросов играют свою роль и проблемы понятийного характера, к числу которых относится разграничение между горожанами и буржуазией.

Валлерстайн считает эти «структуры» характеризующими «капиталистическую/современную» историческую систему, частную собственность, товаризацию и суверенное «современное» государство. Право собственности ни в каком отношении не является присущим исключительно современному западному миру. С возникновением письменности появились и договоры на продажу земли, хотя последняя и могла быть отчуждена государством в соответствии с преимущественным правом, которое Валлерстайн считает широко распространенным. Конечно, в более ранних обществах права собственности чаще делились между родственниками и иногда соседями, но тем не менее индивидуальное право собственности существовало и активно защищалось даже в отсутствие государства и письменных законов. Даже в самых примитивных аграрных обществах существовала определенная товаризация, хотя земля часто оставалась *extra commercium*, то есть находилась за пределами торгового оборота⁵⁸. Товаризация земли редко встречалась в таких обществах, но тем не менее была вполне возможной. Институционально «современный» Запад далеко не уникален, поэтому Азия недавно и продемонстрировала такие впечатляющие успехи на пути к «капитализму».

Валлерстайн отказывается от тех объяснений причин развития капитализма, которые он называет цивилизационными (в отличие от гипотетических) и которые связаны с именами Маркса, Вебера и некоторых других исследователей, предпочитая более условные объяснения. Он полагает, что в природе капитализма заложено «постоянное стремление к прибыли», и оно, как он считает, отмечалось только в Западной Европе начиная с XVI века. Это произошло, когда кризис

⁵⁶ См.: Needham (2004). P. 209.

⁵⁷ См.: Wallerstein (1992).

⁵⁸ См.: Goody (1962). P. 335.

феодализма подтолкнул класс землевладельцев к организации капиталистических предприятий. Постоянное же стремление к прибыли сложно измерить. Прибыль определенно присутствовала и в более ранних формах деятельности, связанных с рынком; непрерывная же «жажда прибыли», о которой он говорит, вероятно, связана с изобретениями в сфере технологий, особенно с развитием индустриализации и механизации. Разумеется, темп развития ускорился, но буржуазия и до этого уже была озабочена стремлением к прибыли, и, возможно, именно ее более раннее существование и постепенное «поглощение» буржуазией экономики недооценивает Валлерстайн при рассмотрении меняющейся роли землевладельцев. При анализе изменений, происходивших исключительно в Западной Европе, а впоследствии в остальном мире, их историю не требуется описывать в столь категоричных терминах.

Что касается моего восприятия, то я считаю, что «буржуазия» была интернациональной. Конечно, в одних местах она имела больше возможностей, чем в других, но широкий обмен товарами и идеями вдоль Великого шелкового пути (как по земле, так и по воде) не мог происходить без буржуазии и соответствующих финансовых инструментов. Для этого требовались как торговцы, так и ремесленники и производители товаров, а также юристы, банкиры, счетоводы, не говоря уже о школах и больницах. И именно по торговым путям различные религии, также игравшие определенную роль в экономике (в частности, посредством организации праздников и паломничеств), распространялись на Восток благодаря не только аристократам, завоевателям или чиновникам, но и купцам, о чем свидетельствует присутствие иудеев, христиан и мусульман на западном берегу Индии и даже в самом Китае. Они были вовлечены в торговую деятельность (которая обычно носит взаимный характер), в результате чего возникали сообщества торговцев в Индии (например, банья или джайны) и Китае (например, Чжэн Хэ и его друзья-мусульмане в Пекине). Эти сообщества формировали и развивали собственные субкультуры (отличавшиеся заметным сходством), способствовали развитию таких литературных форм, как реалистический роман, а также становлению театра, светской живописи и скульптуры, ломая чисто религиозные ограничения, а кроме того, способствовали появлению новых видов пищи и выращиванию цветов, интерес к которым, как и к другим видам искусства, они перенимали у аристократии. Благодаря этим и другим видам деятельности данный слой населения играл важнейшую роль во взаимном распространении знаний между Западом и Востоком.

Что касается сельской экономики, Нидэм пишет о том, что китайские технологии развивались настолько успешно, что стали сдерживать рост производства, поскольку он сопровождался численным ростом рабочей силы, в результате чего слабели стимулы для дальнейшей механизации, как это было бы при нехватке рабочих рук. Как мы видели в главе 3, аналогичный довод приложим и к рабскому труду. Необходимы были дальнейшие шаги, чтобы привести китайское сельское хозяйство «в современный мир», требовались прорывы в технологии, «немыслимые без возникновения современной науки»⁵⁹. А современная наука не была возможна без капитализма как в сельском хозяйстве, так и в городах. Круг замкнулся. Однако китайское сельское хозяйство не только успешно кормило многих, но и было весьма диверсифицированным; выращивание риса на юге требовало интенсивных технологий, значительно отличавшихся от экстенсивного сельского хозяйства, напоминавшего европейское, на севере. Действительно ли это стало поводом для появления технологических нововведений, не касавшихся выведения новых сортов, а направленных на продолжение и развитие прежних методов? Китайское сельское хозяйство, предполагавшее минимальное использование любых методов, кроме человеческого труда, можно рассматривать как экологичное задолго до появления экстенсивных смешанных земельных наделов европейского типа.

Сила воды применялась не только в китайском сельском хозяйстве, но и широко использовалась в текстильном производстве в XIII–XIV веках, «вызывая аналогии с тем, что происходило в Европе в XVIII веке»⁶⁰. Там были «те же самые прядильные и крутильные машины, которые в совсем недалеком будущем способствовали развитию производства шелка в Италии». Нидэм задается вопросом, почему фабричное производство «не возникло быстро». Он полагает, что это произошло вследствие сочетания различных общих факторов, в число которых входили, как мы видели, и «торможение монетарной экономики», и бюрократическое государство. Но это вряд ли может послужить достаточным объяснением, поскольку китайская экономика не выглядела настолько «отсталой», а государство и ранее поддерживало развитие именно данной области. Нам следует внимательнее рассмотреть точку зрения Нидэма на «современную науку», чтобы понять природу некоторых из представленных здесь противоречий.

⁵⁹ *Needham* (2004). P. 62.

⁶⁰ *Ibid.* P. 60.

«Современная наука» и внутренние характеристики систем познания

Выбрав Запад в качестве единственного региона, где спонтанно развивалась «современная наука», Нидэм пришлось принять полностью европоцентристскую позицию. Запад «спонтанно» развивал современную науку, тогда как китайские лауреаты Нобелевской премии, видимо, достигли своих целей лишь благодаря некоему подражанию. Рассмотрим две основные характеристики, которые Нидэм считает краеугольными камнями «современной науки», — математику и экспериментальный подход. Но разве верно видеть в так называемой современной науке чисто западное достижение, если даже используемая в ней система цифр, являющаяся основой для всех необходимых подсчетов, пришла из Азии, а экспериментирование там тоже должно было применяться чрезвычайно широко, потому что иначе откуда бы взялись технические успехи?

Помимо экономического и политического контекста Нидэм упоминает и факторы влияния внутреннего порядка, характерные для самих систем познания, и их взаимодействие между собой. Последовательные изменения в одной сфере дают в результате подъем в другой, что создает благоприятные условия для совершенствования существующих практик и моделей. Нидэм говорит также о христианстве, которое, как никакая другая религия, повышало внимание к природе, способствовало широкому распространению образования и применению знаний, а также появлению печатного станка и, следовательно, различных руководств и учебников, что содействовало большей доступности информации.

Религия является одним из факторов, с помощью которых объясняется то, что Нидэм считает очевидным парадоксом качественного скачка, совершенного западной наукой по сравнению с китайской. Вслед за Рожаксом и другими авторами он предполагает, что способность Запада усваивать «научный» взгляд на вещи была связана с «агрессивной нетолерантностью» иудейского монотеизма, а также его ответвлений — христианства и ислама, приведшей к «десакрализации природы», воплощенной в «суете вокруг идеологии». По мнению Нидэма, другие авторы считают такое отношение к природе результатом христианской борьбы с «язычеством»⁶¹, подкрепленной

⁶¹ См.: *Needham* (2004). P. 93; цит. по: *Pallis and Lynn White*.

древнегреческой атомистической теорией, которую можно назвать «механистическим материализмом». «Овеществление» природы положило начало более объектно ориентированному подходу, характеризующему «современную науку» в большей степени, чем холистический, практический подход неевропейских культур. Но и тут Запад был не одинок. В Индии существовали не только «сложные атомистические теории», но и традиция материалистической атеистической мысли (локаята)⁶². Конфуций также демонстративно заметный скептицизм в отношении сверхъестественного.

Все «письменно зафиксированные» религии на начальных этапах сталкивались с той же проблемой противостояния местным «анимистическим» религиям, — противостояния, аналогичного тому, которое христианство имело с язычеством, и в действительности никогда полностью не прекращавшегося. Сам по себе это неясный довод, но дело совсем не в том, что отрицание идолопоклонства как объяснения природных явлений, предположительно очистившее интеллектуальную атмосферу, ограничивается лишь ближневосточными религиями; оно было характерно и для раннего буддизма, а также для платонизма и многих других философских течений. Я даже предположил, что это универсальная тенденция, присущая всем животным, использующим какой-то язык⁶³. И снова Нидэм сосредоточивает свое внимание на Западе, чтобы объяснить происхождение «современной науки». Но необходимо изучить и другие возможности.

Само существование бинарного концептуального деления науки на «современную» и предшествующую ей подвергается сомнению во введении Элвина к труду Нидэма. Он пишет: «Примерно к 1600 году в Китае были в различной степени представлены *все* направления мысли, названные [историком науки] Кромби ключевыми компонентами науки... с очевидным исключением пробабиллизма, который вряд ли существовал в то время и в Европе»⁶⁴. «Революция, произошедшая в Европе после 1600 года, *насколько она вообще являлась таковой* [курсив автора], заключалась главным образом в *ускорении* развития и усилении взаимосвязи этих направлений, чем в каком-либо фундаментальном качественном нововведении — за исключением пробабиллизма». Эта позиция, в корне отличавшаяся от видения Нидэма, очевидно подвергает сомнению не только саму идею «качественного скачка» (во всяком случае, на уровне научной мысли)

⁶² См.: Goody (1998). P. 211.

⁶³ См.: Goody (1997). P. 20.

⁶⁴ Needham (2004). P. xxviii.

на Западе, но и его объяснения — с точки зрения буржуазии, религии, Возрождения и капитализма. Уникальность современной науки или технологий недавно была оспорена многими исследователями⁶⁵. Утверждалось, что по этому критерию Европа ранее была отсталой, так что происшедшие значительные изменения не могут объясняться изначальной предрасположенностью Европы к традиции научного познания. Подобные расистские (или основанные на предпочтении какой-либо культуры) объяснения должны быть отвергнуты.

Элвин стремится, с одной стороны, разграничить науку и технологию, а с другой — современную науку и ее предшественницу, модифицируя терминологию, используемую многими историками науки. Он критикует «легкое аристократическое презрение» некоторых представителей «высокой науки» по отношению к попыткам разобратся в таком «грубом» и очевидном, но в то же время сложном явлении, как текущая вода. Он также выражает сомнения по поводу осмысленности разделения науки и технологии, неотъемлемо при-сущего нидэмовской концепции «современной науки», от которого зависит столь многое в определении «проблемы Нидэма».

«Проблема Нидэма»

Нидэм продолжил свои усилия, чтобы найти ответ на вопрос, почему искра научного знания разожгла пожар именно в Европе, — вопрос, который был назван «проблемой Нидэма». Он высказал предположение, что вслед за практикой, принятой в некоторых исламских кругах, такие европейские ученые, как Роджер Бэкон, начали свои попытки систематического исследования мира природы (вопреки предпосылкам, упомянутым в предыдущем разделе), хотя, как указывает Элвин, аналогичные усилия предпринимали и китайские алхимики. Существует, как мы видели, мнение, что появление печатного станка и, соответственно, печатных практических руководств и справочников подстегнуло подобные исследования; однако печатный станок существовал в Китае задолго до этого.

Какие же отличия наблюдаются в Европе? Этот континент значительно отстал в накоплении знания, как мы видим на замечательной итоговой диаграмме в последней статье книги Нидэма «Наука и цивилизация в Китае»⁶⁶ (см. табл. 5.1).

⁶⁵ См.: *Wallerstein* (1999). P. 20.

⁶⁶ См.: *Needham* (2004). P. xx (см. рис. 2).

Таблица 5.1

Перенос механических и других технологий из Китая на Запад

	Приблизительный временной интер- вал, столетия
a) Цепной насос с квадратными лопатками	XV
b) Бегунковая мельница	XIII
Бегунковая мельница, использующая силу воды	IX
c) Металлургические воздуходувные машины, использующие силу воды	XI
d) Ротационное воздуходувное устройство и ротационная веялка	XIV
e) Гофрированные воздуходувные мехи	ок. XIV
f) Ткацкий станок	IV
g) Технологии для производства шелка (вариант «водила» для равномерного укладывания нити на катушку появляется после XI века, а сила воды начинает использоваться в прядильных машинах после XIV века)	III–XIII
h) Тачка	IX–X
i) Морские перевозки	XI
j) Передвижная мельница	XII
k) Эффективная упряжь для вьючных животных; грудная упряжь (расположение) Хомут	VIII VI
l) Арбалет (как личное оружие)	XIII
m) Воздушный змей	ок. XII
n) Вертолетный винт (приводится в движение скрученной веревкой) Зоотрон*, приводимый в действие восходящим потоком горячего воздуха	XIV ок. XII
o) Глубокое бурение	XI
p) Чугун	X–XII
q) Карданный подвес	VIII–IX
r) Арочный мост, состоящий из отдельных сегментов	VII
s) Подвесной мост на железных цепях	X–XIII
t) Шлюзовые ворота каналов	VII–XVII
u) Принципы постройки кораблей	> X
v) Руль ахтерштевня	ок. IV
w) Порох	V–VI
Использование пороха в военных целях	IV
x) Магнитный компас («магнитная ложка»)	XI
Магнитный компас со стрелкой	IV
Магнитный компас, используемый в навигации	II
y) Бумага	X
Печать с использованием формы	VI
Печать с использованием съемных наборных форм	IV
Печать с использованием металлических съемных наборных форм	I
z) Фарфор	XI–XIII

Источник: Needham (2004). P. 214.

* *Зоотрон* — разновидность калейдоскопа, созданная в Китае в 180 году до н.э. изобретателем Тинг Хуанем

Когда Европа в раннем Средневековье оказалась практически отрезанной от своих восточных соседей, она замкнулась на себе и собственной (преимущественно религиозной) культуре. С распространением торговли и контактов с остальным миром, особенно с исламскими регионами Европы и исламским Ближним Востоком, ее отсталость в таких областях, как торговля, знания и различные изобретения, стала очевидной. Но торговля возобновилась, новые знания приходили из других стран (в том числе информация и различные нововведения с Востока, включая Индию и Китай), обычно благодаря контактам купцов с огромным количеством исламских обществ, по территориям которых проходили торговые пути в Азии. Возрождение науки происходило необыкновенно быстро, в зависимости от специфики каждой конкретной области. Эта стремительность определенно была связана с «преимуществом отсталости». За сравнительно короткий промежуток времени отставание от Востока было преодолено.

Еще одним фактором, также считавшимся причиной быстрого роста интереса к познанию в Европе после эпохи Возрождения, было распространение образования, как университетского, так и школьного, что отчасти было вызвано появлением книгопечатания, давшего возможность быстро и в больших количествах распространять тексты и схемы⁶⁷. Однако, как мы увидим в главе 8, данный фактор тоже не был уникальным для Европы. Элвин пишет об ошибке, которую делали многие историки, считая наличие университетов в Европе XII века крайне значимым параметром, имевшим отношение к происхождению «современной науки». Он находит «аналоги университетов в Китае»⁶⁸, самым известным из которых была «Великая школа», организованная правительством в эпоху династии Сун. Там преподавали математику и медицину, а также имелась экзаменационная система. Кроме того, еще более распространенными были «академии», где не только обучали, но и давали возможность отстаивать свои взгляды.

Элвин рассматривает также предположение о важной роли двух факторов. *Во-первых*, концепции природы как хранилища поддающихся расшифровке тайн, возможно происходившей от некой исламской традиции и, вероятно, повлиявшей на Роджера Бэкона в XIII столетии. *Второй фактор* относится к вульгаризации знания, выразившейся в появлении «вала справочников и руко-

⁶⁷ См.: Ong (1974).

⁶⁸ Elvin (2004). P. xxvii.

водств», чему способствовало книгопечатание. Элвин отвергает это предположение, поскольку считает китайскую алхимию эквивалентной первому фактору (то есть традиции изысканий), а долгую историю китайских учебников и руководств по сельскому хозяйству и ремеслам (хотя и не очень доступных для умеренно грамотных) частично эквивалентной второму (то есть вульгаризации). Например, Кубла Хан способствовал тому, чтобы книга «Основы сельского хозяйства и шелководства» 1315 года издания была отпечатана в 10 тысячах экземпляров⁶⁹. Итак, нам следует глубже изучать контекст.

Эта ситуация подчеркивает, что разрыв между Европой и Азией был менее глубоким, чем предполагают многие теории. Может показаться, что нужна была только искра, чтобы разгорелось пламя научных изысканий, — искра, высеченная еще Галилеем (как предполагал Элвин). Столь значительные успехи отчасти могли быть результатом «пробуждения спящего»; сама отсталость западной науки предоставляла возможности для ее свободного развития, во многом сдерживаемого, с моей точки зрения, главенством христианской церкви и ее мировосприятия, и это главенство в какой-то мере было уменьшено благодаря «встречному течению» Возрождения с помощью возврата к римским и греческим моделям, не испытывавшим воздействия мировых религий. Можно считать, что этим переменам способствовала секуляризация множества отраслей знания при содействии развивающегося европейского книгопечатания, а также Реформация, развитие школ, университетов и гуманитарных наук вместе с ростом торговли, развитием мореплавания и целой серией других событий, поддерживавших научные изыскания и развитие капитализма.

Однако, хотя эти события вызывали радикальные изменения интеллектуального климата Европы, их следует считать не чем иным, как пробуждением Европы — давшим ей временные преимущества над странами Дальнего Востока. Очевидно, что наука впервые появилась на исторической арене не в Европе эпохи Возрождения по одной простой причине, — она долгое время существовала в других местах. Отличительные признаки, которыми оперирует Нидэм, разграничивая древнюю и современную науку, а также науку и технологию (оспариваемые, как было отмечено, в числе прочих Элвином), возникли из-за сложившегося обыкновения считать результаты, достигнутые Европой в постренессансный период, зенитом ее

⁶⁹ См.: *Needham* (2004). P. 50.

достижений, но эти преимущества нуждаются в убедительных доказательствах, без которых могут показаться сомнительными. Таким образом, «проблемы Нидэма», поставленной в этом ключе, не существует. Вопросы, которыми имеет смысл задаваться, относятся скорее к тому, следует ли считать неоспоримым фактом первенство Европы в категориях современной науки. Нидэм показал нам, что европейская наука возникла не в пустыне, напротив — в других частях света существовали сложившиеся системы знания, которые были, согласно его оценке, восприняты Европой — но лишь после продолжительного периода пассивности. Так или иначе, лидерство Европы неизменно остается открытым вопросом.

Тот факт, что после эпохи Возрождения Европа извлекла из науки огромную пользу, является неоспоримым, однако он нуждается в менее безоговорочных объяснениях, чем те, что рассмотрены нами в данной главе. С точки зрения Элвина, «проблема Нидэма» далека от решения. Он завершает свой обзор предположением о необходимости привлечь к рассмотрению большее количество переменных, чем выбрано Нидэмом. Элвин настаивает на «разукрупнении» переменных с помощью иного подхода, чем тот, который применял Нидэм по отношению к социальным факторам. Например, относительно университетов он приходит к выводу, что подтверждение аргумента о европейском первенстве в данной сфере требует более тщательного анализа этого института. Он задается вопросом, что же именно было специфического в европейских институтах, что привело к быстрым успехам науки. Он считает, что такой же подход необходимо применить к понятию вероятности, которое считает одной из научных идей, не получивших развития в Китае к 1600 году. Однако, пока общие принципы не были установлены, практическое знание о вероятностях реализовывалось в настольных играх, причем одни из них пришли с Запада — как нарды, а другие с Востока — как домино. Это практическое знание, возможно, не было оформлено в некую теорию, составляя «профессиональный секрет» игроков. Никто не будет раскрывать тайны, от которых зависит собственная жизнь. Однако игроки реально использовали элементы того, что можно назвать «основой исчисления вероятностей». Поскольку такие данные никогда не публиковались, «кодификация, обобщение и прогресс, обычно ассоциируемые с широкой доступностью, в данном случае отсутствовали»⁷⁰. Эта ситуация является отличным примером того, что письменное выражение позволяет прояснить и при-

⁷⁰ Elvin (2004). P. xxxiv.

дать «теоретическую» форму принципам науки, развитие которой зависит в конечном итоге от возможностей в сфере коммуникаций.

И снова идея сетки взаимных влияний кажется гораздо более подходящей, чем категорические определения, жестко привязывающие каждую традицию к конкретному «полюсу». В таком случае в одно время мы обнаружим концентрацию различных характеристик одной традиции, изменяющейся с течением времени, причем чем меньше тот или иной вид деятельности связан с «наукой», тем более он полезен для краткосрочных успехов «технологии», но при этом совершенно невозможно полностью отделить одно от другого. Точно так же нельзя связать их строго с каким-то одним континентом.

Внутри бинарных категорий существуют другие проблемы, не оставляющие места для множественных и противоречивых решений. Теоретизируя, Нидэм видит для Китая возможность решения некоторых этических дилемм, которые ставит современная наука, поскольку Китай на протяжении 2000 лет располагал «действенной этической системой, никогда не опиравшейся на божественные санкции»⁷¹. В данном случае он имеет в виду конфуцианство. Но в числе бытовавших в Китае верований был буддизм, существовало поклонение предкам, как и местным божествам⁷². Что отсутствовало в стране (и это отсутствие, как мы увидели, было крайне важным для развития знания), так это единственная доминирующая религиозная идеология, подобная христианству, исламу и иудаизму. Плюрализм, разумеется, открывал путь для более широких исследований «природы». Однако фактически культурное пространство страны изобиловало «сверхъестественными структурами» и «сверхъестественными санкциями». Нидэм уделяет особое внимание конфуцианству, что может служить лишь еще одним примером стремления выделить один элемент (причем наиболее связанный с образованием) из всего множества воззрений и религиозных систем, распространенных в обществе, и связать его с другими аспектами культуры, нуждающимися в объяснении, как это различным образом делали многие историки и социологи. Но было бы явной ошибкой не придавать значения различиям и противоречиям в системах взглядов в любой момент времени; это привело бы к неудовлетворительному видению истории.

⁷¹ Needham (2004). P. 84.

⁷² Какое-то время Нидэм полагал, что центральная роль в истории китайской науки принадлежит даосизму, но эта идея более не является актуальной.

Сходная проблема, связанная с четким делением на категории и упомянутая мной ранее, заключается в тенденции (не более чем тенденции) считать такое деление более постоянным, чем это можно обосновать. Как биолог, Нидэм избегает «расизма» (как его принято воспринимать), но история в его понимании часто испытывает влияние наследственно сложившихся культурных тенденций. Так, он говорит о «благороднейшем этическом *инстинкте*» иудеев⁷³. В другом месте он пишет о «гении» китайцев⁷⁴. Подобные выражения могут быть метафорическими, но они демонстрируют веру в почти биологически обусловленную культурную преемственность, идею, которая требует тщательного подхода и значительной доработки. Мой комментарий здесь соответствует точке зрения Элвина: Нидэм считает культуру и общество Китая не меняющимися с течением времени, полагая китайскую империю однородной, как национальное государство. Он всегда склоняется к преемственности. И в этом случае, для того чтобы лучше проследить колебания, изменения и возвращения к старым моделям, периодически встречающиеся в историческом процессе⁷⁵, лучше подойдет сетка.

Проблемы, связанные с трактовкой социальной истории у Нидэма, становятся особенно осязаемыми, когда он берется за прогнозирование будущего Китая. С его точки зрения, в отличие от старательного копирования Запада развитие «социалистической формы общества может показаться более соответствующим прошлому Китая, чем любой из капиталистических стран»⁷⁶. Неясно, как бы он интерпретировал нынешние изменения в Китае, но многие уже не считают его «социалистической» страной⁷⁷. В любом случае примеры Гонконга, Сингапура и Тайваня, судя по всему, не свидетельствуют о какой-либо несочетаемости. Категории Нидэма слишком ограничены как для настоящего, так и для прошлого.

Помимо переоценки культурной или исторической преемственности существуют и другие сложности, связанные с попыткой Нидэма объяснять «уникальную» тенденцию развития современной науки на Западе, развивавшуюся параллельно Возрождению, появлению буржуазии и капитализма. Я настаиваю, что это никоим

⁷³ *Needham* (2004). P. 85 (курсив автора).

⁷⁴ *Ibid.* P. 69.

⁷⁵ О том, как Нидэм отрицает повторное появление событий или тенденций, см.: *Ibid.* P. 51.

⁷⁶ *Ibid.* P. 65.

⁷⁷ Влияние китайской социально-экономической революции на историю страны рассматривается в кн.: *Brook and Blue* (1999). P. 155ff.

образом не уменьшает огромного прогресса, достигнутого благодаря Нидэму в понимании достижений Китая. Но здесь мы сталкиваемся с проблемой, обнаруживаемой и в броделевских исследованиях «капитализма», и в веберовском взгляде на сущность средневекового города, не говоря уже о его видении вклада эстетики протестантизма. Все эти объяснения страдают неоправданным смещением акцентов в сторону постренессансной Европы, демонстрировавшей экстраординарные достижения как в науке и технологии, так и в других сферах. Но, когда эти достижения выделяются как «современные» в противоположность всем остальным формам развития, «проблема Нидэма» предстает в категорической, экзистенциальной форме, не позволяя адекватно оценивать более поздние достижения восточных стран в экономике, политике и науке. Их достижения требуют долгосрочного историко-культурного анализа другого типа. Если мы возьмем за точку отсчета современную Европу или европейскую науку, то все остальное неизбежно будет казаться отклонением, чем-то неполным. В этом заключается общая проблема современных европейских историков, когда они пытаются рассматривать прошлое или другие регионы. Видение различий обретает формат неких негативных оценок, поскольку современная европейская наука предстает как образец и норма, а все остальные варианты в сравнении с ней выглядят недостаточно полноценными, и это необходимо учитывать.

Глава 6. Похищение «цивилизации»: Элиас и абсолютистская Европа

Значительная часть всемирной истории описана в категориях цивилизации и цивилизаций, то есть значительных единиц, из которых состояло человеческое общество после бронзового века и часто воспринимавшихся как культуры, сталкивавшиеся друг с другом, как это описал Сэмюэл Хантингтон¹. С этноцентристской позиции борьба этих культур всегда заканчивалась победой Запада. Некоторые ученые пророчески признавали, что эта победа, если ее вообще можно считать таковой в интерактивном мире, может быть только временной. При этом лишь немногие в состоянии видеть, что достижения предыдущих столетий являются значительно более равными друг другу, чем это обычно считают. Еще более экстравагантные этноцентристские претензии заключаются в попытках не только представить современные или недавно обретенные преимущества в качестве постоянных, но и интерпретировать их исключительно с точки зрения тенденций развития европейского общества, по крайней мере, с XVI века, а нередко и задолго до того. Известным примером такого подхода является исследование социолога Норберта Элиаса «О процессе цивилизации»², в котором намерения автора пролить свет на этот процесс остались нереализованными из-за ограниченности его подхода к различным культурам.

Слово «цивилизация» используется различным образом. Оно широко применяется в качестве альтернативы «варварству»; кон-

¹ См.: *Huntington* (1996).

² См.: *Elias* (1994a). [Рус. пер.: *Элиас Н.* О процессе цивилизации. М.-СПб.: Университетская книга, 2001.]

цепции «цивилизации» и «варварства» оформились в Древней Греции и отражали самосознание ее жителей, а также восприятие ими соседей с севера, юга и востока. Последний термин появился как следствие крайне этноцентристской идеи, предполагающей презрительное отношение к другим народам, но имел также и более серьезное обоснование, связанное с тем, что обитатели городов (*civis*, или граждане) использовали термин «варварский» применительно ко всему, что находилось за городскими стенами и было связано с сельским образом жизни. В конце концов эта пара слов [цивилизация и варварство] была воспринята западными антропологами и археологами без какой-либо моральной оценки: «культурой городов», или «цивилизацией», стали называть сложные общества, основанные на сельском хозяйстве, использовавшем плуг, на ремесленном производстве и письменности, возникшие в бронзовом веке около 3000 года до н.э.³ тогда как термин «варварство» применялся по отношению к обществам, практиковавшим более примитивное мотыжное земледелие.

Однако в обычной, бытовой речи сохранилось этноцентристское, оценочное употребление этих терминов. Когда речь шла о ситуации в колониях, слово «варварский» постоянно звучало из уст европейцев по отношению к представителям других культур, с которыми они контактировали, и их «обычаям». Сегодня слово «варварство» употребляется столь же часто, и всегда в унижительном контексте, применительно к иммигрантам из других стран или к тем, кто активно сопротивляется правилам, принятым в данном обществе. Антоним этого термина, «цивилизованный», вернулся в европейский контекст прежде всего благодаря книге Элиаса, получившей широкую известность.

В данной главе я, *во-первых*, пытаюсь подвергнуть сомнению точку зрения Элиаса, состоящую в том, что «цивилизованность» присуща исключительно Европе. Я считаю такой взгляд «похищением цивилизации» со стороны Европы; чтобы доказать его неправомерность, я использовал доступный мне материал по Японии эпохи Хэйан, по Китаю и другим восточным культурам. *Во-вторых*, я хотел бы сопоставить систему взглядов Элиаса в книге «О процессе цивилизации»⁴ с опытом, полученным им в Гане, где он преподавал до конца своей жизни, и таким образом пролить свет на его общее отношение к тому, что антропологи называют «другими культурами»

³ См.: Childe (1942).

⁴ См.: Elias (1994a [1939]).

(обычно «нецивилизованными», «варварскими»), показав тем самым самодовольно европоцентристскую суть его подхода⁵. В-третьих, некоторые методологические соображения кажутся подходящими для того, чтобы объяснить разницу между данными, доступными Элиасу, и выводами, которые он сделал из их интерпретации. Некоторые сочтут позицию Элиаса *passé*, устаревшей, однако она все еще пользуется значительной популярностью во Франции, что, например, проявляется в работах известного историка Роже Шартье, а также в Нидерландах, Германии и среди британских социологов, где круг последователей Элиаса издает журнал «Figurations». Новые издания его работ продолжают выходить, что остро ставит вопрос о сравнительном исследовании цивилизаций.

Позиция Элиаса основывается на утверждении Канта, что «мы чересчур цивилизованы в смысле всякой учтивости и вежливости в общении друг с другом»⁶. «Мы» — это Европа. Исследование Элиаса начинается с рассмотрения «социогенеза» концепций «цивилизации» и «культуры», то есть того, как очень широкое, «народное» представление о цивилизации в Германии развилось до квазианалитической категории. С этой точки зрения мы являемся цивилизованными, а остальные — дикарями, или язычниками (жители деревень), или даже люмпен-пролетариатом. Элиас полагает, что концепция цивилизации (в ее общей функции и общем смысле) выражает «самосознание Запада», суммируя все, что, с точки зрения Запада, наделяет его превосходством перед другими обществами и показывает его специфический характер применительно к модернизации. (Термин «модернизация» использую я: Элиас говорит о «прогессе Запада»⁷.) Он критикует понятие прогресса в работах других социологов⁸, но оправдывает собственное использование данного термина тем, что говорит «языком самого народа». Обращение к актерской терминологии, очевидно, подкрепляет европоцент-

⁵ Вариант этой главы изначально был написан как этнографический комментарий на мою полемику с Норбертом Элиасом по Гане — в контексте размышлений об этой стране, опубликованных им в виде серии интервью. В связи с его пребыванием в Гане мне пришлось воспользоваться социологическим и антропологическим подходами и рассмотреть опыт Элиаса с точки зрения его обобщающего тезиса о «процессе цивилизации». Позже меня попросили расширить эти последние замечания по отношению к его теоретическим установкам, а также аналогичным установкам других значимых теоретиков социологии XX века.

⁶ Kant (1784) [Кант И. Соч. Т. 6. С. 18.]; Elias (1994a [1939]).

⁷ См.: Elias (1994a [1939]). Р. 4.

⁸ Ibid. P. 193.

ристский аспект его работы, поскольку этот термин используют именно европейцы. Так что такое словопотребление весьма сходно с тем, какое значение обрело слово «гуманизм» в некоторых кругах, где под ним подразумевались некие специфически европейские достижения в эпоху Возрождения или даже до ее наступления.

Попытки Элиаса «придать исторический характер» концепциям цивилизации и культуры представляют интерес, поскольку, в отличие от научных концепций, он считает их использование неразрывно связанным с конкретным социальным контекстом. Но такая трактовка значительно осложняет употребление этих терминов с аналитической точки зрения, поскольку оно предполагает позицию, основанную исключительно на западном социальном контексте. Цивилизация — это все, что Запад считает своими достижениями, а также сопутствующие им установки. Но и другие сложные общества имеют аналогичное мнение о собственных достижениях в их отношении к другим. Поэтому употребление данного термина у Элиаса значительно отличается от того, как его использовали историки более древних обществ, где слово «цивилизация» (*civilization*) было связано со словом *civil*, то есть «городской», совершенно иным образом (скорее обозначая «утонченные привычки, высокий социальный статус») и относилось к культуре городов, появившейся в результате «городской революции» бронзового века. Нам следует понимать терминологию Элиаса в совершенно иной, оценочной системе координат.

Заявление Элиаса относится к возникновению как социальных, так и психологических паттернов поведения. В первом случае он говорит о «социогенезе», во втором — о «психогенезе». Он убежден, что после Средневековья поведение людей стало в значительно большей степени подвергаться социальной цензуре, что привело к возникновению чувства стыда и такта, то есть, в более общем смысле, к цивилизованному поведению. С течением времени эти нормы усваиваются, механизмы цивилизации сдвигаются с внешнего принуждения к внутренней цензуре, стыд переходит в вину (идея, восходящая к Фрейдю). Весь процесс перехода от состояния «первобытности»* к цивилизации был завершен лишь однажды в истории — и это произошло в современной Европе. Согласно Элиасу, причиной этого явился переход от феодального общества

* *Naturvolk* — полемизируя с Элиасом, автор постоянно пользуется этим термином, который при переводе мы передаем как «первобытность» или «первобытный народ».

к абсолютизму. Социальная организация стала более иерархичной и комплексной, накладывая на поведение людей более строгие ограничения, усваиваемые с течением времени.

Перед тем как приступить к обоснованию этих утверждений, Элиас стремится дать представление о своих теоретических и методологических интересах. Он особенно озабочен тем, каким образом превалирующий на сегодняшний день тип социологии — имея в виду главным образом Толкотта Парсонса — стал социологией «состояний» (то есть статичной дисциплиной), дистанцируясь от изучения проблем долгосрочных социальных изменений, «социогенеза и развития социальных формаций всех видов»⁹. Важным достижением Элиаса стало то, что он сохранил традицию исторической социологии, отвергнутую многими «постмодернистами» и другими исследователями, — традицию, примерами которой являлись работы Маркса и более всего — Макса Вебера¹⁰.

Я совсем не намерен предлагать компаративистский подход в качестве единственного стратегического исследовательского метода для истории, антропологии или общественных наук. В науке всегда найдется место и для тех, кто занимается изучением народности нуэр*, и для тех, кого интересует широкий круг вопросов относительно нилотов** или проблемы средневековой Боснии, или, наконец, модели поведения людей в Европе эпохи Возрождения. Всегда есть пространство для тех способов исследования, которые не предполагают ни интенсивного изучения, ни систематического сравнения, но предметом которых являются общие размышления об истории человечества. Я сам предпочел бы найти для своего исследования отдельное определение, например «философская антропология», как это сделал Хабермас. Но если мы хотим говорить о различиях между конкретными типами общества (получившими

⁹ *Elias* (1994a [1939]). P. 190.

¹⁰ Элиас работал с его братом, Альфредом Вебером, и присоединился в Гейдельберге к кругу Марианны Вебер, став ассистентом социолога Карла Мангейма, с которым позже снова встретился в Лондоне. Подход исторической социологии Элиас применял к захватывающей теме «манер поведения». Как мы видели, он был увлечен проблемой их развития с течением времени. Это было так, но Парсонс видел преимущества в одновременном анализе событий, происходящих в обществе. Действительно, диахронный анализ в работах таких авторов, как Конт, Спенсер, Маркс и Хобхаус, был отвергнут самим Элиасом частично на основе свидетельств, частично из-за идеологии, предполагающей, что развитие всегда является движением к чему-то лучшему, движением к прогрессу.

* Один из племенных союзов Восточной Африки.

** Группа родственных народов, населяющих бассейн Верхнего и Среднего Нила.

то или иное определение) или просто обозначить существование подобных общих отличий, то никакой альтернативы систематическому сравнению не существует. В недавно вышедшей книге Померанц признает, что бóльшая часть классической социальной теории является европоцентристской, но утверждает, что

«альтернатива, предпочитаемая некоторыми современным учеными-“постмодернистами”, отказывающимися от сравнения культур и концентрирующимися почти исключительно на демонстрации последовательностей, особенностей и, возможно, на непостижимости исторических моментов, делает невозможным рассмотрение многих важнейших вопросов истории (и современной жизни). Гораздо предпочтительнее было бы противостоять предвзятым сравнениям, пытаясь заменить их лучшими»,

и рассматривать для этого обе стороны сравнения скорее как отклонения, чем какую-то одну из них — как норму¹¹. Данная цель должна оставаться важной для всех социальных наук, и именно к ней призывают нас труды Вебера и Элиаса.

Несмотря на проблемы, связанные с некоторыми аспектами этого подхода, Элиас имел определенное влияние на развитие социологического анализа, но всегда в европейском контексте. Одним из примеров является интересное исследование Меннелла, посвященное изменениям пищи в Англии и во Франции, являющееся историческим по содержанию, однако имеющее социологическую структуру. Одним из аспектов этой структуры и является «фигуративная социология» Норберта Элиаса, неотъемлемо присущая его подходу, но в действительности довольно нечеткая.

«Слово “фигурация” используется для обозначения паттернов, в соответствии с которыми люди объединяются в группы, сообщества, государства, — паттернов взаимозависимости, наполняющей каждую форму сотрудничества или конфликта и очень редко остающейся статичной и неизменной. Внутри развивающихся социальных форм модели индивидуального поведения, культурные предпочтения, идеи, социальная стратификация, политическая власть и экономическая организация тесно переплетены друг с другом, причем это “переплетение” имеет комплексный характер, также изменяющийся с течением времени, — и пути этих изменений необходимо прослежи-

¹¹ См.: *Pomeranz* (2000). P. 8.

вать. Цель состоит в том, чтобы предоставить “социогенное” объяснение тому, как меняются “фигурации” — от одного типа к другому...»¹²

Как и Меннелл, Элиас является автором интересных социологических исследований, касающихся Европы. Они включают в себя анализ событий на протяжении некоторого времени, а также анализ их преемственности и изменений, которыми Элиас оперирует, стремясь ввести понятие «фигурации». Но что такое входит в это понятие, чего не было бы в других многочисленных социологических и антропологических концепциях? Немногое. Более того, с трудами Элиаса связана проблема, заключающаяся в том, что фигуры, как и цивилизации, не имеют значительной основы для сравнения. Меннелл ссылается на предположение Элиаса¹³, что «одной из особенностей западного общества является сглаживание контрастов в культуре и поведении, а это было связано со смешиванием особенностей поведения, порожденных изначально очень разными социальными уровнями»¹⁴. Я очень сомневаюсь, что здесь говорится об уникальной черте Запада; так или иначе, никаких доказательств данного суждения не представлено¹⁵. К тому же ни в оригинальных работах Элиаса, ни в его комментариях, касающихся Ганы, нам не было предложено модели понимания различных типов человеческого общества, поведения или фигураций в целом. Но, если проводить научные исследования без такого понимания, его отсутствие будет весьма мешать анализу столь общего параметра, как «процесс цивилизации».

¹² *Mennell* (1985). P. 15–16.

¹³ См.: *Elias* (1994a [1939]). P. ii, 252–256.

¹⁴ *Mennell* (1985). P. 331.

¹⁵ Более продуманная критика Элиаса была представлена Хансом Петером Дюрром, на что Меннелл и Гудсблом (1977) дали быстрый ответ. С моей точки зрения, попытка показать Элиаса интересующимся, интеллектуально и эмпирически, Востоком и другими культурами, является в целом несостоятельной. Он, как я старался показать, начинал с веберовской точки зрения как во вступительных замечаниях к своей книге, так и в описании своего африканского опыта и никогда так и смог подняться над своим европоцентристским видением. В позднейших комментариях оба эти автора модифицировали идеи Элиаса; Меннелл — подчеркивая наличие дополнительного процесса деградации цивилизаций, Гудсблом — отодвигая «начало цивилизации» вспять не к XVI веку, времени «образования государств», или даже к бронзовому веку с его городами, но к тому далекому времени, когда человек начал пользоваться огнем, которое некоторые ученые считают периодом зарождения культуры как таковой. Первая модификация учитывает опыт нацизма, вторая — изучение Ганы и «первобытных народов». Обе эти модификации усиливают актуальность моей критики и находятся, как мне кажется, в стороне от сущности аргументов Элиаса.

С моей точки зрения, Элиас справедливо утверждает, что нам следует отличать идеологию социальных наук от попыток улучшить их фактографическую основу. Но проблема его исследований состоит именно в ограниченности самой фактографической основы — из его ранней монографии неясно, насколько идея «прогресса» неотъемлемо присуща его концепции цивилизации, централизации и усвоения различных ограничений, связанных с манерами. Сущность концепций «прогресса» и «процесса» у Элиаса и их отношение к более ранним концепциям эволюции и развития много раз обсуждались, однако в своей «главной» книге он определенно имеет дело с направленной трансформацией общества и индивидуальности с течением времени.

Элиас привлекает внимание к малочисленности работ, посвященных «структуре и элементам управления человеческими эмоциями», за исключением тех, что посвящены «более развитым обществам сегодняшнего дня». Он осознает необходимость получать подтверждения на примерах других обществ, но считает, что ему удалось решить этот вопрос как в отношении дифференциации на социально-политическом уровне («государственный контроль»), так и в связи с долгосрочными изменениями, происходящими на уровне индивидуального контроля эмоций, причем последнее, с его точки зрения, демонстрировало «форму приближения к порогу стыда и отвращения». Идея такого «приближения» имеет решающее значение. Хотя Элиас хотел бы заменить метафизически окрашенные социологические теории развития на более эмпирически обоснованную модель, он отрицает идею эволюции «в понимании XIX века», а также идею неопределенных «социальных изменений» XX века¹⁶. Для него социальное развитие предстает в одном из своих проявлений, а именно как процесс образования государства, длящийся несколько столетий, в сочетании с сопутствующим ему процессом развития цивилизации; все остальное кажется ему продуктом «первобытности». Он утверждает, что «закладывает основу недогматической, основанной на опыте теории социальных процессов в целом и социального развития в частности»¹⁷. Можно было бы ожидать, что обобщенная «первобытность» станет первой жертвой такого подхода. Однако, продолжает Элиас, социальные изменения (рассматриваемые как «структурные») должны расцениваться как движущиеся в сторону «большей или меньшей сложности» на протяжении многих поколений¹⁸. В силу

¹⁶ См.: *Elias* (1994a [1939]). P. 184.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ibidem*.

общего характера этой теории ее нелегко приложить к другим контекстам. В то же время Элиас ограничивает представление об образовании государства и цивилизации рамками современной Европы. В теоретическом отношении такой чисто европейский угол зрения является уязвимым, особенно учитывая тот факт, что другие немецкие ученые (например, антрополог Роберт Лоуи) рассматривали процесс образования государства в значительно более широком контексте.

Процесс цивилизации

Элиас начинает свою главную книгу со слов: «Основным предметом этого исследования являются способы поведения, считающиеся типичными для западного цивилизованного человека». Он утверждает, что в «средневеково-феодальный» период Европа не была цивилизованной. Запад «цивилизовался» позже. Как же изменились, с его точки зрения, поведение людей и их «эмоциональная жизнь» после Средних веков? Как понимать «физический процесс цивилизации»? Элиас заявляет, что изменения были особенно заметны в таких аспектах, как «чувства стыдливости и такта»; в этих сферах изменились требования и запреты общества. Сдвинулся порог социальных запретов, и проблема «страхов социального происхождения» возникла как одна из центральных проблем процесса цивилизации, характеризуемого усвоением новых социальных санкций. Элиас предполагает, что некоторые народы находились на более «детской» стадии развития, были менее «взрослыми», чем другие, и поэтому не достигли тех же стадий в данном процессе. Хотя он не провозглашает, что «наш цивилизованный способ поведения является наиболее развитым из всех возможных», тем не менее сама концепция цивилизованности «выражала самосознание Запада»¹⁹. С помощью этого термина западное общество, замечает он, стремится обозначить свое превосходство.

Элиас привлекает внимание к «идее, что люди стремятся к гармонии в отношениях друг с другом, показывают взаимное уважение, и поэтому отдельные индивиды не всегда могут давать волю своим эмоциям»; это представление возникло как во Франции, особенно в куртуазной литературе, так и в Англии²⁰. Считалось, что подобные

¹⁹ См.: *Elias* (1994a [1939]). P. 3.

²⁰ *Ibid.* P. 27.

идеи отсутствовали в феодальном обществе и возникли лишь в придворной среде абсолютистских монархий постсредневековой Европы; «сходные социальные ситуации, жизнь в *свете*, по всей Европе вели к сходным моделям восприятия и способам поведения». Другими словами, процесс цивилизации рассматривается как связанный с «модернизацией» Европы.

Частью этого процесса было изменение нравов, совпавшее с возвышением государства, начиная от эпохи Возрождения и до самого последнего времени; телесные функции становились все более и более скрываемыми, как на словах, так и на деле. Между пищей и ртом человека постепенно возникали дополнительные приспособления, а движения, жесты и позы стали более обдуманними и формальными. Свидетельства этому мы находим в различных руководствах, посвященных правильному поведению (которые, как считает Элиас, следует рассматривать более серьезно, чем современные «учебники этикета») или получаем из французских *manuels de savoir-fair**, а также из других письменных и визуальных источников. Как эти инструкции, так и основанное на них поведение имели под собой классовую основу и были рассчитаны на высшие слои общества или, по крайней мере, на то, чтобы научить средние слои тому, что было принято в высших. Такие учебники, как и множество кулинарных книг и других примеров стратифицированного поведения, были нацелены больше на буржуазию, чем на аристократию, то есть на тех, кто хотел добиться некоего статуса, а не на тех, кто уже имел его. В то же время они в целом отделяют «высших» от «низших», особенно в группах (или подгруппах), статус которых в обществе находился в процессе изменения.

Одна из проблем, связанных с книгой Элиаса, заключается в том, что, хотя некоторые элементы подобного поведения, например использование вилки — были явно новыми для Европы, важные аспекты этих поведенческих паттернов напоминают более ранние античные модели. Такие модели, очевидно, играли важную роль в Европе эпохи Возрождения, которое во многих аспектах было именно «возрождением», а не «рождением» чего-то нового (социогенезом)²¹. Как и многие другие грани европейской культуры, общества проходили процесс возвращения к цивилизации, не только воз-

* «Учебники сметливости» (фр.).

²¹ Элиас пишет о социогенезе концепций цивилизации, институтов (например, связанных с абсолютизмом), даже о законах социогенеза. Судя по всему, он считает, что их происхождение имеет социальные корни.

рождая, но и создавая то, что часто было утрачено в период упадка Рима. Различия между высшими и низшими социальными слоями, разумеется, не исчезли в Средние века и существовали до периода, когда стала активно развиваться рыцарская культура и «куртуазность». Тем не менее в течение длительного периода средневековый Запад придавал мало значения буржуазной культуре, культуре городов («цивилизации»), существовавшей в классическом мире. Даже среди знати некоторые представления о поведении были утрачены.

Элиас пытается исследовать социальную жизнь Европы после Средневековья. Хотя его интересуют социально-политические изменения, пришедшие на смену феодализму, тем не менее значительные социально-экономические перемены, связанные с «капитализмом» или индустриализацией, не занимают центрального места в его исследовании, в отличие, например, от Маркса или Вебера. Работы Маркса Элиас отвергает из-за авторской идентификации индустриальной эпохи с рабочим классом и его веры в прогресс человечества, тогда как веберовский исторический метод выделения «идеальных типов» противоречит позиции Элиаса, предпочитавшего рассмотрение конкретного процесса абстрагированию, разграничению, разделению. Интересы Элиаса побудили его обратиться к европейскому Средневековью, а не к более поздней «цивилизации»; его мало заботит, что происходило раньше или в других местах. Ни цивилизация Античности, ни восточные цивилизации не входят в сферу его интересов.

Такая позиция трактуется как утверждение однолинейного развития, начавшегося в Европе в эпоху Возрождения. Вследствие игнорирования наличия цивилизационных процессов в более ранних и любых других культурах оно воспринимается лишь как аспект модернизации, часть всестороннего процесса, включавшего социально-экономические изменения, обозначавшие зарождение капитализма (в понимании Вебера или Маркса), и как развитие систем знания; такого рода различиям Элиас уделяет мало внимания. Другой проблемой его подхода является то, что этикетные и другие ограничения, представленные в изученных им руководствах, характерны для всех основных систем стратификации общества. Под «основными» я подразумеваю системы, связанные с цивилизациями, возникшими после бронзового века и распространившимися от Восточной Азии до Западной Европы и даже за пределы этих частей света — в некоторые регионы Африки и Океании, поскольку исламские проповедники распространяли новые формы поведенческих ограничений, включая определенные стандарты чистоты, на многие иные

культуры. Аналогичные события происходили и в Китае, когда образовательные институты стали распространять конфуцианские ритуалы, поведенческие и идеологические стереотипы по всей огромной территории страны. Возможно, и вне данного круга, в более «культурно эгалитарных», но тем не менее стратифицированных государствах Африки, специфическое поведение такого рода было признаком не столько отдельных групп («классов»), сколько скорее носителей определенных полномочий, например вождей; и это еще один пример ограничений, рассматриваемых Элиасом, но не связанных с иерархиями, присущими стратифицированным обществам Евразии. Такое предположение указывает на слабость специфического подхода Элиаса к вопросам развития; разумеется, не всех подходов к этому вопросу, но лишь тех из них, которые используют в качестве базовой модели относительно краткосрочные процессы в Европе и рассматривают возникновение поведенческих моделей, определяемых классовой принадлежностью (в конкретных культурных ситуациях), как уникальное событие, а не продолжающийся процесс.

Сосредоточение внимания на Европе и нелюбовь к абстракциям отличают Элиаса и от французского социолога Дюркгейма²². Маркс и Вебер совершенно точно включали в сферу своих исследований материалы, касающиеся Азии, считая их необходимыми для понимания развития капитализма в Европе. Они сравнительно мало знали о «других (более простых) культурах» в более общем смысле, но Дюркгейм знал о них много больше и изучал человеческое развитие на более широкой основе. Хотя Элиас часто говорит о разделении труда, он забывает упомянуть значительную сравнительную работу, проделанную этим известным французским социологом, концентрируясь лишь на событиях раннего Нового времени, причем наблюдая его в достаточно узкой перспективе. Если бы Элиас сделал это, учитывая свой значительный интерес к психологии, то смог бы уделить больше внимания усвоенным аспектам разделения труда, которые принял в расчет Дюркгейм, рассматривая «органические» и «механические» варианты объединений, где под первыми подразумевались отношения в простых, недифференцированных обществах, а под вторыми — модели объединения, связывающие группы и индивидов в сложных обществах. Дюркгейм рассматривал эти формы разделения труда в рамках категории «моральной плотности» — концепции, принятой также антропологами, например Эванс-Притчардом. Интерес Элиаса к социальным

²² См.: *Elias* (1994a [1939]). P. 3.

причинам зарождения явлений сочетался с параллельным интересом к психогенезу²³, поскольку он справедливо считает внутреннее и внешнее, а также социальное и индивидуальное в значительной степени двумя сторонами одного целого.

Несмотря то что культурный анализ Элиаса не предусматривал значительного погружения в глубины истории, мы должны серьезно отнестись к тому, что он постоянно делает акцент на социогенезе, интересуясь возникновением институтов, которые антропологи, занимавшиеся в XX веке дописанными культурами, считали не представляющими значительной ценности. Однако исторические изыскания поставили Элиаса перед этой проблемой. Психологические аспекты неизбежно предполагают большие проблемы для изучения (такова в этом случае сама природа используемых источников), однако возникновение институтов (при условии наличия соответствующей исторической, сравнительной и даже теоретической базы) представляет собой вполне заслуживающее внимания поле для исследований.

Это приводит нас к центральной теме Элиаса, а именно к социогенезу абсолютизма²⁴, который, в свою очередь, он воспринимает (подобно Андерсону в его труде «Происхождение абсолютистского государства»²⁵) как занимающий «ключевую позицию во всеобъемлющем цивилизационном процессе»; это весьма напоминает представления о деспотизме, о которых мы говорили в главе 4. Процесс формирования абсолютизма связан с «возрастанием ограничений и зависимостей», что отсылает нас к рассуждениям Канта по поводу того, что цивилизованный человек «перегружен» «социальной пристойностью», понятие которой, как мы видим, является центральным в его работе. Социогенез и социальное развитие всегда идут рука об руку с «психогенезом», а социальные ограничения абсолютизма — с контролем «Сверх-Я». Обращение Элиаса к концепциям Фрейда указывает на тот факт, что его взгляды на социальный прогресс были близки точке зрения автора книги «Цивилизация и недовольные ею»²⁶, *.

²³ См., например: Elias (1994a [1939]). P. 269.

²⁴ Ibidem.

²⁵ См.: Anderson (1974b).

²⁶ См.: Elias (1994a [1939]). P. 249. Хотя в изначальной версии не было никаких ссылок на Фрейда, их отсутствие было впоследствии исправлено подстрочным примечанием, где долг Элиаса перед Фрейдом полностью признается.

* Фрейд оперирует понятием культуры, а не цивилизации; работа его называется «Unbehagen der Kultur» — «Недовольство [томление] культурой».

Общая совокупность идей, из которой черпали Элиас и Фрейд, показана в книге Фрейда «Будущее одной иллюзии»²⁷ и описана ее английским переводчиком и издателем Джеймсом Стрейчи как вызывающая «безнадёжный антагонизм между требованиями инстинкта и ограничениями цивилизации»²⁸. «Цивилизация — это бремя, накладываемое на сопротивляющееся большинство меньшинством, понимающим, как добиться власти и богатства»²⁹, и это происходит, по определению, в условиях абсолютизма, а не демократической системы, как требовала позднейшая идеология. Согласно Фрейду, «масса ленива и несознательна»³⁰, и ее приходится контролировать с помощью принуждения, по крайней мере до тех пор, пока образование не позволит ей усвоить принципы контроля и она прекратит ненавидеть цивилизацию и признаёт ее выгоды, включая подавление инстинктов.

Такое восприятие цивилизации очень сходно с позицией Элиаса; с его точки зрения, выгодами цивилизации являются признание красоты, чистоты и порядка; в этом процессе значительную роль сыграли бани, а использование мыла стало «критерием цивилизованности»³¹. Этот пассаж, судя по всему, предлагает программу развития тезиса Элиаса о развитии цивилизации в Европе. Более того, акцент сдвигается с материального на ментальный аспект. Согласно Фрейду, чувство вины является «наиболее важной проблемой в развитии цивилизации»; «цена, которую мы платим за достижения цивилизации, — потеря счастья из-за роста чувства вины»³². В известном письме Эйнштейну под названием «Почему война?»³³ он заявляет:

«Сопровождающие процесс цивилизации изменения *психики* [естественный процесс]... заключаются в прогрессирующем смещении инстинктивных целей и ограничении инстинктивных импульсов»³⁴.

Генеральная линия этого утверждения — видение цивилизации как носителя ограничения, подавления и контроля над инстинктивной

²⁷ См.: *Freud* (1961 [1927]).

²⁸ *Strachey* (1961). P. 60.

²⁹ *Ibid.* P. 6.

³⁰ *Freud* (1961 [1927]). P. 9.

³¹ См.: *Elias* (1974 [1939]). P. 93.

³² *Freud* (1927). P. 134.

³³ См.: *Freud* (1964 [1933]).

³⁴ *Ibid.* P. 214.

(животной) природой человека, а также роли власти (абсолютизма в образе отца) в данном процессе, — все эти темы очень сходны у двух авторов, что помогает объяснить отношение Элиаса к тому, что он назвал «первобытностью», приехав в Гану и столкнувшись с местным населением. Развитие государства напрямую связано у него с контролем над чувствами и поведением людей. Рассматривая это предположение, мы должны заметить, что оно неуникально. Идея государственного контроля над внутренним поведением граждан имеет параллели повсюду, например в Японии. В самом деле, по-видимому, подобные утверждения являются частью оправдания (постфактум) самого существования государства. В комментариях к великому японскому роману XI века «Повесть о Гэндзи» критик Базан пишет: «Человеческой природе присуще самовыражение с помощью чувств; опора на ритуал и справедливость была благотельным наследием прежних царей»³⁵. Иными словами, условия, признанные способствующими возникновению цивилизации в эпоху абсолютизма, не отличаются от признаков так называемых азиатских деспотий. Следовательно, в роли государства в данном случае нет ничего специфически европейского. Но в любом случае было бы теоретической ошибкой расценивать действия государства как единственный метод контроля над поведением людей и создания его «законов», за исключением чисто терминологической точки зрения. В более простых обществах взаимодействие очень широко распространено на социальном уровне, однако при этом нет никакой необходимости в санкциях государства.

Считается, что эти санкции влияют на манеры и нравы, подобно тому как манеры связаны с внутренними изменениями. Элиас обращает особое внимание на аспекты ежедневного поведения, например на рост использования столовых приборов (особенно вилки), носовых платков и т.д. В этот период увеличение потребления, связанное с возросшей рыночной активностью, было связано в западных культурах со значительными изменениями, включавшими усовершенствование застольных манер и гардероба. Но мы должны задаться вопросом: достаточно ли в такого рода исследовании просто рассмотреть некоторое количество культурных факторов, игнорируя прочие, которые можно истолковать в противоположном смысле? Необходимо принимать во внимание не только изменение манер, но и рост насилия и войн, включая обстоятельства, побудившие самого Элиаса покинуть родную Германию, а также снижение поведенческих ограничений в сфере секса, нарушения прав собственно-

³⁵ Цит. по: McMullen (1999).

сти и другие формы преступных действий, с которыми мы сталкиваемся в современной жизни.

Относительно насилия Элиас утверждает, что «мы ясно видим, как рост принуждения, напрямую связанный с угрозами оружием и физической силой, постепенно уменьшается и как постепенно растут формы зависимости, ведущие к регулированию аффектов в форме самоконтроля»³⁶. Это предположение выглядит достаточно сомнительным, по крайней мере на уровне социума, если принять во внимание использование оружия и связанные с ним угрозы в XX веке; мы ежедневно сталкиваемся с этим на телеэкранах и на улицах. Тем не менее Элиас считает, что эти факты вписываются в его общую концепцию относительно роста самоконтроля у людей. Как мы видели, этот тезис отчасти основан на противопоставлении цивилизованности первобытности, предположительно принятым в ней свободным проявлениям чувств, а также на представлении о смещении вектора с (внешнего) стыда на (внутреннюю) вину согласно фрейдистским и другим подобным представлениям об инстинктивных побуждениях и импульсах, постепенно оказывающихся под контролем общества. Вот почему социогенез, о котором говорит Элиас применительно к абсолютизму, по-видимому, связан со стыдом, а психогенез (на уровне Сверх-Я) — с виной.

Существуют и другие проблемы, связанные с тезисом Элиаса. *Во-первых*, любая социальная жизнь повсеместно включает в себя необходимость оказывать уважение другим людям и принимать во внимание мнения некоторых из них, а также определенные ограничения поведения и проявлений эмоций, в том числе взаимных. Его позиция может быть верной применительно к развитию застольных манер в Европе, но имеет мало отношения к общим представлениями о развитии уважения к окружающим, хотя Элиас предполагает именно это³⁷. Между тем внимание к окружающим мы можем обнаружить в любой культуре. Вместе с тем, как мы видели ранее, в некоторых отношениях отсутствие внимания к окружающим шло рука об руку с развитием застольных манер; нынешний уровень насилия в семьях и на улицах не мираж, и поэтому сложно примирить либеральный подход Элиаса (несмотря на его утверждение об отказе от него) с тем фактом, что в то время, когда он писал

³⁶ *Elias* (1994a [1939]). P. 153.

³⁷ Комментарии по поводу данного аспекта его работы см.: *Le Roy Ladurie E. // Figaro*. 20 January 1997; *Saint-Simon* (Paris, 1997), *Gordon* (1994), а также доводы в их защиту у *Chartier* (2003).

свои книги, нацисты уничтожали евреев по всей Европе, щелкая каблуками и пользуясь носовыми платками самым «приличным» образом. Книга о цивилизованном поведении требует адекватного рассмотрения таких противоречий.

Во-вторых, главная проблема анализа цивилизации Элиасом заключается в том, что он является полностью европоцентристским и даже не затрагивает аналогичных процессов в других культурных средах. Оставим в стороне древние общества бронзового века, применительно к которым часто используется термин «цивилизация», и рассмотрим более близкие по времени восточные культуры. Фернандес-Арместо, занимающийся сравнительной историей, пишет об утонченности дворцовой культуры Японии периода Хэйан, представленной в романе Мурасаки Сикибу «Повесть о Гэндзи», который я упоминал выше. «В это время в христианском мире произвол аристократии приходилось ограничивать или хотя бы направлять с помощью церкви. Благородные “бандиты” лишь постепенно, медленно и с перерывами “цивилизовались” благодаря культу рыцарства, который всегда предусматривал не только обучение определенным ценностям (учтивости), но и в той же степени — воинское обучение. С этой точки зрения существование на другом краю света культуры с такой утонченностью чувств и такой степенью развития различных видов искусства, которым вдруг неожиданно стала предаваться светская элита, было поразительным»³⁸. Пользуясь концепцией, сходной с элиасовской, Фернандес-Арместо утверждает, что Япония демонстрировала «пример коллективного самоограничения», рассматривая эту категорию как ключевую³⁹. И это не единственный момент сходства. Далее он добавляет, что, «если рассмотреть некоторые другие придворные культуры XI века, ценности эпохи Хэйан будут выглядеть далеко не такими странными, какими кажутся по стандартам христианского мира». Например, аль-Мутамид, правитель Севильи, разделял с японскими владыками «общие ценности: любовь к садоводству, поэтический талант, а также гомоэротические склонности». Разница между ними была меньшей, нежели часто предполагают европейцы.

Элиас определенно мог допустить, что процесс цивилизации происходил также и в Китае (хотя эта страна упоминается в его объемном исследовании всего четыре раза, причем два из них — в позднейших заметках), но интересующая его проблематика и характер аргу-

³⁸ *Fernandes-Armesto* (1995). P. 20.

³⁹ *Ibid.* P. 22.

ментации оставляют мало места (если вообще оставляют) для включения других «цивилизаций», не говоря уж о «других культурах», являясь полностью европоцентристскими. Такая ситуация возникает отчасти из-за его отношения к «общим правилам» в повседневном поведении, которые обнаруживаются при систематическом сопоставлении, поскольку он видит ценность этих правил *«единственно»* в том, что они проливают свет на исторические изменения⁴⁰. Но как структуры, так и изменения являются необходимыми аспектами изучения общества. Можно понять, почему Элиас так сильно настроен против позиции американского социолога Толкотта Парсонса и представляемой им традиции обобщенного сравнения, включающей сильный акцент на «синхронном» анализе. Сам Элиас полностью избегает сколько-нибудь широкого сравнения с другими культурами, за исключением стандартизированной первобытности.

Мои наблюдения над современным обществом приводят к выводам, что нечто, часто воспринимаемое как цивилизационный процесс с точки зрения манер или правил вежливости, не является однозначным улучшением и выглядит, по меньшей мере, двусмысленно. Мы гордимся изменениями в нашем обращении с детьми (как об этом пишет в своих работах Арьес), животными, женщинами, военнопленными и т.д. Для этого действительно есть некоторые основания, но можно ли утверждать, что подобные модели поведения вполне усвоены нами, как предполагает Элиас, воспринявший обобщающую фрейдовскую концепцию? Почему тогда наши дети оказываются под угрозой растления, в основном внутри собственных семей, но также и из-за действий педофилов со стороны? Почему так много семей распадается? Почему становятся возможными Гуантанамо, Абу-Грейб, нарушения Женевской конвенции?

На технологическом уровне цивилизационные преимущества, несомненно, принадлежат городским культурам. Они стали более сложными. Одновременно произошел переход от «культур роскоши» к «культурам массового потребления», для которых характерно частичное распространение манер высших классов на все остальные группы. В некоторых отношениях манеры «высших» всегда связаны с большими ограничениями, чем у «низших». Но ограничения такого рода не обязательно означают усвоение более ранних форм внешнего поведения. Хотя данная точка зрения является общепринятой на Западе — как в «народном» восприятии, так и в социальной теории Фрейда, — в действительности существует весьма мало свидетельств,

⁴⁰ Elias (1939). P. 534 (курсив автора).

доказывающих, что наше поведение имеет больше внутренних ограничений, чем поведение представителей других культур. Во всех культурах поведение людей определяется тем, что идет как изнутри, так и извне; представление о том, что одни культуры являются культурами вины с внутренними ограничениями (мы), а другие — культурами стыда с внешними ограничениями (они), кажутся довольно эгоцентричными и не выдерживают критики. Широко распространено европоцентристское представление о том, что другие народы имеют меньше поведенческих ограничений, чем мы, — примером этому может служить Калибан в «Буре» Шекспира. Такое представление, опирающееся на слишком небольшое число свидетельств, могущих считаться таковыми, в свою очередь, стало предпосылкой множества теорий, связанных с другими аспектами социальной жизни, что началось задолго до Элиаса. Например, Мальтус, известный историк, занимавшийся демографическими проблемами в XIX веке, относил поздние браки к «европейской брачной модели», считая ее примером самоограничения и способности контролировать популяцию; такое мнение применительно к Китаю было решительно опровергнуто Ли и Вонгом⁴¹.

«Что придает процессу цивилизации на Западе особенный, уникальный характер, — пишет Элиас, — так это то, что разделение функций здесь достигло такого уровня, монополии набрались такой силы, налогообложение — прочности, а взаимозависимость и конкуренция таких масштабов (причем как с точки зрения физического распространения, так и количества людей, охваченных этими процессами), которые не имели аналогов в мировой истории»⁴². Можно ли это действительно сказать о XVI столетии? В любом случае Элиас не изучал историю какой-либо другой части света на сей счет, а если бы сделал это, учитывая его изначальный вопрос о манерах после эпохи Возрождения, то мог бы расстаться со своей идеей о европейской «уникальности», как это сделал Вебер. Так, разумеется, неизбежно и случилось бы. Но его вывод заключается в том, что эта уникальность относится к факторам, ведущим к процессу цивилизации (или к капитализму). В своей недавней книге Померанц эффективно разбирает эти допущения⁴³ в манере, которая представляется вполне корректной⁴⁴.

⁴¹ См.: *Lee and Wang* (1999).

⁴² *Elias* (1994a [1939]). P. 457.

⁴³ См.: *Pomeranz* (2000).

⁴⁴ См.: *Goody* (1996, 2004).

В западном обществе, утверждает Элиас, развилась «структура взаимной зависимости», объединяющая не только океаны, но и пахотные регионы планеты (по мере расширения европейской экспансии), создавая необходимость во «взаимном согласовании поведения людей на все более обширных территориях». «Этому также соответствовали значительный самоконтроль, постоянное принуждение, подавление аффектов и контроль побуждений, присущий жизни в центрах такой структуры»⁴⁵. Разработав теорию связи между территориальной экспансией (то есть европейским колониализмом) и психологической взаимозависимостью, побуждающей к постоянному самоконтролю (более сложно организованное Сверх-Я), Элиас считает, что последняя, в свою очередь, связана с пунктуальностью, развитием техник измерения и восприятия времени, а также с развитием денежных систем и «других инструментов социальной интеграции». Развитие такого рода включает «необходимость подчинять мгновенные побуждения более отдаленным целям»⁴⁶, которой должны подчиняться все, начиная с высших и средних классов. Все это касается «западного развития» и «западных обществ», с их «высоким уровнем разделения труда»⁴⁷. Заметим, «высоким», а не «более сложным». В таких обществах, разумеется, в значительно большей степени присутствует планирование и, следовательно, отложенные вознаграждения, что необходимо требует подсчета времени. Но эти факторы предполагают внешний контроль в той же, если не в большей степени, чем внутренний, который Элиас считает доминирующим для данного типа общества. И мы не должны терять из виду тот факт, что помимо «взаимного согласования» образование государства ведет к применению насилия — как внутри государственных границ, так и за их пределами, — к колониализму и угнетению в той же степени, как и к *pax Britannica*.

Во вступлении, добавленном Элиасом к изданию 1968 года, он стремится продемонстрировать свои теоретические и методологические интересы⁴⁸. Мы должны смотреть на работу Элиаса в более широком контексте социальной теории и анализа, где самым очевидным было бы сравнение с Максом Вебером. Последний значительно повлиял на развитие сравнительного подхода в социологии. Однако, *во-первых*, ценность его видения временами была достаточно ограни-

⁴⁵ Elias (1994a [1939]). P. 457.

⁴⁶ Ibid. P. 438.

⁴⁷ Ibid. P. 459.

⁴⁸ Ibid. P. 190.

ченной, поскольку понятие единственной категории традиционной власти налагало слишком много ограничений и не соответствовало истинному положению вещей. Категория «традиционного» была воспринята Вебером и в том же виде усвоена Элиасом. *Во-вторых*, будучи исключительно осведомленным обо всех основных цивилизациях Евразии, Вебер, в отличие от Дюркгейма, фактически, ничего не знал об обществах, не имеющих письменности, и достаточно мало — о «крестьянских» обществах. Сколько-нибудь значительное расширение сферы интересов было чрезвычайно ограничено немецкой социологической традицией, из которой и вышел Элиас. Более стимулирующей была проблематика Вебера и способ, с помощью которого он стремился проверять свои предположения в различных культурах. Но, рассматривая ситуацию в основных обществах Евразии, он делает это с позиции Европы XIX века, не придавая сколько-нибудь большого значения ни достижениям других культур, ни их точкам зрения. Он начинает с Европы — и ею же заканчивает. Другими словами, его оригинальный тезис характеризуется подходом, сходным с теми, которые рассматривал Блаут в своей работе «Восемь историков-европоцентристов»⁴⁹. Элиас мог бы попасть в этом списке на девятое место (хотя существовало и множество других кандидатов) из-за утверждений о достижениях Европы в цивилизационном процессе (особенно применительно к усвоению внутренних ограничений) без какого бы то ни было исследования неевропейских материалов⁵⁰.

Как я говорил ранее, главная работа Элиаса полностью сконцентрирована на Европе и развитии процесса цивилизации после эпохи Возрождения. Он считает, что этот процесс проявляется в росте самоограничений и во внутреннем контроле аффектов, которые он явно противопоставляет тому, что происходило в Средневековье (например, бытовавшему тогда бесконтрольному пьянству) и продолжает происходить в более простых сообществах, характеризующихся «первобытностью», — например, в Гане, — с их жертвоприношениями, ритуалами, скудной одеждой, но большей открытостью. У Вебера, как и у Элиаса, акцент сменился, вернувшись к историческому сравнению, хотя разговоры о первобытности и возможности существования некоего идеального типа традиционного общества могли опасно приблизиться к более широким допущениям антропологов

⁴⁹ См.: *Blaut* (2000).

⁵⁰ Как многие авторы, с течением времени он вносил в свои труды изменения. Я сейчас говорю о первоначальном варианте этой работы.

XIX века, против чьих процедур и результатов «полевые» антропологи межвоенного периода, с их «статичными» наблюдениями, боролись столь активно и целенаправленно.

Элиас не рассматривает каждое событие с точки зрения линейного развития. После Первой мировой войны, полагает он, наблюдался «упадок морали»⁵¹, но это был «очень короткий период регресса», не повлиявший, как он считает, на общую тенденцию. «Основное направление развития... одно и то же для всех видов поведения»⁵². Инстинкты медленно и постепенно подавляются. Эта точка зрения является на Западе общепринятой, но найти для нее эмпирическое подкрепление не так легко. Например, более откровенные купальные костюмы (и женские спортивные костюмы) выдаются за подтверждение «высочайших стандартов контроля побуждений». Почему этот вывод относится именно к нашей культуре, а не к еще более скудным одеяниям «примитивных» обществ? В самом деле, если взглянуть на проблему возрастающих ограничений под другим углом, идея общего прогресса исчезает, хотя с течением времени тенденции к более строгому контролю или, напротив, к его ослаблению могут сменять друг друга.

Позже, ближе к концу жизни, Элиас обратился к изучению наиболее драматических политических событий недавнего прошлого — периода возникновения и подъема нацизма (или, используя более широкий термин, фашизма), который, как некоторые считают, возник бы все равно — вне зависимости от общих изменений в человеческом обществе. Теперь он рассматривает нацистский период как иллюстрацию процесса «децивилизации», «регресса», но такой подход оставляет без внимания главный момент. Фашистская идеология и деятельность фашистов, как и мировые войны, совершенно точно явились неотъемлемой частью развития современного общества, которое привело его к теперешнему состоянию, а никак не «регрессом» или социальным эквивалентом описанного Фрейдом психологического процесса.

Концепция регресса, судя по всему, сродни проблеме филогенеза и онтогенеза. Мало сомнений вызывает тот факт, что в большинстве контекстов Элиас сравнивает детство народов с детством человека, то есть филогенетическое понятие — с онтогенетическим (хотя дети в своем развитии не проходят всех фаз процесса цивилизации); «первобытный» или примитивный народ, с его точки зрения, нуждался

⁵¹ См.: *Elias* (1994a [1939]). P. 153.

⁵² Ibid. P. 154.

в контроле своих эмоций и поведения, как и дети, нуждающиеся в некоторой дисциплине (причем в обоих случаях значительную роль играет страх). Такое представление сегодня считается полностью неверным. Как часто указывалось, примитивные народы самостоятельно прошли долгий процесс социализации и изменения естественного поведения, и считать такие общества лишенными механизмов контроля абсолютно неприемлемо. В «ацефальных» сообществах, лишенных развитых властных структур, эти ограничения, возможно, являются более «внутренними» и совершенно точно взаимными — что, разумеется, может обретать и формы «негативной взаимности» в виде мести или кровной вражды. Это Элиас понял позже, изучив исследования Фортса, касающиеся Ганы и характеризующиеся психологическим и даже психоаналитическим подходом, которым Элиас пренебрегал.

Согласно Элиасу, изменения в структуре аффектов связаны с изменениями в структуре социума, особенно с переходом от «свободной конкуренции» феодального общества к монополизации власти абсолютной монархией и формированию придворного сообщества. В дифференцированной культуре этот возросший централизованный контроль рассматривается как предоставление больших «свобод» ее отдельным представителям, обеспечивая переход от внешних ограничений к внутренним, хотя логическая основа для такой трансформации кажется спорной. Шаткая же основа этих «свобод» добавляет к существующим сомнениям новые.

Однако процесс, который мы называем образованием государства, его социогенез, анализировался исключительно с точки зрения Западной Европы, где, как считает Элиас, и происходил процесс цивилизации. Он действительно полагал, что ни одно из обществ, сложившихся в Африке, не имело государственности, хотя сам жил недалеко от древнего королевства Ашанти. Такой подход противоречит позиции Вебера, который, исследуя социогенез капитализма (и усвоение внутренних запретов протестантизма, имеющих религиозную основу), уделял значительное внимание причинам, по которым африканские общества не вступили в стадию капитализма и не могли этого сделать. Тем не менее затронутые вопросы тесно связаны друг с другом.

В цивилизационном процессе нет необходимости учитывать «первобытные народы», но отсутствие у Элиаса какого бы то ни было внимания к другим городским обществам и культурам является неприемлемым, особенно потому, что такое внимание могло бы привести его к определенным сомнениям по поводу особенной

«социально-личностной структуры» Запада. Вопрос, которым он задается, состоит в том, ведут ли долгосрочные изменения в социальных системах «к более высокому уровню социальной дифференциации и интеграции»⁵³ с параллельными изменениями в структурах личности. Долгосрочные изменения побуждений и структур контроля представляют собой интересную проблему, которая никогда широко не обсуждалась ни с исторической, ни со сравнительной точки зрения, особенно в категориях аффектов и эмоций. Однако социальный контроль всегда вызывал значительный интерес, включая внутренние санкции, факторы стыда и вины, а также отношение сегментарных (нецентрализованных) политических систем к моральным и правовым общностям, — вопрос, поднятый Дюркгеймом (и только существенно позже — в германской традиции с ее непомерной концентрацией внимания на государстве). Сравнение и исследование истории «аффектов» связаны с серьезными проблемами относительно источников и документов, по крайней мере в условиях отсутствия письменных источников. В самом деле, вызывает некоторые сомнения, будто при изучении «ментальностей» необходимо полагаться лишь на текст, и большинство антропологов, недовольных термином Леви-Брюля «примитивная ментальность», склонились к тому, чтобы последовать за Г.Е.Р. Ллойдом, критиковавшим данный подход. Это не означает отрицания возможности долгосрочных изменений (возможно — направленных) на уровне аффектов, даже если антропологи чаще придерживались по таким вопросам релятивистских или иногда универалистских позиций («единства человечества»), выказывая скептицизм по поводу утверждений, что «изобретение любви» произошло во Франции XII века или в Англии XVIII века, свидетельства в пользу которых содержатся исключительно в письменных источниках.

Как мы видели, то, что Элиас не рассматривал серьезно другие культуры, привело его к самым разным проблемам. *Во-первых*, заданная им последовательность ставит в привилегированное положение Западную Европу и присущее ей развитие общества — от феодального к придворному (в XVI–XVII веках), а затем к буржуазному. *Во-вторых*, его видение полностью пренебрегает социальными ограничениями, совершенно точно существующими в более примитивно устроенных обществах и связанными с сексом, насилием и другими формами межличностного взаимодействия. Тот факт, что «первобытные люди» могут ограничиваться весьма скудной

⁵³ Elias (1994a [1939]). P. 182.

одеждой, не означает, что им не присущи сильные внутренние чувства стыда и смущения. *В-третьих*, альтернативная гипотеза состоит в том, чтобы не придавать слишком большого значения (как, мне кажется, Элиас иногда делает) материальной культуре как показателю психологического состояния; материальная культура включает развитие и «прогресс», что вряд ли можно сказать о психологических состояниях.

Проблематичным в анализе Элиаса остается не установление взаимосвязей между человеческими индивидуумами, образующими более широкие категории (общество, культура, фигурация), и не связь индивидуального и *социального* (как отличного от общества) — эти вопросы были более внимательно рассмотрены Дюркгеймом и затем изучены Парсонсом в работе «О структуре социального действия»⁵⁴, исследовании, которое Элиас не до конца учитывал. Наиболее серьезная проблема лежит в природе связи между социальной и личностной структурами. Основа этой проблемы состоит в том, чтобы понять, насколько стадии развития ментальности соответствуют стадиям социального развития. Никто не сможет отрицать, что определенная связь между ними есть, но представить их очень тесно связанными было бы слишком просто. Элиас считает, что западный мир проходит серию таких взаимосвязанных стадий. Он пишет о возникновении понимания связи между «внутренним человеком» и «внешним миром», обнаруживаемой в текстах всех групп, «чья способность к рефлексии и самосознание достигли стадии, на которой люди не только думают, но и осознают себя и считают себя мыслящими существами»⁵⁵. Но что представляет собой эта стадия, обозначаемая так неясно? По-видимому, здесь подразумевается существование некой более примитивной ментальности, исключающей возможность самосознания и не дающей шанса найти конкретные социальные факторы, ведущие к предполагаемому прорыву, — такие, как возможности написанного текста, способствующие рефлексии указанного рода (как и роль индивидуумов, социальных групп и институтов, развивавших ее, включая «философов», других интеллектуалов, а также школы). Можем ли мы, собственно, говорить о «стадии развития фигураций, формируемых людьми, и о людях, формирующих эти фигурации»?⁵⁶ Это снова переносит проблему на слишком общий, несоциологический и не-

⁵⁴ См.: *Parsons* (1937).

⁵⁵ *Elias* (1994a [1939]). P. 207.

⁵⁶ *Ibid.* P. 20.

исторический уровень. Элиас использует такой подход, когда видит отклонение от геоцентрического видения мира в результате «возросшей склонности людей к меньшей мысленной концентрации на самих себе»⁵⁷; это отдельное следствие процесса цивилизации ведет к «большему самоконтролю людей». Многие историки науки могли бы объяснить данную связь иначе и предложить трактовки, не требующие понятия автономного цивилизационного процесса, влекущего за собой больший «контроль аффектов» и меньшую концентрированность на себе. Действительно, пытаясь проследить происхождение гипотезы Элиаса, трудно принять концепцию столь абстрактной главной движущей силы, являющейся не просто описательной, но казуальной — «цивилизационный рывок... происходящий внутри самого человека»⁵⁸, — и лстящей, насколько это возможно, нашим собственным Я.

Даже если допустить, что эти направленные изменения в поведении связаны с централизацией в Европе, зачем, имея дело с «цивилизациями» (а как мы видели, Элиас именно этим и занимался), пренебрегать тем, что происходило в других обществах, например в Китае? Там тоже происходило развитие манер; во время приема пищи использовались дополнительные приспособления в виде палочек для еды; существовали сложные приветственные ритуалы и требования к чистоте тела; ограничения, присущие придворной культуре, резко контрастировали с крестьянской простотой — примером тому может служить чайная церемония. Все это, представляя собой параллели с Европой эпохи Возрождения, должно было привлечь внимание Элиаса и привести скорее к географическому (кросскультурному) анализу, чем к тому, чтобы ограничиваться Европой, — особенно учитывая более широкий психологический тезис, который Элиас пытался обосновать. Исследователь имеет право ограничиваться Европой, но не в том случае, когда он стремится делать более широкие выводы. Но Элиас совершает именно это, по-веберовски считая происходящее здесь, в Европе, единственным путем к модернизации.

Прежде всего я хочу сказать, что цивилизованные манеры не были впервые изобретены в Западной Европе, если оставить в стороне простые манеры *tout court**. Ни одно общество не обходится без выработки застольных правил и формализации поведения

⁵⁷ Ibid. P. 208.

⁵⁸ Ibid. P. 209.

* Вот и всё; только; просто (*фр.*).

за едой, а также без попыток отделить телесные функции от социальных контактов. Аналогично в большинстве стратифицированных обществ поведение высших групп более формализовано, чем низших. Я говорю «в большинстве», потому что в Африке, даже в системах, предполагающих наличие государства, эти поведенческие различия относительно невелики — отчасти из-за специфики местной экономики, отчасти в связи со сходными моделями брака и с обретением высокого статуса. В системах, часто называемых «примитивными государствами», иерархическая дифференциация поведения, а также манер и культуры в целом незначительна. Однако крупнейшие государства Европы и Азии были весьма стратифицированными не только политически, но и культурно; все они прошли через «городскую революцию» и все, что ее сопровождало.

Рассматривая манеры, мы не должны, однако, игнорировать тот факт, что Запад в XV–XVII веках перенес «значительный регресс»⁵⁹ в том, что касалось мытья и отношения к чистоте тела в целом. Бани, «изобретенные в Риме» (сомнительное утверждение), существовали по всей средневековой Европе (как общественные, так и частные), и представители обоих полов мылись в них вместе обнаженными. Мытье даже входило в круг обязанностей феодала⁶⁰. Однако после XVI века, которым Элиас и датирует начало процесса цивилизации, мыться в Европе стали реже, отчасти из-за страха перед возможными заболеваниями, отчасти вследствие усилий католических и кальвинистских проповедников, которые «негодовали по поводу безнравственности и постыдности бань»⁶¹. В 1800 году в Лондоне не было ни одного банного заведения. О состоянии дел в этой сфере на Востоке мы можем судить по персидскому городу Исфахан в период правления великого шаха Аббаса (1588–1629): в это время в городе было 273 бани, тогда как в западных городах они встречались крайней редко. Производство мыла было незначительным, хотя считается, что в Китае этого периода его уровень был еще меньше (к тому же тогда в Китае не было нижнего белья, появившегося, как считает Бродель, во второй половине XVIII века в Европе). Однако он не упоминает того факта, что в Китае была в ходу туалетная бумага, появившаяся там на тысячу лет раньше, чем в Европе; о бумаге он говорит лишь в контексте книгопечатания и денег (присутствие как того, так и другого некоторым образом снимает с Китая обвинения в «отсталости»,

⁵⁹ См.: Braudel (1981). P. 329.

⁶⁰ См.: Cabanes (1954).

⁶¹ Braudel (1981). P. 330.

причиной которого стало соседство со странами с примитивной культурой, «пребывавшими в детском возрасте»⁶²). Когда бани вновь появились в Европе, они стали называться «китайскими»⁶³ и «турецкими». Но, разумеется, в раннехристианскую эпоху в Европе часто разрушали римские бани, причем по причинам, сходным с теми, которые Бродель приписывает XVI веку: бани якобы способствовали падению нравов и ассоциировались с языческими ритуалами (включая иудейские и исламские практики). Возрождение бань в Средние века может быть связано с Крестовыми походами и влиянием мусульманского мира.

Проблемы были не только с банями, но с соблюдением чистоты тела как таковой. В романе Рабле отец Гаргантюа спросил сына, как тот соблюдал чистоту во время его отсутствия. Сын ответил, что изобрел новый способ подтираться⁶⁴. В этих целях Гаргантюа использовал различные куски ткани, включая перчатки своей матери, «надушенные этим несносным... ладаном».

«— Подтирался я еще шалфеем, укропом, анисом, майораном, розами, тыквенной ботвой, свекольной ботвой, капустными и виноградными листьями, проскурняком, диванкой, от которой краснеет зад, латуком, листьями шпината, — пользы мне от всего этого было как от козла молока, — затем пролеской, бурьяном, крапивой, живокостью, но от этого у меня началось кровотечение, тогда я подтерся гульфиком, и это мне помогло.

Затем я подтирался простынями, одеялами, занавесками, подушками, скатертями, дорожками, тряпочками для пыли, салфетками, носовыми платками, пеньюарами. Все это доставляло мне больше удовольствия, нежели получает чесоточный, когда его скребут.

— Так-так, — сказал Грангузье, — какая, однако ж, подтирка, по моему, самая лучшая?

— Вот к этому-то я и веду, — отвечал Гаргантюа, — сейчас вы узнаете все досконально. Я подтирался сеном, соломой, паклей, волосом, шерстью, бумагой, но —

Кто подтирает зад бумагой,
Тот весь обрызган желтой влагой».

⁶² Ibid. P. 452.

⁶³ Ibid. P. 330.

⁶⁴ Ibid. Ch. 13.

К XVI веку, когда Рабле писал это, бумага пришла в Европу из арабского мира, что оказало колоссальное влияние на многие сферы жизни, не только на способы коммуникации. Ранее, в XIV веке, Ленгленд в «Видении о Петре Пахаре» описывает, как люди пользовались для очищения тела листьями.

«И так сидели они до вечерни и по временам пели,
Пока Обьедало успел проглотить галон и джилл.
Его брюхо начало ворчать, как две прожорливые
свиньи;
Он испустил две кварталы мочи за время, которое
Нужно, чтобы прочесть *pater noster*,
И начал дуть в свой рожок, что на конце спинного хребта,
И все, кто слышал этот рожок, соответственно
держали нос
И желали, чтобы он был заткнут пучком дрока»⁶⁵.

Опыт Ганы

Некоторые проблемы Элиаса, связанные с отношением к другим культурам, можно уяснить, изучая комментарии, касающиеся опыта, полученного им в Гане, в его книге «Размышления о жизни». В ответ на многочисленные вопросы, он рассказывает там, что в 1962 году ему предложили возглавить кафедру социологии в Гане на два или три года. Он согласился, хотя на тот момент ему было больше шестидесяти, заметив: «Я всегда отличался безмерным любопытством по отношению к неизвестному»⁶⁶. В результате Элиас проникся «глубокой любовью к африканской культуре», что живо напомнило антропологам пристрастие авторов XIX века к первобытности, причем в эту категорию включалась тогда даже эпоха Античности. «Я хотел увидеть все собственными глазами — вываливающиеся внутренности, потоки крови... Я знал, что в Гане смогу увидеть колдовство и жертвоприношения животных в естественных условиях, и я действительно стал свидетелем множества разных вещей, потерявших свои краски в более развитых обществах. Как и следовало ожидать,

⁶⁵ Langland. В version, Passus 5, lines 339–345. [Цит. по: Ленгленд У. Видение о Петре Пахаре / Пер., вступ. ст. и примеч. акад. Д.М. Петрушевского. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. Passus (Глава) V. С. 187.]

⁶⁶ Elias (1994b). P. 68.

это имело отношение к моей теории о процессе цивилизации, и мои эмоции были более сильными и направленными». Чем больше естественного (инстинктивного) в поведении, тем меньше в нем цивилизованного (скованного ограничениями).

Его собеседник-интервьюер задает вопрос: как Элиас познакомился с «первобытной культурой»? Тот отвечает: «Я провел множество полевых исследований с моими студентами. Я начал коллекционировать африканское искусство, и некоторые из моих студентов приглашали меня к себе домой. Там я смог увидеть, насколько формализована жизнь в Гане и насколько она пронизана ритуалами: один из моих студентов стоял за стулом своего отца и вел себя с ним почти как слуга. Этот старый тип семейных отношений все еще очень распространен в Гане».

Далее Элиас вспоминает свое путешествие на машине в деревню, затерявшуюся «глубоко в джунглях» (в книге есть фотография автора с шофером и поваром). Он приехал в деревню и «впервые осознал, что там совершенно недоступно электричество». Иными словами, его комментарии о «других культурах» больше касались технологического уровня, чем уклада жизни. Население деревни проявило такое же любопытство, окружив его со словами «белый человек пришел», задавая также вопросы о его жене (Элиас был холост). Местным жителям Элиас казался еще более странным, чем они — ему: одинокий человек без жены, прибывший на машине с шофером. Из этой встречи Элиас не смог сделать верного вывода — что для каждой культуры «другие» кажутся отклонением от норм цивилизованного поведения — «цивилизованного», то есть подчиняющегося социальным установкам, которые часто усваиваются раньше, чем возникает самопонимание. Сам он, со своими личными особенностями, в ганской деревне представлял собой некое отклонение, являясь человеком, пренебрегавшим бытовавшими нормами сосуществования.

Элиас описывает и другой случай — когда он прибыл на территорию, оказавшуюся перед угрозой затопления в связи с постройкой новой плотины на реке Вольта; местное население волновалось о том, что станет с их богами, если вода поднимется. Элиас счел, что беспокойство по поводу такого количества богов говорило о том, что эти люди не ощущали себя в безопасности. Он относит это к особенностям структуры личности: «Приходится сделать вывод, что Сверх-Я представителей этого общества устроено иначе, чем наше, поскольку все эти боги и духи являются воплощениями Сверх-Я»⁶⁷,

⁶⁷ Ibid. P. 71.

в то время как мы предположительно знаем лишь одного Бога, и наше Сверх-Я сегментировано в гораздо меньшей степени. Таким образом, Гана помогла ему понять (или подтвердила его предположения), что учение Фрейда необходимо развивать дальше в сравнительном отношении и в соответствии с его собственным видением процесса цивилизации. «Я полагал, что формирование Я и Сверх-Я в более примитивных обществах должно отличаться от того, как это происходит в нашем обществе, и в Гане это получило полное подтверждение», как мы видели⁶⁸. Другими словами, там была скорее система, основанная на стыде (то есть внешних факторах), чем на вине (внутренних факторах). То есть в данном случае «внутреннего голоса было недостаточно, чтобы наложить на себя ограничения». Чтобы добиться этого, «они [африканские знакомые Элиаса] должны были представлять, что существуют некие внешние сущности, вынуждающие их делать то или иное. Это можно видеть повсеместно, если вы попадете в подобную страну». Иными словами, предполагается, что речь идет о внешнем ограничении (в противоположность другому предположению Элиаса — что жертвоприношения показывают отсутствие поведенческих ограничений), но санкции и методы контроля выглядят иначе.

Причина таких различий состоит не в том, что эти народы находятся на более «детской» стадии развития, как предполагает собеседник Элиаса; такой взгляд на Африку Элиас считает колониалистским. Наш образ жизни, по его мнению, возможен лишь потому, что «наша физическая безопасность несравнимо выше, чем у этих народов»⁶⁹. В то время как некоторые представители высшего класса Ганы находятся «на том же интеллектуальном уровне, что и мы... являясь не менее образованными и накладывая на себя не меньшее количество ограничений», большинство населения возводят свои небольшие алтари и вызывают к фетишам. Такие религиозные проявления (здесь Элиас выказывает себя как гуманист) идентифицируются с поведением малообразованных людей, не связанных ограничениями; это аспект социальной безопасности или ее отсутствия.

Восприятие такого поведения лежит в основе восхищения Элиаса произведениями искусства Ганы. Это искусство

⁶⁸ См.: *Elias* (1994b). P. 70.

⁶⁹ *Ibid.* P. 71.

«выражает эмоции гораздо более сильно и прямо, чем традиционное искусство XIX века или эпохи Возрождения. И это очень хорошо укладывается в мою теорию цивилизационного процесса; в эпоху Возрождения произошел *колоссальный рывок в развитии цивилизации*, выраженный в значительной степени и в том, что картины и скульптуры в этот период создавались как можно более реалистичными. В XX веке наблюдалась противоположная реакция. Это можно отнести к явлениям, описанным Фрейдом в теории психоанализа: на новом уровне развития высшая степень выражения чувств позволительна лишь в том случае, если это делается при помощи ненатуралистических форм искусства, скорее напоминающих сон или мечту. Африканская скульптура именно такова. И устрашающие, и дружелюбные маски — все они оказывают сильное впечатление на подсознание»⁷⁰.

Возрождение здесь рассматривается как часть европейского цивилизационного процесса, ставшего моделью для всего остального мира. В сфере искусства это проявляется в реализме, налагающем определенные ограничения, связанные с отражением объективной реальности. Для Элиаса теории Фрейда свидетельствуют о возвращении к признанию примитивных культур и недостатка ограничений, хотя неочевидно, как теория развития Элиаса объясняет столь долгосрочные возвращения к прошлому. Сам он полностью полагается на популярную версию Фрейда, считая, однако, что ее необходимо дополнить. Понятие «Сверх-Я» в других (то есть более примитивных) культурах может быть иным, и, как мы видели, мнение Элиаса вполне подтвердилось во время пребывания в Гане. Однако тот пример, который он использовал в качестве доказательства, говорит просто о многообразии объектов поклонения, ссылаясь на которые люди могут объяснять свое поведение, — то есть весьма поверхностное наблюдение для всякого, хоть сколько-то знакомого с обсуждаемыми обществами⁷¹. Это снова были сомнительные

⁷⁰ Ibid. P. 72–73 (курсив автора).

⁷¹ Я встречался в Элиасом, когда он был профессором социологии в Легоне; должно быть, это было в 1964 г. На меня он произвел впечатление ученого, полностью интегрированного в европейский опыт и ограниченного западными категориями, по крайней мере в тех случаях, когда мы говорили о местных политических системах. Выяснилось, что он весьма мало читал об этом «неизвестном» месте, которое, однако, привлекло к этому времени значительное внимание ученых, а источником его знаний было то, что он называл «полевой работой», — то есть выезды в местные деревни на машине с шофером и со студентами. Это дает мало информации для научной рабо-

выводы о жизни аборигенов, сделанные из изучения материальных объектов. Как видно из использования Элиасом старомодного слова «фетиш» для объектов поклонения и его странного любопытства к кровавым жертвоприношениям, он так и не понял особенностей местной религии. Слышал ли он (не говоря уже о том, чтобы видеть) о «кошерном» или «халяльном» способе забоя скота или, может быть, посещал бойню в Чикаго или где-либо еще в «христианском» мире?

Проблемы с элиасовской теорией социального прогресса очевидны в его комментариях, касающихся Ганы. В какой-то момент он стал расценивать тот факт, что люди убивают кур в местах поклонения, как проявление большей свободы выражения эмоций. Это вполне соответствовало расхожим представлениям о примитивных народах. В то же время он упоминает о своем студенте, демонстрирующем исключительные поведенческие ограничения в присутствии своего отца. Эти два комментария, касающиеся свободы и ограничений, противоречат друг другу. Однако, видимо, эти противоположные утверждения укладываются в теорию Элиаса, подразумевая, что психологические и социологические интерпретации равным образом вызывают подозрения. Было бы крайне сложно сказать, чье поведение в действительности связано с большим количеством ограничений — лодага из Северной Ганы или современного британца; любая оценка должна зависеть от контекста и специфики ситуации или

ты, касающейся «других культур». Будучи антропологом, который к тому времени провел несколько лет в деревнях Ганы, я был недоволен таким пониманием «полевой работы», а также разновидностью социологии, которой был привержен Элиас, считая ее европоцентристской и отрицающей возможность сравнения. Сам я долгое время работал с учеными, занимавшимися сравнительной социологией, — Джорджем Хомансом (он был также историком) и Ллойдом Хорнером (а он был также антропологом), стремившимися учитывать все варианты поведения людей. По сходным причинам я находил довольно сомнительной идею о возможности получения сколько-нибудь глубоких знаний путем коллекционирования случайных предметов африканского искусства, приобретаемых у странствующих торговцев. Это слишком напоминало жадных представителей «ученого племени», озабоченных более сбором и демонстрацией неких объектов, чем оценкой их культурного контекста или их значения для культур, к которым эти объекты принадлежали. Впрочем, позже эти ученые оправдывались тем, что их действия способствовали сохранению различных культур. Большинство ученых, приехавших в Гану, начинали со сбора предметов искусства — это несложно, так как торговцы-хауса [одна из народностей Нигерии, проживает также в Камеруне, Нигере и Чаде] каждый вечер посещали со своими товарами университетский городок; подобные транзакции полностью обесценивали африканское искусство и лишали его контекста, зато покупатели получали нечто осязаемое, что можно было привезти домой.

конкретной деятельности, а не от всеобъемлющих категорий. Во время похорон все демонстрируют скорбь, но обычно в форме ритуала, призванного ограничить или канализировать эту эмоцию. Все ритуалы, включая жертвоприношения, представляют собой ограничения. Но жизнь предполагает множество изменений, чему способствуют также школы, иммигранты и различные миссионеры. В действительности я не думаю, что африканская религия предполагает меньше ограничений, чем вера пятидесятников, проповедующих на рынке Ва в пятидесяти милях отсюда (и возглавляемых неким Святым Джо, известным под этим именем всем и каждому). В местной практике цыплят приносили в жертву, как правило, чтобы получить предсказание в сложных ситуациях, — возможно, это было приношение божеству, но никоим образом данное действие не носило оргиастического характера и не выражало никакой «свободы», вкладываемой в него Элиасом. Множество различий, проистекающих из поверхностных наблюдений Элиаса над «цивилизацией», исчезают, если изучить вопрос более интенсивно и глубоко. Нет никаких реальных причин предполагать, что в его исследованиях, касающихся Европы, социологический анализ и заключения о психологических состояниях выглядят столь же подозрительно, но откуда такой разительный контраст между подходом Элиаса к Европе и к Гане?

Проблемы Элиаса с восприятием Ганы затрагивают корни теории о поступательном движении навстречу большим ограничениям, неотъемлемо присущим процессу цивилизации. Это ни в коем случае не личные предубеждения Элиаса, но часть распространенных в Европе представлений. Элиас полагает, что африканское искусство достигло стадии, на которой чувства выражаются более непосредственно. Практика кровавых жертвоприношений и поклонения многочисленным фетишам рассматриваются им как ничем не сдерживаемые действия, которые ограничивает наша цивилизация, заменяя их молитвой и монотеизмом. Все эти аспекты, будто бы присущие культуре Ганы, расцениваются как показатель отсутствия ограничений, несдерживаемых чувств. Однако на примере крайне ритуализированного (и ограниченного) поведения студента университета, неподвижно стоящего за стулом своего отца, Элиас признает, что жизнь в любом обществе всегда требует некоторых ограничений и контроля над поведением, в противном же случае в обществе началась бы война всех против всех. Ритуалы здесь играют свою роль, как и язык, опосредующий эмоцию и ее выражение.

Сопоставляя опыт, полученный Элиасом в Гане, и его теорию «цивилизационного процесса», я стремился показать, что в противо-

положность его утверждениям о том, что теория и практика поддерживают друг друга, в данном случае это оказалось не так. Это могло бы произойти и в том случае, если бы Элиас уделил большее внимание местным исследованиям, попытался понять поведение современных ему людей, вместо того чтобы поддерживать псевдоисторическую и псевдофилософскую концепцию «первобытных народов», на которую он опирался. В результате он следовал распространенным в Европе представлениям о цивилизационном процессе, не обращая внимания на подкрепленные более серьезной доказательной базой труды ученых, занимающихся первобытной историей и сравнительной социологией.

Глава 7. Похищение «капитализма»: Бродель и глобальное сравнение

Принято считать, что Античность, феодализм и даже цивилизация были присущи только Европе. Такой подход предполагает, что весь остальной мир не имел возможности встать на путь, ведущий к модернизации и к капитализму как таковому, поскольку все эти фазы рассматривались как логически переходящие одна в другую. По поводу доминирующей позиции Европы в XIX веке после Промышленной революции, создавшей сравнительные экономические преимущества Европы, существуют лишь небольшие разногласия. Серьезные же споры ведутся по поводу более ранних исторических периодов. Что же позволило Европе достичь доминирующего положения? Действительно ли, как считают многие, на этом континенте был изобретен капитализм? Или такое утверждение историков является еще одним примером «похищения идей»?

В данной главе я намерен рассмотреть попытки известных ученых подойти к капитализму с точки зрения глобальных сопоставлений, закончившихся подтверждением превосходства Европы не только в связи с Промышленной революцией (в этом вопросе как раз было достигнуто определенное согласие); считалось, что экономическое первенство отражалось и в других, более ранних и широко распространенных характерных чертах западного общества, воспринимаемых как предпосылки грядущих перемен. Я буду уделять основное внимание трудам Броделя и косвенно отмечать, как все эти авторы отклонялись от «объективности», невзирая на самые лучшие намерения. Они поднимали Запад на недостижимую высоту, лишая таким образом Восток места, по праву принадлежащего ему во всемирной истории.

Французский историк Бродель предпринял решительную попытку рассмотреть капитализм в мировом контексте, как до него поступил немецкий социолог Вебер. Вебер концентрировался на сравнении экономической этики различных мировых религий и пришел к выводу, что лишь аскетический протестантизм обеспечил соответствующую идеологическую базу для развития капитализма (хотя, как мы уже видели, он изменил свое мнение относительно Древнего Рима). Я не хочу утверждать, что Вебер был не прав в своем программном утверждении, однако он не в полной мере осознавал, что оно включает. И то, что удалось ему «теоретически», он не смог доказать с аналитической точки зрения. Вебер прикладывал величайшие усилия, чтобы быть «объективным», рассматривая сущность «экономической этики» в различных религиях (в Древнем Израиле, Индии, Китае, Европе) применительно к зарождению капитализма, но эта объективность существенно снижается, когда он касается протестантизма. Такой подход решительно отрицали многие историки, в том числе и сам великий французский историк Средиземноморья. Бродель считал, что рыночный «капитализм» был гораздо более широко распространен, а некоторые ученые находили его признаки даже в античных обществах. Тем не менее Бродель утверждает, что «финансовый капитализм» определенно был европейским явлением, и приводит серьезные обоснования своей позиции.

Вебер более бескомпромиссен в своей трактовке капитализма, он считает его исключительно западным явлением. В сравнительном анализе он претендует на значительную объективность¹, приходя тем не менее к выводу о том, что развитие научного сознания имело большее значение на Западе, а это связано с западными пред-

¹ Работа Вебера, посвященная сравнительному анализу и переведенная для «Social Science and Social Policy» под названием «“Объективность” социально-научного и социально-политического познания», содержала вступительные замечания новой редакционной коллегии журнала «Archiv für Socialwissenschaft und Socialpolitik». В ней он объясняет, что разница в его восприятии естественных наук и «наук о культуре» состоит в том, что «значимость культурных событий предполагает *ценностную ориентацию* по отношению к этим событиям. Концепция культуры — это *ценностная концепция*. Эмпирическая реальность становится для нас “культурной” в той мере, в какой мы соотносим ее с ценностными идеями» (Weber (1949). P. 76). Его утверждение основывается на необходимости проведения «непреодолимого разграничения» между «эмпирическим знанием» и «ценностными суждениями» (Ibid. P. 58). И то и другое является важной темой для размышлений, хотя «эти высшие “ценности”, лежащие в основе практического интереса, имеют (и всегда будут иметь) существенное значение в определении фокуса внимания при аналитической деятельности в сфере наук о культуре». Что верно для нас, «должно быть верным и для китайцев» (Ibidem).

ставлениями о рациональном. Возьмем процесс расставания человечества с иллюзиями, повлекшее за собой значительный рост научных знаний в процессе интеллектуализации общества. Этот процесс, как пишет Вебер, «имеет место в западной культуре на протяжении тысячелетий», являясь основой «прогресса»². Такое понятие прогресса как «непрерывного обогащения жизни» является ключевым для цивилизованного человека и несомненно западным понятием.

В какой-то момент Вебер пишет, что «“объективный” анализ культурных событий», происходящий в соответствии с тезисом о том, что идеалом с точки зрения науки является сведение эмпирической реальности к «законам», не имеет значения для такого рода событий. Оно не имеет значения по многим причинам. Одна из них относится к определению культуры как «ограниченного сегмента бессмысленной бесконечности мирового процесса, сегмента, в котором *человеческие существа* наделены смыслом и значимостью»³. Такое определение значительно отличается от классического определения антрополога Тайлора⁴, охватывающего все человеческие поступки и убеждения. Тем не менее оно было важным для почти забытой сейчас схемы Толкотта Парсонса⁵ и для американских ученых, ставших его последователями. Я сам остаюсь верным более широкому определению Тайлора, в котором культура охватывает всю известную человеческую деятельность, как в материальной, так и в духовной сфере, и поэтому сомневаюсь в полезности идеи Вебера, от которой зависит его представление об объективности. На практике невозможно определить поле исследования, центром которого являются ценности исследователя (Вебер справедливо признает их важными для выбора темы) и, в значительно меньшей степени, ценности действующих и заинтересованных лиц (в том смысле, в каком многие социологи воспринимают ценностную ориентацию). Мало кто из ученых хотел бы ограничить свои возможности анализа подобным образом, хотя некоторые антропологи и пробовали последовать примеру Парсонса, считавшего, что вся сфера «науки о культуре» основана на мнениях и ценностях. Поскольку ценности не могут трактоваться как научные данные, Вебер не ставит перед собой задачи определить меру объективности своего сравнительного анализа,

² Ibid. P. 139.

³ Ibid. P. 80–81.

⁴ См.: *Tylor* (1881).

⁵ См.: *Parsons* (1937).

особенно применительно к широкой цели рассмотреть происхождение капитализма. При этом Вебер не смог оценить всех сложностей на пути к достижению объективности, затруднений при отделении «фактов» от «ценностей», принимая во внимание диапазон их интерпретаций, в значительной степени определяемых «фокусом внимания». Это наблюдается и в его собственной работе, особенно применительно к европейским корням капитализма.

Когда к проблемам капитализма обращается Бродель, он принимает значительное количество европейских допущений о различиях между Западом и Востоком, касающихся развития капитализма, включая представление об уникальной сущности европейского города, уходящего своими корнями в коммуны Северной Италии X века. Однако он в значительной степени протестует против веберовского подхода к протестантизму, создавшему «дух капитализма». Фернандес-Арместо также критикует религиозные аспекты «веберовских тезисов» применительно к атлантическим державам, возникновение которых «рассматривалось как свидетельство того, что протестантизм превосходил католицизм, являясь империалистической конфессией, и как доказательство того, что протестанты перенесли в капитализм таланты, демонстрировавшиеся в Средние века главным образом евреями». «Каждая часть этого утверждения, — комментирует он, — с моей точки зрения, была неверной»⁶. Южные атлантические державы отличались большими размерами, существовали дольше и были рентабельнее протестантских государств. «Преимущества, которыми располагали северные державы в XIX веке, берут свое начало... не в такие древние времена, как часто считается». Но даже тогда религия играла незначительную роль в формировании этих преимуществ. Что действительно имело значение, так это географическое местоположение государств.

Я не хотел бы комментировать дальше попытки, предпринятые Вебером в области глобального сравнения. Разумеется, направление его исследований определяется представлением об экономическом и культурном превосходстве Запада в ближайшем прошлом, и его критический анализ Индии и Китая всегда учитывает наличие такого фактора, как западный капитализм, оказавший влияние на эти страны. Фактически, он не ограничивается изучением развития промышленного капитализма в Европе XIX века, но вполне логично обращает внимание на его предпосылки, особенно на Реформацию (отсюда и «протестантская этика»), Возрождение и эру

⁶ *Fernandes-Armesto* (1995). P. 238.

Великих географических открытий; и далее — на «уникальную» сущность европейского города, а иногда даже на Древний Рим. Этим путем пошло большинство исследователей данной ситуации. И Маркс, и Валлерстайн⁷ рассматривали эру географических открытий именно в таком контексте, предполагая, что преимущества Европы возникли задолго до XIX столетия.

Идея провести новое глобальное сопоставление принадлежит историку Броделю и связана с недавними событиями европейской истории. Но что с чем сравнивается? Сама задача в целом относится к типу вопросов, интересовавших Маркса и Вебера в XIX — начале XX века, и касается в конечном счете истоков (европейского) капитализма. Сформулированный с точки зрения европейцев после первой Промышленной революции или, как у Вебера, после второй Промышленной революции, этот подход нацелен на поиск ответа на вопрос, почему Европа «модернизировалась», тогда как Азия этого не сделала, или, по словам ученого, недавно поставившего аналогичный вопрос: «Почему некоторые народы так богаты, а другие — так бедны» (подзаголовок недавней книги историка экономики Дэвида Ландеса). Это важный вопрос, но к ответу на него исследователи шли в неверном направлении⁸.

В первую очередь, предпринятые сравнения были далеки от глобальных. Вебер в основном интересовался Китаем и Индией. Остальной мир он обозначал как «традиционные общества», знавшие «традиционную власть», что вряд ли было полезной социологической или исторической концепцией, поскольку все эти общества рассматривались как малозначимые, то есть такие, изучение которых можно было отложить. Индия и Китай были привнесены в эту картину как прошлое европейского капитализма. *Во-вторых*, Маркс в своем исследовании анализирует другие общества с экономической точки зрения, рассматривая многообразие форм производства и связанных с ними социальных формаций. Он внимательно изучил труд Льюиса Моргана «Древнее общество», представляющий собой честолюбивую попытку предпринять глобальное сравнение ряда человеческих сообществ. Книга Моргана была одной из многих попыток выстроить более систематическую историю развития человечества, основанную на лучшей доказательной базе, и выросла из работ более ранних философов, таких, как Вико и Монтескьё. Но, поскольку она представляет собой лишь усовершенствование

⁷ См.: Wallerstein (1974).

⁸ См.: Goody (2004). Ch. 1.

теоретических построений этих философов, в ней сохранился телеологический подход по отношению к Европе.

Подход Броделя к капитализму, модернизации и индустриализации — в самом деле глобальный — представлен в его основном труде, трехтомном исследовании «Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв.»*. Первый том называется «Структуры повседневности»⁹; второй — «Игры обмена»¹⁰; третий — «Время мира»¹¹. Первый том посвящен тому, что Бродель называет «материальной жизнью», которую считает «лежащей в основе рыночной экономики» и включающей все, что люди едят, что они носят и как живут. Второй уровень (экономический) — это мир рынка и коммерции. Третий уровень («неясная территория») — уровень рыночной экономики и финансов, «основная сфера капитализма», без которой он «немыслим»¹².

Бродель был замечательным историком. Его книгу «Структуры повседневности»¹³ один из его коллег, Зельдин, характеризует как «блестящую», а другой коллега, Плам, называет «шедевром». Я хотел бы рассмотреть один аспект его работы, одновременно с восхищением и некоторой долей критики, с точки зрения новых тенденций мировой истории, которые, возможно, смогут изменить привычные европоцентристские представления, неизбежно разделяемые европейскими учеными. Бродель определенно выказывает их в гораздо меньшей степени, чем, например, Маркс или Вебер, и рассматривает значительное количество сравнительного материала, касающегося повседневной жизни. Более того, он тоньше подходит к вопросам европейского превосходства.

Тем не менее его источники неизбежно являются в основном европейскими и характеризуются соответствующими предубеждениями относительно первенства Европы, одни в большей степени, другие — в меньшей. Рассмотрим для начала вторые, поскольку они задают тон его представлениям и, фактически, относятся к более широким аспектам преимуществ Европы. Согласно Броделю, «великой инновацией, революцией в Европе» стало появление не бумаги, а «алкоголя», дистилляция спирта, хотя название перегонного куба («аламбик») ясно

* Рус. пер.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. Т. 1–3. М.: Весь Мир, 2011.

⁹ См.: Braudel (1981 [1979]).

¹⁰ См.: Braudel (1982 [1979]).

¹¹ Ibidem.

¹² См.: Braudel (1981). P. 24.

¹³ Ibidem.

указывает на его исламское происхождение (а в конечном счете — на греческое)¹⁴. И по отношению к остальному миру Бродель задает вопрос: «Дал ли перегонный куб Европе преимущество над остальными народами?»¹⁵ Однако в действительности Европа медленно воспринимала это изобретение. Оставив в стороне этот аспект, задумаемся: почему считалось, что преимуществом его применения воспользовались именно европейцы, и даже в более ранние периоды? Кажется, что ответ на этот вопрос был дан раз и навсегда и любые альтернативные возможности проигнорированы. Например, и другие напитки рассматриваются Броделем в том же ключе. Как раз примерно во времена «изобретения» алкоголя Европа, согласно Броделю находившаяся в центре всех мировых инноваций, открыла для себя новые напитки, обладающие стимулирующими и тонизирующими свойствами: кофе, чай и шоколад. Но все они пришли в Европу из других регионов; кофе — из Аравии (изначально — из Эфиопии), чай — из Китая, шоколад — из Мексики¹⁶. То есть смысл, вкладываемый в понятие «открытия» этих напитков, достаточно ясен; если в Европе они и были усовершенствованы, то незначительно. Все, что было сделано здесь, относилось к сферам маркетинга и потребления. Тем не менее Бродель провозглашает их «открытие», вероятно, потому же, почему позже говорит об «открытии капитализма» и о его развитии. Однако с тем же успехом можно сказать и про Новую Гвинею, что, когда эти напитки достигли ее берегов, она открыла их для себя и усовершенствовала. Утверждение о том, что Европа («всегда»?) была в центре инноваций, является значительным преувеличением, особенно в отношении продуктов питания; в этом смысле Европа всегда отставала от Китая и Индии. Да и сам Бродель признает, что «настоящей роскоши или изысканности стола в Европе не было до XV или XVI века. В этом отношении Запад отставал по сравнению с другими цивилизациями Старого Света»¹⁷. Это замечание кажется верным. Так в чем же в таком случае проявлялись преимущества Европы в данной сфере?

Европоцентризм Броделя, по-видимому, особенно выражен в вопросах, касающихся дома и домашнего хозяйства, включая пищу. В отношении потребления пищи Европа, с его точки зрения, находилась «в привилегированном положении» по сравнению с другими

¹⁴ Ibid. P. 241.

¹⁵ Ibid. P. 247.

¹⁶ Ibid. P. 249.

¹⁷ Ibid. P. 187.

обществами¹⁸. Это действительно так, если сравнивать ее население с охотниками и собирателями. Но точно так же мы можем поменять угол зрения и предположить, что в привилегированном положении были Индия и Китай, чье население питалось более «экологически сбалансированным» образом, потребляя больше овощей и фруктов. Однако предпочтению вегетарианской диеты не оказывается никакого внимания — независимо от того, вызвано ли оно было вкусом соответствующих продуктов, религиозными или этическими соображениями. Как и в случае с напитками, потребление сахара или специй во всем мире рассматривается здесь в основном с европейской точки зрения, хотя все эти вещества были открыты в других регионах. Бродель с одобрением цитирует Лаба, отмечавшего, что арабы не знали столов; но с тем же успехом можно было бы сказать, что Европа не знала ковров и диванов, пока не позаимствовала их с Востока. «Преимущества» всегда рассматриваются как европейские (каковыми они, возможно, и стали впоследствии благодаря успешному распространению и маркетингу). Часть книги, посвященная «медленному восприятию хороших манер»¹⁹ в Европе, демонстрирует предубежденность, сходную с той, которую питал Элиас в отношении европейских норм поведения, хотя среди других ученых было широко распространено мнение, что страны Дальнего Востока ранее отличались более тщательно разработанным и строгим этикетом. Бродель цитирует одного европейца тех времен, отмечавшего, что христиане не сидят на земле, как животные²⁰, подразумевая, что представители других культур поступают именно так (с соответствующими выводами). Стол и стул «подразумевали целый образ жизни»²¹ и не были известны в Древнем Китае до VI века или позже. Стул «был, вероятно, европейского происхождения», поскольку такой способ сидения не был обнаружен в неевропейских странах и представлял собой «новую манеру жить», неизвестную этим народам. Так ли было на самом деле, трудно сказать (хотя само это утверждение выглядит весьма сомнительным), однако попытка придать данному изменению, происшедшему в VI веке, такое значение (перемена «образа жизни») вряд ли сочетается с мнением, что китайское общество «оставалось неизменным»²², сформулирован-

¹⁸ См.: Braudel (1981). P. 199.

¹⁹ Ibid. P. 206.

²⁰ Ibid. P. 285.

²¹ Ibid. P. 288.

²² Ibid. P. 312.

ным Броделем в результате рассмотрения всего одного признака, а именно одежды (что точно не является решающим фактором в оценке человеческого поведения)²³.

Бродель считал, что изменения в моде показывают динамичность общества, соглашаясь с мнением, высказанным в 1829 году Сэем²⁴, пренебрежительно писавшим о «застывшей моде турок и прочих народов Востока» и о том, что «их одежда как будто увековечивает их тупой деспотизм»²⁵. Это утверждение можно в той же степени применить к нашему сельскому населению, ежедневно носящему одну и ту же одежду и меняющему ее крайне редко, а возможно, и ко всем, кто надевает вечерние туалеты по особым случаям. Однако, даже учитывая перемены, происшедшие в Европе, «капризы моды» влияли лишь на небольшое число людей и никоим образом не были «всемогущими» до начала XVIII века, когда люди вышли из «спокойной стоячей воды — древней ситуации, аналогичной положению в Индии, Китае или странах ислама»²⁶. Изменения касались немногих представителей привилегированных слоев, но тем не менее Бродель считает моду не «легкомысленной», но «представляющей глубинную черту, характеризующую общество»²⁷: будущее, с его точки зрения, принадлежит обществам, готовым «порвать со своими традициями». Восток был статичным, но и Запад лишь не так давно стал отличаться динамичностью, что в значительной степени противоречит утверждениям Броделя о том, что различные культуры отличались в этом отношении на протяжении долгого времени. Бродель едва ли последователен в данном вопросе, поскольку заявляет также, что изменения моды были результатом «материального прогресса»²⁸. В качестве примера он приводит тот факт, что лионские торговцы шелком «воспользовались в XVIII веке тиранией французской моды» и стали нанимать «иллюстраторов шелка», менявших рисунки на тканях каждый год, то есть слишком часто, чтобы их могли скопировать их конкуренты-итальянцы²⁹. К этому времени производство шелка существовало на Сицилии и в Андалусии почти 700 лет, распространившись к XVI веку вместе

²³ См.: *Bray* (2000).

²⁴ См.: *Say* (1829).

²⁵ *Braudel* (1981). P. 314.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Ibid*. P. 316.

²⁸ См.: *Braudel* (1981). P. 324.

²⁹ Как отметил *Poni* (2001a и b).

с шелковичным деревом в Тоскану, Венето и вниз, в долину Роны. Генуя и Венеция также импортировали шелк в виде сырья с Ближнего Востока, как и хлопок в виде кип сырья или готовой пряжи. С так называемого статичного Востока в Европу приходили не только сырье и ткани, но и технологии. Предмет моды, очевидно, был связан не только с переменами в обществе, но и с представлениями о роскоши, и в этом контексте в главе 9 ему будет уделено большее внимание.

В других аспектах Бродель тоже колеблется между двумя позициями. С одной стороны, он убедительно говорит о быстром пространстве американских культур, таких, как табак, по всему миру, как это случилось и с другими товарами — чаем, кофе, какао. Вместе с тем статичный Восток в его интерпретации постоянно противопоставляется динамичному Западу, что заставляет предполагать, что нововведения, требуемые для капитализма, не могли развиваться где-либо за пределами Европы. Бродель противопоставляет друг другу динамичные и статичные общества³⁰. Такая дихотомия полностью неприемлема; ритмы перемен периодически меняются и быстро ускоряются. Однако идея неизменного общества (являющегося таковым объективно, что бы ни считали его члены), как я уже говорил, кажется мне недостойной обсуждения, особенно применительно к религии и мифам³¹; даже в простейших обществах технологии время от времени меняются, например от мезолита к неолиту. Это не означает, что статичных периодов в истории не было, но полностью неизменных обществ никогда не существовало.

Утверждение о том, что некоторые общества готовы к переменам больше, чем другие, может быть верным для отдельных периодов и отдельных обстоятельств, но в целом воспринимать Азию в этом ключе было бы неверно. По крайней мере, до XVI века Китай был, возможно, более «динамичным», чем Европа (если предположить, что такой показатель вообще возможно удовлетворительно измерить). Броделевские концепции «цивилизации» и «культуры» предполагают, что различия в скорости изменений характеризуют *la longue durée* (длительную временную протяженность); я бы скорее поместил эти различия на «исторический» уровень «событий», относящийся больше к «конъюнктурному», чем к «цивилизационному» уровню. Предполагать обратное означало бы отодвигать назад в прошлое несомненные отличия Европы (а в некоторых отношениях — ее

³⁰ См.: Braudel (1981). P. 430, 435.

³¹ См.: Goody and Gandah (2002).

преимуществ), характеризующие ее в XIX веке. Но тогда почему бы нам не подходить так же к сближению различных обществ в XX и XXI столетиях? Подобный аргумент уже применялся к Японии, — «феодализм» якобы подготовил ее к более легкому зарождению и развитию «капитализма». Почему же он не может быть применим к Китаю, Корее, Малайзии и другим странам?

Тем не менее Бродель приходит к выводу, что остальной мир наполнял «статичные, замкнутые», то есть недостаточно развитые, цивилизации. Лишь Запад имел возможность изменяться без помех. «На Западе, — пишет он, — все постоянно менялось»³². Он считает это постоянной тенденцией. Например, мебель менялась от страны к стране, что свидетельствовало о «широком экономическом и культурном движении, которое подталкивало Европу к тому, что сама она окрестила Просвещением, — к прогрессу»³³. И несколькими строками ниже: «Если это верно для Европы, богатейшей и наиболее готовой к изменениям цивилизации, это *a fortiori** приложимо к остальному миру». Верно, что Европа действительно могла быть более подготовленной к переменам в относительно недавние времена (некоторые бы сказали — после Промышленной революции, другие будут настаивать, что это началось с эпохи Возрождения), однако не существует свидетельств того, что ситуация была такой же в более ранние периоды. Эта формулировка Броделя, какие бы характеристики он ни вводил, сколь бы противоречивые свидетельства ни использовал, основана на противопоставлении «динамичной» Европы «статичной» Азии — явлению, которое он считает долговременным, если не постоянным. Так Запад «присвоил» себе столь ценные качества, как склонность к переменам и адаптивность.

Для Броделя капитализм зарождается в городах и оттуда распространяется в деревню. Сельские экономики он считает склонными к стагнации, если их не подстегивать извне. Он задается вопросом, смогли бы западные города существовать, если бы «абсурдный тип китайского земледелия был правилом, а не исключением»³⁴, имея в виду тип земледелия, принятый при возделывании риса, когда пользовались не плугом, а ручными орудиями труда. Однако эта «абсурдность» была признаком очень интенсивного, «продвинутого» сельского хозяйства, позволявшего поддерживать высокую плотность

³² Braudel (1981). P. 293.

³³ Ibid. P. 294.

* Тем более (лат.).

³⁴ Braudel (1981). P. 338.

населения и содержать города, размерами превышавшие европейские, в частности благодаря тому, что домохозяйствам не требовалось места для скота, необходимого для плужного земледелия. Странно удивляться этому и говорить, что западные города «не могли бы существовать в таких условиях», — ведь они были совершенно иначе организованы³⁵. Бродель считает, что капитализм достиг сельской местности, когда сельское хозяйство оказалось связанным с экспортом, то есть урожай стал продаваться за деньги. Это характеризуется им как «вторжение»³⁶. Но такое видение пренебрегает тем фактом, что население, занятое в сельском хозяйстве, уже создавало свой «капитал», инвестируя в террасирование склонов, ирригацию и т.п. В Европе же оно увеличивало поголовье скота, что по сути являлось той же формой создания «капитала». Но для Броделя понятие «капиталист» в значительно большей степени связано с инвестированием денег, приносящих прибавочную стоимость, чем с трудом или с технологиями производства. И в данном аспекте он вновь считает Европу уникальной. Хотя Бродель признает динамичный характер развития ремесел в Индии и Китае, он тем не менее заявляет, что в этих странах никогда не использовались орудия труда столь же «высокого качества», как в Европе. Существует распространенное мнение, будто в Китае человеческий труд был слишком избыточным³⁷, но это заблуждение³⁸. В любом случае возделывание риса на юге страны требовало более интенсивных технологий возделывания и культивирования рассады, чем выращивание злаков на севере; и ситуация в действительности была намного сложнее, чем банальное «блокирование» механизации «дешевым трудом»³⁹. Новые орудия труда все равно появлялись. Тачка появилась в Китае; уздечка, возможно, в Монголии (если верить Линн Уайт⁴⁰). Использование водяных мельниц совершенно точно не ограничивалось Европой; ветряные мельницы, вероятно, пришли в Европу из Китая или Ирана. Китайцы также ушли далеко вперед в производстве железа и использовании угля, особенно в сочетании с использованием кокса, хотя Бродель и говорит о «стагнации в стране после XIII века»⁴¹. Он считает, что в то

³⁵ См.: Braudel (1981). P. 338.

³⁶ Ibid. P. 288.

³⁷ Ibid. P. 304.

³⁸ См.: Hobson (2004). P. 201ff.

³⁹ См.: Braudel (1981). P. 339.

⁴⁰ См.: White (1962).

⁴¹ Braudel (1981). P. 375.

время «сложно было бы объяснить преимущества Китая»⁴². Но это так лишь в том случае, если смотреть на ситуацию с точки зрения европоцентризма XIX века.

Одним из факторов, тормозивших, согласно Броделю, развитие Китая, было то, что страна не имела «сложной денежной системы», необходимой для производства и обмена⁴³; только «средневековая Европа, в конце концов, усовершенствовала свои деньги», потому что европейским обществам необходимо было обмениваться как друг с другом, так и с мусульманским миром. Такое усовершенствование стало возможным благодаря росту городов и капитализма, а также «завоеванию открытого океана», повлекшему за собой «первенство в мире, длившееся столетия»⁴⁴. Европа перед лицом проблем, связанных с исламским миром, создала совершенную денежную систему; другие части Евразии «занимают промежуточное положение на пути развития активных и завершенных товарно-денежных отношений»⁴⁵. Подобная претензия на уникальность во многих отношениях выглядит странной, поскольку «морские цивилизации всегда знали друг о друге», по крайней мере в пределах Евразии. Средиземное море и Индийский океан формировали «путь к Индиям», «единое пространство моря», которое раньше соединялось каналом Нехо в Суэце, позже заброшенным. Однако Египет всегда был местом коммуникаций Запада и Востока, которые обменивались там не только товарами, но и информацией о производстве шелка или книгопечатании. Тем не менее, по общему мнению, именно завоевание открытого океана способствовало развитию превосходства Европы. Торговля на дальние расстояния и коммерческий капитализм, как замечает Бродель, зависели от способности говорить на общем «языке мировой торговли», включавшей «конструктивный обмен» и быстрое накопление. Другими словами, такая торговля предусматривала обмен. Несмотря на тенденции к равенству, взаимности и обмену, Европа с этой точки зрения отличалась от азиатских «экономик переходного типа».

Итак, несмотря на поставленную цель осуществить сравнение, Бродель последовательно рассматривает Восток в контексте преимуществ Запада, которые он считает долговременными, практически постоянными, присущими его культуре. Будучи хорошим историком,

⁴² Ibid. P. 376.

⁴³ Ibid. P. 440.

⁴⁴ Ibid. P. 402.

⁴⁵ Ibid. P. 448.

он постоянно сталкивается в этой связи с противоречиями и приходит к несовместимым выводам. «Неменяющаяся» Индия использовала драгоценные металлы и пережила «огромный подъем ремесленного производства», вызванный развитием хлопкоткачества в XVI веке, однако Бродель считал, что в экономике этой страны в то же время отмечался «хаос в монетном обращении»⁴⁶. Точно так же и с суждением, что Китай можно понять лишь в контексте существования «соседних с ним примитивных экономик»⁴⁷, который объясняет как «отставание самого Китая», так и одновременно «известную силу его “доминирующей” денежной системы». Следует заметить, что эта сила выражалась, в частности, и в том, что бумажные деньги в Китае были изобретены задолго до того, как на Западе вообще появилась какая бы то ни было бумага, хотя даже в самом Китае она стала широко использоваться лишь в XIV столетии. Противоречий множество. Несмотря на «отсталость» Китая в эпоху Мин (1368–1644), «оживилась товарно-денежная экономика, стремившаяся расширить свою сферу и умножить число своих услуг», что привело к резкому увеличению добычи угля в Китае к 1596 году⁴⁸. Эти обстоятельства должны говорить о его отсталости; становится сложно верить Броделю, когда он непоследовательно предлагает читателю согласиться с тем, что «с точки зрения денежного обращения Китай был более примитивным, менее утонченным, нежели Индия»⁴⁹, хотя мы только что видели, что в этой стране якобы был «хаос в монетном обращении».

А что с Европой? Об этом континенте Бродель говорит, что он «стоял особняком». Тем не менее он признает, что «эти [денежные] операции не ограничивались Европой», но «распространялись и охватывали весь мир, как обширная сеть, наброшенная на богатства других континентов». Благодаря импорту сокровищ Америки «Европа начала пожирать и поглощать мир», так что «все денежные системы мира были втянуты в ту же сеть». Это преимущество не было новым; в самом деле, «напряжение в течение длительной временной протяженности, начиная с XIII века... повысило уровень материальной жизни»⁵⁰; дали себя знать результаты «жажды покорить мир», «жажды золота» или прядностей в сочетании с ростом практических знаний. Европа нуждалась в этом золоте, так как по-

⁴⁶ См.: Braudel (1981). P. 450.

⁴⁷ Ibid. P. 452.

⁴⁸ Ibid. P. 454.

⁴⁹ Ibid. P. 457.

⁵⁰ Ibid. P. 415.

средством обмена собственных товаров на «предметы роскоши» с Востока получала слишком мало; а возжеленные «предметы» становились все более доступными для средних классов. Если Китай был действительно столь отсталым, как утверждает Бродель, почему драгоценные металлы покидали Европу ради Азии?⁵¹ Понятно, что не только Европа отличалась «жаждой золота». Восток тоже знал, чего хочет и как получить желаемое мирными способами, а именно с помощью торговли.

Города и экономика

Центральным аспектом анализа Броделя являются города, которые будут рассматриваться далее, в главе 8. Он сравнивает их с электрическими трансформаторами, постоянно «подпитывающими» жизнь людей. И вновь он говорит о явлении, без сомнения существовавшем по всему миру начиная с бронзового века, но считает, что и здесь Европа пошла по особому пути. Тем не менее «город — всегда город», и Бродель отмечает среди его характеристик «постоянно возобновляющееся разделение труда», а также постоянно меняющееся население, поскольку города не могли в полном объеме воспроизводить свое население и им приходилось рекрутировать новых жителей⁵². Бродель пишет о городском самосознании, проистекающем из необходимости защищаться за стенами города (и из опасностей, которые несла им артиллерия, начиная с XV века⁵³), о городских коммуникациях и об иерархии самих городов. Однако признание этих общих признаков не мешает ему (или, применительно к Ближнему Востоку, Гойтейну⁵⁴) идти по стопам Макса Вебера, строго разграничивая западные города с их «свободами» и «статичные» азиатские, не имеющие таковых. Очевидно, некоторая разница между видами городов существовала, но эти авторы выводят ее на идеологический уровень, стремясь к телеологическому результату — к обоснованию развития капитализма. Как мы видели в главе 4, основной темой Броделя было «своеобразие западных городов». Он утверждает, что они демонстрировали «невиданную свободу»⁵⁵,

⁵¹ Ibid. P. 462.

⁵² Ibid. P. 490.

⁵³ Ibid. P. 497.

⁵⁴ См.: *Goitein* (1967).

⁵⁵ См.: *Braudel* (1981). P. 510.

развивавшуюся в оппозиции к государству, и «автократически» правили своей сельской округой. В результате их эволюция была «бурной» по сравнению со статичными городами в других частях света. Фактически же, как показывают современные исследования (например, в Дамаске и Каире), азиатский город был столь же «бурным» и далеким от статичности.

После упадка городской структуры Римской империи, рассмотренной нами в главе 3, западные города возродились вновь лишь в XI веке, и к этому времени уже произошел «подъем деревни»⁵⁶, привлекий в города как знать, так и клириков, что знаменовало «начало возрождения континента»⁵⁷. Это возрождение стало возможным благодаря подъему экономики и более широкому использованию денег. «Купцы, ремесленные цехи, промышленность, торговля на дальние расстояния, банки — все это быстро зарождалось там, как и определенного рода буржуазия и даже что-то вроде капитализма»⁵⁸. В Италии и Германии города «вырастали» из государства, образуя города-государства. «Чудо Запада», согласно Броделю, состояло в значительной автономии заново возникших городов. На основе этих «свобод» была построена «самобытная цивилизация». Города организовали налогообложение, государственный заем, промышленность, бухгалтерию, стали фоном для «классовой борьбы», а также заложили «основы патриотизма»⁵⁹. В них развивалось буржуазное общество, которое, согласно экономисту Зомбарту, характеризовалось новым образом мышления, возникшим во Флоренции в конце XIV века⁶⁰. «Сложился новый образ мышления, в общих чертах характерный для только возникавшего западного капитализма, совокупность правил, возможностей, расчетов, умения жить и обогащаться одновременно». Он обладал также склонностью к «рискованной игре»; «купец... рассчитывает свои инвестиции в соответствии с прибылью от них»⁶¹. Конечно, поступать так приходилось всем купцам, иначе они просто не смогли бы выжить. Они должны были учитывать риски, что порождало в их среде интерес к азартным играм и связанную с ними веру в удачу, — точно так же, как это было и в Китае.

⁵⁶ См.: Braudel (1981). P. 510.

⁵⁷ Ibid. P. 479.

⁵⁸ Ibid. P. 511.

⁵⁹ Ibid. P. 512.

⁶⁰ См.: Sombart (1930).

⁶¹ Braudel (1981). P. 514.

Бродель считает, что в основе развития капитализма лежит развитие городов, способствовавших «свободе» в Европе и становившихся центрами сельского ремесла. Он утверждает, что, несмотря на некие фазы «капиталистической» активности, китайские города никогда не могли ни обеспечить должный уровень свободы, ни привлечь сельских ремесленников. Такое заключение потребовало от него создания двух противоположных моделей отношений между городом и деревней: с одной стороны, западной, где город является независимым и самодостаточным, а деревня служит его потребностям, а с другой — восточной, где город является центром официальной власти, паразитируя при этом на более динамичной сельскохозяйственной округе и завися от нее. Однако такое противопоставление не вполне адекватно, поскольку, *во-первых*, китайские города также являлись не только административными центрами, но и центрами образовательной, научной и торговой деятельности. *Во-вторых*, исключать сельскую местность из «капиталистической» деятельности означает спорным образом ограничивать определение последней; то, что происходило в европейской и китайской деревне, привело к значительным достижениям, требовавшим вложения капитала. И в самом деле, сегодня очевидно, что такая страна, как современный Китай, удовлетворяет большинству критериев «модернизации».

Превознося некую особую «свободу» европейских городов, Бродель выдвинул схему развития, берущую свое начало в городах античной эпохи, открытых для своей сельской округи и соответствующих ей и где «индустрия была зачаточной»⁶². Далее он говорит о «закрытом городе» Средневековья, населенном крестьянами, освободившимися от одной зависимости, чтобы признать над собой другую, и, наконец, о «находящихся под опекой центральной власти городах раннего Нового времени»⁶³. Однако государство везде «укрощало города»; Габсбурги и немецкие князья делали это так же, как папы и Медичи. «За исключением Нидерландов и Англии, города были приведены к покорности». Учитывая, что две последние страны были централизованными монархиями и что «свободные» города-государства средневекового периода в Германии и Италии теперь считаются «подчиненными», концепция «свободных» городов Запада нуждается в уточнении. Это не мешает Броделю, как и Веберу с Марксом до него, противопоставлять их «императорским» городам

⁶² Ibid. P. 515.

⁶³ Ibid. P. 519.

Востока. В исламском мире мы обнаружим несколько городов, напоминающих западные, но они описываются как «лежавшие на периферии» и существовавшие недолго, например Кордова или Оран, хотя их периферийность сомнительна; действительно, даже Бродель говорит о Сеуте в Северной Африке как о городской республике. В «далекой» Азии «императорские» города были «огромными, паразитическими, роскошными и вялыми». «Типичным образцом был огромный город, где правил князь или халиф: Багдад либо Каир»⁶⁴. Они были «неспособны перехватить у сельской местности торговлю изделиями ремесла» не из-за самой природы власти, но потому, что «общество уже было предварительно закреплено, прошло определенную кристаллизацию» (и это вновь возвращает нас к вопросу об изменениях в культуре и о застое). В Индии проблема состояла в кастовой системе, в Китае — в родовой. Бродель утверждает, что в Китае не существовало органа власти, представлявшего город в отношениях с государством или сельской округой; сельская же местность была ««полюсом» живого, активного и мыслящего Китая». Однако ясно, что правительственные чиновники определенно выступали в качестве представителей тех городов и сельских округов, где они жили, и, соответственно, в этих городских центрах велась значительная деятельность. Более того, восприятие кастовой и родовой систем в качестве препятствий для развития городов соответствует веберовскому представлению о том, что эти институты тормозили развитие капитализма потому, что были по сути своей коллективистскими и не поощряли индивидуализм. Данный аспект определенно преувеличен Броделем, особенно в тех случаях, когда он рассматривает купеческие династии как необходимый элемент накопления капитала⁶⁵. Но в любом случае индийские города включали значительные группы джайнов и парсов, нередко находившихся за пределами кастовой системы и игравших важную роль в торговле. Характеристики восточных и противопоставляемых им западных городов — это то, что представляет действительно важную проблему в трудах Броделя и других «западников»⁶⁶.

Понятие «свободы» применительно к городам имеет два аспекта. Где бы это ни происходило, деревенские жители, переселяясь

⁶⁴ Braudel (1981). P. 524.

⁶⁵ См.: Goody (1996). P. 138.

⁶⁶ Однако «капиталистическая деятельность» происходила и в деревнях, особенно в тех случаях, когда они предоставляли гидроэнергию и наемных работников для фабрик, как это часто было в XIX веке в Южной Франции или на Востоке США.

в город, оказывались в среде, накладывавшей меньше ограничений, чем та, которую они покинули. Но в конкретных обществах важен еще один момент — насколько города были ограничены высшей политической властью. Очевидно, что в городах-государствах как в Европе, так и в Западной Азии города как таковые не находились под строгим контролем, хотя торговая деятельность в них могла испытывать ограничения; однако ограничения вводились не внешней властью, как это было в более крупных государственных системах. К XIX веку западные города стали устойчивой частью национального государства. Ясно, что степень «свободы» городов в различных обществах в разное время варьировалась, и возможно, что в позднейшие времена на Западе она в целом была выше, чем где-либо еще. В европейских обществах определенно существовали *villes franches**, частично освобожденные от государственных налогов ради поощрения торговли. На Востоке некоторые города, особенно портовые, тоже контролировались в меньшей степени, чем остальные. Бродель не показывает со всей возможной определенностью, что доиндустриальные города в других частях света были в целом менее свободными и более статичными. В самом деле, жизнь во многих из них казалась столь же «бурной», как и в европейских, особенно в некоторых отношениях.

Вполне понятно, что города на Востоке и на Западе должны были развиваться сходным образом. Урбанизация, как пишет Бродель, является «предвестием появления нового человека»⁶⁷. Если это так, она началась очень давно, по крайней мере в бронзовом веке, хотя продолжается по сей день. Как часто настаивает Бродель, ни один город не был островом; город не существовал сам по себе, но являлся частью гораздо более широкой сети взаимоотношений, необходимых для того, чтобы участвовать в торговле на дальние расстояния (что было одной из основных характеристик городов). Такая торговля подразумевала множество партнеров из разных «цивилизаций», обменивавшихся не только «материальной продукцией», но и способами ее создания, то есть идеями. На основе предположения о том, что такой обмен действительно происходил (что кажется достаточно очевидным), мы можем объяснить не только различия цивилизаций, но и параллели между ними, например такие, как возникновение городов по всей Евразии, появление буржуазии и примерно схожие направления развития ремесел (хотя нельзя отрицать и

* Вольные города (*фр.*).

⁶⁷ См.: *Braudel* (1981). P. 556.

возможность параллельной эволюции). То же самое происходило с живописью, литературой и религией. Христианство распространялось с Ближнего Востока в Европу и в Азию, как и ислам. Буддизм также распространялся из Индии в Китай и Японию, а отдельные его отголоски добрались и до Ближнего Востока. Такие миграции величайших идеологий, основанных на религиях, не были бы возможны, если бы цивилизации не располагали некой общей почвой, которую создавала прежде всего урбанизация⁶⁸.

Как говорилось выше, Бродель в целом считал восточные города «огромными, паразитическими, роскошными и вялыми»⁶⁹; для него они в большей степени были резиденциями правительственных чиновников и знати, чем собственностью гильдий и купцов. В действительности и западные города также были резиденциями правительственных чиновников и знати и *не принадлежали* купцам и гильдиям. Увидеть разницу непросто. В некоторых частях Запада, возможно, города были в каком-то смысле «свободнее», но многие поспорили бы насчет отсутствия в них правительственного контроля (исключая города-государства). Свобода рассматривалась как важный фактор увеличения значимости (и даже возникновения) буржуазии, а также как неотъемлемая часть перемен, необходимых для развития капитализма. Западные ученые обычно считали буржуазию уникальным европейским феноменом, как и непрерывные перемены, которые Валлерстайн считает ключом к «духу капитализма». Бродель признает, что время от времени китайское государство ослабляло свое внимание, как, например, в XVI веке, когда возникла буржуазия «и вспыхнула деловая лихорадка»⁷⁰. В Китае государство ослабляло надзор; на Западе развитие буржуазии было естественным процессом. Тем не менее все разнообразные признаки, на которые обращает внимание Бродель, говоря о «свободных рынках» Запада, — свободная промышленность, гильдии, торговля на дальние расстояния, векселя, торговые компании, бухгалтерия⁷¹, — присутствовали

⁶⁸ Однако проблема объяснения социальной эволюции, предполагающей взаимодействие, состоит в том, что данная трактовка пренебрегает параллельным развитием Нового Света, находившегося в сравнительной изоляции, но тоже создавшего городскую цивилизацию. Хотя взаимодействие является очень важным фактором, мы должны учитывать также объяснения с точки зрения внутреннего развития. Именно эта тенденция присутствовала в некоторых разновидностях коммерческой деятельности и искусства.

⁶⁹ См.: Braudel (1981). P. 524.

⁷⁰ Ibidem.

⁷¹ Ibid. P. 512.

также и в Китае, и в Индии, отмечают такие современные историки, как Померанц и Хабиб⁷². Индия тоже отличалась сложной торговой системой, включавшей денежный обмен, аналогичный западному, а также *hundi*, или векселя. «С XVI века Индия располагала довольно оживленной денежной экономикой, которая постоянно будет двигаться по пути определенного рода капитализма»⁷³. Бродель опровергает свои более ранние замечания по поводу хаотичной денежной системы Индии, признавая этот «определенного рода капитализм» «подлинным капитализмом»⁷⁴, «с оптовыми торговцами, рантье, получающими доход от торговли, и тысячами их посредников — комиссионеров, брокеров, менял и банкиров. Что касается техник, возможностей или гарантий обмена, то любые из этих групп купцов могли выдержать сравнение с западными аналогами». Все эти признаки не только присутствовали в городах Индии, но и появились до возрождения городов в Европе XI века. И все же Броделю кажется, что здесь чего-то не хватает. С его точки зрения, они не образуют «особенной цивилизации», понятие которой является жизненно важным для его идеи европейского происхождения капитализма, «подлинного капитализма» с его «могущественными сетями», в отличие от более распространенного «микрокапитализма»⁷⁵.

Здесь отмечается некоторая путаница. «Могущественные сети», о которых говорит Бродель, появились лишь вместе с промышленным капитализмом, хотя сама торговля существовала значительно раньше. Но Бродель везде подчеркивает события, происшедшие между XV и XVIII столетиями, которые были преимущественно «микрокапиталистическими». Именно тогда вопрос о «свободных городах» был актуален для возникновения «подлинного капитализма». Проблема заключается в том, что Бродель усматривает приметы капиталистической деятельности в гораздо более древних обществах, но при этом стремится доказать мировое первенство Европы в XIX веке именно через «качество» европейского, «истинного» капитализма. Соответственно телеологически он ищет факторы, позволяющие говорить о том, что европейский капитализм формировался иначе, что и приводит его к разнообразным противоречиям. Города были везде, но «истинные» города — только на Западе. Лишь там свобода одерживает победу, — свобода, считающаяся

⁷² См.: Pomeranz (2000); Habib (1990).

⁷³ Braudel (1984). P. 124.

⁷⁴ Ibid. P. 486.

⁷⁵ См.: Braudel (1981). P. 562.

необходимой для предпринимательских начинаний и улучшения продукции.

Если вслед за Броделем воспринимать зарождение капитализма как неизбежное следствие всех городов и их коммерческой деятельности, то утверждение об уникальности Запада теряет значительную часть смысла. Позднейшие города с присущей им деятельностью развились из городов более ранних во всем их разнообразии — то есть следует учитывать не только коммерческие и производственные, но и административные или образовательные аспекты, также касающиеся грамотности и являющиеся результатом социального развития (или социальной «эволюции»). Ведь именно города были центрами грамотности (включающей, разумеется, создание литературных произведений); именно там религии обретали свою письменную форму и формировалось знание, основанное на тексте, внесшее важный вклад в возникновение промышленного капитализма в его различных последовательных формах, способствовавших процессам изобретательства, совершенствования продукции и обмена. Город был не просто центром сосредоточения купечества и коммерческой деятельности, хотя последние необходимы для его экономического процветания, — его роль в развитии общества значительнее.

Финансовый капитализм

Позвольте мне детальнее рассмотреть рассуждения Броделя о развитии капитализма. Ранее в этой главе мы видели, как он отделяет «материальную жизнь», лежащую в основе рыночной экономики, от мира коммерции, а последний — от мира финансов, «излюбленной сферы капитализма»⁷⁶. В такой иерархической и хронологической классификации капитализма именно третий уровень — уровень финансового капитализма — Бродель воспринимает как этап, на котором Европа обрела лидирующее положение и свою уникальность. Мы уже отметили противоречия в позиции Броделя по отношению к Европе и остальной Евразии. Иногда он рассматривает их как равные, однако в другие моменты предполагает, что Европа имела преимущества задолго до Промышленной революции. В действительности это кажется его основной установкой. Он говорит о европейском капитализме как об отличающемся от обычной рыночной деятельности тем, что занимает «командную позицию на

⁷⁶ См.: Braudel (1981). P. 24.

вершине торгового сообщества». Капитализм другого рода кажется ему более ограниченным. Полный, или истинный, капитализм «всегда рождался в рамках более широкого контекста, всегда более обширного, чем он сам, и на плечах которого капитализм несло и поднимало на волне его собственного движения»⁷⁷. Частью этого общего контекста была торговля на дальние расстояния, ставшая «беспримерным двигателем быстрого воспроизводства и быстрого увеличения капитала»⁷⁸, которую экономист Добб считал главным орудием создания торговой буржуазии⁷⁹. Иными словами, капитализм был больше связан не с деньгами и кредитом, но с финансами, то есть деньгами, воспроизводящими себя⁸⁰.

Бродель ассоциирует зарождающийся финансовый капитализм с институтом ярмарок, который считает сугубо европейским феноменом: «Движение вперед в XVI веке оказывалось организованным *сверху*, под влиянием привилегированного обращения звонкой монеты и кредита с ярмарки на ярмарку»⁸¹. Ярмарки и рынки представляли условия для финансового обмена и урегулирования счетов, но существовали повсюду задолго до того времени. Ярмарки, очевидно, играли на Западе важную роль не только в продаже товаров, но и в осуществлении финансовых операций, например в Шампани; однако на Востоке они также существовали. Соглашения между султаном Египта и Венецией или Флоренцией даже предполагали «род закона для ярмарок», «который не может не напоминать... правил западных ярмарок»⁸². Торговля на Ближнем Востоке была такой же активной, как и везде. Мусульманские города «имели больше рынков... чем любой город Запада»⁸³. Для иностранных купцов в Александрии и Сирии были зарезервированы специальные кварталы, так же обстояло дело и в Венеции. В Алеппо и Стамбуле тоже существовали караван-сарай или гостиницы как для европейцев, так и для торговцев с Востока. Ярмарки играли важную роль по всему миру. В Индии они часто совмещались с паломничествами; на Ближнем Востоке ежегодное паломничество в Мекку

⁷⁷ Ibid. P. 374.

⁷⁸ Ibid. P. 405.

⁷⁹ См.: Dobb (1954).

⁸⁰ Несмотря на эту тенденцию, значительная часть материального достатка Европы сформировалась в результате деятельности, связанной с религией, а не «мирских» инвестиций.

⁸¹ Braudel (1982). P. 135.

⁸² Ibid. P. 128.

⁸³ Ibid. P. 129.

совпадало с крупнейшей ярмаркой в исламском мире. В Индонезии участие в подобных ярмарках принимали китайцы, и их торговля на дальние расстояния была, во всяком случае, не менее обширной, чем у европейцев⁸⁴. Считалось, что в самом Китае ярмарки «тщательно контролировались» «вездесущим, эффективным и бюрократическим правительством»; тем не менее «рынки были сравнительно свободными». Эти ярмарки часто приурочивались к праздникам в буддистских или даосских храмах⁸⁵. Итак, Бродель, противореча своим прочим утверждениям, приходит к выводу, что в XVI веке «многонаселенные регионы мира... кажутся нам близкими друг другу — на равной или почти равной ноге»⁸⁶.

Это равенство распространяется и на тот факт, что в сфере торговли постоянно происходили изменения — причем на Востоке так же, как и на Западе. Городская жизнь и торговля постоянно развивались. Их сходство касалось не просто количественных показателей, но и параллельной эволюции экономики, коммуникации и других сфер культурной деятельности. Отставание от Запада появилось относительно недавно, но тем не менее стало «актуальнейшей проблемой истории современного мира». Будет ли этот разрыв столь же важен в ближайшие 50 лет и, если нет, насколько «актуальным» он в действительности являлся? Однако для Броделя настоящий подъем Европы начинается в эпоху Просвещения, после 1720 года. Он утверждает, что «важнейшие две черты западного развития суть складывание механизмов высшего уровня, а затем, в XVIII веке, умножение числа путей и средств»⁸⁷. Однако в Китае, как он заявляет, «императорская администрация блокировала любые попытки создания экономической иерархии» над самым низким уровнем лавок и рынков. В соответствии с мнением, принятым в Европе, самым большим сходством с Европой отличалась Япония и исламский мир. Все это Бродель говорит не о производстве, а лишь о финансах. Однако в действительности вся торговая и производственная деятельность, в Китае или где бы то ни было еще, требовала сочетания производства и сбыта; при этом и то и другое нуждалось в значительном финансировании. Бродель признает, что, придя на Восток, европейцы обнаружили там крупномасштабную торговлю, которая никак не могла быть описана в категориях

⁸⁴ См.: Braudel (1982). P. 130.

⁸⁵ Ibid. P. 131.

⁸⁶ Ibid. P. 134.

⁸⁷ Ibid. P. 136.

«торговли вразнос», как считал Лер⁸⁸. Что же он вкладывает в это выражение? Многие купцы были связаны договорными отношениями с участниками крупных командитных товариществ; *commenda* (морское партнерство) существовала как на Востоке, так и в Средиземноморье⁸⁹. Восточные купцы, включая персов и армян, посещали Венецию и совершенно точно вели дела аналогичным образом⁹⁰. Разумеется, справедливо, что производство, сбыт и финансирование с течением времени становились все более комплексными как в Европе, так и по всему миру. Однако Бродель стремится к резкому разграничению финансового капитализма и других его форм, что не кажется вполне удовлетворительным.

Как мы видели, согласно Броделю, «истинный капитализм» развивался лишь в Европе и, возможно, еще в Японии. Причины такого ограничения были скорее политическими и историческими, чем экономическими и социальными. Они относились к условиям, в которых на протяжении долгого времени крупнейшие буржуазные семьи могли накапливать богатство в своих династиях; причины этого коренятся глубоко в истории. В заключении ко второму тому своего главного труда Бродель критикует Вебера и Зомбарта за то, что, с их точки зрения, объяснение возникновения капитализма «сводилось к некоему структурному и бесспорному превосходству западного „духа“»⁹¹. Что бы случилось, спрашивает он, если бы китайские джонки обогнули мыс Доброй Надежды в 1419 году, примерно за восемьдесят лет до Васко да Гамы? Однако использование слова «джонки» все же демонстрирует некую двойственную позицию по отношению к странам, располагавшим скорее «джонками», чем «кораблями». Но, утверждает Бродель, необходимо осознать тот факт, что построение капитализма «удалось в Европе, наметилось в Японии и потерпело неудачу (при отдельных исключениях, подтверждающих правило) почти везде в других частях мира — точнее сказать, оно там не завершилось»⁹². Что Бродель подразумевает под неудачей? Мнение, что Япония была единственной в своем роде, могло быть актуальным, когда Бродель работал над своим трудом, но к тому времени, когда он был переведен на английский язык, ситуация на Востоке значительно изменилась — появились

⁸⁸ См.: *Leur* (1955).

⁸⁹ См.: *Constable* (1994). P. 67ff.

⁹⁰ См.: *Braudel* (1984). P. 124.

⁹¹ *Ibid.* P. 581.

⁹² *Ibid.* P. 581–582.

«азиатские тигры» и экономика даже континентальных частей Индии и Китая существенно продвинулась в своем развитии.

В сущности, Бродель признает «оживленность» китайской торговли на дальние расстояния в XVI веке в Фуцзяни*, противопоставляя процветающую экономику этого региона «стагнации» континентального Китая. «Здесь путешествия, морские приключения благоприятствовали определенному роду китайского капитализма, который не мог обрести своих подлинных масштабов, иначе как ускользая из контролируемого и полного ограничений Китая»⁹³, поскольку «в Китае на пути стояло государство, сплоченность его бюрократии»⁹⁴. Правительство теоретически владело всей землей (хотя практика незаконного землевладения восходила к временам монгольского завоевания), и даже «дворянство зависело от благоволения государства». Надзор осуществлялся над каждым городом. Только мандарины «были исключением из правил». Государство имело право чеканки монеты — «накопление было возможно только для государства». К тому же образованные круги могли выказывать купцам враждебность за вызывающую демонстрацию богатства. Китай имел процветающую рыночную экономику, но, поскольку на высшем уровне государство контролировало все, «капитализма не было, разве что внутри определенных, четко очерченных групп»⁹⁵. Многие из подобных ограничений точно были присущи не только Китаю и характеризовали даже «прогрессивные» европейские общества. Точно так же вмешательство государства не обязательно являлось столь вредоносным фактором для роста экономики. В Японии и особенно в современном (и более раннем) Китае государство сыграло важную роль в развитии экономики.

Восток и Запад могли быть более или менее равными экономически, и здесь анализ Броделя является значительным шагом вперед по сравнению со многими учеными, занимавшимися всемирной историей ранее, включая Маркса и Вебера. Однако с точки зрения политики для равенства чего-то не хватало. Говоря о государствах Китая, Индии и Турции, Бродель использует прилагательное «деспотический», которым никогда не характеризует европейские государства, — их он называет «абсолютистскими». На Востоке были купцы, но там они не были «свободны» в том же смысле, что и их европейские коллеги; и снова слово «свобода» используется ис-

* Прибрежная провинция на востоке Китая.

⁹³ Braudel (1984). P. 582.

⁹⁴ Ibid. P. 586.

⁹⁵ Ibid. P. 589.

ключительно в контексте, в котором его использовало население Европы, хотя и не всегда при этом подразумевалось купечество. Такое предубеждение по поводу Запада очень ясно проявляется в таких заявлениях Броделя: «Свободные или квазисвободные крестьяне могли быть обнаружены лишь в самом сердце Запада»⁹⁶. Как и со словом «деспотический», мы видим здесь попытку деления на категории, что поднимает вопросы, отмеченные нами в главе 4; в некоторых обществах крестьяне рассматривались как свободные, в других они не были таковыми. «Свобода» считалась неотъемлемой характеристикой положения европейских купцов в отличие от восточных как в городах, так и в сельской местности. Но недавние исследования азиатского города, например проведенные Роувом⁹⁷ в Китае или Джиллионом в Индии⁹⁸, скорее противоречат этому мнению Вебера, как и работа Хо Пин-ти, посвященная «торговому капитализму» в среде торговцев солью в Китае XVIII века⁹⁹, или исследование Цинь-сюн Нг о торговой сети в Амое*, на побережье, или труд Чана¹⁰⁰ о мандаринах и купцах. Купцы здесь имели больше возможностей действовать, чем признавал Вебер, и далеко не все представители образованных кругов были бюрократами¹⁰¹. Города и сельская местность были более дифференцированными, чем предполагает Бродель; многие ученые писали о «джентри» как о группе, а другие — о крестьянских восстаниях¹⁰². То, что я считаю у Броделя ошибочным восприятием социальной структуры этих стран, идет рука об руку с верной оценкой их экономической ситуации.

Бродель признает, что в эпоху Мин существовала буржуазия (появившаяся «вслед за модой»), как и «колониальный капитализм» в Ост-Индии. Однако он считает, что власть государства не могла подтверждаться лишь наличием феодального режима, как в Японии¹⁰³.

⁹⁶ См.: *Braudel* (1984b). P. 40.

⁹⁷ См.: *Rowe* (1984).

⁹⁸ См.: *Gillion* (1968).

⁹⁹ См.: *Ho Ping-ti* (1954).

* Крупный портовый город в китайской провинции Фуцзянь.

¹⁰⁰ См.: *Chan* (1977).

¹⁰¹ См.: *Ching-Tzu Wu* (1973).

¹⁰² См., например: *Chesneaux* (1976).

¹⁰³ Хотя Коммунистическая партия в 1928 году заявила, что Китай имел полуфеодальный-полуколониальный режим (см.: *Brook* (1999)). P. 134ff), феодализм в Китае ассоциировался с идеей «частичного суверенитета», рассматриваемого как предкапиталистическая фаза.

В этой стране можно обнаружить разновидность «анархии», которая, как и в средневековой Европе, была усилена «вольностями». Режим Японии не был столь тоталитарным, каким Бродель считает китайский режим, — с его точки зрения, он был более «феодалным». «Таким образом, [в Японии] все сливалось [с точки зрения признаков постоянной фондовой биржи] в движении к раннему капитализму»¹⁰⁴ благодаря рыночной экономике и развитию торговли на дальние расстояния. Аналогично в Индии и Ост-Индии «все характерные элементы Европы того времени налицо: капиталы, товары, комиссионеры, негоцианты, банк, орудия крупной торговли, даже ремесленный пролетариат, даже мастерские с обликом мануфактур... даже надомная работа, организованная купцами и обеспечивавшаяся специальными комиссионерами... И даже, наконец, главное: торговля на дальние расстояния»¹⁰⁵. Но эта «высокоактивная торговая деятельность» существовала лишь в определенных местах, но не распространялась на все общество. Можно вместе с Померанцем задаться вопросом, было ли это справедливым для более значительных структурных единиц или даже для Британии.

С точки зрения Броделя (как и большинства западных ученых), феодализм «подготовил дорогу для капитализма». С моей точки зрения, такое понимание просто отражает европейскую хронологию и не имеет сколько-нибудь важного причинного значения. Однако, по мнению Броделя, в феодальных рамках купеческие семьи были обречены на то, чтобы их относили к людям «второго сорта», и на то, чтобы бороться за свой статус, постоянно демонстрируя быстрый рост своей деятельности и способствуя развитию капитализма. Считалось, что в Индии, как и в Китае и исламских странах, таких семей было недостаточно. Для становления капитализма была необходима развитая рыночная экономика, но такая экономика возникала лишь в определенном типе общества, «создававшем для этого благоприятное окружение на протяжении долгого времени»¹⁰⁶. В таких обществах имелись все виды иерархий и династий, способствовавших накоплению богатства. Разве подобных семей не было в Индии, Китае или исламских странах? Этому сложно поверить, глядя на Ахмедабад и имея в виду многие семьи Ближнего Востока. Такие купеческие семьи всегда существовали и накапливали богатство. Бродель же исключает подобную возможность,

¹⁰⁴ Braudel (1984). P. 592.

¹⁰⁵ Ibid. P. 585.

¹⁰⁶ Ibid. P. 600.

поскольку убежден, что «истинный капитализм» не мог развиваться где-либо, кроме Европы. Культурные факторы не подтверждают такой позиции. Источники капитализма следовало искать в гораздо более отдаленных аспектах происхождения культур. Иными словами, как было отмечено ранее, политические или «исторические» факторы были более значимыми, чем экономические или социальные, и уж точно — более, чем религиозные.

Как и на Западе, другие общества тоже развивались в определенной последовательности; лишь представления Броделя о «культуре» предполагают, что жизнь может быть неизменной, по крайней мере на Востоке. В Китае всегда были мандарины, в Индии — кастовая система, в Турции — сипахи¹⁰⁷. Бродель считает, что «социальный порядок неизменно и однообразно воспроизводил себя в соответствии с основными экономическими потребностями»; культура (или цивилизация) развивалась с течением времени, особенно в контексте религии, и каким-то образом «заполняла разрывы в социальной ткани»¹⁰⁸. Однако Европа была «более мобильной» и более открытой для перемен; этот признак снова относится Броделем к «культуре» или, возможно, к «ментальности». Справедливо, что во многих сферах со времен Промышленной революции перемены в Европе действительно происходили быстрее, однако попытки «отодвинуть» такое положение вещей далеко в ее прошлое кажутся неисторическим подходом, игнорирующим существующие свидетельства.

Бродель признает более ранние параллели в развитии торговли и финансов, в частности с исламским миром. «В исламском мире были ремесленные гильдии, и изменения, через которые они проходили (привлечение высококвалифицированных работников, надомная работа и производство продукции за пределами городов), слишком сильно напоминают происходившее в Европе, чтобы быть результатом чего-либо, кроме логики экономических процессов»¹⁰⁹. То есть здесь происходило как взаимодействие культур, так и параллельная социальная эволюция. Хотя Китай на ограниченный период времени пытался запретить внешнюю торговлю, отчасти и по стратегическим причинам, в стране сохранялся огромный внутренний рынок. «Купцы и банкиры провинции Шанси путешествовали по всему Китаю». Другие ездили и за границу. «Еще одна китайская торговая сеть зародилась на южном берегу (особенно

¹⁰⁷ См.: *Braudel* (1984b). P. 61.

¹⁰⁸ *Ibid.* P. 86.

¹⁰⁹ *Braudel* (1982). P. 559.

в Фуцзяни), а затем достигла Японии и Ост-Индии, создавая китайскую заморскую экономику, которая на протяжении многих лет напоминала разновидность колониальной экспансии»¹¹⁰. Индийская внешняя торговля также была широко распространена задолго до появления европейских кораблей; индийские банкиры «в большом количестве» присутствовали в Исфахане, Стамбуле, Астрахани и даже в Москве. Открытие атлантической торговли значительно изменило ситуацию, однако торговля в Евразии была активной всегда. То есть и на Востоке, и на Западе ничего принципиально нового в данном отношении не произошло.

Эти торговцы снова установили тесные контакты с Европой, существовавшие до упадка Римской империи и способствовавшие некогда развитию «раннего капитализма». После краха Рима Европа «открылась» снова. С конца I тысячелетия н.э. Венеция строила флот для осуществления торговых операций в Восточном Средиземноморье и в Азии, особенно на мусульманском Ближнем Востоке, куда добирались и купцы из Китая. Венеция развивала как торговлю, так и флот. Арсенал, где строились корабли, был основан около 1100 года, но обрел свое подлинное значение лишь после ввода в дело Нового Арсенала (около 1300 года). «Арсенал» — арабское слово; подобные места для постройки кораблей существовали по всему Средиземноморью, включая Турцию, и, разумеется, конкурировали друг с другом. В течение следующих 300 лет Венеция создавала лучшие военные корабли, особенно легкие галеры (*galea sottile*), а также несколько меньшее количество более крупных кораблей (*galea grossa*). Арсенал имел монопольное право постройки кораблей для государства. Количество изготовленных там судов было значительным, что позволило создать самый большой флот в Западном мире. Сто легких и 12 больших галер стали вкладом Венеции в битву с турками при Лепанто в 1571 году. Арсенал в Венеции и аналогичные предприятия на Востоке имели черты, которые мы привыкли считать результатом Промышленной революции; фактически же они появились значительно раньше, и не только в Европе.

Арсенал был создан для постоянного производства кораблей и отличался «наибольшим количеством работников в мире в то время»¹¹¹, что составляло от 2000 до 3000 человек. Вначале количество рабочей силы составляло примерно 1360 человек, причем она разделялась иерархически: профессиональной элите выплачивалось

¹¹⁰ Braudel (1984). P. 153.

¹¹¹ См.: Zan (2004). P. 149.

ежемесячное жалование, а остальным деньги выплачивались на еженедельной основе; работников нанимал высококвалифицированный персонал, предоставляя им значительную «свободу». Арсенал описан Заном как «организация-гибрид», «современная и несовершенная одновременно, где рабочие отношения [принятые в организации] уже были выстроены в соответствии с капиталистическим способом производства, хотя сам труд еще не находился под полным контролем»¹¹². Эта ситуация ясно показывала проблемы, связанные с координацией и управлением. Все крупномасштабные операции, предполагающие привлечение значительной рабочей силы, требуют иерархии, специализации, прогнозирования, учета затрат и различных организационных навыков. В Европе раннего Нового времени такие характеристики были особенно присущи именно арсеналам, занимавшим первое место среди предприятий фабричного типа¹¹³. Следует отметить даже не то, что мы видим зарождение «менеджмента» в Венеции до появления того, что в США XX века называлось «видимой рукой»¹¹⁴, а то, что комплексная производственная деятельность, появившаяся в бронзовом веке, показывает нам последовательное появление различных навыков вместе с ростом коллективного производства. Любое крупномасштабное судостроительное предприятие (особенно производящее крупные суда) в Турции ли, в Индии или Китае (а не только в Венеции) встретило бы с проблемами такого рода. Никто не «изобретал» менеджмент, хотя и пришлось продумывать новые методы работы в условиях зарождения комплексного производства. Как мы видели в главе 4, в венецианском Арсенале не было ничего особенно уникального, все его особенности были следствием его вида деятельности, нежели влияния культуры.

Такой была часть европейской истории развития «истинного капитализма», часто рассматриваемая с позиции ранее сложившихся преимуществ Европы. Когда Бродель предлагает делить общество на «группы» или «сектора», он утверждает, что в целом социальную ситуацию легче рассматривать в Европе, которая «вырвалась впереди всего мира» и где «быстро развивавшаяся экономика довольно рано, начиная с XI или XII века и еще более определенно — начиная с XVI века, опережала другие сектора»¹¹⁵. К XI веку относятся важ-

¹¹² Ibid. P. 149.

¹¹³ См.: *Concina* (1987).

¹¹⁴ См.: *Chandler* (1977).

¹¹⁵ *Braudel* (1984). P. 460.

ные изменения в торговле, в городах, в «феодализме», происшедшие *l'an mille*, в новом тысячелетии¹¹⁶. К XVI веку более всего относится деятельность «великих торговых компаний» Голландии и Англии, занявших монопольное положение в некоторых частях Северного полушария. И именно в XVI столетии возник «новый класс», «буржуазия, выросшая из торговли»¹¹⁷, которая карабкалась «собственными силами к вершинам современного общества». Лишь на протяжении нескольких поколений представители этого класса относились к капиталистам; позже они становятся *grands bourgeois* гуманистической культуры Возрождения, предвещающей Просвещение¹¹⁸, направившее свою «революционную идеологию» против «привилегий праздного класса аристократии»¹¹⁹. И «в этом множестве конфликтовавших сил рождался экономический напор, со Средних веков до XVIII века увлекавший за собой капитализм»¹²⁰. За пределами Европы ситуация была другой, поскольку государство там «на протяжении столетий навязывало свои непереносимые тяготы»¹²¹. Лишь в Европе в XV веке оно стало усиливать свою роль, что привело к созданию первого «современного государства», в других же местах сохранялись старые правила. «Только Европа политически (и не только политически) обновлялась»¹²². Это ярко выраженное европоцентристское утверждение преуменьшает политическое развитие других регионов; оно больше основывается на мнениях комментаторов (философов, занимающихся политической мыслью), чем на эмпирическом анализе существующих политических систем.

Бродель считает, что другие регионы отличались меньшим капиталистическим развитием, и всегда уделяет внимание особенностям Европы, где появился «истинный капитализм». Он пишет об экономике и социальном развитии как об «имеющих тенденцию синхронизироваться по всей Европе», чего не происходило в других местах (хотя следует принимать во внимание величину единицы измерения)¹²³. Однако, учитывая очень тесные взаимоотношения между Европой и Ближним Востоком, спросим себя: как развитие этих

¹¹⁶ См.: *Duby* (1996).

¹¹⁷ См.: *Braudel* (1984). P. 478.

¹¹⁸ Ibid. P. 487.

¹¹⁹ Ibid. P. 504.

¹²⁰ Ibid. P. 461.

¹²¹ *Braudel* (1982). P. 514.

¹²² Ibid. P. 515.

¹²³ См.: *Braudel* (1984). P. 477.

регионов могло не «синхронизироваться»¹²⁴? А если это было возможно с Ближним Востоком, то почему не со всей остальной Азией? Позиция Броделя иногда пренебрегает взаимным характером торговли и в целом упускает определенные исторические и политические факторы. Иными словами, более отдаленное прошлое (возможно — его культурные факторы) сделало капитализм неизбежным для Европы, но невозможным где-либо еще. Это относится к общей проблеме его теоретического подхода. *Во-первых*, Бродель четко разделяет разные слои экономики. Такое разделение имеет определенную эвристическую ценность, но приводит к слишком резкому разделению капитализма и рынка. Рыночная экономика выглядит почти «естественной»¹²⁵; лишь в определенных местах она сопровождалась «всеобъемлющей экономикой, захватывающей эти скромные виды деятельности, перенаправляющей их и терпящей из милости». «Истинный капитализм» становится европейским.

Во-вторых, Бродель считает циклы (то есть повторяющиеся тенденции) не только аналитическими инструментами, но и причинными факторами, что подчеркивает его приверженность таким понятиям, как «преемственность», «повторяемость», «культура». Он пишет об историке, отрицающем роль циклов Кондратьева, то есть повторяющихся тенденций в истории, имеющих сходную продолжительность. Всегда подвергая сомнению собственные допущения, он пишет: «Можно ли поверить, что человеческая история подчиняется каким-то всеобъемлющим ритмам, необъяснимым с помощью обычной логики? Я склонен ответить, что да»¹²⁶. Сам я стремлюсь в значительной степени опираться на логику, и определенно сказал бы — нет. Так или иначе, неясно, как циклический взгляд может совмещаться с подходом с точки зрения развития, которого Бродель придерживается во всех остальных случаях.

Основное заявление, сделанное Броделем по поводу развития, состоит в том, что «капитализм *потенциально* просматривался со времен начала истории»¹²⁷. Какое значение здесь следует придавать слову «потенциально»? В Европе Бродель считает подъем городов первым знаком перехода потенциальной возможности в реальную.

¹²⁴ Петер Бёрк отмечает утверждение Броделя, что население Европы росло и уменьшалось в раннее Новое время примерно в те же периоды, что и в Китае, Японии и Индии, а это предполагает возможность синхронизации и в других сферах.

¹²⁵ См.: Braudel (1984). P. 38.

¹²⁶ Ibid. P. 618.

¹²⁷ Ibid. P. 620.

Уже в XIII веке там происходило значительное развитие торговли, производства и банковского дела. В противоположность многим ученым, как мы видели, Бродель готов усматривать признаки капитализма в более ранних эпохах и в других экономиках. Однако очень немногие сферы деятельности способствовали воспроизводству капитала, необходимого для «истинного капитализма», и применительно к этим экономикам Броделю пришлось воспринимать капитализм не только рационально, но и в форме «иррациональных спекуляций»¹²⁸. Западный капитализм выглядел иначе: в конце концов он создал «новый образ жизни, новые типы мышления»¹²⁹, почти новую цивилизацию не во время протестантской Реформации, а уже в период католического Возрождения. Флоренция XIII века была «капиталистическим городом»¹³⁰, как и другие города, такие, как Венеция, но больше благодаря обмену, чем производству. В Европе XVIII века торговля в большей степени, чем промышленность или сельское хозяйство, обеспечивала накопление капитала в значительных масштабах; разумеется, необходимо было иметь чем торговать, но прибыли делались именно в этой сфере¹³¹.

Бродель отмечает, что деятельность на этом всеобъемлющем уровне (европейского) капитализма, где среда не всегда была напрямую конкурентной (но иногда монополистической), требовала значительных сумм денег¹³². Так что даже развитие монополий не было, как заявлял Ленин, характерным лишь для последней, «империалистической» фазы капитализма, так как проявилось на гораздо более ранних фазах. Хотя в прошлом монополии «занимали лишь малую долю всей экономической жизни»¹³³. Однако одной из характеристик капитализма было то, что он почти мгновенно мог переходить из одного сектора в другой¹³⁴. Здесь Бродель, очевидно, имеет в виду финансовый капитализм, включающий деятельность бирж и акционерных обществ, каковую считает вершиной дерева экономики. С другой стороны, значительная часть торговли требовала гибкости в вопросах поставок грузов и конечных пунктов назначения. Развитие промышленности и обмена определенно требо-

¹²⁸ См.: *Braudel* (1984). P. 577.

¹²⁹ *Ibid.* P. 578.

¹³⁰ *Ibidem.*

¹³¹ *Ibid.* P. 428.

¹³² *Ibid.* P. 432.

¹³³ *Ibid.* P. 239.

¹³⁴ *Ibid.* P. 433.

вало новой, более комплексной финансовой системы. В этом контексте производство и распределение товаров стали чрезвычайно важными.

Временные рамки капитализма

Когда же тип «истинного капитализма» появился в Европе? Некоторые историки считают его началом открытия в Западном Средиземноморье торговли между Венецией и Востоком, зародившейся в начале нового тысячелетия. Это достижение было нивелировано колоссальным регрессом, испытанным Европой в связи с эпидемией «черной смерти» в XIV веке. Англия начала в полной мере восстанавливаться после нее лишь к концу XV столетия. В это время, в результате демографического подъема, фермеры-йомены, дворяне-овцеводы, городские владельцы мануфактур по производству тканей, а также купцы-авантюристы совершили то, что позже описывалось как социально-экономическая революция. Экспорт шерсти как сырья открыл дорогу экспорту английских тканей, производимых в основном в сельской местности, а затем перевозимых морем в Европу. Ко времени прихода к власти Генриха VII купцы-авантюристы (ассоциация лондонских экспортеров сукна) контролировали лондонско-антверпенский рынок (ранее — рынок Брюгге), заменив купцов, занимавшихся торговлей шерстью как сырьем. К 1496 году это объединение получило правительственную хартию, давшую им возможность получить законную монополию. В результате стада овец росли, огораживания распространялись все больше, итальянские банкиры наводняли Лондон, роль землевладельцев в экономической жизни изменилась. Эти перемены стимулировались скорее ростом торговли — сначала сырьем для изготовления сукна, затем самим сукном, — чем производством сельскохозяйственной продукции (продуктов питания). Торговля сукном с Фландрией, Голландией и затем с Италией приобрела важнейшее значение для возрождения Европы. Последняя производила теперь товары, востребованные на Востоке, и в то же время поощряла импорт восточных тканей в Европу — в первую очередь шелка, затем хлопка. Позже континент адаптировал их производство к местным условиям, стремясь заместить импорт, что и привело к тому, что позже стало называться Промышленной революцией.

Многие считают, что экономическое первенство Европы пришло позже. Для Броделя европейская экономика была образцом истинного капитализма, однако он считает, что Европа достигла лидирующе-

го положения раньше. По его мнению, в первых городах Европы в зачаточной стадии проявляются все признаки позднейшего капитализма¹³⁵. Эти города-государства имели «современные формы», «опередившие свое время». Начало первой европейской «мировой экономики» он датирует примерно 1200 годом, когда Средиземноморье вновь заполнилось купеческими кораблями из Италии (преимущественно венецианскими)¹³⁶. Бродель утверждает, что Крестовые походы в значительной степени способствовали достижению этого результата. Лишь после Крестовых походов XIV века Италия действительно стала центром европейской торговли. Эти походы привели к появлению городов, обнесенных стенами, что способствовало отделению города от деревни; возникновение таких городов было обусловлено в том числе контактами с Византией и мусульманскими странами. Например, экономический подъем Амальфи на юго-западе Италии объяснялся тем, что этот город поддерживал тесные контакты с исламским миром, где обнаруживались другие города-государства.

Развитие финансовой системы, очевидно, было важнейшим фактором формирования «финансового капитализма». Было замечено, что одним из нескольких признаков капитализма, не восходящих к временам Античности, является наличие государственного долга. Государственный долг стал центральным моментом «финансовой революции» в Британии, направленной на привлечение капитала, особенно для международной торговли. Капитализм всегда присутствует в финансовой сфере экономики, способствующей более активному участию в международной торговле¹³⁷: «Капиталы смеялись над границами»¹³⁸. Как мы видели, рассмотрение кредита, биржи и финансовой системы в качестве основных характеристик развитой формы капитализма вынуждает Броделя недооценивать производство, Промышленную революцию и сам «век машин», хотя он посвящает предпоследнюю главу своего огромного труда именно этим аспектам. Он несколько неуверенно предполагает, что за период с 1600 по 1800 год промышленное производство в Европе увеличилось минимум в пять раз, то есть задолго до самой так называемой Промышленной революции; к данному предположению мы вернемся, рассматривая позицию Ригли¹³⁹. Во многом крупномасштабное

¹³⁵ См.: *Braudel* (1984). P. 91.

¹³⁶ *Ibid.* P. 93 («торговая революция», как называл ее Лопес в 1971 году).

¹³⁷ *Ibid.* P. 554.

¹³⁸ *Ibid.* P. 528.

¹³⁹ *Ibid.* P. 181.

производство было запущено благодаря дотациям и монополиям, — ситуация изменилась лишь в «эпоху машинного производства», что, как и государственный долг, было связано с деятельностью национальных государств (хотя парадоксальным образом базировалось на международной торговле). Возросшее производство, разумеется, было важным для развития культуры потребления. Этот момент в некоторой степени признавался, когда тот факт, что производство товаров на севере стало более дешевым, описывали как «победу пролетариата», ведущую к подъему Амстердама и других протестантских стран¹⁴⁰.

Необходимо добавить, что для Броделя Промышленная революция была не просто повышением экономической эффективности и мощным инвестированием в развитие технологий, но скорее «всеобъемлющим и неделимым процессом»¹⁴¹. Он считает, что именно ее комплексный характер стал причиной того, что «перенести» капитализм в другие страны было нелегко. Чтобы принять в участие в этом процессе, весь тогдашний «третий мир» должен был «разрушить сложившийся в мире порядок», тогда как ранее это было возможно лишь «в сердце» «открытой мировой экономики», то есть в Европе. Бродель считает, что механизация, связанная с Промышленной революцией, зарождается в Европе примерно в XIII–XIV столетиях, причем можно предположить, что начало ей положило горное дело в Германии (в работе Агриколы хорошо показано, насколько данная отрасль зависела от использования техники). Затем этому примеру последовала Италия. Там произошла демографическая революция, возникли первые «государства территориальной юрисдикции» (в начале XV века), а в районе Милана произошла сельскохозяйственная революция; ирригация и «интенсивное земледелие» развивались здесь до того, как аналогичные процессы начались в Англии и Голландии. Милан мог бы еще дальше продвинуться по капиталистическому пути, если бы имел внешние рынки. Англия, отстававшая в XVI веке от Франции, стала использовать уголь как источник энергии, что позволяло более крупным фабрикам обеспечивать более широкий рынок (чаще внешний, чем внутренний) и вносить нововведения в продукцию. Но эти нововведения никоим образом не ограничивались Западом, перенившим многое от Востока, где механизация и индустриализация уже начались, а сельское хозяйство было весьма развитым.

¹⁴⁰ См.: *Braudel* (1982). P. 570.

¹⁴¹ См.: *Braudel* (1984). P. 539.

В целом Бродель демонстрирует определенную нерешительность по поводу временных рамок капитализма, касается ли это производства как такового или финансовой стороны изготовления либо обмена товаров. Что касается временных рамок, то капитализм признается широко распространенным, однако «истинный капитализм» считается характерным лишь для позднейшего Запада, даже если признавать, что корни его уходят в глубь истории. Такая неопределенность Броделя в целом отражает разногласия между западными историками. Изначально Маркс заявил, что XIII век в Европе стал веком начала капитализма, тогда как Валлерстайн придерживается концепции его более позднего наступления, относящей его к XVI столетию. Неф считал, что Промышленная революция в Англии начинается в XVI веке, когда индустриализация становится «эндемичной» по всему континенту. Некоторые историки, например Чарльз Уилсон и Эрик Хобсбаум, отсчитывают начало капитализма от восстановления монархии в Британии в 1660 году. Согласно наиболее распространенной точке зрения, временем формирования капитализма, возникшего благодаря Промышленной революции, стал XVIII век, когда важнейшим фактором стало начало «века машин», развитие технологий, которые Маркс считал столь важными, особенно в хлопчатобумажной Промышленности, отличавшейся массовым производством и широким распространением продукции.

Таким образом, среди историков экономики наблюдаются значительные разногласия по поводу датировок начала экономического первенства Европы, а также связанного с этим вопроса — определения места, где зародилось это первенство. В своем недавнем исследовании Ригли¹⁴², ученый, занимающийся проблемами экономической географии, утверждает, что к началу XIX века Англия уже значительно отличалась от своих континентальных соседей: была богаче, быстрее развивалась, достигла более высокого уровня урбанизации и значительно меньше зависела от сельского хозяйства. Используя техники учета национального дохода, а также обращаясь к суждениям Ростоу о стадии «сдвига» (1783–1802) и стадии роста, продолжавшейся до 1830 года, Ригли показывает, что рост в этот период был медленным, невзирая на совокупные достижения экономики в целом. Вследствие этого он приходит к выводу, что отличие Англии от остальных стран сформировалось значительно раньше, чем принято считать, и что оно должно было стать ясным ее конку-

¹⁴² См.: *Wrigley* (2004).

рентам к 1700 году. Ригли утверждает, что причиной первенства Англии была не Промышленная революция, так как после 1760 года тенденции подъема были довольно незначительными, но важные преимущества, имевшие место в предшествующие одно-два столетия. Достигнутый рост стал результатом отхода от того, что он называет продвинутой «органической экономикой», когда материальные предметы изготавливаются из животных или растительных материалов¹⁴³ (что касается и энергии), в сторону экономики «неорганической» (то есть основанной на использовании угля и природных видов топлива).

Такой англоцентристский взгляд не был принят без возражений. Де Ври и ван дер Вуд считают, что первая «современная» (капиталистическая) экономика возникла в период «золотого века», между серединой XVI столетия и примерно 1680 годом, в Голландии, и в этом динамическом развитии участвовали не только промышленность и торговля, но и сельское хозяйство. В данный период происходил быстрый рост городов, а также трансформация структуры занятости населения, что опережало аналогичный процесс в Англии примерно на 150 лет¹⁴⁴. Развитию способствовали отлично налаженная транспортная инфраструктура (в основном это был водный транспорт) и дешевизна энергии (получаемой главным образом из торфа, «неорганическим» путем). Однако к концу XVII века здесь начался период стагнации, поскольку, как утверждают эти авторы, современная экономика не всегда способна поддерживать себя сама. Вместе с тем Ригли предполагает, что в Англии рост был экспоненциальным и что огромные различия, появившиеся еще во время «органической» экономики, сохранились и после перехода к «неорганической».

Согласно этим националистическим концепциям, сначала голландцы, затем британцы развили продвинутые модели «органической» экономики, которые едва ли могли самоподдерживаться, обеспечивая рост, а потом перешли к неорганическим моделям. Однако экономики такого рода были не первыми в Европе, сделавшими шаги по направлению к механизации, как мы видели из истории производства шелка в Лукке, а также не первыми, внедрившими фабричные способы организации труда (примером может служить производство кораблей и оружия в арсеналах Средиземноморья); иными словами, Италия была впереди в этих и во многих других отношениях. Более того, подобно Китаю и Ближнему Востоку, для получения энергии эта

¹⁴³ Ibid. P. 23–24.

¹⁴⁴ Ibid. P. 62.

страна использовала силу воды; этот вид энергии не был связан с органическими ограничениями, присущими использованию дерева в качестве топлива. Использование воды в производстве бумаги давало более дождливой Европе преимущество по сравнению с Ближним Востоком и возможность производить больше бумаги, которую потом стали экспортировать, а не ввозить в этот регион. Однако Китай тоже использовал силу воды и природное топливо (в доменных печах) задолго до Англии и других европейских стран; и приметы «неорганической» экономики можно было найти и в других местах. То есть, пользуясь другими категориями, капитализм уже был хорошо укоренен, как и механизация и даже индустриализация. Точно так же одновременно с интенсификацией сельского хозяйства в «доиндустриальной» Голландии и Англии аналогичные события происходили в Италии и, как заявляет Померанц¹⁴⁵, в других регионах за пределами Европы, напоминая нам, что не следует напрямую основываться на данных совокупного роста в национальных политических объединениях (как предупреждал нас Ригли по поводу Англии или Британии), но скорее уделять внимание данным по конкретным регионам (имеет смысл добавить — и в конкретные периоды времени, поскольку в этом аспекте также существовали значительные различия). Юг Италии, процветавший при норманнах и в период исламского владычества, позже стал отсталой, «мафиозной» частью страны. Когда на историческую сцену вышли страны Североатлантического побережья, это произошло благодаря экспорту «органических» материалов — шерсти, а позже шерстяных тканей — из Британии во Фландрию или в Северную Францию, а затем в Италию. Эти страны смогли развить каботажную торговлю в Северном море и позже в Средиземноморье, что стало важнейшим событием своего времени.

Такие колебания между регионами зависели не только от закона убывающей доходности, сформулированного Рикардо. Сельскохозяйственные экономики существуют не в изоляции, по крайней мере со времен бронзового века, когда развитие этой сферы стало стимулироваться ростом городов и торговли, также поддерживавшей сельское хозяйство. Колебания вызывали разнообразные факторы, но, даже если рост не являлся устойчивым в краткосрочной перспективе, он становился таковым в долгосрочной. Отмечались колебания и между отдельными промышленными экономиками, где доминирующее положение Англии (относительно темпов роста) сменилось доминированием Германии, а затем Соединенных Штатов; при этом

¹⁴⁵ См.: *Pomeranz* (2000).

каждая из названных стран использовала свои специфические преимущества. Сегодня то же самое происходит с Китаем. Конкуренция и выгода — основные двигатели этого процесса.

Большинство западных историков, предпринимающих сравнительное изучение данной проблемы, включая Броделя и Вебера, сходятся в том, что даже после изучения данных по различным обществам они заканчивают тем же, с чего начинают, — считают Европу «истинной» родиной капитализма, ставшей таковой задолго до «великого расхождения». Эта позиция понятна, если рассматривать Европу XIX века, несомненно имевшую значительные преимущества. Но переносить эти преимущества назад, в раннее Новое время и в Средние века, означает сбрасывать со счетов множество достижений в экономике, технологиях, образовании и коммуникациях, которыми, несомненно, характеризовались другие общества, в том числе на ранних стадиях формирования «капитализма». Результатом такого подхода стало присвоение самой природы и «духа» капитализма (или, как выражался Бродель, «истинного» капитализма) и провозглашение его уникальным порождением Европы или даже какого-то региона Европы, например Англии или Голландии.

В заключении главы 4 я коснулся достоинств концепции «трибунтарных государств», распространившихся на всю Евразию и обеспечивавших постоянное развитие, начиная с «городской революции» бронзового века. Необходимо посмотреть на всю историю развития экономики на протяжении этих 5 тысяч лет. Я ссылаясь на развитие городских цивилизаций, рост производства товаров, появление новых идей и, следовательно, на зарождение рыночного капитализма. Разумеется, все эти сферы характеризовались нарастающим развитием, и ритм его ускорялся в связи с изменениями коммуникации вплоть до появления электронных СМИ. Среди различных аспектов этого развития самое большое значение имела широкомасштабная индустриализация, отличающая Британию конца XVIII века. Однако индустриализация, механизация и массовое производство развивались, хотя поначалу и медленно, и в других частях Евразии: в Китае — в производстве тканей, керамики и бумаги, в Индии — в производстве хлопка, позже переместившемся в Европу и на Ближний Восток, где к нему добавилось производство орудий войны, массово изготавливавшихся на фабриках с современной организацией труда (использовавших как частный, так и государственный капитал) — в литейных цехах и арсеналах по всему Средиземноморью. Так выглядит схема долгосрочного развития, которую имеет смысл рассматривать применительно к Евразии.

Если же мы усомнимся в том, что только Европа (и исключительно она) последовательно прошла стадии Античности, феодализма и капитализма, то придем к другой концепции — идее долгосрочного (иногда ускоренного, иногда медленного) развития городских культур от бронзового века к железному, к расцвету «классических» культур по всему Средиземноморью, а также в Китае и других регионах, к упадку Западной Европы, медленному, но непрерывному подъему Китая, постепенному возрождению городов на Западе и их постоянным отношениям с Востоком, что сопровождалось ростом торговой активности и развитием городских культур. Эти рыночные культуры пришли к диверсификации и механизации производства, что создало возможности для массового производства и, соответственно, импорта и экспорта. Но все эти процессы можно описать, не прибегая к концепции XIX века, согласно которой капитализм является особой стадией развития общества, и обойтись без предполагаемой последовательности этапов развития производства, ведущих к зарождению капитализма, последовательности, присущей исключительно Европе. Такой подход отменяет как европейскую периодизацию, так и предположения об издавна сложившемся превосходстве Европы.

Таким образом, изучение теорий Броделя приводит к вопросу: действительно ли нам нужна концепция капитализма, неизбежно подталкивающая любые попытки анализа в сторону европоцентризма? В своем труде Бродель, фактически, говорит о широко распространенной рыночной активности и сопутствующих ей проявлениях, которые, в конце концов, стали определять ситуацию в обществе. Это часто включает реинвестирование доходов в транспортные средства (корабли) или производство (ткацкие станки), но аналогичный процесс идет и во множестве сельскохозяйственных обществ. Фаза так называемого финансового капитализма является закономерным продолжением деятельности такого рода. Почему бы нам тогда не обойтись без уничижительных категорий, заимствованных из британских концепций XIX века, и не признать преемственность, существующую в развитии рынка и буржуазии с бронзового века до наших дней?

Часть III

Три института и три ценности

Глава 8. Похищение социальных институтов: города и университеты

На Западе существует распространенное мнение о том, что европейские города значительно отличались от восточных, особенно в аспектах, способствовавших становлению капитализма; мнение это наиболее ярко выражено Максом Вебером. Считается, что данное различие является результатом специфических обстоятельств жизни в Европе со времен заката Античности и в еще большей степени — особых политических и экономических условий, характерных для феодализма (способствовавших подъему «коммун» в Северной Италии). С этим рядом суждений связано весьма распространенное мнение о том, что история высшего образования началась с появления университетов в Западной Европе, первым из которых стал Университет в Болонье, созданный в XI веке¹. Согласно этой точке зрения, импульс, необходимый для качественного скачка в первые столетия после завершения Средневековья и определивший интеллектуальную жизнь Европы, породила та же совокупность факторов, которая, как считалось, дала начало европейским городам. Согласно точке зрения медиевиста Жака Ле Гоффа, в христианской Западной Европе на переломе XI и XII веков практически одновременно зародились города и университеты, хотя Ле Гофф больше интересовался интеллектуалами как отдельными индивидуумами, а не университетами как институтами. Он пишет: «Наиболее определяющим аспектом нашей модели средневекового интеллектуала

¹ См. например, исследование Хаскинса (1923, р. 7), где университеты рассматриваются как часть «возрождения XII века», стимулируемого достижениями арабского образования, хотя свидетельства об Университете Салерно — «древнейшем университете средневековой Европы» — обнаруживаются и в середине XI века.

является его связь с городом»². И то и другое явления считались специфически западными феноменами, связанными с модернизацией. Оба предположения достаточно спорны и иллюстрируют объединенные усилия европейских ученых, поддерживающих крайне европоцентристскую позицию даже перед лицом ясных свидетельств, предполагающих другую интерпретацию.

Города

Рассмотрим сначала города. Изучая Средние века, многие историки сосредоточивают свое внимание на анализе сельскохозяйственного сектора и феодальных отношений. Как заметил Хилтон, это особенно касается ученых-марксистов³. Тема городов отодвигалась на задний план, считаясь сравнительно маловажной для развития феодализма, по крайней мере на его ранних стадиях. Города возникли в европейской истории одновременно с первыми шагами по направлению к капитализму, отражая развитие от аграрного общества к индустриальному. Другие авторы, такие, как Андерсон, привлекали внимание к «городским анклавам» начиная с периода «высокого Средневековья», отказываясь при этом отделять их от влиявшей на них окружающей аграрной среды.

На Западе «объединенные городские сообщества, несомненно, представляли собой ведущую силу средневековой экономики в целом»⁴. Города крайнего запада Римской империи чрезвычайно пострадали от ее распада. Андерсон преуменьшает масштабы упадка городов, привлекая внимание к тому факту, что многие муниципии продолжали существовать, например, в Северной Италии. Позже, в новом тысячелетии, отмечается рост других городских центров, большинство которых «изначально поддерживались или защищались феодалами»⁵. Они скоро обрели «относительную автономию», создали новый слой патрициата и использовали в своих интересах конфликт между знатью и церковной властью, как в случае борьбы гвельфов и гибеллинов в Италии. Это означало «парцельный суверенитет», разрыв между аристократией и клерикальной властью, который был выгоден буржуазии, давая ей больше возможностей,

² *Le Goff* (1993). P. xiv.

³ См.: *Hilton* (1976).

⁴ *Anderson* (1974a). P. 190.

⁵ *Ibid.* P. 192.

для того чтобы играть ведущую роль в управлении городами. Однако на востоке бывшей Римской империи города (и горожане) продолжали существовать; им не требовалась защита крупных землевладельцев в той же мере, как на западе, хотя роль религиозных центров и «церковных городов» всегда была значительной.

Античные города не исчезли вместе с крахом Рима, и «вместе с городским населением, монументальными зданиями, массовыми играми, высокообразованными высшими классами [они] продолжали существовать, по меньшей мере, в виде столиц провинций в Западной и Южной Малой Азии, Сирии, Аравии, Палестине и Египте вплоть до вторжения арабов, а потом и под властью арабов»⁶. К VII веку Италия и даже Византия «значительно отличались от современного им (к тому времени находившегося под властью арабов) Ближнего Востока, где мы видим гораздо больше свидетельств продолжающегося развития комплексной экономики и процветания»⁷. На Западе же ситуация радикально изменилась. В Британии вышли из употребления гончарный круг и строительство из кирпичей с использованием извести; из оставшихся городов исчезли школы, гимназиев больше не было; в целом комплексной экономики римской эпохи более не существовало. Церковь и крупные землевладельцы заняли центральное место в жизни местных сообществ, особенно там, где «в городах исчезли школы», уровень грамотности снизился — в сущности, она сохранялась лишь на уровне «нескольких лучших семей»; культура, основанная на образовании, передавалась лишь усилиями частных учителей и спорадически — на уровне церкви. Однако на Востоке эта культура продолжала процветать вместе с христианством и другими культурами на протяжении всего VI века. К VII же столетию даже на Востоке отмечался недостаток книг (в частности, в Константинополе), и распространение образования сузилось до духовенства и собственно столицы⁸.

Рассматривая возрождение городов в более поздние периоды Средневековья, Маркс полагает, что европейский город внес ни с чем не сравнимый вклад в развитие капитализма. Эта позиция является неотъемлемой частью его европоцентристского видения происхождения и развития капитализма — начиная с Античности и далее к феодализму. Согласно Хобсбауму, для Маркса внутренняя динамика развития докапиталистических систем не представляла первооче-

⁶ *Liebeschuetz* (2000). P. 207.

⁷ *Ward-Perkins* (2000). P. 360.

⁸ См.: *Liebeschuetz* (2000). P. 210–211.

редного интереса, «за исключением того, в какой степени она объясняла предпосылки капитализма»⁹. В работе «Способы производства, предшествующие капитализму» он развивает свое представление о том, почему «труд» и «капитал» не могли появиться в какой-либо другой докапиталистической формации, кроме как в феодальной. Почему же считалось, что только феодализм позволяет без помех развиваться факторам, связанным с производством? Ответ, разумеется, лежит в принятых определениях труда и капитала, исключающих их из других типов организации общества. Иными словами, ответ в данном случае предопределен самим вопросом. Многие европейские ученые, чье внимание занимали достижения европейского общества в XIX веке, ставили перед собой сходные телеологические вопросы, что препятствовало анализу других типов общества как таковых или даже с «объективной» сравнительной точки зрения. У Маркса «предполагалось допущение, что европейский феодализм является *уникальным*, поскольку никакая другая форма не породила средневековый город, занимавший важнейшее место в теории Маркса относительно эволюции капитализма»¹⁰. Таким образом, о природе средневековых городов судили по городам, занявшим лидирующее положение в экономике XIX века. Однако, какой бы общей или подлинной уникальностью ни обладал «европейский город» (а это, по существу, так и остается под вопросом), она не обязательно связана с развитием капитализма. Действительно, Бродель считает, что одна из форм капитализма (торговый капитализм) является характерной для любых городов, где бы они ни находились; с его точки зрения, лишь финансовый капитализм является присущим исключительно Западу (еще один вывод, который я оспорил в главе 7).

Со времен Античности главные города северного побережья Средиземноморья снабжались по морю; пшеница доставлялась из Сицилии, Египта, Северной Африки и с побережья Черного моря. Большое значение имела также торговля другими товарами, такими, как масло и керамика. Однако позже между восточными и западными городами возникли более существенные различия. Европейские средневековые города (за исключением Стамбула) значительно сократились в размерах (что можно сказать и об их деятельности), и лишь в XIX веке Лондон или Париж смогли, наконец, сравниться в масштабах с императорским Римом¹¹. Из-за такого

⁹ Hobsbawm (1964). P. 43.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ См.: Geraci and Marin (2003). P. 577–578.

сокращения размеров и масштабов активности городов общий уровень обмена был ниже, чем ранее.

Городская жизнь начала возрождаться только тогда, когда в Средиземноморье вновь оживилась внутренняя торговля и возобновилась торговля с Востоком. И в той, и в другой важное место занимала Венеция, но она не была единственным городом в Италии, вовлеченным в торговлю такого рода. Важнейшую роль в возрождении торговли играли города вокруг Амальфи, к юго-западу от Неаполя, расположенного на юге Италии. Амальфи был не единственным портом, задействованным в торговле с Югом и, соответственно, с «сарацинами», которые «почти постоянно присутствовали в Тирренском море на протяжении IX века»¹². Скиннер предполагает, что Дольчибили, основатель Гаэты, был купцом, заработавшим состояние на торговле с мусульманами; в какой-то момент он «направил к Салерно арабов, чтобы помешать продвижению Папы»¹³.

Ближний Восток в целом способствовал не только ускорению развития торговли с Западной Европой. Его влияние можно проследить в организационной структуре и планировке европейских городов, в развитии европейской архитектуры в период, предшествовавший Возрождению, — как непосредственно, так и в результате торговых связей между Востоком и Западом, принесших в западные города обилие товаров. Территория Амальфи отличалась не самым благоприятным климатом; города строились в долинах рек, текущих к морю, но скалистые выступы, на которых они располагались, было легко оборонять, что оказывалось чрезвычайно важным при стремительных арабских набегах. Возможно, успешное отражение этих набегов способствовало тому, что население Амальфи и соседней Гаэты освободилось от владычества герцогов Неаполитанских. Все это специфическим образом повлияло на архитектуру и искусства региона.

«Дома Амальфи, соединенные друг с другом лестницами, пробитыми в скалах, значительно отличались в плане организации пространства и декоративного оформления от современных им зданий других областей Италии, а также от более простых и аскетичных строений раннего Средневековья. Комплексный характер этих домов нераздельно связан с деятельностью *меркатанции* (цехового объединения), поскольку финансовые ресурсы сообщества успешно распределялись и направлялись благодаря щедрым возможностям

¹² Skinner (1995). P. 32.

¹³ Ibid. P. 31.

окружающей среды. Материальных ресурсов на возведение таких домов не жалели, и в результате они с очевидностью превосходили основные требования к безопасности, становясь при этом объектами демонстрации [мастерства] и примерами творческого самовыражения.

Если само существование этих великолепных зданий зависело от прибыльности операций *меркатанти*, то их специфический вид отражал характер торговых операций жителей Амальфи. Их сложная планировка и замысловатая паутина орнаментов соответствовали североафриканским образцам строительства и украшения жилищ, чье влияние проявилось тогда в крупнейших светских и религиозных центрах. Многие сходные произведения североафриканского искусства располагались в таких прибрежных городах, как Тунис и Махдия, — центрах торговли, знакомых поколениям купцов Амальфи.

С XI по XIII века в этих городах *regnicoli* (местные жители) продавали древесину, зерно и ткани в обмен на золото, кожу и керамику.

Восприятию североафриканской стилистики способствовало присутствие мусульман в самом королевстве, а также имевшая долгую историю, хотя и фрагментарно проявлявшаяся здесь традиция исламского искусства. Некоторые орнаменты, используемые в Северной Африке, не казались необычными высшим кругам общества Амальфи, потому что были весьма сродни орнаментам на произведениях искусства малых форм, производимых в самом королевстве. Как и в отношении бань и самого купания, представляется очень вероятным, что такая утонченная строительная парадигма, подразумевающая создание внутренних дворов, дифференциацию пространства и развитую декоративность, являлась частью более широкой культуры изобилия, распространенной в данной части Средиземноморского бассейна и преодолевавшей всякие религиозные различия. С этой точки зрения амальфианцы напоминали состоятельных жителей Константинополя XII века, чья осведомленность об исламском искусстве и высокая оценка его достижений привели к тому, что в столице стали подражать подобным работам¹⁴.

Архитектурные вариации, вдохновленные примером исламского искусства, подразумевали и использование предметов, производимых за пределами Европы. Одной из основных статей импорта из Северной Африки и с Ближнего Востока была глазурированная керамика,

¹⁴ Caskey (2004). P. 113–114.

«один из товаров, наиболее широко доступных в Южной Италии и украшавших местный быт»¹⁵. Такие предметы часто использовались фрагментарно — как *тессеры** или даже постоянно — как *бачини***, являясь частью оформления церквей, особенно в Равелло, где они демонстрировали вкусы и возможности амальфианских купцов.

Равелло отличался южной «общей средиземноморской культурой», но там можно проследить и некоторые элементы культуры севера. Северное влияние стало заметным на юге, когда Парижский бассейн*** подчинил себе юг Франции, а в Италии норманны отбили у арабов Сицилию, уступив затем дорогу сначала династии Гогенцоллернов, а потом Анжуйской династии из Центральной Франции. Началась готическая эпоха с ее заостренными арками и расцветом геральдики¹⁶. Возможно, изначально готические арки были арабскими по происхождению; в любом случае в городской архитектуре наблюдалось сильное влияние Востока, особенно в таких городах, как Венеция.

Однако, несмотря на многообразное влияние восточных городов на западные, а также несмотря на моменты сходства между их городскими структурами, многие западные ученые считали, что азиатские города характеризуются структурными отличиями от городов поздней Европы (после XI века), вследствие которых именно в Европе стало возможным развитие капитализма, а в Азии — нет. Утверждается, что, несмотря на интенсивные контакты и взаимную торговлю с Европой, мусульманские города отличались от европейских. Социолог Макс Вебер полагал, что такие отличия были характерны и для городов Азии. Однако отправной точкой для аргументации этих ученых всегда были позднейшие достижения Европы, которые им нужно было как-то объяснить. В последнее время такая позиция подвергается обоснованной критике. Например, арабист Хурани пишет: «Ученые прошлых поколений склонялись к идее (в конечном итоге восходящей к Макс Веберу), что города в полном смысле этого слова существовали лишь в Европе, поскольку только в Европе можно было обнаружить “сообщество горожан”, пользующееся, по крайней мере, частичной автономией и управляемое избираемыми властями». Таким образом, восточные города не были

¹⁵ Ibid. P. 164.

* Игральная кость, марка или жетон.

** Разновидность глазурованной керамики.

*** Северо-Французская низменность, основной индустриальный и сельскохозяйственный район Франции.

¹⁶ См.: Caskey (2004). P. 165.

«настоящими городами»¹⁷. Данное утверждение опровергают современные исламские ученые, которые находят общие черты у тех и других¹⁸, как этого и следовало ожидать, принимая во внимание процессы урбанизации и развития торговли. В такой же степени сказанное справедливо для Индии¹⁹ и Китая²⁰.

Однако западное представление о собственной уникальности не сдает своих позиций без борьбы. Андерсон считает, что растущее могущество вновь появившихся западных городов основывалось на «частичной суверенности, присущей европейскому феодализму (и, соответственно, уникальной), что в корне отличало их от государств Востока с их более крупными городами». Наиболее зрелой западной организационной формой была коммуна, предполагавшая единство города и сельской округи, так как это был «союз, основанный... на взаимных клятвах в лояльности между равными, *conjunctio*»²¹. Такой взгляд на различия между Востоком и Западом объединяет Андерсона с Марксом, Вебером, Броделем и многими другими учеными. Свобода в «сообществе равных» ограничивалась узким кругом элиты, но само «зарождение института восходило к самоуправлению автономных городов», особенно в Ломбардии, после того, как там покончили с верховенством епископальной власти. В Англии города всегда были в какой-то степени зависимыми, так как они были «в полном смысле центральным экономическим и культурным компонентом феодального порядка»²². Андерсон продолжает: «На этой двойной основе впечатляющего прогресса в области сельского хозяйства и жизнеспособности городов возникли поразительные памятники “высокого Средневековья” — как произведения искусства, так и достижения человеческой мысли: величественные соборы (готическая архитектура была важнейшим достижением этого периода) и первые университеты»²³. Однако даже на древнем Ближнем Востоке некоторые города пользовались относительной автономией (особенно города-государства). Кроме того, положение дел в Северной Италии было нетипичным для остальной Европы. Города Фландрии и бассейна

¹⁷ См.: Hourani (1990); пер. автора, цит. по: Denoix (2000). P. 329.

¹⁸ См.: Denoix (2000).

¹⁹ См.: Gillion (1968).

²⁰ См.: Rowe (1984).

²¹ В действительности в исламском мире, например в Сирии, во времена Крестовых походов власть постоянно была поделена между калифом, имамом, или князем правоверных, и султаном и его эмирами, способными взять власть и на себя.

²² Anderson (1974a). P. 195.

²³ Ibidem.

Рейна существовали в рамках «хартий вольностей от феодальных сюзеренов». Оценка Андерсона игнорирует достижения (в эстетической и интеллектуальной сферах) как городских, так и сельских обществ во всех остальных регионах, например в мусульманских Гранаде и Кордове — где достижения в области архитектуры и образования возникли на совершенно другой основе.

Идея «парцельной суверенности», столь важная для большинства ученых, изучающих возникновение городов как таковых и, соответственно, развитие модернизации, является неотъемлемой частью представлений Андерсона о том, что феодализм является необходимым предшественником капитализма, поскольку:

1. Он допускает «рост автономных городов, оказавшихся на промежуточных территориях между разными владениями»²⁴. Однако, как мы видели, восточным городам не требовалось подобного «позволения»; фактически, они возникали и развивались по всей Евразии после «городской революции» бронзового века, являясь неотъемлемой частью политической экономии. Некоторые из городов пользовались большей автономией, чем другие. То же можно сказать об автономии церкви, которую Андерсон описывает как «сепаратную и всеобъемлющую». Однако все религии, основанные на «писаниях», фактически, имели определенную политическую независимость благодаря своей организационной структуре и владению собственностью.
2. Сословная система вела к возникновению средневековых парламентов. Однако вряд ли стоит думать, что народные собрания всякого рода существовали исключительно в Европе: какие-то формы консультативного участия или даже представительства были широко распространенной чертой многих способов правления повсюду в мире. Так же обстояло дело и с разделением на сословия, *Stände*, пользуясь терминологией Вебера.
3. Разделенный суверенитет был предпосылкой свободы не только городов, но и горожан. Однако такого рода «свобода» была присуща не только городскому населению Западной Европы; любые города располагали некоторой (незначительной) автономией, предполагали некоторую анонимность жителей и, соответственно, «свободу».

Свобода средневековых городов является одной из основных парадигм европоцентристских притязаний и заслуживает более глубокого рассмотрения. В другом месте Андерсон цитирует немецкую

²⁴ Ibid. P. 418.

поговорку: «Воздух города делает свободным» (*Die Stadt macht frei*). Но это высказывание применимо к любым городам, где бы они ни находились, поскольку любой город неизбежно предоставляет своим жителям определенную анонимность. Являются ли города в целом более свободными с политической точки зрения? Многие из них обрели определенную свободу в контексте занятий, возможных в городе, — мануфактурного производства, ростовщичества, юриспруденции, медицины, коммерции и выполнения административных функций. Однако Саутхолл замечает, что «создание города означает и резкое увеличение неравенства»²⁵, которое я бы отнес на счет возрастания экономической дифференциации, которую вызвало использование плуга (и ирригация). В этом смысле город всегда «эксплуатирует» сельскую округу, забирая произведенные ею излишки, чтобы его жители имели возможность жить и работать. В любом случае, помимо Северной Италии, европейские города мало где были свободны от всех форм политического и религиозного доминирования. В других местах так называемые вольные города получали некоторые финансовые свободы от сюзерена. В целом же города Западной Европы гораздо больше напоминали «азиатские города», чем считали многие ученые.

В широкомасштабном исследовании, посвященном городам, Саутхолл также замечает (хотя и принимая при этом деление Маркса на «западные» и «восточные» города), что, «несмотря на огромное разнообразие городов в разных регионах (и в разные эпохи), существует доказуемая преемственность их диалектических трансформаций с древнейших времен до наших дней, по мере того как они играли все большую роль в жизни людей»²⁶. Несмотря на преемственность, которую он наблюдает, Саутхолл вынужден «подгонять пространство и время, структурируя их в связуемые и осмысляемые отрезки, хотя любой анализ является насилием над реальностью»²⁷. С этой целью он выбирает «способы производства, описанные Марксом», обращение к которым, с моей точки зрения, не «минимизирует искажения», как он предполагал, а увеличивает их. Затем он принимает разделение между азиатскими и европейскими реалиями, практически не анализируя их.

Рассматривая феномен города, Саутхолл ограничивается не только обществами, появившимися после бронзового века. Он при-

²⁵ Southhall (1998). P. 14.

²⁶ Ibid. P. 4.

²⁷ Ibid. P. 1.

знает факт урбанизации у йоруба в Западной Африке (применяя термин «агрогород») и рост небольших городов в Чатал-Хююке и Хаджиларе (Анатолия), в Иерихоне (Палестина), в Ярмо (в предгорьях по течению Тигра), а также кое-где в Новом Свете и Юго-Восточной Азии²⁸. Тем не менее в целом развитие городов связывается именно с бронзовым веком. Однако Саутхолл пытается отделить азиатские города (которым посвящает большую главу примерно в 125 страниц) от европейских, частично на основе классификации Сюя, в соответствии с основными факторами цивилизации — кастами, классами и средствами устрашения. Такой угол зрения на города пренебрегает очевидными моментами сходства (к которым Саутхолл, фактически, привлекает внимание) в таких аспектах, как количество населения и его плотность, внутренняя организация, распространенные сферы деятельности, образовательные институты, рынки, больницы, храмы, торговля, ремесла, ссудное дело и гильдии. По всем этим критериям до XIX века города на Западе и Востоке различались весьма незначительно.

Университеты

Еще одна претензия на исключительность, высказываемая параллельно с утверждением об уникальности европейских городов, относится к природе институтов высшего образования, которая якобы в корне отличалась от их предшественников и неевропейских аналогов. Ле Гофф рассматривает и то и другое одновременно²⁹. Представление об академическом своеобразии Европы является производным от идеи, что только здесь города развивались в направлении, которое могло привести к капитализму, секуляризации, модернизации. Здесь, и только здесь, в обстановке растущей автономизации городского мира, учитывая экономические и торговые интересы зарождающегося социального класса (присущего лишь Европе), усиливающие интерес к миру природы, мы можем найти предпосылки возникновения университетов и науки, соответствующих общей тенденции прогресса и модернизации.

Однако такую позицию трудно защищать, когда мы рассматриваем другие города и другие страны; существуют свидетельства, что Европа после античной эпохи переживала период сравнительной

²⁸ Ibid. P. 18.

²⁹ См.: *Le Goff* (1993).

интеллектуальной бедности, которая была преодолена отчасти благодаря влияниям извне. Очевидно, что высшее образование существовало в античной Греции в виде Академии и Лицея. Эта тенденция продолжалась и в Римской империи.

«Школы можно было обнаружить в Александрии, Антиохии, Афинах, Бейруте, Константинополе и Газе; они, фактически, были университетами Древнего мира. Они отличались как по характеру, так и по степени важности: в Александрии одной из основных тем изучения было учение Аристотеля, а в Бейруте концентрировались на юриспруденции. Потребность в институтах такого рода значительно выросла в связи со значительным увеличением чиновничьего аппарата Римской империи в IV веке. Правительство требовало, чтобы административные служащие имели широкое гуманитарное образование и хороший литературный стиль, как ясно заявил император Константин в 357 году в эдикте, сохранившемся в Кодексе Феодосия»³⁰ (14.1.1).

За исключением Афинской школы, закрытой Юстинианом в 529 году, все другие школы находились в Азии и Африке. Тот факт, что в сфере христианского влияния такие институты были закрыты Юстинианом, показывает, что может сделать доминирующая религия для ограничения распространения знаний, хотя сама природа письменных религий, подразумевает, что какие-то знания должно сохранить. Христианство определенно ликвидировало существовавшие ранее институты высшего образования. Но церкви была необходима собственная форма обучения, хотя она и испытывала проблемы на уровне высшего образования, потому что классическое знание было языческим.

«К концу VI века упадок образования и культуры принял серьезный характер. Императорский университет Константинополя, восстановленный Феодосием II около 425 года, и новая церковная академия под управлением патриархата были единственными значимыми образовательными учреждениями в большей части империи; Александрийская школа продолжала функционировать, но она оставалась в изоляции. Тяжелое положение империи в целом не способствовало поощрению развития образования, и какому-то возрождению предшествовали события, еще более ухудшившие ситуацию и связанные с религиозными противоречиями по вопросу почитания

³⁰ *Reynolds and Wilson* (1974). P. 45.

икон. На протяжении трех столетий мы видим мало свидетельств об образовании и изучении классического наследия. Иконоборцы не были окончательно побеждены до 843 года, когда церковный Совет формально восстановил традиционную практику поклонения иконам. От этого периода сохранилось чрезвычайно мало рукописей любого характера, а также мало внешних свидетельств об изучении античного наследия»³¹.

До конца III века восток и запад Римской империи имели общую культуру; на удалении тысяч километров были обнаружены практически идентичные мозаики того времени³². Затем запад отказался от использования греческого языка, и по многим причинам разрыв между двумя частями империи продолжал увеличиваться. Значительные территории на западе в V веке попали под контроль «варваров», и в конце концов Италия стала остготским королевством. Сначала в нем продолжали процветать школы, но затем война стала угрожать самому их существованию, и вторжение лангобардов в 568 году нанесло по ним решающий удар, после которого «монастыри остались практически единственными институтами, обеспечивающими базовое знание грамоты»³³. Даже в Северной Африке, куда в 429 году вторглись вандалы-арийцы, направившие затем свой флот из Карфагена, чтобы установить контроль над Корсикой, Сардинией и Балеарскими островами, ситуация была лучше. Сначала вандалы не были заинтересованы в образовании, но впоследствии разрешили в Карфагене латинские школы, продолжавшие свою деятельность до завоевания города арабами в 698 году.

Египет и большая часть Ближнего Востока до арабского завоевания были христианскими, но упадок Западной Римской империи не так сильно повлиял на восточное христианство и экономику этих регионов. Города продолжали существовать, и даже арабское завоевание не разрушило там сложившийся образ жизни в той степени, в какой это сделали «варварские» вторжения и внутренняя слабость на севере. В самом деле, арабы были далеки от «варварства», являясь наследниками сложных культур Юго-Западной Аравии и Сабейского царства, обратившимися к религии «писания» (исламу), сравнимой с христианством и иудаизмом — вероисповеданиями, с которыми многие жители этих территорий уже были знакомы. Они

³¹ Ibid. P. 47–48.

³² См.: *Browning* (2000). P. 872.

³³ Ibid. P. 873.

являлись также наследниками известной поэтической традиции, поскольку жили на рубежах великих цивилизаций Ближнего Востока³⁴. Периоды упадка случались везде, но на юге и востоке Средиземноморья в большинстве своем продолжали существовать крупные городские центры, где наблюдалось много общих черт с городской и торговой жизнью античной Греции и Рима. Сравнительная неразвитость там художественной культуры, возможно, объяснялась запретами, обусловленными господствовавшими в этом регионе авраамическими религиями, а не более широкими причинами.

Итак, на Востоке традиция образования в некоторой степени продолжалась. Мы должны также принять во внимание еще один незаслуженно пренебрегаемый аспект истории передачи информации и культурных ценностей, а именно значимость перевода греческих текстов на восточные языки. «В каком-то смысле, когда в позднеантичный период греческие тексты начали переводить на арамейский, эта деятельность сконцентрировалась в городах Низибис и Эдесса»³⁵. Переводили не только библейские тексты, но и поэтические произведения, труды Аристотеля и Теофраста. Традиции греческой учености, почти бесследно исчезнувшие в Западной Европе, сохранились в переводах, однако латинская традиция продолжалась, хоть и спорадически, до наступления эпохи Возрождения³⁶. И латынь, и греческий язык способствовали относительной преемственности образования в школах, сохранившихся на Востоке после арабского завоевания, включая школу в Византии. В этом городе

«при благоприятных условиях был основан Университет Варды*, и он был, возможно, центром активно работавшей группы ученых, стремившихся к восстановлению и распространению самых разнообразных античных текстов... Классическое образование и обучение продолжались в XI веке почти в том же объеме... Философская школа, где также обучали грамматике, риторике и литературе, находилась под управлением Михаила Пселла (1017–1078), одного из самых разносторонних людей своего времени, прославившегося как крупный государственный чиновник, первый советник семи императоров, историк и философ. Его литературные труды показывают широкий кругозор в области классического литературного наследия,

³⁴ См.: *Conrad* (2000).

³⁵ *Reynolds and Wilson* (1974). P. 48.

³⁶ *Ibidem*.

* См. далее.

однако его интеллектуальные интересы в большей степени лежали в области философии. Его блестящие качества лектора и учителя привели к возрождению интереса к трудам Платона и, в меньшей степени, Аристотеля»³⁷.

Античная традиция образования продолжалась именно на Востоке — как с точки зрения сохранения интереса к греческим и римским авторам, так и в том, что касалось организации образовательных учреждений. Это не происходило плавно, однако последствия известных на Востоке разрывов в обретении и распространении знаний сказывались менее широко, чем долгосрочное и почти полное исчезновение образования и просвещения на Западе. Школа, в которой учил Пселл в XI веке, была основана значительно раньше.

«В 863 году регент императора Варда возродил Константинопольский университет*, исчезнувший в смуте прошедших столетий, создав в столице школу под управлением историка и математика Льва; одновременно были приглашены и другие учителя: геометр Феодор, астроном Феодег, а также знаток литературы Комет, который, возможно, специализировался на риторике и античной эпохе, а также подготовил отредактированную версию трудов Гомера»³⁸.

Эта школа продолжала функционировать даже после того, как политические катаклизмы временно прерывали ее работу.

«Судьба не всегда была благосклонна к школе. По причинам, которые были скорее политическими, чем интеллектуальными, преподаватели школы впадали в немилость при дворе, и самому Пселлу пришлось на какое-то время удалиться в монастырь; однако в свое время он вернулся к высоким придворным должностям, и, вероятно, школа продолжила свою работу».

Со времени своего основания Университет Варды (Константинопольский университет) пережил многочисленные изменения — например, в области специализации. Это значительно приблизило его к современным представлениям о высшем образовании.

³⁷ *Reynolds and Wilson* (1974). P. 54, 60.

* Магнавская школа.

³⁸ *Reynolds and Wilson* (1974). P. 51.

«Основное изменение в эту эпоху заключалось в реорганизации университета; неизвестно, было ли оно вызвано упадком этого института в той форме, в которой он был основан Вардой, но новый формат предусматривал появление факультета права и философского факультета. Изменения произошли в 1045 году под руководством императора Константина IX Мономаха. Школа права не занимает нас здесь, за исключением того, что она была основана на несколько лет раньше, чем известное аналогичное учреждение в Болонье, от которого берут свое начало современные юридические факультеты [в Европе]»³⁹.

Итак, восточные модели, возможно, способствовали формированию научного сообщества в знакомом нам виде.

В Западной Европе отсутствие преемственности в традиции классического образования (особенно греческой) было явственно выражено в церковных и монастырских школах, возродивших некоторую научную деятельность. Эти школы предшествовали появлению первых университетов в Болонье и других местах в XI–XII веках, свидетельствовавшему о восстановлении высшего образования после упадка западного образования как такового, ставшего следствием исчезновения Западной Римской империи. С появлением этих новых институтов знания, в том числе научные, начали накапливаться и распространяться на Западе быстрее, чем на Востоке. Они стали одним из компонентов возрождения, наступившего после упадка, изобилия, ставшего результатом этого возрождения и ярко представленного в картине Боттичелли «Рождение Венеры». До тех же пор общий уровень распространения знаний был выше на Востоке, как мы видим, сравнивая объемы фондов тогдашних библиотек, — разница была огромной, как правило, из-за того, что на Востоке бумага имела в изобилии и использовалась гораздо чаще, чем менее доступная кожа животных или папирус⁴⁰.

Помимо Болонской школы существовала школа в Салерно (юг Италии), описанная Кристеллером как «справедливо называемая первым университетом средневековой Европы»⁴¹. Школа в Салерно специализировалась на практической медицине; столь необходимые для исследований вскрытия проводились там на животных. Из-

³⁹ *Reynolds and Wilson* (1974). P. 54, 60.

⁴⁰ См.: *Djebar* (2005). P. 22–23.

⁴¹ *Kristeller* (1945). P. 138.

вестность, которую обрела эта школа в сфере медицины, впервые достоверно отмечается в источниках, относящихся к 985 году; при этом нет свидетельств, что школа существовала до середины X века. Важно, что она продолжала поддерживать контакты с Востоком (греческим). Одним из наиболее ранних авторов, ассоциируемых с Салернской школой, был Константин «Африканский», постриженный в монахи в Монте-Кассино. Считается, что он

«...был первым переводчиком арабских научных трудов, распространившим их на Западе. Красноречивые выступления гуманистов Возрождения и современных националистов не должны затмевать в наших глазах того исторического факта, что в XI–XII веках арабская наука определенно превосходила европейскую (включая ранние достижения Салернской медицинской школы) и что перевод арабских материалов означал определенный прогресс, увеличивая объем доступной информации. То же справедливо в отношении переводов с арабского языка греческих трудов, по той простой причине, что в то время арабы располагали гораздо большим количеством греческих научных трудов, чем латинский мир, и они внесли в развитие греческого наследия значительный вклад — как в виде комментариев к греческим источникам, так и в форме самостоятельных трудов»⁴².

Разумеется, не все зависело от переводов с арабского языка. Множество трудов Гиппократ, Гален и других античных медиков были доступны на латыни. Тем не менее переводы Константина имели большее значение, создав основу для преподавания медицины «на долгие времена»⁴³. Арабское влияние началось с переводов Константина, после появления которых в работах ученых Салернской школы, начиная с конца X века, стало меньше схоластики и выдумок⁴⁴. Преподавание в школе приобретало «все более и более теоретические черты»⁴⁵ и, возможно, было перенесено в Париж.

Итак, мы увидели, что, до того как был основан Болонский университет и другие европейские институты высшего образования, на Востоке уже существовал Университет Варды. Дискуссия велась и по вопросу о том, насколько возрождение этих институтов зависело

⁴² Ibid. P. 152.

⁴³ Ibid. P. 153.

⁴⁴ Ibid. P. 155.

⁴⁵ Ibid. P. 159.

от внешних стимулов, исходивших от исламского мира, унаследовавшего александрийские учебные заведения и библиотеку, а также значительное количество античных текстов («древнюю науку»), или же его причиной были внутренние тенденции, связанные с развитием гуманизма, которые и привели к эпохе Возрождения. Рассмотрим сначала то, что происходило в сфере образования в исламских странах, — эта тема недавно получила отражение в работе Макдиси «Возникновение колледжей» (1981).

Образование в мусульманском мире

Изучение грамматики и риторики продолжилось именно на Востоке. На Западе, как я уже говорил, города и находившиеся в них школы часто приходили в упадок. Разумеется, и при христианстве, и при исламе существовала неопределенность в отношении возможности продолжения классического образования; Юстиниан принимал строгие меры, направленные против «языческой» культуры. Однако неизменное использование греческого языка на Востоке означало, что труды классиков Античности были там более доступными, в том числе и для арабов, появившихся в этом регионе в VII столетии. Затем возникло всемирное религиозное пространство ислама протяженностью от юга Испании до Северного Китая, Индии и Юго-Восточной Азии, что позволяло информации и различным изобретениям легко циркулировать по всей Евразии. И именно через арабов на Запад попало множество античных и других текстов, проложив путь возрождению образования. После падения Римской империи в Александрии и Афинах продолжала процветать философия. В Александрии Музей «функционировал как университет с акцентом на исследовательской работе»⁴⁶.

Однако, хотя даже после падения Рима за пределами Европы продолжали функционировать различные школы, университет стал формой социальной организации, возникшей, согласно Макдиси, только на христианском Западе во второй половине XII столетия⁴⁷. Университеты Европы явились «новым продуктом»⁴⁸, в корне отличным от греческих академий в Афинах и Александрии и полностью чуждым исламскому опыту. Макдиси утверждает, что высшее

⁴⁶ *Childe* (1964). P. 254.

⁴⁷ См.: *Makdisi* (1981). P. 224.

⁴⁸ *Ibid.* P. 225.

образование на Западе не только не было продуктом античного мира, но и не уходило корнями в предшествующие его появлению школы при соборах и монастырях; оно было совершенно иным и с точки зрения организационной структуры, и с точки зрения предметов изучения⁴⁹. Более того, по его мнению, оно ничем не обязано исламской культуре, в которой отсутствует абстрактная концепция корпорации, а правоспособностью наделяются только отдельные субъекты. К тому же европейские университеты получали привилегии либо от короля, либо от Папы, и ученые могли проживать в тех городах и странах, гражданами которых не являлись (как в исламских странах).

Однако Макдиси, решительно отрицая любое влияние на Европу принятых в исламском мире образовательных практик, пренебрегает тем фактом, что подъем университетов в Европе совпадает с общим возрождением образования в XII веке, когда значительное количество знаний пришло в Европу из мусульманской (до 1091 года) Сицилии, но в основном — из арабской Испании. Более того, хотя считалось, что университеты и отличались от медресе, которые в X–XI веках появились по всему мусульманскому миру, существовали «значительные параллели систем образования в исламском мире и на христианском Западе»⁵⁰. Действительно, некоторые ученые заявляли, что средневековые университеты многое позаимствовали у арабских образовательных учреждений⁵¹. Существовали также предположения о том, что колледжи «как учреждения, созданные на благотворительной основе, были определено присущи исламу»⁵² и существовали благодаря *вакфу* (значительному пожертвованию). Париж был первым западным городом, где коллеж был основан в 1138 году пилигримом, вернувшимся из Иерусалима, возможно, по образцу медресе, как объединение ученых, созданное отдельным человеком без королевской хартии. То же можно сказать о колледже Баллиол в Оксфорде до того, как он получил статус корпорации. Мы уже отметили, что Макдиси признает сходные черты между колледжами на Востоке и Западе, а также возможное влияние, которое исламские образовательные институты могли оказывать на институты европейские. Тем не менее этот ученый настаивает, что европейские университеты как корпорации не имели эквивалентов и что

⁴⁹ См.: *Rushdall* (1936).

⁵⁰ *Makdisi* (1981). P. 224.

⁵¹ См.: *Ribera* (1928). I. P. 227–359.

⁵² *Makdisi* (1981). P. 224.

лишь благодаря их уникальной природе смогли развиваться современные образование и наука. Сущность различий между колледжем и университетом определяется благодаря тому, что существовали образовательные институты, сочетающие и те и другие признаки (как, например, Йель). Университет являлся гильдией, то есть изначально — корпорацией глав колледжей, выдающей некие патенты (об образовании), тогда как колледж являлся благотворительным учреждением для бедных студентов университета⁵³.

Нидэм также считает, что именно благодаря университетам удалось преодолеть отсталость Запада в науке и проложить путь к «современной науке». Однако Элвин сомневается в том, что подобных образовательных институтов не было в Китае, заявляя, что там существовало как высшее образование, так и соответствующие институты⁵⁴. Однако, хотя университеты и являлись институтами получения высшего образования, они были не единственным местом, обеспечивавшим такое образование, причем разница между такими учреждениями не была очень значительной. Институты высшего образования существовали на древнем Ближнем Востоке при храмах (как своеобразные «исследовательские центры»), в античном мире, в Древней Персии и, фактически, везде, где присутствовал высокий уровень знаний. Точка зрения, согласно которой университеты, как и города, были исключительно европейским явлением, является очень ограниченной и носит выраженный телеологический характер. То, что университеты представляли собой корпорации, в долгосрочной перспективе сыграло значительную роль, но это не означает, что институты высшего образования не могли функционировать на какой-то иной основе — даже несмотря на то, что их европейская разновидность стала в большинстве случаев (хотя и не всегда) общепринятой в современном мире.

Наибольшую полемику вызвал исламский институт медресе. Считалось, что медресе взяли на себя контроль над библиотеками (*dār al-‘ilm*) в раннеисламский период, когда сунниты попытались вернуть обучение к ортодоксальным нормам. Медресе последовательно концентрировались на религиозном образовании, и поэтому их вряд ли можно сравнивать с европейскими школами, но аналоги многих аспектов обучения и курсов все же могут быть обнаружены и здесь. В любом случае, несмотря на то что медресе придавали главное значение религиозному образованию, «достижения зару-

⁵³ См.: *Makdisi* (1981). P. 233.

⁵⁴ См.: *Elvin* (2004).

бежной науки» (то есть греческой, персидской, индийской и китайской) изучались повсюду — в библиотеках, судах и медицинских учреждениях. Более того, изначально и европейские университеты концентрировались на религиозном образовании, так что медицинская специализация Болоньи и юридическая — Салерно были необычными явлениями.

Изначально исламское образование финансировалось взносами отдельных филантропов. Однако образовательные учреждения как таковые появились лишь после формализации благотворительности с помощью закона о *вакфе*, благодаря которому благотворительные учреждения стали постоянными и появились в X веке в значительном количестве⁵⁵. Учреждение мечетей (*масжид*), где начиналось изучение основ ислама, произошло раньше, по меньшей мере в VIII веке, — но и здесь обучение основам религии было организовано благодаря благотворительности.

В X веке Бадр Багдадский* создал новый тип образовательных учреждений, получивших название *масжид-хан*, — комплекс для проживания и обучения студентов, не являющихся жителями данного города. Это стало предпосылкой для нововведений Низамаль-Мулька, которые относились прежде всего к официальному статусу медресе, а не к их учебному плану, хотя и в нем также произошли изменения; Низамийя** была создана в 1067 году. Но никто из этих политиков — ни Бадр, ни Низам — не являлся в действительности основателем этих учреждений, последовательно выросших из ранее существовавших школ. Они были созданы для поддержки суннитского направления в условиях распространения шиизма, вторжений крестоносцев и общей потребности в формализации ислама и исламского права.

Макдиси отказывает медресе в статусе университета, поскольку оно являлось не корпорацией, а благотворительным учреждением; ислам никогда не заимствовал у Запада корпоративной структуры, которую Макдиси считает новой формой бессрочного владения, присущей XIV веку. Он считает, что такая форма была более гибкой на Западе и привела к более либеральной интерпретации «права мертвой руки»*** и, хотя бы отчасти, к расхождению между двумя цивилизациями. Тем не менее в европейской и мусульманской образова-

⁵⁵ См.: Makdisi (1981). P. 28.

* Бадр ибн Хасанавайх.

** Одно из высших духовных учебных заведений Багдада.

*** Неотчуждаемое право собственности на недвижимость.

тельных системах было и много перечисляемых им совпадающих элементов:

- «1) вакф или благотворительный фонд... *особенно* если основатель создает свое благотворительное учреждение по собственному волеизъявлению, не пользуясь посредничеством правительства или церкви;
- 2) и медресе, и коллеж создаются на основе вакфа или благотворительного фонда, их основателями являются выпускники или студенты учебного заведения... другими совпадающими признаками этих институтов, среди прочего, являются труды основателя, его свобода выбора и ограничения, объект благотворительности и необъявленные мотивы, а также наблюдатели и бенефициарии (то есть те, на кого направлена благотворительная деятельность);
- 3) воля верховного правителя при создании университетов на западе исламского мира, в христианской Испании и Южной Италии;
- 4) развитие двух форм диалектического мышления — спекулятивного и используемого в юриспруденции;
- 5) обсуждение сущности юридических и богословских изысканий;
- 6) уникальный статус *мударриса* — преподавателя юриспруденции в медресе, и аналогичный статус профессора права в университетах Южной Европы, начиная с Болонской школы;
- 7) *дарс ифтитахи* и *инцептио* (соискание получения степени);
- 8) *мюид* и *репетитор* (преподавательская должность);
- 9) шахид и нотариус...
- 10) *khadim* и студент, работающий университетским служителем за стипендию;
- 11) лекция и два набора трех идентичных значений слов *qara'a* и *legere*;
- 12) *ta'liqua* и метод *reportatio*;
- 13) наличие свода основных принципов...
- 14) тщательный контроль...
- 15) подчиненность словесных искусств трем главным факультетам: юриспруденции, теологии и медицины — вызванная односторонней приверженностью диалектическому методу и дискуссиям»⁵⁶.

⁵⁶ *Makdisi* (1981). P. 287–288.

И хотя Макдиси не считает медресе университетом (наличие таковых он полагает важнейшим признаком различия между Востоком и Западом), он согласен, что позднее Восток «заимствовал университетскую систему, дополнив ее мусульманскими элементами»⁵⁷. Ранее такого рода заимствование могло идти в другом направлении, так или иначе затрагивая преподавание. Если не учитывать вопрос о корпоративном характере университетов и роли магистров в управлении ими, то получается, что высшее образование существовало и на Западе, и на Востоке. Однако все эти дискуссии основаны на чрезвычайно узком понимании того, что такое «университет». Совершенно очевидно, что исламский мир с ранних этапов своего существования имел структуры получения высшего образования — как религиозного, так и правового. Стимулировало ли наличие этих учреждений развитие образования в Западной Европе, является спорным вопросом, но между восточными и западными образовательными структурами прослеживаются очевидные параллели, как, впрочем, и в других культурах с широко развитой письменностью. Возможно, более важным отличием было то, что в исламском мире образовательные учреждения были практически полностью сконцентрированы на религиозных вопросах, тогда как в Европе, хотя богословие изначально также доминировало в высшем образовании, под эгидой университетов развивалось и изучение других предметов, и постепенно светское знание становилось все более важным. В мусульманском же мире светские предметы приходилось изучать где-либо еще, вне этих структур.

Очевидно, что любая письменная культура должна иметь и школы, где дети обучаются чтению и письму, — то есть должна располагать учреждениями, в которые дети поступают, отрываясь от своего естественного окружения и обычных занятий: ухода за скотом, присмотра за младшими детьми и таскания воды (особенно если речь шла о девочках), и оказываются в замкнутом пространстве класса или места молитвы перед учителем (или учительницей), где они учатся не только писать, но и запоминать содержание книг (а иногда и некие жизненные уроки). Неизбежно происходит разделение школ; в одних учили начаткам знаний, что применительно к религиозным школам сводится к изучению катехизиса в католицизме⁵⁸, а в исламе, возможно, к заучиванию наизусть Корана, то есть Слова

⁵⁷ Ibid. P. 291.

⁵⁸ См.: *Furet and Ozouf* (1977).

Божьего. В то же время некоторых учеников, показавших свою одаренность, могли посчитать способными в будущем стать учителями или занять управленческие должности (поскольку грамотность являлась важной частью социальной структуры) и предложить им дальнейшее обучение. К тому же некоторые ученики могли избрать этот путь из любопытства и стремления к знаниям. Таким образом, в письменных культурах возникает потребность в неких формах «высшего образования». Оно могло быть разнообразным — от индивидуального обучения до разного рода объединений, и неудивительно, что информация об образовании такого рода можно получить и из китайских⁵⁹, персидских⁶⁰, исламских источников, и из источников, относящихся к Древнему миру⁶¹. Существовало оно и на древнем Ближнем Востоке. «Исследовательские центры» при храмах существовали в Вавилоне и в эллинистический период⁶². Чайлд пишет также об Университете в Гондишапуре, крупнейшем несторианском центре обучения медицине в сасанидском Иране (530–580), захваченном арабами, и о возрождении там медицинских и других исследований при багдадских калифах (750–900). Это учреждение было чрезвычайно важным для развития медицинской науки, к которой в среде арабов, сохранивших данную часть «древнего знания» и продолживших развивать ее в больницах и медицинских школах (*маристан*), не испытывавших религиозных ограничений, всегда относились особо⁶³.

В исламской науке всегда существовало разделение между «религиозным» и «иноземным», или «древним», знанием. Оно привело к неправильному пониманию роли медресе — исламских институтов высшего образования. Медресе и «начальные школы» при них концентрировались исключительно на религиозном образовании. Как же при этом в исламском мире могли процветать «иноземная наука» и «древнее знание»? Изначально это могло быть возможным благодаря взаимодействию традиционных (медресе) и «рационалистических» форм обучения, какими были *дар аль ильм* («дома знания»), впоследствии поглощенные медресе. Главным препятствием для развития любого нерелигиозного знания в учебных заведениях, существовавших на благотворительной основе, был мусульманский *вакф*, предполагав-

⁵⁹ См.: Elvin (2004).

⁶⁰ См.: Childe (1964).

⁶¹ См.: Reynolds and Wilson (1974). P. 47–48.

⁶² См.: Childe (1964). P. 255.

⁶³ См.: Makdisi (1981). P. 27.

ший исключение из учебного плана всего «языческого». Однако это не полностью исключало «иноземные науки» из интеллектуальной жизни исламских обществ. Знания такого рода были представлены в библиотеках, где «хранились труды греков и происходили диспуты на рационалистические темы»⁶⁴, однако подобные исследования должны были проводиться в частном порядке. Итак, доступ к «древнему знанию» в разное время существовал и поддерживался в определенных местах, «несмотря на противодействие традиционалистов, периодические запрещения и аутодафе». Однако противопоставление наук было связано и с институтами обучения; исламу обучали в мечетях, тогда как светское образование было полностью частным.

Рассмотрим теперь не столько происхождение образовательных институтов, сколько параллели, множество которых можно отметить между исламскими и христианскими учебными заведениями. В самом деле, во многом различные методы, принятые в исламском образовании, предшествовали по времени основанию первого европейского Университета в Болонье, преподаванию права, а также появлению Университета Варды в Византии. Методы *sic et non* («да и нет», являвшийся важнейшим в трудах схоластов, в частности Фомы Аквинского), *questiones disputatae* («спорные вопросы»), *reportio*, а также юридическая диалектика могли иметь более ранние параллели в исламской системе образования⁶⁵. По поводу исламского влияния на Европу Монтгомери Уотт, в противоположность Грюнебауму, замечает: «Поскольку Европа противостояла исламу, в ней преуменьшали влияние сарацин и преувеличивали зависимость от греческого и римского наследия. Поэтому сегодня для нас, западноевропейцев, коли мы вступаем в эру единого мира, важной задачей является корректировка этого преувеличения и полное признание нашего долга перед арабским и исламским миром»⁶⁶. Этот долг касается не только «естественных наук»⁶⁷, но и организации обучения, то есть самих образовательных учреждений и их учебных планов, невзирая на преобладание религиозного обучения в медресе и различие «древней» (то есть современной) и религиозной науки, что сделало обучение светским наукам в исламском мире куда более сложным делом.

⁶⁴ Ibid. P. 78.

⁶⁵ Ibid. P. 224.

⁶⁶ Watt (1972). P. 84.

⁶⁷ См. краткий обзор в кн.: *Djebbar* (2005).

Гуманизм

История образования на Западе тесно связана с секуляризацией обучения и ослаблением религиозного контроля (если не освобождением от него). Эта тенденция в значительной степени усилилась с появлением «гуманизма», усилением внимания к «языческим» греческим и римским авторам, возрождению классического знания, что отчасти произошло благодаря арабскому влиянию. Здесь я хотел бы рассмотреть «гуманизм» в контексте образования, его вклад в развитие секуляризации, столь важной в современном мире, а также довольно неоднозначную роль, которую сыграл в этом европейском движении ислам.

Несмотря на рост мануфактурного производства и торговли, рассматривать Средневековье как прогрессивную фазу в контексте общемирового развития (в отличие от его роли для пережившей крах Европы) означало бы пренебрегать упадком письменной культуры, городского общества и всех связанных с ними видов деятельности. Падение Рима повлекло за собой значительное снижение грамотности и образовательной деятельности, столь важных для быстрого развития общества в период после бронзового века. Светское образование стало развиваться вновь лишь с распространением гуманизма и в конечном итоге вновь обрело прежние масштабы в эпоху Возрождения. Это коснулось не только классического образования и других сфер знания — таких, например, как архитектура, — но и систем знания в целом. Как определенно показывает Нидэм на примере ботаники⁶⁸, в раннем Средневековье наблюдался спад в науке в целом, сопровождавший упадок городов и существовавших в них ранее школ, а также значительное уменьшение торговли в Средиземноморье и других регионах. Экономическая ситуация начала меняться с открытием торговли с Востоком, после того как прошел первый шок, вызванный арабским нашествием, но образование изначально стало возрождаться строго в рамках церкви, в результате чего бо́льшая часть «древней науки» была исключена из него, как «язычество». Такое положение изменялось с развитием коммуникации: в пространственном отношении — с восточными странами, в хронологическом — с античными культурами. И ни та, ни другая сторона коммуникации не была христианской.

⁶⁸ См.: *Needham* (1986a).

Знания, образование и искусство связаны, разумеется, не только с экономикой. В высшей степени характерным для христианского и исламского мира (но не для Китая, избежавшего преобладания единственного вероисповедания или «мировой религии» с важными последствиями для «гуманизма») стал контроль, осуществляемый религией в этих сферах. Религиозные власти контролировали образование и доминировали в сфере искусства, по меньшей мере, на «высшем» уровне. Вслед за иудаизмом ислам на протяжении многих веков запрещал изобразительное искусство (включая драматургию), и такое положение в некоторых регионах сохраняется по сей день. Изначально и христианство вызывало сомнения по тому же поводу, но в конце концов оно позволило развиваться этим видам искусства, хотя вплоть до эпохи Возрождения они находились исключительно на службе религии. До этого периода в Европе появилось чрезвычайно мало произведений светской драматургии, примеров светской живописи и даже художественной литературы⁶⁹. Авраамические религии рассматривали образование как часть веры, а следовательно, предполагалось, что преподаванием будут заниматься служители этих религий.

Когда же мировые религии ослабили мертвую хватку, которой удерживали в своих руках обучение и преподавание (что, кстати говоря, предопределило распространенность религиозных школ)? В Китае вообще не было доминирующей религии, за исключением культа императора и предков. В Европе процесс освобождения предположительно уходит корнями в гуманистические тенденции XII–XIV веков, на появление которых значительно повлиял ислам. Ключом к пониманию ситуации в исламском мире является борьба между традиционной и другими формами обучения. Традиционная форма победила все остальные, особенно в Багдаде (культурном центре исламского мира), и во времена Великой инквизиции это привело к триумфу права и медресе, в которых ему обучали. Обучение «древним наукам», как мы видели, было оставлено частным учителям. Однако «подводные течения» светской «иноземной» науки и получаемые ею знания не всегда оставались в пренебрежении по отношению к традиции, определяемой религией; они периодически вырывались вперед, порождая «гуманистические» фазы в рамках собственно исламской культуры, внося вклад в сохранение и приумножение научного знания и методов исследований, доступных в разные времена, что способствовало пробуждению Европы.

⁶⁹ См.: *Goody* (1997).

Гуманизм не отрицал религиозных верований, за исключением их крайних форм. Однако он ограничивал их значимость и, соответственно, в каком-то смысле перекликался с традициями скептицизма и агностицизма, которые, как я уже говорил, широко распространены в любых обществах⁷⁰. В Европе эти традиции поддерживались не только гуманизмом, но и наступившей позже Реформацией, которая в некотором смысле освободила Европу от существовавших догм — или указала путь для освобождения. До этого же обучение чтению и письму на всех уровнях находилось в руках католической церкви. Реформация неизбежно разрушила эту монополию, хотя и после нее множество учителей были клириками, и религиозные цели образования не были забыты, а лишь сконцентрированы в более узких «духовных» рамках. Эти процессы стали важным аспектом модернизации, поскольку усовершенствованные научные исследования и научная мысль в целом предполагали секуляризацию природы — в том смысле, что вопросы могли возникать во всех актуальных областях, и особенно в стенах высших учебных заведений.

В Европе такие заведения возникли в XII столетии и получили название университетов. Это событие стало частью общего возрождения образования в Западной Европе, где до того наблюдался общий упадок в данной сфере. Западные историки часто считают университеты фактическими родоначальниками высшего образования как такового, расценивая его как независимое, спонтанное проявление гуманизма, однако в действительности эти учебные заведения были явно связаны с церковью и подготовкой клириков — как и исламские медресе. Тем не менее университеты сыграли значительную роль в модернизации Европы, особенно после того, как обрели определенные гуманистические черты и отказались от некоторых религиозных функций.

С середины XV века развитию образования чрезвычайно способствовало книгопечатание, то есть механизация письма. Книгопечатание помогло протестантам сделать Библию более доступной для населения, оно также способствовало развитию секуляризации и науки благодаря распространению новой информации и новых идей. Печата-ние с деревянных клише пришло в Европу из Китая между 1250 и 1350 годами. Изготовление бумаги стало известным в XII веке (появившись в Европе через арабскую Испанию). Около 1440 года в Майнце (Германия) было разработан способ книгопечатания с по-

⁷⁰ См.: *Goody* (1998). Ch. 11.

мощью наборного шрифта; и вскоре весь сложный процесс производства книги перешел из рук переписчиков к наборщикам и печатникам, быстро распространяясь по Европе: в Италию книгопечатание пришло в 1467 году, в Польшу и Венгрию — в 70-е годы XV века, в Скандинавские страны — в 1483 году. К 1500 году с помощью печатных прессов в Европе было изготовлено около 6 миллионов книг, и континент стал гораздо более «просвещенным». Благодаря книгопечатанию было распространено множество более ранних трудов, стала доступной новая информация, что способствовало развитию тенденций итальянского Возрождения.

Именно на основе возврата к изучению классической литературы в период раннего Возрождения в Северной Италии XIV века Европа провозгласила для себя цивилизационные ценности под общим названием «гуманизм». Классическое наследие преподавали просветители, которых с конца XV века стали называть *гуманистами (humanisti)* — ими были преподаватели или студенты, специализирующиеся на классической литературе. Это слово возникло из термина *studia humanitatis*, соответствовавшего греческому понятию *paideia* и включавшего грамматику, поэзию, риторику, историю и нравственную философию. Лишь часть этих наук входила в религиозное образование как в христианском, так и в исламском мире. Однако термин *humanitas* имел еще и более широкое нравственное значение в смысле «развития человеческих добродетелей во всех формах, в полном объеме», то есть развития не только качеств, связываемых в современном мире со словом «гуманизм», — «понимания, доброжелательности, сострадания, милосердия, — но и других, питающих большую активность, а именно силы духа, здравомыслия, дальновидности, красноречия и честности»⁷¹. Другими словами, позитивные характеристики гуманизма как такового стали относить именно к европейской эпохе Возрождения. Итак, концепция гуманизма обрела три основных значения: 1) возвращение к существовавшим ранее письменным источникам знания, что для Европы означало возвращение к античному наследию; 2) максимальное развитие человеческих добродетелей и потенциала человека, и кроме того; 3) обозначение времени, когда религия играла сравнительно ограниченную роль в интеллектуальной деятельности общества, и ситуации, которая сегодня часто рассматривается как предпочтительное, «современное» положение вещей, как некий триумф секуляризма в большинстве контек-

⁷¹ Grudin (1997). P. 665.

стов, значительное расширение свободы изысканий в интеллектуальной сфере.

Гуманизм включал в себя не только возрождение интереса к античному знанию, которое итальянский поэт Петрарка (1304–1374) считал сопоставимым с христианской духовностью, но и возросший интерес к знаниям о реальном мире, а также поощрение так называемого индивидуализма, сочтенного благотворным для человечности, и всех тех «добродетелей», которые рассматриваются в главе 9. Помимо обращения к образованию и «добродетелям» были предприняты попытки возрождения древнеримских институтов, самой республики, проводились награждения лауреатов, воскресла латинская эпическая поэзия (как и интерес к национальному стихосложению, *canzoniere*); теперь поэзия воспринималась как «серьезное и благородное занятие» (в исламском мире ее значение ранее тоже принижалось). Фактически, слово «гуманизм» вполне приложимо к другим цивилизациям, периодам и местам. Согласно Зафрани⁷², в исламском мире тоже отмечались «гуманистические» фазы развития — в Магрибе в период такой фазы углубилось изучение наук, не связанных с теологией, то есть светская наука получила большую свободу. В конечном счете именно исламская культура — иногда неохотно, иногда с энтузиазмом — способствовала перенесению и распространению не только собственных, но и древнегреческих «языческих» идей с помощью высших учебных заведений, медресе и академий. Однако основные тенденции к секуляризации школ проявились позже в христианской Европе.

Секуляризация образования в исламе была гораздо проблематичнее — хотя в мусульманском мире образование ценилось высоко, в основном оно заключалось в изучении богословских предметов, поскольку «в истинном смысле учение *есть* поклонение Богу»⁷³. Боле того, образование подчинялось религиозным требованиям; впоследствии ислам отверг печатный станок, поскольку с религиозной точки зрения ни слова Пророка, ни его язык не должны были воспроизводиться механическими средствами. Несмотря на значительные успехи исламского мира в других традиционных для него сферах, это решение сделало перемены в области образования если не невозможными, то затруднительными. В частности, в Турции они стали возможными лишь после поражения в войнах с Россией

⁷² См.: *Zafrani* (1994).

⁷³ *Berkey* (1992). P. 5.

в 1768–1774 годах, которые привели к потере Крыма; лишь после этого в стране была признана острая необходимость в реформах образования.

«Тогда спросили главных улемов, согласившихся с двумя основными изменениями. Первое состояло в том, чтобы принимать “неверных” учителей и позволить им учить учеников-мусульман; это нововведение имело невообразимую важность для цивилизации, которая на протяжении более чем тысячелетия привыкла презирать “неверных” и “варваров”, считая, что те не имеют никаких ценностей, которые могли бы быть полезными для исламского мира, за исключением, возможно, самих себя — как некоего сырья»⁷⁴.

Это нововведение появилось относительно поздно, хотя и в исламской истории были периоды, которые можно называть «гуманистическими».

Аналогичные фазы были обнаружены и в других культурах. Фернандес-Арместо заметил, что «то, что в западном контексте называлось “гуманизмом”, имело место в XVII веке в Японии и в России». Ситуацию в Японии он связывает с деятельностью буддийского монаха Кейчу (1640–1701), ставшего первым, кто восстановил аутентичные тексты Маниоши, чьи поэтические труды на синтоистские темы датируются VIII веком. В России же церковный кружок, называвший себя «Ревнителями благочестия», смог убедить царя удалить от двора проявления «вульгарной» массовой культуры. И тот и другой пример являются гуманистическими по своей сути, так как в обоих случаях речь идет о возвращении к чистоте более древних текстов⁷⁵, о религиозной реформе на благо простого народа.

И в Европе гуманизм был не единичным событием, но повторяющейся тенденцией. Некоторые ученые, в частности Саутерн, называли Англию XII века «гуманистической»⁷⁶, имея в виду в основном возрождение интереса к классической Античности (что происходило и в каролингский период), — возрождение, тенденции которого, как и того, что произошло позже, усиливались в результате контактов с исламским миром. Однако в рассуждениях Саутерна полностью отсутствуют упоминания о каких-либо внешних влияниях; с его точки

⁷⁴ Lewis (2002). P. 24.

⁷⁵ См.: Fernandes-Armesto (1995). P. 279.

⁷⁶ См.: Southern (1970).

зрения, это были только внутренние тенденции. Такую позицию можно назвать крайне европоцентристской. Во многих регионах Европы происходило значительное взаимодействие с исламскими культурами⁷⁷. Сицилия, часть мусульманской «Ифрикии», была завоевана норманнами в XI веке, однако ее придворная жизнь и позже копировала прежний мусульманский образец. Король говорил по-арабски и держал гарем, а также покровительствовал исламскому образованию и литературе. По его воле были переведены (с арабского на латынь) и отправлены в европейские учебные заведения труды Аристотеля и Аверроэса. Итальянская национальная литература, как считается, также зародилась на Сицилии, где переводы с арабского (например, медицинские труды Константина) переписывались обращенными христианами⁷⁸. Однако еще более важным, чем Сицилия, примером связи двух культур была средневековая Испания. Там христиане и мавры жили бок о бок; на юге христиане, следовавшие мусульманскому укладу жизни, назывались *мосарабами*, — они копировали этот уклад вплоть до обрезания и содержания гаремов. После того как Толедо был захвачен христианами, тамошние мусульмане стали позже называться *мудехарами*; в XII веке этот город играл важную роль в качестве центра распространения арабской науки и знания по всей Европе. Под покровительством Альфонса Мудрого архиепископ Раймонд начал перевод трудов греческих авторов, доступных на арабском языке, на испанский, а позже — на латынь, что было сделано с помощью мудехаров и иудеев. Среди переведенного была целая «энциклопедия» сочинений Аристотеля с комментариями, а также труды Евклида, Птолемея, Галена и Гиппократ⁷⁹. Ранее, когда Альфонс Мудрый был правителем Мурсии, отвоеванной в ходе Реконкисты, там находилась школа, построенная для Мухаммада аль-Риката, где мусульмане, иудеи и христиане обучались вместе. Позже в Севилье была основана общая латинско-арабская школа, где мусульманские учителя преподавали медицину и другие науки бок о бок с преподавателями-христианами; это учебное заведение описывалось как «межконфессиональный университет»⁸⁰.

Как показывает Азин, в этот период Европа испытывала влияние «неоспоримого превосходства»⁸¹ азиатской культуры, — влияние,

⁷⁷ См.: Asin (1926). P. 239.

⁷⁸ Ibid. P. 242.

⁷⁹ Ibid. P. 244–245.

⁸⁰ Ibid. P. 254.

⁸¹ Ibid. P. 244.

которое он прослеживает даже в великом произведении Данте «Божественная комедия». В легендах о *хадисе*, там, где речь идет о вознесении Мухаммеда и ночном путешествии в Иерусалим (*мирадж*), автор усматривает параллели с путешествием Данте в Рай и Ад. Интерес христиан к Мухаммеду уходит корнями глубоко в историю; еще мосарабский христианский автор (возможно, Евлогий из Кордовы, умер в 859 году) написал биографию Мухаммеда; в 1143 году Роберт из Рединга, архидиакон Памплоны, перевел Коран на латынь. Таким образом, информация об исламе и исламской мифологии была вполне доступной. В действительности же учитель Данте, Брунетто Латини, был флорентийским послом при дворе Альфонса Мудрого (1221–1284) в 1260 году, где получил достаточное представление об этой сфере. Альфонс Мудрый сражался с маврами, но при этом пользовался знаниями, накопленными исламским миром в области астрономии и философии. При его дворе посол мог познакомиться и с множеством испанских литературных произведений. Так что подобный контакт мог легко привести к влиянию этих философских идей на Данте. Исследователи утверждают, что система его взглядов произошла не напрямую от арабских философских воззрений, а от мистиков-иллюминистов — движения, основанного Ибн Массаррой из Кордовы (и особенно известного по сочинениям Ибн Араби), чьи идеи были заимствованы схоластиками-августинцами, такими, как Иоанн Дунс Скотт, Роджер Бэкон и Раймунд Луллий.

Развитие гуманистических тенденций получило значительную поддержку благодаря интересу исламского мира к работам Аристотеля, подчеркивавшего важность изучения «человеческого рода» («реальности»), отделяя этот процесс от веры⁸². Конец Средневековья был отмечен *reductio artis ad theologiam*, «возвращением наук к теологии», что вступало в противоречие с новым положением дел в Европе, особенно в Италии, где значение торговли чрезвычайно выросло, развивались города и значительно изменялись культура и структура общества. Торговля и буржуазия нуждались в новом образовании, зародившемся в школах, которые с конца XIII века создавались в вольных городах для удовлетворения нужд городского населения. Эти школы с началом Возрождения все больше и больше отказывались от средневековой традиции в пользу классического наследия, чему немало способствовали его арабские переводы, ставшие известными в XIV–XVII веках. Таким образом, парадоксально,

⁸² См.: *Peters* (1968); *Walzer* (1962); *Gutas* (1998).

но гуманизм в Европе не только в развитии институтов высшего образования, но и в тенденциях к его секуляризации испытал сильное влияние арабской религиозной культуры, сохранившей светскую «древнюю науку» и «языческую» античную традицию. Но, разумеется, европейские гуманисты находили и собственные пути для поиска классических текстов в Европе, а также поддерживали связь с греческой научной традицией на христианском Востоке, в Константинополе.

Важно отметить, что Возрождение и все движение гуманизма получили мощный импульс, когда в 1439 году из Константинополя на Ферраро-Флорентийский Вселенский церковный собор прибыла православная делегация, стремясь получить поддержку против наступающих турок. Во Флоренции делегацию принимал Козимо Медичи, чрезвычайно впечатленный образованностью греков в области философии Платона; позже он основал во Флоренции Платоновскую академию, оказавшую значительное влияние на дальнейшее развитие философии в Европе. Возглавлял эту делегацию Георгий Гемист Плетон (ок. 1355–1450 или 1452), византийский ученый, который учился ранее при османском дворе, в Адрианопле. Он познакомил Европу не только с учением Платона, но и с трудами географа и историка Страбона, которые помогли изменить сложившиеся тогда в Европе представления о пространстве. Другими учеными, имевшими отношение к Академии, были Георгий Трапезундский (1395–1484), Василий Бессарион (1403–1472), тоже уроженец Трапезунда, и Феодор Газа. Все они были родом из азиатских городов. Итак, целое движение по направлению к гуманизму, светскому образованию и Возрождению получило значительную поддержку с Востока, причем, хоть и не прямую, от культур, в значительной степени определяемых религией.

Итак, подведем итоги. Высшие учебные заведения на Западе действительно отличались от таковых на Востоке, но это различие возникло относительно недавно и в значительной степени применимо к светскому образованию. По сути же дела, высшие учебные заведения существовали не только на Западе и не носили в Европе какого-то уникального, «ведущего к капитализму» характера. Утверждать обратное значило бы придерживаться телеологического восприятия истории.

Рассматривая средневековые европейские университеты, Ле Гофф пишет: «Вначале были города. Средневековые западные интеллектуалы родились вместе с ними»⁸³. Это произошло не в период так

⁸³ *Le Goff* (1993). P. 5.

называемого каролингского возрождения, но уже в XII веке. Однако города, интеллектуалы и университеты существовали не только на Западе; более того, все эти институты изначально не имели фундаментальных отличий от аналогичных институтов в других регионах мира, как это было впоследствии. Вопрос существования университетов (как и городов) является сугубо техническим и должен трактоваться именно так. В силу чего они отличаются от других высших учебных заведений по всему миру? Вместо этого часто используется подход категориальный, в котором высшую ценность приобретают сами категории. Но так историю писать нельзя.

Глава 9. Присвоение ценностей: гуманизм, демократия и индивидуализм

В одной из предыдущих глав я объяснил, каким образом классицисты объявили европейскую Античность — то есть Древнюю Грецию и Древний Рим — источником демократии, свободы и других ценностей. Позднее точно так же Западом была присвоена идея гуманизма и гуманитарных исследований в целях создания собственной, «отдельной» истории. Эта претензия обрела преувеличенные масштабы и распространилась на вопросы представительства, свобод и человеческих ценностей в других сообществах. Но еще более актуально сегодня то, что Запад продолжает настаивать на своем, фактически необоснованно монополизируя все эти ценности. Один из западных мифов, вызывающих наибольшее беспокойство, состоит в том, что ценности нашей «иудео-христианской» цивилизации якобы следует отличать от восточных (в целом), и в частности от ценностей, присущих исламскому миру. В действительности же ислам имеет те же корни, что и иудаизм и христианство, и, соответственно, разделяет многие ценности этих религий. Различные формы представительства существовали в большинстве обществ, особенно племенных, хотя по современным электоральным стандартам они и не являлись «демократическими». Однако западная демократия присвоила себе множество ценностей, совершенно точно существовавших и в других обществах: гуманизм, индивидуализм (состоящий из трех элементов), равенство, свободу, как и понятие благотворительности, считавшейся исключительно христианской добродетелью. Однако, поскольку не существует общего мнения по поводу того, что считалось добродетельной жизнью на Западе, эта позиция всегда выглядела несколько бессвязной. Я выбрал ряд наиболее заметных качеств,

о которых чаще всего говорили в данном контексте применительно к Западу. Однако все эти западные идеи о собственной исключительности требуют радикального пересмотра.

Приступая к рассмотрению добродетелей, на которые претендует Запад, следовало бы, очевидно, включить в их число «рациональность». Здесь я не делаю этого, потому что уже подробно осветил данную тему в своей книге «Восток на Западе» («The east in the west», 1996). Писали об этом и другие. Некоторые авторы полностью отказывали восточным обществам в рациональности — что подверг критике (применительно к Африке) Эванс-Притчард в своей работе «Колдовство, предсказания и магия у народа азанде» («Witchcraft, oracles and magic among the Azande», 1937). Другие ученые стремились проводить различие между западной формой рациональности и более ранней ее формой, как это делается и применительно к капитализму. Разумеется, различия существуют — особенно, как я уже говорил, между «логикой», развившейся в обществах, владеющих письменностью, и последовательными рассуждениями, присущими чисто устным культурам. Однако идея того, что способность к рациональным, или логически выстроенным, рассуждениям была присуща лишь Западу, полностью неприемлема применительно как к современности, так и к прошлому.

Гуманизм

Виговская интерпретация истории* предполагает, что постоянный прогресс совершается не только в сфере рационального мышления, но и в повседневной практике и ценностях, присущих человеческой жизни, что должно приводить к появлению все более «гуманистических» целей и достижений. Уровень жизни людей, технологии и наука постоянно движутся вперед, в этом и состоит «прогресс». Обычно считается, что аналогичный процесс происходит и с ценностями. Социолог Норберт Элиас, как мы видели, пишет о рождении «цивилизационного процесса» в эпоху Возрождения; он рассматривает определенные ценности, в отношении которых любое направленное изменение выглядит более сомнительным.

Что мы в первую очередь подразумеваем под «гуманизмом»? Мы используем этот термин в различных значениях, иногда чтобы обо-

* Речь идет о господствовавшем в Англии XIX века либеральном прочтении истории.

значить, например, «человеколюбие Христа», иногда для обозначения «светской религии» гуманизма, в других случаях — применительно к трудам ученых эпохи Возрождения, посвятившим себя изучению греческих и римских классиков — другими словами, «языческого наследия», — в противовес христианской традиции, долго старавшейся игнорировать его. Сегодня этот термин относится скорее к «человеческим ценностям», обычно определяемым как «права человека», обозначает светский (в отличие от религиозного) подход или же разделение между политической и религиозной властью. Права человека часто полагают само собой разумеющимися, но их совершенно точно необходимо определять яснее (права какого именно человека подразумеваются, в какой период, в каком контексте? если есть права, то кто имеет соответствующие обязанности?).

Гуманизм и секуляризация

Европейцы часто уверены, что некоторые ценности, которые сегодня имеют для них центральное значение, уходят своими корнями не только в Античность, но и в менее давние времена — например, в эпоху Просвещения XVIII века. Считается, что в число подобных ценностей входит толерантность¹, то есть плюрализм в вопросах веры, и секуляризм. Секуляризм рассматривался как ключ к интеллектуальному развитию, поскольку давал возможность постигать тайны мироздания за пределами ограничений, налагаемых церковными догмами. Одной из целей модернизации было разделение интеллектуальной деятельности в ее общем, наиболее широком понимании и теологии, что сочеталось с отделением церкви от государства на политическом уровне. Секуляризация воспринималась не как расставание с религией, но как ограничение религии «должной» сферой. Бог не умер, но живет в своей обители, в Граде Божьем. В самом деле, один из основоположников итальянского Возрождения, Петрарка, полагал, что возрождение Античности должно осуществляться посредством усиления христианской идеи, однако для многих Ренессанс означал секуляризацию множества сфер социальной активности.

¹ «Вольнодумцы», например Бейль в 1680 году, считали Китай примером религиозной толерантности. Локк, Лейбниц и Уильям Темпл испытывали аналогичные ощущения. Вольтер также высоко оценивал китайскую толерантность и считал, что честь и благополучие жителей этой страны защищаются законом по всей империи. Он полагал, что разумность управления в Китае напрямую связана с отсутствием теократической власти (см.: *Blue* (1999). P. 64, 89).

Что считать «должной» сферой для религии? Этот вопрос всегда был дискуссионным, и критерии ответа на него постоянно менялись. Христос утверждал, что его последователи должны отдавать кесарю кесарево. Этот наказ не помешал множеству христиан настаивать на том, что политика должна строиться на христианских принципах и вестись в христианском духе. После падения Рима Римская империя стала Священной Римской империей; Папа Римский и католицизм были доминирующими факторами в политике многих государств. Несмотря на приход Реформации, Генрих VIII продолжал оставаться «королем милостью Божьей» и, соответственно, «защитником веры», и эти же титулы по сей день носят его преемники. Даже многие современные европейские политики тяготеют к определению Европы как «христианского континента», то есть идентифицируют политику и религию, как это принято в исламе.

Данный аспект эпохи Просвещения — акцент на светском взгляде на мир, — несомненно, был полезен для науки; стоит лишь вспомнить о судьбе Галилея в эпоху Возрождения. Вспомним дебаты Гексли и епископа Уилберфорса о дарвинизме в середине XIX века. Однако этим движением была охвачена не вся Европа и не все ее население. Многие люди оставались приверженными идеям, которые секуляристы называли бы фундаменталистскими. Секуляризм стремился не к тому, чтобы покончить с идеей Бога, но к тому, чтобы она занимала меньше места в социальном и интеллектуальном пространстве. Это сопровождалось ликвидацией многих церквей, конфискацией церковного имущества, секуляризацией церковных школ, уменьшением числа посещающих церкви и молящихся. Но большинство политиков, правителей и стран все еще делают необходимые (хотя все более и более формальные) реверансы в сторону доминирующих религий.

То есть Просвещения в этом смысле в полном объеме никогда бы не состоялось, если бы до того мы не были обращены в единую, доминирующую монотеистическую религию. В Европе такая религия очень радикально регулировала образ жизни людей. В каждой деревне строилась церковь (весьма дорогостоящее сооружение), назначался ее смотритель, проводились церковные службы; в церкви отмечались рождения, браки, а также проводились заупокойные службы. По воскресеньям жители деревень посещали церковь и слушали длинные проповеди, посвященные религиозным темам и ценностям. В таких условиях для светских ценностей оставалось весьма мало пространства.

Совершенно иначе обстояли дела в Китае. Среди существовавших религиозных традиций не было ни одной доминирующей, соот-

ответственно имел место больший плюрализм. В самом деле, конфуцианство, хотя и не чуждое нравственным принципам, придерживалось светского подхода к ним, отрицая сверхъестественные объяснения. Это привело к появлению альтернативного набора верований, среди которых — культ предков и местных святынь, почитание Будды. При таком плюрализме вряд ли могла возникнуть нужда в Просвещении, способствующем секуляризации. Развитие науки шло уверенным курсом, вступая в минимальный конфликт с религиозными верованиями. Оно не испытывало столь радикальных изменений, как в Европе или на Ближнем Востоке, в рамках монотеистических режимов. Например, при неоконфуцианстве плюрализм и секуляризация уже достигли значительной степени распространения, достаточной для развития науки и альтернативных точек зрения. Параллели между Китаем и эпохой Возрождения действительно являются впечатляющими и включают повышенное внимание к этическим вопросам и литературе, возвращение к трудам классиков, заинтересованность в издании различных произведений, веру в то, что общее «гуманитарное» образование лучше, чем специализированная подготовка управленцев².

В Китае действительно была проведена огромная работа в различных областях науки, как показал Нидэм в своем важнейшем труде (рассмотренном в главе 5)³. Элвин предполагает, что подобное светское отношение, характерное для Китая, позже усилилось и что образ мыслей элиты в период позднеимператорского Китая демонстрирует аналогичный сдвиг в сторону разочарования в иллюзиях, то есть «тенденцию видеть меньше драконов и чудес, что вполне напоминало то разочарование, которое начало распространяться в Европе в эпоху Возрождения»⁴. Также было принято считать, что буддийская вера имела некоторые сходные последствия, поскольку в определенной степени отрицала сверхъестественное. И эти признаки никак не были результатом европейского влияния.

Разумеется, даже монотеистические традиции в некоторой степени позволяли развиваться науке и технике, а политеистические могли сдерживать их развитие. Здесь нам тоже скорее понадобится сравнительная таблица, нежели категорическое противопоставление. Это особенно верно в отношении ислама, невзирая на слова, приписываемые халифу Омару: «Если то, что написано там [в книгах, ос-

² Этим комментарием я обязан Питеру Бёрку.

³ См.: *Needham* (1954–).

⁴ *Elvin* (2004). P. xi.

тавшихся в Александрийской библиотеке], согласуется с Кораном, эти книги излишни; если не согласуется — они вредны. Поэтому уничтожьте их все»⁵. Тем не менее традиции научных изысканий в Греции сохранялись, и были зафиксированы значительные достижения. В Европе очень многие сферы науки испытали влияние исламской традиции — особенно медицина, математика и астрономия, что способствовало определенным подвижкам в сторону раннего Возрождения. Само итальянское Возрождение как таковое тоже было движением к секуляризации, которое Вебер назвал разочарованием в мире, особенно в искусстве. Театр и скульптура этого периода, следуя за классическими образцами, освободились от существовавших ранее ограничений, так что постепенно стали преобладать темы, не связанные с религией. Музыка, по крайней мере на уровне высшего искусства, также развивалась в светской форме.

Слово «гуманизм» часто использовалось именно в смысле светского развития, чтобы охарактеризовать определенные периоды в других, нехристианских культурах. Зафрани говорит об этапах «гуманизма» в исламских культурах Андалусии и Ближнего Востока, когда ученые посвящали свое внимание не только религиозным вопросам, но и «наукам» и «искусствам». Он считает, что аналогичные периоды время от времени имели место и в рамках иудаизма. Еще раз подчеркнем, что такие периоды подразумевали не полное отбрасывание религиозных воззрений, но ограничение их определенными рамками.

Однако даже сегодня гуманизм нельзя назвать восторжествовавшим повсеместно. Движение от эпохи Просвещения не напоминает дорогу в одну сторону. Хотя многие лидеры недавно образованных независимых государств были светскими людьми, ситуация в отношении секуляризма впоследствии во многих странах стала меняться. Например, в Индии и совершенно точно — на Ближнем Востоке светские режимы «сменяются другими» или находятся под угрозой. Секуляризм не одержал решающей победы на Ближнем Востоке из-за опасности внешнего вмешательства, угрожающего местной религии. В Египте были свои сложности с Братьями-мусульманами, в других странах — с иными мусульманскими группировками. В некотором смысле эта тенденция является обратной гуманизму, то есть поворотом к фундаментализму, и отчасти компенсирует политические угрозы. Тем не менее ее следует рассматривать серьезно — в Чечне, Ирландии, на Филиппинах, в Гуджарате и многих других

⁵ Barnes (2002). P. 74.

местах — везде, где религиозная принадлежность играет центральную роль в широком социальном и политическом контексте. В самом деле, Запад продолжает рассылать во многие части света своих миссионеров, причем некоторые из них противостоят ценностям просвещения, то есть не только секуляризации в целом, но и доктринам эволюции, моногенеза, использованию контрацептивов, абортам и т.п. И такие позиции разделяет определенный процент населения даже наиболее развитых капиталистических стран.

Гуманизм, гуманистические ценности и вестернизация: риторика и практика

В предыдущей главе я рассматривал вклад гуманизма в развитие образовательного процесса, в основном в европейском контексте. Но нам следует принять во внимание не только конкретный период времени, но и то, каким образом концепция гуманизма стала идентифицироваться на Западе с «гуманистическими ценностями». Ясно, что гуманизм — и как «концепция ценностей», и как «концепция светского развития» — не является недавним изобретением современного или западного общества. Гуманистические ценности, очевидно, варьируются в зависимости от общества, но некоторые из них широко распространены — например, такие понятия, как «распределительная справедливость», «взаимное сотрудничество», «мирное существование», «изобилие», «благополучие» и даже определенные формы представительства (в правительствах или других властных структурах), одной из которых является «демократия» (как она интерпретируется на Западе). Современные общества считаются также более «научными», «светскими» по своим установкам, однако, как указал антрополог Малиновский⁶, «научный», «технологичный» или «прагматичный» подход к миру является широко распространенным и может сосуществовать с религиозными установками, то есть с подходом, включающим веру в сверхъестественное (по определению Тайлора). Даже в устных культурах мы находим определенную степень агностицизма. В обществах, владеющих письменностью, такой скептицизм может получать письменное выражение как доктрина, но и в устных культурах он также присутствует в качестве элемента мировосприятия, как я пытался показать на различных версиях значительной по объему устной традиции общины Багре

⁶ См.: *Malinowski* (1948).

у народа лодага в Северной Гане⁷. Даже в так называемых традиционных обществах не все верят во всё; многие мифы включают в себя долю неверия.

Но в целом идея европейской колониальной власти во многих частях света была связана с «гуманизирующей» миссией образовательных программ, которые часто находились в руках религиозных структур, действительно имевших цели, связанные с образованием, и видевших свою роль в христианизации местного населения, ликвидации местных обычаев и повсеместном введении европейских стандартов. С этой точки зрения изучение классики часто играло важную роль на уровне среднего образования: это всегда были произведения классиков европейской Античности, воспринимаемых в качестве «союзников христианства» (как настаивал Петрарка) и внедряющих образ жизни, основанный на гуманистических ценностях. Эти попытки имели определенный успех. Некоторые из лучших европейских учителей в отдельных средних школах являлись носителями христианских ценностей и при этом были хорошо образованы в области классической литературы. Они поощряли лучших учеников следовать за ними; большое значение имеет тот факт, что в 1947 году, после того как Гана стала первой из африканских колоний, получивших независимость, и в ней был основан университет, вначале единственным факультетом, все преподаватели которого оказались африканцами, стал факультет классической литературы. Декан этого факультета не только продолжал переводить греческие тексты на свой родной язык, но и стал первым ректором Университета в Гане, а позже — и ректором Университета ООН в Токио. Таковы возможности, предоставляемые изучением классической литературы и «гуманитарных наук»!

Наряду с ликвидацией колониализма некоторые политики ассоциировали распространение «гуманизма» с процессом глобализации, который некоторые считают вестернизацией. Самым масштабным проявлением процесса гуманизации считается разлившееся по всему миру движение за независимость в различных странах после Второй мировой войны. Многие из первых лидеров новых национальных государств были вполне светскими и хорошо образованными людьми — например, Неру в Индии, Нкрума в Гане (первый из лидеров новых стран Африки к югу от Сахары), Кениатта в Кении, Ньерере в Танзании, Насер в Египте. Они противостояли западным колониальным державам и добились независимости («свободы») для своих стран,

⁷ См.: *Goody* (1948).

усвоив в процессе борьбы лозунги своих противников, основанные на их же ценностях. Я хорошо помню демонстрацию в городе Бобо-Диуласо (французская колониальная территория Верхняя Вольты — теперь Буркина-Фасо) в начале 50-х годов XX века, в которой участвовали организованные массы африканских рабочих, окруженные французскими полицейскими и несущие плакаты «Liberté, Egalité, Fraternité».

Такие движения были поддержаны западными державами и ООН во имя свободы и демократии как выражение воли народа. Многие комментаторы и политические деятели были склонны рассматривать некоторые ценности, провозглашаемые ими, например уважение человеческого достоинства, — как внедряемые в обществах, ранее испытывавших нехватку таковых. В то же время внешние структуры новых государств, как и все остальные, часто не могли действовать в соответствии с принимаемыми ими стандартами. Например, США тоже были заинтересованы в продвижении своих планов, частично продиктованных необходимостью колоссального потребления нефти, а также желанием защитить собственный «образ жизни», «капитализм» от возможной советской экспансии, даже если таковая могла бы осуществиться благодаря волеизъявлению большинства. Ближний Восток особенно пострадал от «холодной войны» и помощи, предоставляемой недемократическим режимам, которые способствовали достижению некоторых из целей США. В процессе «сдерживания коммунизма» и стремления обезопасить свои поставки нефти, как пишет один комментатор, «США не жалели усилий по поддержке, поощрению и даже установлению исламских режимов, в значительной степени коррумпированных и противоречивших всем либеральным и демократическим ценностям, в защиту которых, как провозглашалось, действовали США»⁸. Иными словами, имелось и имеется значительное противоречие между риторически провозглашаемыми демократическими ценностями и реальной политикой государств.

Мы постоянно сталкиваемся с тем, что политики и отдельные личности провозглашают всеобщие «гуманистические ценности», а также с тем, что этими ценностями в особых ситуациях постоянно пренебрегают. Вот два современных примера. В Женевской конвенции закреплены строгие правила обращения с пленными во время военных действий военнослужащими противника и гражданскими лицами. Не так давно США и их союзники вторглись в Афганистан

⁸ Saikai (2003). P. 67.

и Ирак, после чего некоторое количество пленных было перевезено в Гуантанамо, на Кубу (где США располагают экстерриториальной базой), где они содержались в ужасающих условиях. Под теми предлогами, что эти пленники имеют разное гражданство и не могут считаться военнопленными, а также что данная кубинская база не является территорией США, находящимся там людям было отказано как в соблюдении международно признанных прав человека, так и в соблюдении прав, гарантированных им американскими законами. Иными словами, они были лишены «свободы», возможности встречи с адвокатом, а также «прав человека» в целом — то есть находились в ситуации, которую осудила ООН⁹. Аналогичное противоречие имело место при взятии в плен Саддама Хусейна 13 декабря 2003 года, после того как он «прятался, как крыса», по выражению одного из представителей коалиции. Несмотря на показанные ранее по телевидению протесты пленников, условия содержания которых явно противоречили Женевской конвенции, весь мир обошли кадры, где бывшего лидера страны, бывшего верховного главнокомандующего, с которым должны были обходиться в соответствии с правилами содержания военнопленных, обыскивали на предмет наличия у него вшей, а также заглядывали ему в рот в поисках спрятанных предметов. Такие кадры явно говорят о нарушении Женевской конвенции, предусматривающей недопущение публичного унижения военнопленных.

Второй пример касается недавней бомбардировки Тикрита (и других городов) в ответ на гибель американских солдат в этом районе, через несколько месяцев после того, как президент Буш провозгласил конец военных действий. Подобные массовые карательные акции, часто проводимые израильскими войсками по отношению к палестинским общинам, находящимся под их контролем, представляют собой действия, против которых союзники протестовали и боролись во время Второй мировой войны, когда немецкие войска, оказавшись объектом атак, предпринимали акции массового уничтожения населения целых деревень и общин (например, в Арденнских пещерах в Италии или в деревне Орадур во Франции). Эти акции впоследствии оценивались как военные преступления, и виновные в них подлежали наказанию на международном уровне.

⁹ Должен признать, что я принимаю этот вопрос близко к сердцу, так как сам был военнопленным в фашистской Италии и нацистской Германии, и при этом мои вышеуказанные права вполне соблюдались. Очевидно, что с политическими заключенными в этих странах поступали намного хуже.

Суммируя, можно сказать, что Запад предъявляет исключительные права на комплекс ценностей, базирующихся на концепции гуманизма и гуманном поведении. Несомненно, с течением времени происходили определенные изменения, которые можно охарактеризовать именно в таком ключе, однако все общества всегда имели некие стандарты, относительно которых определялась гуманность поступка. Иногда они формулировались в универсальных требованиях, например «не убий», однако такие запреты часто являются риторическими и приложимыми лишь к определенным группам, но не к «другим», «врагам», «террористам», «предателям». Совершенно ясно, что в военное время эти распространенные ценности часто переворачиваются с ног на голову или же ими просто пренебрегают, несмотря на все усилия таких организаций, как Международный Красный Крест, стремящихся обеспечить их применение повсюду в современном мире.

Демократия

Одним из основных признаков вновь возникающих «гуманистических» обществ является «демократия», тесно связанная с такими понятиями, как «свобода», «равенство», «гражданское участие» и «права человека». Действительно, если говорить о репрезентативном правлении, то на протяжении последних столетий во многих частях света наблюдалось общее движение ко все большему участию в нем граждан. Однако такое движение следует рассматривать во временной перспективе. В прошлом группы людей определенно пользовались возможностью значительного и прямого участия в управлении. Сегодня дела, которые надо решать, имеют более сложный характер. Более широкое участие в выборах сопровождается уменьшением практического участия населения в решении касающихся его проблем, поскольку управление, в котором участвует население, становится более комплексным, центры принятия решения больше удалены от человека, а оно само охватывает большое количество людей. Это требует все большей профессионализации политической деятельности и уменьшения прямого представительства.

Более масштабная проблема возникает, когда сегодняшняя демократия рассматривается как универсальная ценность, воплощенная лишь в западном обществе, которое и является единственным хранителем подобной модели. Но так ли это? Вначале предположим, что демократические процедуры следует рассматривать контекстуально,

в зависимости от конкретных специфических институтов. Я слышал, что многие представители современных трудящихся заявляют, что на их рабочих местах демократия отсутствует. Без сомнения, она весьма ограниченно представлена и в образовательных институтах. Однако сравним современное рабочее место с местом работы человека в условиях примитивного сельского хозяйства. Мой знакомый из Ганы, которому я показал местную фабрику в Англии, посмотрев на женщин, выстроившихся в ряд у своих рабочих мест и нажимающих кнопку часов, чтобы отметить уход с рабочего места или возвращение туда, спросил меня: «Они рабыни?» Режим труда его соотечественников на полях был «свободнее», и в его организации не оставалось места властным отношениям.

В Древней Греции концепция демократии означала «власть народа» и противопоставлялась автократии или «тирании». Волеизъявление народа определялось выборами, в которых могли принимать участие лишь свободные мужчины — но не женщины, не рабы и не те, кто, проживая в городе, не был его гражданином. Таким образом, в политическом контексте демократия в Европе в прошлом была значительно ограничена. Сегодня, в рамках концепции «полной демократии», каждый мужчина и каждая женщина имеют равные голоса, и выборы происходят на регулярной основе. Произошла «индивидуализация» представительства; хотя исследования и показывают, что мужья и жены обычно голосуют одинаково, но теперь они уже не отдают один голос от всего домохозяйства или клана. Эта форма демократической практики новая. В Англии лишь в 1832 году перечень лиц, обладающих правом голоса, был расширен так, что в него вошли все мужчины — главы домохозяйств, однако женщины получили это право лишь вскоре после Первой мировой войны, а во Франции — существенно позже. Даже в США, стране, считавшейся воплощением современной демократии (по крайней мере, в глазах Токвиля), Джордж Вашингтон выступал за то, чтобы ограничить состав избирателей белыми «джентльменами», то есть землевладельцами, окончившими колледж. Итак, раньше во всех случаях право голоса было сильно ограничено. Практика тайного голосования (и возможности выбора, предоставляемые им) возникла в связи с желанием добиться свободного волеизъявления; французы сначала отказывали женщинам в праве голоса именно в связи с убеждением, что женщины слишком склонны голосовать так, как скажет им духовенство.

Даже сегодня существуют некоторые технические проблемы интерпретации голосования, что, например, было отмечено во время выборов во Флориде (США) в ноябре 2000 года. Есть проблема и

с тем, как окончательно определять большинство — по количеству голосов или по количеству штатов, принявших то или иное решение. Проблема еще более усложняется возможным применением насилия, или же предвыборными взятками, как в Англии XVIII века, или обещаниями вознаграждения после выборов, — в таком случае посулы грядущих выгод являются частью избирательного процесса. Дифференцированный доступ к средствам массовой информации из-за политического контроля, например над радио (как в России), или экономического контроля с помощью финансов (как в США) также ограничивает свободу выбора.

На Западе выборная демократия рассматривается не просто как одна из многочисленных разновидностей представительства, но как форма правления, подходящая для внедрения в любом месте и в любое время¹⁰. В этом смысле она принимает форму универсализированной ценности. Цель современных западных держав состояла в том, чтобы продвигать развитие демократии и положить конец режимам, не соответствующим данному критерию, таким, как в СССР или в Югославии, хотя эти режимы и возражали, что свобода политического выбора не является единственным критерием, который нужно принимать во внимание. Применительно к движению за независимость в Африке колониальные державы настаивали на том, что власть должна быть передана избранным правительствам в соответствии с моделью, которая в британских терминах могла быть названа вестминстерской, чтобы обеспечить народное согласие. Фактически, подобные формы правления не сохранялись, как я уже упоминал, в том числе и потому, что население голосовало по племенному или религиозному принципу. Это приводило к однопартийному правлению, которое казалось новым лидерам необходимым для консолидации нового государства, а затем — к военным переворотам как единственному способу изменить однопартийный режим. Для множества вновь образованных государств основной политической проблемой стал не поворот в сторону демократии, а установление централизованной власти на территориях, где ее раньше никогда не было. Это чрезвычайно сложно, особенно если государство включает группы (объединяемые изначальными племенными или религиозными характеристиками), которые мо-

¹⁰ Один из моих собеседников в Александрии возражал против описания демократии как формы представительства, заявляя, что она представляет собой «форму культуры». Действительно, даже там, где в политической жизни применяется процедура выборов, она редко используется в других контекстах, например в сфере занятости или семейной жизни.

гут препятствовать деятельности правительства, образованного на «партийной» системе в западном смысле, но это не мешает таким группам иметь свою собственную внутреннюю «демократическую» процедуру.

Израиль отчасти является исключением из этого правила (еще Индия и Малайзия). Его провозглашают единственным демократическим государством на Ближнем Востоке, хотя такая форма правления никак не препятствовала там колоссальному наращиванию вооружений и войск, чтобы защитить себя и утешать других; эта маленькая страна располагает двенадцатью дивизиями, одними из самых значительных в мире военно-воздушными силами, а также ядерным оружием, запрещенным или неприветствуемым в других странах. Демократическая система в Израиле не помешала тому, чтобы во главе гражданского правительства оказался (то есть был избран) недавний военный (как и в США), а также не предотвратила зверств по отношению к арабам — например, в деревне Дейр-Ясин, в лагерях Сабра и Шатила (Ливан), а также, еще ближе к нам по времени, в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Тем не менее, относя свое правительство к категории «демократических», Израиль автоматически противопоставляет себя «коррумпированному» авторитарному правительству Палестины, население которой, как и большинство других арабов, никогда не знало «истинной демократии».

Такое однозначное предпочтение одной формы правления без учета контекста является новым явлением. В Древней Греции, как и в Риме, периодически происходили значительные изменения режима правления — от «демократии» и до «тирании» или от республики к империи, как это произошло в Африке после достижения независимости бывшими колониями. Даже в Европе до XVIII века и позже не было широко распространено мнение, будто демократия является единственно приемлемой формой правления. Перемены в режиме правления носили различный характер и необязательно сопровождались насилием, хотя сила иногда применялась. Отрицался факт радикальных изменений правления в более ранних социальных формациях: тогда происходили восстания, но не революции. То есть целью восстаний была замена тех или иных лиц у власти, но не самой социально-политической системы¹¹. Обоснованность такого заявления не всегда очевидна. Во многих подобных обществах наблюдались как изменения образа правления, так и собственно смена представителей власти. Верно, что ниспровержение

¹¹ См.: *Gluckman* (1955).

целой системы в соответствии с подготовленным заранее планом реже встречается в более древних, особенно в дописьменных, обществах. Но некоторые колебания курса происходили не только в рамках централизованных режимов, но и в отношениях между этими режимами и теми, которые принято определять как «сегментарные», или же между централизованной властью и периферией. Так что изменения характера правления были характерны и для более ранних режимов, когда «демократия» была лишь одной из возможностей.

Когда мы говорим о демократических процедурах, то думаем о способах, с помощью которых формально принимается в расчет мнение населения. Для этого существует множество путей. На Западе электорат принимает участие в тайном (обычно письменном) голосовании каждые четыре, пять или шесть лет (выбор промежутка произволен). Такой вариант является компромиссом между выяснением мнения *демоса* и проведением последовательной политики на протяжении определенного периода. Некоторые считают, что необходимо чаще спрашивать мнение населения, особенно в таких важных вопросах, как объявление войны, которое, например, в Британии даже не требует парламентского голосования из-за фиктивной королевской прерогативы решения данного вопроса (тогда как введение евро — требует!). Сложно утверждать, что мы живем при демократии (то есть в системе народного самоуправления), если правительства могут принимать такие важные решения, как объявление войны, вопреки воле большинства. С другой стороны, можно ли управлять, постоянно прибегая к референдумам и опросам общественного мнения? Не приведет ли такой подход к хаосу? Можно заявлять, что демократия обеспечивается лишь возможностью отозвать избранных представителей народа, если они перестают представлять его волю, так что волеизъявление народа может сместить правительство, планирующее войну вопреки пожеланиям большинства населения. Если бы такая возможность действительно существовала при «истинной демократии», то многие европейские правительства были бы свергнуты в начале вторжения в Ирак.

Можно утверждать также, что некоторые социальные программы требуют более длительного периода реализации, чем четыре или пять лет, так что для их осуществления режим не должен меняться в течение более длительного периода. Этим аргументом, в частности, постоянно пользовались в Африке после достижения независимости, когда некоторые законно избранные правительства пре-

вратились в однопартийные режимы. Конечно, ничто не мешает избирать одно и то же правительство раз за разом, чтобы дать ему возможность осуществить более обширную программу, но что, если сами избиратели «выберут», чтобы правительство избиралось на более длительный срок или даже было постоянным?

Современная демократия предполагает значительное количество проблем даже для демократов. Гитлер был избран немецким народом и затем превратил свой режим в диктатуру. Коммунистические партии также могли изначально быть избранными, однако без колебаний впоследствии устанавливали «диктатуру пролетариата». Что такое «избранная диктатура»? Это режим, при котором «нормальные» выборы откладываются или отменяются, оппозиция подавляется, хотя референдумы могут проводиться. Но что, если подобное происходит с одобрения большинства или по его выбору? Проблема для демократов состоит в том, что однопартийные режимы и сходные с ними системы не позволяют осуществить перемены путем выборов.

Другая проблема состоит в том, что поборники демократии не считают «народным самоуправлением» никакие другие системы, кроме отобранных ими. Однако существуют варианты волеизъявления, когда лидер выбирается посредством одобрения, а не голосования. Даже процедуры голосования могут считаться выражающими не волю народа, а волю Бога, как, например, при выборах в Ватикане или в колледжах Кембриджского университета, где голоса за кандидатуру Папы или главы колледжа провозглашаются в часовне. Выбор между политическими партиями, предполагаемый electoralной системой, не пользовался одобрением в большей части Африки, где гораздо важнее племенные и местные связи. То же самое характерно и для других частей света; например, в Ираке актуальны «фундаментальные» религиозные убеждения или языковая идентификация.

Если термин «демократия» относится к системе периодически повторяющихся избирательных процедур, наиболее явно развившейся в XIX веке в Европе, то он предполагает единственно возможную форму представительства. Большинство политических режимов самых различных типов включают в себя то или иное представительство. Если попытаться абстрактно представить себе полностью авторитарный режим, который не станет каким-то образом учитывать желания народа, дни его будут сочтены, даже если он явит собой то, что принято называть диктатурой или деспотией. Так, известно, что в Древнем Китае ни Цинь Шихуаньди, ни Ван Ман, возможно, не заслуживали своей репутации деспотов; во время их

правления существовала система сдержек и противовесов. Классические тексты сами по себе содержат основу для оценки действий правительства, например труды Конфуция, на которые мы ссылались в главе 4. Поэтому образованная прослойка населения часто оказывалась в оппозиции текущему режиму¹².

Существует множество ситуаций, при которых современные государства не рассматривают демократию как единственно возможный подход, даже применительно к политике. В некоторых регионах США чернокожее население до недавних пор не имело права голоса, тогда как остальные граждане могли голосовать. В конце концов это многочисленное национальное меньшинство получило право голоса. Однако, если бы данная национальная группа составляла большинство населения, сомнительно, чтобы белое население добровольно пошло на это. В таком случае страна, возможно, сохраняла бы режим апартеида, как это было раньше в Южной Африке.

В Палестине к концу британского правления правительство предложило решить еврейско-арабские разногласия с помощью образования единого государства и попыталось создать для этого представительскую структуру, основанную на демократических принципах. Еврейское население отказалось от этого предложения, поскольку составляло меньшинство. Позже, когда большинство арабов покинули территорию или были выдворены за пределы вновь образованного государства Израиль, там была установлена «демократия», при которой права оставшихся в стране мусульман были сокращены: сегодня тем, кто покинул страну, отказывают в «праве на возвращение», то есть в том праве, которое сами евреи провозгласили для себя во всеуслышание; однако в данном конкретном случае это право угрожало их «демократическому» большинству. В странах, где существует разделение по религиозному, расовому или этническому признаку, принцип «один человек — один голос» не всегда является приемлемым решением: этот принцип может привести к формированию устойчивого большинства или даже к «этническим чисткам», как произошло на Кипре. Введение полной демократии в подобных условиях может породить борьбу за увеличение воспроизводства определенных категорий населения, чтобы сделать их большинством демографическими методами, — так, по мнению протестантов Северной Ирландии, поступали ирландские католики.

Станет ли демократия средством решения проблем, например, современного Ирака? Возможно, народ этой страны, населенной

¹² См.: *Nylan* (1999). P. 70, 80ff.

чрезвычайно жестко разделенными по религиозным и этническим признакам общинами, предпочтет «распределение полномочий», как недавно произошло в Северной Ирландии, в результате чего не будет отмечаться постоянного преобладания какой-то одной группы (шиитов или протестантов), то есть окажется приемлемее совершенно другой институт — «разделенная демократия». В Древней Греции право голоса имели только граждане. Понятие гражданства, часто связываемое с либеральными и даже революционными режимами, на практике может допускать исключение значительной категории «неграждан». Выражение *«Civus Romanus sum»** предполагает, что на одной территории постоянно проживают люди, не обладающие равными правами; в подобном положении до недавнего времени находились турецкие иммигранты в Германии, а также иммигранты и даже временно пребывающие в стране лица в Швейцарии и Индии, не имеющие права на приобретение земли или недвижимости. То есть гражданство является не только включающим, но и исключаящим фактором.

Даже в рамках понятия гражданства полупостоянное включение в состав большинства, скажем, некоторых специфических религиозных групп может означать исключение сходных, но менее многочисленных групп на долгосрочной основе. Чтобы противостоять относительно постоянному дисбалансу, фактически исключающему краткосрочные изменения в структуре голосов, от которой зависит «полная демократия», можно, как мы видели, прибегнуть к распределению полномочий, чтобы обеспечить необходимое представительство (а также «социальный порядок» или согласие). Другой «квазидемократической» техникой является «положительная дискриминация», то есть предоставление дополнительных прав — в национальном собрании или, например, в обучении — некоторым непривилегированным группам. В США подобные меры предусмотрены по отношению к чернокожему населению; для женщин — везде, где приняты определенные квоты относительно выборов; но первым известным мне примером положительной дискриминации на национальном уровне стало включение особых положений относительно «касты неприкасаемых» в 1947 году в индийскую Конституцию. В основе своей она была написана д-ром Амбедхаром, принадлежавшим по рождению к касте неприкасаемых и считавшим, что индийское правительство, контролируемое другими кастами, несправедливо относится к этой группе населения.

* «Я римский гражданин!» (лат.).

Невзирая на подобные проблемы, сегодня демократию рассматривают как универсально применимую концепцию, основанную на высоких ценностях. Но пока демократия соблюдается лишь на уровне риторики, и ее представляют (ошибочно) как европейское изобретение. На практике же ситуация выглядит несколько иначе. Изменилось даже ее определение. Если изначально под «демократией» подразумевалась «власть народа», то затем значение данного термина сузилось, и теперь он относится к режимам, предполагающим каждые четыре или пять лет выборы в парламент при помощи тайного голосования. Но даже в таком случае при некоторых обстоятельствах применимость этого термина оспаривается — на Западе «демократическими» признаются не все выборы. В лице Арафата у палестинцев был избранный лидер, который обещал вновь выдвинуть свою кандидатуру на перевыборы. 24 июня 2003 года президент США Буш предложил план установления мира на Ближнем Востоке, первым пунктом которого было требование, чтобы палестинцы выбрали нового лидера, поскольку Арафат запятнал себя терроризмом. Но подобный аргумент затрагивали и бывшего израильского премьер-министра Бегина, а по мнению некоторых — и Шарона. Можно возлагать разные надежды на тех или иных лидеров зарубежных стран, но требование — в качестве условия проведения переговоров — «демократического» смещения законно избранных политиков (как в случае с ХАМАС) нельзя расценить иначе, как проявление высокомерия супердержавы, считающей вмешательство в дела других стран допустимым аспектом своей внешней политики. В недавнем прошлом такая политика открыто поддерживала скорее не демократически избранных лидеров, а диктаторов, и даже сегодня без особых трудностей США вступают в союз с пользующейся значительной властью централизованной монархией Саудовской Аравии или с военными лидерами Пакистана после совершенного ими переворота.

Единственным серьезным оправданием вторжения в Ирак было то, что иракский режим был недемократическим и более того — представлял собой жестокую диктатуру. Однако не существовало никаких международных договоров по поводу характера правительства, которое следовало создать в этой стране. Перед Второй мировой войной и германское, и итальянское правительства оказались у власти в результате демократических выборов. В случае с Испанией это было не так, однако союзники не предприняли попытки низложить Франко после войны, хотя тот пришел к власти в результате фашистского военного переворота и кровавой гражданской войны. То же

можно сказать о множестве правительств стран Африки, некоторых стран Южной Америки и других регионов (например, Фиджи). С другой стороны, наличие демократического правительства на карибском острове Гренада не спасло это государство от вторжения США, несмотря на то что оно относилось к территории Содружества, то есть было связано с ближайшим союзником США.

«Демократия» внутри конкретной страны редко сверяется с международной шкалой оценки. Практика выборов — на международном уровне принятия решений — выглядит очень по-разному. На Генеральную Ассамблею ООН делегатов выбирают правительства, и каждый из них имеет один голос независимо от количества населения в его стране — то есть в данном случае один голос имеет не один человек, а одно правительство. Совет Безопасности, состоящий из 18 человек, избирается Ассамблеей, за исключением пяти постоянных членов — представителей стран — победительниц во Второй мировой войне, каждый из которых имеет право вето. В любом случае ведущие государства мира, и особенно единственная на сегодняшний день сверхдержава, могут использовать свои военные, экономические, культурные и другие ресурсы для оказания давления на другие страны, на голоса которых они хотели бы повлиять, причем с помощью методов, которые осуждались бы в рамках национальных парламентов. В качестве недавнего примера можно привести представителей нескольких европейских стран, включая Болгарию и Италию, направивших в Белый дом письмо, одобряющее политику США в Ираке. Эти представители, очевидно, регулярно встречались в Вашингтоне, где получали «рекомендации» от некоего американского официального лица, работавшего в секретных структурах. Именно этот человек написал письмо от имени упомянутых государств, являвшихся в то же время кандидатами в члены НАТО, а для вступления в этот блок они должны были получить одобрение правительства США¹³. Решение оказать поддержку США было принято этими государствами без всякого согласования с собственными народами, которые могли быть против вторжения. То же самое можно сказать и по отношению к тогдашнему премьер-министру Великобритании Блэру, который не чувствовал никакой надобности выяснять мнение своих избирателей по поводу войны в Ираке, поскольку решил, что его позиция является верной, что бы ни думали все остальные. Такой же была и позиция Буша. Более того — тех, кто имел другое мнение, не только осуждали (как можно было ожи-

¹³ См.: Herald Tribune. 20.02.2003.

дать) — против них предпринимали различные санкции. Подразумевалось, что, если другие государства не принимают участия в войне против Ирака, они не будут иметь права голоса для послевоенных решений, которые, очевидно, будет принимать не ООН, а сверхдержавы и ее союзники. Россию, Францию и Китай предполагалось в будущем лишить возможности заключать договоры с Ираком и лишить их доступа к иракской нефти (как это было во время правления Саддама Хусейна), так сказать, на правах победителей. «Право» стало продуктом войны.

Такие дискриминационные меры вряд ли соотносимы с законными правами и свободами, с возможностью выбора между альтернативными курсами, что является базовыми условиями для демократии и правления народа. Однако в данном случае мы оказываемся беззащитными перед властью силы. На более низком уровне аналогичные меры были предприняты еще до конца войны. В ходе обсуждения на новостном канале Си-эн-эн¹⁴ был поднят вопрос о возможном отказе США от французских вин в пользу австралийских — то есть вин страны, чье правительство поддержало войну в Ираке, и прогнозировалось также падение продаж автомобилей марки «Мерседес». Даже названия «стран-диссидентов» иногда табуировались: в некоторых меню «*French fries*»* стал «*Freedom fries*»**, а «свобода» явно ассоциировалась с участием в войне. Доминирующая позиция, занимаемая США в киноиндустрии, на телевидении и вообще на уровне мировых СМИ, обеспечивает интерпретацию ситуации в интересах именно этой страны. Однако демократия основывается на концепции реализуемой «свободы выбора». Деньги и монополии несомненно влияют на свободу такого рода, когда на международном уровне на голосование можно повлиять с помощью ссуд или пожертвований, а на национальном уровне кандидатов выбирают среди тех, кто может позволить себе рекламу или хотя бы оплатить напитки для избирателей. В целом ситуация на международном уровне значительно отличается от положения на уровне отдельных государств; демократическая система применяется в определенном контексте. Бывший секретарь ООН в своей статье под названием «Соединенные Штаты против остального мира» отметил, что «наиболее важный аргумент можно сформулировать, следуя за философом Паскалем: “Демократия внутри Соединенных Штатов, автори-

¹⁴ См.: Herald Tribune. 20.02.2003.

* Досл. «жареный картофель по-французски» (англ.).

** «Жареный картофель свободы» (англ.).

таризм — вовне»¹⁵. На международном уровне демократические страны относятся к демократическим процедурам без всякого уважения.

Идея о том, что демократия возникла лишь как признак современных (и более того — западных) обществ, является грубым упрощением, как и отсылка к древнегреческим городам-государствам как истоку демократии. Очевидно, что греки создали лишь частичную ее модель. Однако многие древние политические системы, включая самые примитивные, применяли консультативные процедуры, предназначенные для того, чтобы определить волю народа. В самом общем смысле «ценность» демократии хотя иногда и забывалась, но тем не менее постоянно, если не всегда, признавалась в древних обществах и особенно отчетливо воспринималась в контексте противодействия авторитарным правлениям. То, что в современном мире институционализировалось в определенной форме выборов (избирательная процедура), изначально происходило по определенным политическим причинам, поскольку требовалось, чтобы население активнее участвовало в расходах государства (в форме уплаты налогов). Это было необходимо, чтобы изыскать деньги, необходимые парламенту. Общее налогообложение вряд ли возможно без неких форм представительства, как наглядно показали американские колонии. Однако конкретные его формы, столь восхваляемые Западом, не являются наиболее эффективными для обеспечения адекватного представительства: продвижение «вестминстерской модели» не служит универсальной панацеей даже на уровне отдельного государства. На международном же уровне еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем избирательные процедуры будут добровольно приниматься, а не вводиться силой или с помощью иных санкций.

Индивидуализм, равенство, свобода

С демократией ассоциируются три ценности, традиционно формирующие триаду понятий европейского мировоззрения и часто представляемые как результат исключительно европейского развития в сфере искусства, науки и экономики. Эти понятия постоянно употребляются во всех гуманитарных науках, например в литературной критике при обсуждении взлета таких жанров, как роман и автобиография, предстающих как воплощение парадигмы индивиду-

¹⁵ Unita. 22.04.2003.

лизма, — и это лишь один из примеров¹⁶. На Западе, кроме того, провозглашается, что индивидуализм внес вклад в развитие предпринимательства, считающегося первостепенным фактором развития капитализма. Как мы увидим в следующей главе, индивидуализм включает определенную свободу личного выбора (отдельного от коллективной ответственности), которая выходит на первый план в вопросах брака и нуклеарной семьи и тоже считается специфически европейской. Свобода такого рода часто уравнивается с понижением значимости семейных связей при выборе партнеров. Но люди никогда не испытывали полной свободы от семейных уз, поскольку их место скоро заняли другие узы и ограничения. Дети могли сравнительно рано покидать родительский дом, но вскоре после этого устанавливали тесные связи с другими людьми — возлюбленными, супругами и, в конце концов, с собственными детьми. В то же время они продолжали поддерживать на расстоянии (сокращавшемся благодаря визитам и постоянному общению с помощью писем, телефона и электронной почты) отношения с родителями, братьями и сестрами. Действительно, Ласлетт и другие ученые высказывали предположения о том, что в Европе такого рода разделение традиционной семьи могло даже усиливать связи внутри супружеского союза, отделенного от более широкой системы родственных связей. Однако такое понимание более сильных связей внутри супружеских союзов на Западе не кажется вполне совместимым с понятием («свободного») изолированного индивида, одиноко прокладывающего свой путь в мире, подобно Робинзону Крузо или другим героям европейских мифов, например Фаусту. Идеологическая несовместимость этих моментов становится вполне очевидной, когда высказывается мнение, что наша экономика была создана индивидуальными предпринимателями. Фактически же, семейные предприятия даже сегодня играют в экономике значительную роль¹⁷.

Триада ценностей, о которой идет речь, — индивидуализм, свобода, равенство — не ограничена лишь Европой. Как было недавно отмечено¹⁸, равенство и свобода, как и любовь, являются фундаментальными признаками этического учения ислама применительно к индивидууму. Равенство Ялман считает «фундаментальным аспектом исламской культуры». Действительно, это «транслируется» в реальность через идею открытого доступа людей к жизненным

¹⁶ См.: Unita. 22.04.2003.

¹⁷ См.: Goody (1996a). P. 192ff.

¹⁸ См.: Yalman (2001).

возможностям и отсутствие группы священнослужителей («духовенства»), которая имела бы привилегированный доступ к божественным истинам. Признание данной «ценности» не означает, что у исламских народов не существует неравенства. «На практике более высокое и более низкое положение являются такой же частью ежедневной жизни исламских народов, как и любых других»¹⁹.

Ялман показывает контрасты между чрезвычайно идеализированной формулой равенства и любви в исламе, с одной стороны, и принятой в Индии иерархией и отречением — с другой. Однако идеология часто значительно отличается от практики. Как упоминалось выше, Ялман признает, что в исламских государствах «не всегда» удавалось достичь равенства, а с другой стороны, цитирует замечание, показывающее, что даже в ригидном кастовом индийском обществе, обусловленном всеобъемлющей иерархией, наличие традиции *бхакти* подразумевало, что ранг индивида может быть изменен, и те, кто потерял статус «дважды рожденных», могут быть подняты до более высокого положения²⁰. Аналогично любовь является характеристикой индийского общества в той же мере, как и исламского, и не ограничивается каким-то одним из них; Ялман ссылается на широко известную традицию сексуальной любви, в частности гопи к Кришне. С тем же успехом он мог бы упомянуть тему любви в санскритской поэзии. Таким образом, это сходство указывает на «глубокую связь между индуистской и исламской духовными практиками», но Ялман далее продолжает, что, применительно к индуизму, любовь, как и равенство, является второстепенным признаком в характеристике данных великих цивилизаций (что мы и будем обсуждать в следующей главе)²¹. Насколько далека эта оценка от обычных европейских предубеждений относительно этих обществ (и их отношения к равенству и любви)! Ялман показывает, что, согласно гегельянскому представлению о взаимопроникновении противоположностей, практики, принятые в обоих обществах, демонстрируют нам признаки, противоречащие не только внешним стереотипам, сложившимся о них, но и в некоторой степени господствующим идеологиям самих этих обществ.

Итак, нам необходимо изменить представление о наличии резких контрастов в отношении равенства (и братской любви) в этих идеологиях, принимая во внимание сходные признаки, сопутствующие последним на практике. В сравнении с Африкой, развитие которой

¹⁹ Yalman (2001). P. 271.

²⁰ См.: Hopkins (1966); Yalman (2001). P. 277.

²¹ См.: Yalman (2001). P. 277.

шло по иной траектории, предполагавшей менее выраженное социальное расслоение, исламское общество Турции, как и индуистское общество Индии являются представителями евразийских культур, пришедших на смену бронзовому веку. Все подобные культуры являлись чрезвычайно стратифицированными, основанными на письменности и, большей частью, на неравномерном доступе к земле и другим ценным ресурсам, а также на военном искусстве. Однако неравенство в этих формах стратификации может подтверждаться религиозными идеологиями, основанными на письменных источниках. Ислам прилагает усилия к ослаблению светской стратификации и даже к противостоянию ей; это выражается в поощрении благотворительности (аспект братской любви) со стороны более состоятельных, иногда даже в поддержке восстаний бедняков, если нет никаких других путей перераспределения ресурсов. Однако благотворительность такого рода могла лишь поддерживать статус-кво. В Индии светская иерархия подкреплялась религиозной идеологией, но своеобразно, поскольку вершину иерархической пирамиды занимали именно образованные священнослужители, исполнявшие религиозные ритуалы, а не военно-политические лидеры. Светским правителям принадлежало лишь второе место. То же в широком смысле верно и для ислама, хотя там нет духовенства как такового — однако есть группы людей, знающих священные тексты. И образованность такого рода считается более важной, чем политическая власть²².

В Индии классовые различия также модифицируются под воздействием благотворительности (как и в исламе); в гуджаратской деревне, находящейся под управлением Конгресса, я видел хариджан (бывших «неприкасаемых»), стоявших в очереди за сывороткой, остававшейся после изготовления йогурта «крестьянами» Пателя. Однако более важными являются те аспекты религии (*бхакти* и поклонение Кришне), которые демонстрируют положительные характеристики уравнивания людей. Более того, в Индии всегда существовала некая открытая оппозиция иерархии, особенно в рамках давно известной традиции индийской атеистической мысли, поддерживавшей сопротивление далитов («неприкасаемых») кастовой системе, на нижней ступени которой они находились. Типичные примеры такой оппозиции можно видеть в деятельности Махатмы Пхуле (XIX век), торговца цветами из низкой касты, основавшего начальную школу для девочек, а позже — в трудах д-ра Амбедхара, лидера хариджан во времена Махатмы Ганди.

²² См.: *Berkey* (1992). P. 4.

Амбедхар создал индийскую Конституцию, предполагающую положительную дискриминацию, о которой мы уже упоминали, но, в конце концов, он вывел данную группу населения из рамок индуизма, интегрировав ее в буддизм. Буддизм и джайнизм выросли из индуизма, но отрицали кастовую систему. Амбедхар смог успешно ввести бывших «неприкасаемых» в лоно буддизма — индийской религии, которая на тот момент имела мало последователей в стране и, соответственно, пользовалась меньшим влиянием на внутреннюю политику.

Идея равенства совершенно точно не ограничивалась Европой, она присутствовала и в индуистском обществе (даже если это не всегда выражалось в религиозной мысли брахманов), а также в практике и в какой-то степени в иерархической идеологии, принятой в исламе. Эти противоположные тенденции — равенства и иерархии — зеркально отражают друг друга внутри любого общества; убеждения людей могут демонстрировать взаимоисключающие позиции, однако в более широких масштабах обе тенденции присутствуют не только в обоих названных обществах, но и в христианстве. Как и почему? Потому, что эти общества, зависевшие от продвинутых сельскохозяйственных технологий и их спутников в виде ремесел и торговли, были весьма стратифицированными с социально-экономической точки зрения, а кроме того, имели еще политическую и «религиозно-образовательную» стратификации по отношению к письменному слову и, в более общем виде, к Священному Писанию. Но такая стратификация часто рассматривается как противоположная тому, что фактически считается общечеловеческими представлениями о равенстве между всеми людьми (то есть между братьями и сестрами) или между партнерами, — причем между ними с большей вероятностью, чем между родителями и детьми (изначально — между отцами и сыновьями, как в мифе об Эдипе)²³. Один из этих наборов включает равенство, другой — неравенство, и оба встроены в социальные отношения, выходя за пределы семейных отношений. Оба типа включают в себя любовь, как братско-сестринскую, так и сексуальную, то есть любовь между равными («боковая» ветвь отношений). Другой набор относится к родительской любви и ко всему, что с ней связано, то есть к любви иерархической, между неравными субъектами. Введение иерархии отцом/родителем противопоставляется претензиям на равенство между братьями/сестрами. Эти тенден-

²³ См.: *Mitchell* (2003).

ции могут определять образ жизни индивида либо сообщества либо же представлять собой удаленную точку отсчета, которая вряд ли может удержат конкретного индивида от потребительского поведения или поведения, продиктованного собственными выгодами. Мы хорошо знакомы с подобными противоречиями между идеологией и реальным поведением в нашей собственной ежедневной жизни — мы сталкиваемся с ними, например, когда осуждаем загрязнение воздуха из-за избыточного количества автомобилей, садясь в свой «Ниссан», чтобы поехать в супермаркет (хотя супермаркеты мы тоже осуждаем, поскольку они заняли место небольших специализированных магазинов).

Понятие свободы²⁴, как и равенства, широко распространено в различных человеческих обществах. Концепт свободы зависит от контекста и отнюдь не ограничивается пределами Запада. Сэр Адольфус Слейд, англичанин, служивший офицером в османской армии в 20-е годы XIX века, писал: «До сих пор осман, по обычаю, имел значительные привилегии свободного человека, за которые христианские народы так долго боролись». Он платит весьма ограниченный налог на землю, ему не нужно платить церковную десятину, не нужен паспорт, ему не препятствуют ни таможня, ни полиция. «Даже человек самого низкого происхождения может без всякого излишнего самомнения стремиться достичь статуса паши». Слейд сравнивает такую свободу, «эту возможность реализации самых необузданных желаний» с достижениями Французской революции²⁵. Такая ситуация имеет огромное практическое значение. Можно сделать раба мусульманином, но нельзя сделать мусульманина рабом. Даже новообращенный мусульманин, например албанский мальчик, привезенный в Стамбул в качестве пленника, мог впоследствии подняться до самых высоких должностей в империи, за исключением султанского звания.

Ялман объясняет, как связаны друг с другом понятия свободы и равенства. Он отмечает, что высшие идеалы ислама

«связаны с принципом, согласно которому в исламе нет привилегированных личностей, а значимость человека зависит от нравственно-

²⁴ Однако свобода является понятием более сложным, чем ее обычно описывают. Кэрлайн Хамфриз недавно провела анализ русской концепции свободы в посткоммунистический период по сравнению с западной концепцией. В русском языке существуют два слова, обозначающие это понятие, — «свобода» и «воля». Первое из них обозначает скорее свободу в политическом смысле слова, тогда как второе означает свободу добиваться собственных целей.

²⁵ Цит. по: Yalman (2001). P. 271.

сти его/ее намерений, поведения и благочестия. Это может открыть ему дорогу на небеса, но даже в земных царствах все люди, обращенные в ислам, — то есть “предавшиеся” воле Бога — должны иметь равные возможности для преуспевания в обществе. Не отсюда ли проистекает притягательность ислама, в частности, для чернокожего населения Америки и для угнетенных народов по всему миру?»²⁶

Как мы видим, хотя основные «ценности» индивидуализма, равенства и свободы часто воспринимаются как в основе своей европейские, как часть культурного наследия европейского континента, давшая ему возможность начать развиваться в сторону модернизации раньше, чем это сделал весь остальной мир, такая уверенность покоится на довольно шатком фундаменте. «Свобода индивидов добиваться своих целей» долгое время считалась приметой современного капитализма. Но, как указывает Валлерстайн²⁷, отсутствие принуждения может означать и противоположное, то есть «ликвидацию гарантий воспроизводства», игнорирование прав, проистекающих из наследования, отсутствие понимания того, насколько велико различие между капитализмом и предшествующими ему системами²⁸. В различных формах упомянутые понятия присутствуют и в других обществах, причем не только в развитых культурах, обладающих письменностью, хотя идеология таковых неизбежно более очевидна. Тем не менее европейцы стремятся идеологически присвоить позитивные аспекты этих понятий, имеющих также и негативные стороны, — братские отношения включают в себя раздоры между братьями, а концом любви может стать ненависть. Эти несомненные добродетели, фактически, являются более сложными понятиями, чем часто предполагается, — особенно братство (братская любовь), стремящееся сгладить иерархическое неравенство государственных систем благодаря состраданию.

Милосердие и двойственное отношение к роскоши

Понятие милосердия является важнейшим аспектом не столько гуманизма, сколько гуманности, или человеческих ценностей. Св. Павел

²⁶ Ibidem.

²⁷ См.: Wallerstein (1999). P. 16.

²⁸ Ibid. P. 16–17.

провозгласил, что величайшими добродетелями являются «вера, надежда и любовь, и величайшая из них — любовь». Латинское слово *caritas* переводится и как «любовь», и как «милосердие»; здесь подразумевается любовь к другим представителям рода человеческого, а сексуальный аспект любви я рассмотрю в следующей главе. Милосердие — это добродетель, распространявшаяся прежде всего на «собратьев во Христе» и часто ассоциируемая исключительно с христианством. Однако в действительности все основные религии, основанные на письменных текстах, нуждались в поддержке и ресурсах, например, для возведения храмов и поддержания их в порядке, а также на содержание персонала, необходимого для функционирования религиозных институтов. Поэтому религиозные институты неизбежно стремились к накоплению богатства, в особенности посредством получения денежных или иных ресурсов от более состоятельных членов общества. Если у кого-то был излишек богатства, он должен был передан на Божье дело (или пожертвован Будде либо иному божеству). В то же время бедность, в принципе, считалась похвальной. Считалось, что у богача могут возникнуть трудности при попытке попасть в Царствие Небесное (если только он не избавится от своих богатств). У бедняка же проблем существенно меньше: он был заслуженным объектом милосердия (благотворительности), то есть получателем даров со стороны богатых благодаря посредничеству церкви. Так что милосердие никогда не было исключительно христианской добродетелью — в той же мере это явление (и понятие) обнаруживается среди мусульман, парсов, джайнов и буддистов. Для мусульман благотворительность является священным долгом, одним из пяти столпов веры. В Западной Африке личная благотворительность осуществлялась каждую пятницу, когда бедным или нуждающимся выделялась *садака* (род милостыни). В Средиземноморье, где сложилась более выраженная «классовая» дифференциация и другая система землепользования, практиковались более значительные пожертвования (*вакф*), выделяемые на нужды мечети и связанных с ней учреждений: больницы, караван-сарая, рынка, медресе (учебного заведения) — или в доверительный фонд для помощи нуждающимся. Аналогичные явления имели место во всех других мировых религиях (основанных на письменных источниках), где подаяние нищему или монаху считалось богоугодным делом. Внесение средств на постройку богаделен и приютов для бедных, а также предоставление пищи беднякам были важным шагом, который мог сделать человек, возможно зачеркнув тем самым свои прошлые ошибки.

Таким образом, свою долю получали как бедные, так и церковь. Выше уже было отмечено, что в христианстве бедность считалась богоугодной сама по себе. Это не означает, что в христианских культурах люди не стремились к богатству и роскоши. В некоторых источниках, написанных не без стремления к самооправданию, говорится, что богатые необходимы для того, чтобы помогать бедным, точно так же, как более богатые нации призваны помогать менее благополучным народам. Однако духовенство, князья церкви приобретали предметы роскоши и соответствующие привычки так же, как и представители других слоев населения. В отношении к роскоши всегда присутствовала некая двойственность, поскольку не только религиозные учения, но и некоторые философы, например Мэн-цзы, утверждали, что роскошь не только не необходима для жизни человека, но и вредна, а в некоторых случаях однозначно являет собой зло. Но вместе с тем цель всех облеченных властью (и в духовной, и в светской сфере) состояла в том, чтобы купцы, крестьяне и ремесленники накапливали материальные ресурсы, чтобы быть в состоянии поступать должным образом. Эти две тенденции противоречили друг другу, что порождало в людях раздвоенность, приводившую некоторых к аскезе, к отрицанию и даже уничтожению предметов роскоши (как в известном случае со св. Франциском Ассизским). В юности Франциск предавался увеселениям, рыцарским забавам и неумеренной расточительности. Тяжелая болезнь вынудила его взглянуть на жизнь иначе. Он обрек себя на бедность и дал обет никогда не отказывать нищему в милостыне. Он отказался от наследства и всегда носил одну и ту же коричневую тунику из грубой шерсти, подпоясанную пеньковой веревкой. Впоследствии св. Франциск основал францисканский орден, который, как и другие монашеские ордены, предусматривал обеты бедности, целомудрия и повиновения. Обет бедности был наиболее важным среди них (так как способствовал милосердию); этот орден отвергал идею владения собственностью.

Однако широко распространенное двойственное отношение к богатым и роскоши как таковой редко выражалось в столь крайних формах. Сама природа благотворительности в значительной степени зависит от остатков доходов богатых, живущих в сравнительной роскоши, благодаря которой, однако, можно предоставить бедным самое необходимое. Возрастающее потребление, провоцируемое роскошью, с одной стороны, и его отсутствие, то есть бедность, — с другой, являются важными аспектами дифференциации экономики, возникновения богатых и бедных, что произошло в определенной форме в бронзовом веке, когда сравнительное экономическое «равенство»

более древних обществ было разрушено новой техникой производства, позволившей одному человеку с плугом производить настолько больше продукции, чем другому без плуга, что это сделало одного богаче, а другого — беднее²⁹. Иными словами, благотворительность и двойственное отношение к роскоши, а также бедность и богатство были в значительной степени результатами изменений, происшедших в бронзовом веке, а в сельскохозяйственных обществах Африки, основанных на мотыжном земледелии, они не полностью отсутствовали, но значительно меньше зависели от идеологии.

Поведение, связанное с роскошью, — такое, как благотворительность, — неотъемлемо присуще всем стратифицированным обществам, но оно не является статичным, а изменяется со временем как по внешним, так и по внутренним причинам. К первым я отнес бы рыночные силы, технологии производства, в результате которых, например, сахар из редкой дорогой приправы превратился в продукт массового потребления. Поскольку высшие слои общества идентифицировали себя с помощью потребления предметов роскоши, им приходится изыскивать все новые и новые объекты потребления, которые могли бы обозначать классовые различия и которых не могли приобрести все остальные из-за их редкости или высокой стоимости. В «Структурах повседневности» Бродель отмечает, что всегда требуется отличать условия жизни «привилегированного меньшинства, которое мы можем считать живущим в роскоши», от условий, в которых жило большинство населения³⁰. Однако признаки, отделяющие одних от других, постоянно менялись. «Так, сахар был роскошью до XVI века; перец оставался ею еще до конца XVII века. Роскошью были спиртное и первые “аперитивы” во времена Екатерины Медичи, перины из лебяжьего пуха или серебряные кубки русских бояр — еще до Петра Великого». Апельсины были роскошью в Англии во времена Стюартов и позже; эти цитрусовые особенно ценили как подарки на Рождество. Все это изменилось, когда предметы роскоши для состоятельных стали товарами для всех и производство для элиты превратилось в массовое потребление.

Однако изменения в восприятии предметов роскоши могут быть продиктованы и внутренними причинами, то есть модой. Бродель считает, что мода появилась в Европе около 1350 года, с появ-

²⁹ Я не хочу сказать, что в других формах общества не существовало бедности, но там она была явлением другого порядка.

³⁰ См.: Braudel (1981 [1979]). Р. 183.

лением коротких, легких туник, но стала по-настоящему могущественной лишь к 1700 году, когда начала «влиять на всё»³¹. Однако это касалось лишь высших классов; крестьяне продолжали носить одну и ту же одежду неизменного фасона, что, согласно Броделю, было присуще восточным цивилизациям.

Тема перемен является излюбленной для многих европоцентристски настроенных историков, считающих, что именно Запад «изобрел изобретения»³². Разумеется, такое заявление абсурдно, как мы уже убедились, рассматривая в главе 5 великий труд Нидэма о Китае. Это же относится и к более тщательно продуманным притязаниям Броделя. Проблема перемен, не только в поведении, касающемся роскоши, но и в более широком смысле, неотъемлемо связана с западным восприятием восточных обществ. Капитализм требует перемен, как традиционное общество — покоя, но при всем том изменяются все общества — просто с разной скоростью и в разных условиях. Я считаю, что в древних религиозных системах многие культы отражают свою внутреннюю устарелость, будучи адресованными «богу, не оправдавшему надежд»³³. В конце концов они перестают работать, и поиск новых решений в борьбе с человеческими проблемами является неотъемлемой чертой таких обществ. В результате происходит смена святынь и мест поклонения: старые забываются, как не оправдавшие надежд, и появляются новые. Возможно, данный процесс следует вывести за рамки такого понятия, как «мода», которая тоже является причиной перемен, но на более тривиальном уровне. Этот уровень можно обнаружить даже у устных культур, таких, как лодага в Северной Гане. Даже в ритуалах постоянно изменялись песни и мелодии, как в наши дни, изменяются ритуальные танцы и хлопчатобумажные платья, используемые женщинами для этих танцев. Такие изменения поведения лежат достаточно близко к моде, особенно если говорить об использовании импортных тканей.

Роль моды и роскоши в развитии капитализма среди прочих факторов подробно рассматривал немецкий экономист Зомбарт, как мы видели в главе 7. Эта роль не является уникальной особенностью Европы, но была широко распространенным следствием роста экономической деятельности в различных обществах после бронзового века. Со временем скорость изменений увеличивалась. Рост объема

³¹ См.: *Braudel* (1981). P. 317.

³² *Landes* (1999); *Goody* (2004).

³³ См.: *Goody* (1957).

торговли и коммерции, как и самой продукции, подлежащей торговле, стал важной приметой модернизации наряду с быстротой изменений, связанных с модой. Как мы видели, Бродель датирует такого рода изменения началом XVIII века. Такая датировка связана со стремительным ростом внимания к моде при французском дворе в правление Людовика XIV (1638–1715). Этот король требовал, чтобы представители знати проводили в Версале, по меньшей мере, часть года, и праздный образ жизни в этих условиях стимулировал постоянные изменения моды на одежду. Французский двор начал каждые полгода приглашать производителей шелка из Лиона, чтобы обсудить будущий дизайн тканей. Это было приметой первых перемен, однако более значимым было то, что изменения моды стали уже постоянными, что, соответственно, влияло на дальнейшую индустриализацию производства. Во Франции скорость изменения дизайна шелковых тканей, предназначенных для аристократии, была столь большой, что привела к спаду производства шелка в итальянском городе Болонья, который до того времени был крупнейшим производителем шелка. Это произошло в XVIII веке, и с тех пор итальянское производство шелка так и не восстановилось³⁴. Этот процесс может соперничать с сегодняшними ежегодными модными показами в Париже, Милане, Нью-Йорке, Лондоне и других столицах мира (и в какой-то степени стал для них образцом), которые стали не только местом, где богатые люди (в данном случае женщины) покупают одежду, но и событием, определяющим, какая одежда пойдет в массовое производство и что массы будут считать «модным», — социально-экономическое развитие общества привело к тому, что диктату моды теперь подвластны практически все категории населения, хотя, разумеется, не на уровне «роскоши».

Итак, скорость изменений в области моды и предметов роскоши в Европе значительно увеличилась — как и число людей, для которых такого рода изменения стали актуальными в связи с развитием соответствующего промышленного производства и рынка массового потребления. Этот сдвиг произошел не благодаря некоему стремлению к переменам, присущему Европе, но скорее вследствие самой природы рынка и производственных процессов. Таким образом, Бродель не прав, утверждая, что мода была сугубо европейским явлением. Противореча броделевскому представлению об обществах, склонных и не склонных к переменам, Элвин отмечает, что в Китае мода на женскую одежду, обозначаемая как «тенденция времени»,

³⁴ См.: *Poni* (2001 a and b).

имела место в Шанхае в конце XVII столетия³⁵. Я подозреваю, что в меньшем масштабе мы можем проследить данную тенденцию, во-первых, раньше, а во-вторых, возможно, повсюду.

Мода в одежде изначально была одним из очевидных «символов статуса» для богатых — так же как роскошь в более широком значении. Как и во многих обществах после бронзового века, выбор одежды часто диктовался социальным статусом индивида; в некоторых местах существовали регулирующие законы, которые предписывали определенную одежду тем или иным иерархическим группам, тогда как в других местах различия носили менее формальный характер. Например, в период правления Генриха IV парижанам было запрещено носить шелк³⁶. Однако с развитием мануфактур и торгового обмена — как внутри страны, так и международного, — с ростом численности и социального престижа буржуазии этот класс сделал подобного рода ограничения почти невозможными для соблюдения — в Европе и повсюду. «Низшие» делали все возможное, чтобы воспринять поведение «высших», особенно в случаях, когда это подрывало существовавшее деление на статусные категории. Интересно, что регулирующие законы были смягчены в Китае примерно тогда, когда это произошло в Европе, то есть когда в обоих регионах развивающаяся буржуазия не хотела более оставаться на вторых ролях, что, несомненно, было результатом внешней торговли наряду с внутренней «эволюцией». После этого мода и «вкус» стали отделять элиту от других слоев населения в большей степени, чем закон, и весь этот процесс стал более гибким, но и более сложным. Таким образом, признание благотворительности по отношению к бедным добродетелью, двойственное отношение к роскоши (для богатых), использование одежды для обозначения статусных различий и законов для их защиты, роль моды в изменениях одежды не являются присущими какой-либо одной культуре Евразии, но обнаруживаются во всех основных обществах, прошедших этап урбанизации.

Наконец, многие европейцы считают себя наследниками гуманизма эпохи Возрождения, а также идей французской, американской и даже английской революций, которые, по общему мнению, привели к появлению новых обществ и иных моделей жизни. Одним из аспектов новой, «просвещенной» жизни стала современная демократия. Европа притязала на ценности, которые на уровне риторики (и в особенности текстов) считались изобретенными на данном

³⁵ См.: *Elvin* (2002). P. xi.

³⁶ См.: *Braudel* (1981). P. 311.

континенте, но при этом воспринимались как повсеместно приемлемые, тогда как в действительности они должны восприниматься в определенных обстоятельствах и в зависимости от условий. Разрыв между этими провозглашаемыми целями (ценностями) и реальностью может быть очень велик; однако в большинстве случаев считается, что на Востоке их вообще не было. На самом деле гуманистические ценности и, соответственно, гуманизм существовали во всех обществах — конечно, не всегда в одной и той же форме, но они всегда были узнаваемы и сравнимы. И разумеется, триада «индивидуализм, равенство, свобода» присуща не только и исключительно современной демократии и современному Западу; как и милосердие, эти понятия распространены гораздо шире.

Глава 10. Похищенная любовь: Европа претендует на эмоции

Объектом претензий Европы на исключительное обладание стали не только многие выигрышные по своему значению институты и ценности, но даже некоторые эмоции, и особенно любовь¹. Некоторые формы любви, а иногда сама ее идея рассматриваются как сугубо европейский феномен. Такое мнение особенно распространено среди историков-медиевистов, таких, как Дюби, которые положили начало традиции утверждать, что «романтическая любовь» зародилась в Европе XII века, в культуре трубадуров. Современные историки, изучавшие развитие института семьи, использовали идею об уникальности любовных отношений, чтобы объяснить определенные аспекты жизни внутри семей, связанные с демографическим переходом от больших семей к малым, а также с ролью супружеской семьи в развитии капитализма. Некоторые социологи усмотрели здесь ключ к модернизации, особенно к модернизации эмоциональной жизни. Другие, обобщая, считают, что европейское понимание любви связано с религией, — то есть любовь является атрибутом христианства («возлюби ближнего своего»), в котором она интерпретируется как «братская». Такое мнение было общим допущением многих европейских ученых, включая психологов, таких,

¹ Эта глава была написана на основе материалов, подготовленных мной для сборников Луизы Пассерини (в частности, «Love, lust and literacy») и включенных в книги «Food and Love» (J. Goody, 1998) и «Love and religion: comparative comments»; они будут напечатаны в сборнике под редакцией L. Passerini (Berghan Books, Oxford). Помимо этого информация на данную тему содержится в работе «Islam in Europe» (Polity Press, 2003), как и в материалах, которые я подготовил для сборника под редакцией C. Trillo San José (ed.). *Mujeres, familia y linaje en la edad media* (2004).

как Персон, считавших, что идея любви распространялась в западной культуре вместе с «растущим акцентом на индивидуальности как важнейшей ценности»². Любовь — романтическая любовь — часто, как принято считать, идет рука об руку с индивидуализмом, свободой (выбора партнера, в отличие от браков по договоренности) и с модернизацией в целом. Здесь меня волнует не столько причина предъявления европейцами подобных этноцентристских претензий³, сколько сама их обоснованность.

В этой главе я, следом за европейцами (и особенно за Голливудом), буду рассматривать романтическую любовь как нечто отличающееся от любви в более общем понимании и встречающееся, в восприятии многих, исключительно на Западе. По причинам, о которых вскоре скажу, я не думаю, что это предположение является верным; я также не думаю, что «романтическая» любовь значительно (за исключением отдельных деталей) отличается от любви как таковой. Иными словами, это еще одно изобретение Запада, призванное отделить культуры европейского континента от всего остального мира.

Начнем с широко распространенного предположения о том, что трубадуры XII века были первыми, кто говорил о теории и практике куртуазной, романтической любви. Это предположение является наиболее важным, в частности, в исследовании историка де Ружмона, посвященном любви в Европе⁴. В аналогичных категориях развития оценивает любовь социолог Норберт Элиас. То, «что мы называем любовью», «эта трансформация удовольствия, этот отзвук чувства, эта сублимация и утонченность эмоций»⁵, возникло, как он утверждает, в феодальном обществе, в культуре трубадуров, и было выражено в «лирической поэзии». Он считает, что все эти тексты, весь жанр отражали «подлинные чувства» и, говоря словами медиевиста К.С. Льюиса, являлись индикаторами «нового положения вещей»⁶. В том, что в результате мы обнаруживаем новый для христианской Европы поэтический жанр, вряд ли можно сомневаться. Однако нет никаких свидетельств того, что в этот период возникли какие-то новые чувства, если только мы говорим не о новых формах выражения чувств; причем эти новые формы выра-

² Person (1991). P. 386.

³ Ibidem.

⁴ См.: De Rougemont (1956).

⁵ Elias (1982). P. 328.

⁶ См.: Lewis (1936). P. 11.

жения имели отношение только к христианской Европе, а не к всеобщим изменениям в человеческом сознании. Как мы увидим, за пределами Европы существовало множество способов выразить любовь, в том числе романтическую. Так что претензия, возникшая изначально в феодальной Европе, совершенно безосновательна⁷.

Сходная тема была недавно затронута известным историком-медиевистом Жоржем Дюби. Он согласен, что «Европа XII века открыла любовь»⁸. Но при этом он не считает ее родоначальниками исключительно трубадуров Аквитании. Подобные песни пелись и в Париже, например Абеляром, который поступал «как трубадур»⁹. То же самое мы видим и при англо-нормандских дворах в правление Генриха II Плантагенета (1154–1189), когда возникли «наиболее продотворные направления литературного творчества» и зародилась легенда о Тристане и Изольде¹⁰. Изменение отношения к любви Дюби относит на счет «феминизации христианства» и новой роли младших сыновей рыцарей, выигравших от экономического роста в этот период.

Род любви (*la fin d'amor*), отражавшийся в поэмах трубадуров, включал в себя определенное чувство одиночества влюбленного и дистанции (часто социальной), скажем, между придворным и женой его сеньора. Стихи подобного характера писали не только мужчины, но и женщины (*troubaritz*); одной из наиболее известных поэтесс была Кастеллоза из Оверни, жена Тюрка де Майоннэ, адресатом стихов которой был некий Арман де Брион. Одно из ее стихотворений начинается так:

*Vouz avez laiss   passer un bien long temps
Depuis que vous m'avez quitt  .*

[Вы времени позволили течь так долго
С тех пор, как Вы покинули меня.]

В качестве объекта любви часто выбирался недоступный или даже умерший человек, и эта дистанция, физическая или социальная, считается общей характеристикой куртуазной любви.

⁷ См.: Goody (1998).

⁸ Труды Дюби на эту тему включают такие работы, как «Que sait-on de l'amour en France en XII si  cle?» (1988) и «   propos de l'amour que l'on courtois» (1988).

⁹ См.: Duby (1996). P. 61, 66.

¹⁰ Ibid. P. 73, 68.

Однако данная разновидность любовной поэзии, будучи специфичной по форме, вряд ли уникальна с точки зрения вкладываемых в нее чувств. Кит Хопкинс, ученый, специализирующийся на истории Древнего мира, обнаружил древнеегипетские стихи о любви между сестрой и братом (в Древнем Египте такой союз считался приемлемым)¹¹. В Китае существовала любовная поэзия, датируемая IX–VII веками до н.э., собранная в «Книге песен»*. В середине VI века придворный поэт Сюй Ли составил сборник стихов о любви, назвав его «Новые песни с Нефритовой террасы». В сборник вошли произведения, относящиеся к придворной традиции стихосложения Южного Китая. «Поэзия в дворцовом стиле» отличалась стандартизированной формой и изобиловала условностями, одна из которых состояла в том, что «возлюбленный женщины должен отсутствовать»¹². Как мы увидим позже, дистанция была неотъемлемой чертой как любовной переписки, так и любовной поэзии. Двор Японии Хэйанского периода (794–1185) был известен в Китае под названием «двор королей», поскольку именно женщины играли там первые роли на литературной сцене. В процессе ухаживания будущий супруг девушки из аристократической семьи посылал ей любовные стихи, и она отвечала ему тем же. Выйдя замуж, женщины часто проводили время за стихосложением и участвовали в различных поэтических соревнованиях; одно из них, в частности, включало развешивание бумажных ленточек со стихотворениями во время празднования цветения сакуры, — этот ритуал имел как религиозное, так и светское значение¹³. Искусство написания писем считалось самым важным для ухаживания и «куртуазности»¹⁴. Особенно ценились любовные письма; в отличие от христианского Запада (по крайней мере, в религиозном контексте) здесь любовь считалась не грехом, но священным ритуалом. Книги, посвященные сексуальному образованию (буквальному, с описанием различных позиций), часто были написаны монахами и входили в приданое юных девушек. Однако позже, когда в обществе стали больше ценить добродетели, связанные с воинственностью, к любви и сексу стали относиться более пуритански. Такое чередование пуританизма и прославления в отношении общества к любви было обусловлено не только военными, но и

¹¹ См.: Hopkins (1980).

* *Шицзин* — один из древнейших памятников китайской литературы.

¹² См.: Birrell (1995). P. 8.

¹³ См.: La Culture des Fleurs. «French edition». Le Seuil, 1994. P. 496.

¹⁴ См.: Beurdeley (1973). P. 14.

религиозными факторами. Эпоху трубадуров в Европе можно рассматривать как проявление аналогичного процесса, последовавшего за ограничениями, свойственными периоду раннего христианства.

Китайская и японская культура не являются единственными за пределами Европы, где была известна и процветала любовная поэзия; выражение любви в литературном творчестве мы находим в «Песни песней» в Библии (несомненно, оказавшей влияние на христианскую Европу, где, однако, как и в других подобных традициях, это произведение часто интерпретировали аллегорически, как если бы в своей буквальной форме этот жанр был недостойн серьезного внимания), а также в значительном своде древнеиндийской санскритской поэзии¹⁵. Более близкий по времени образец для поэзии трубадуров, хорошо известный в Европе XII века, представляли собой произведения Овидия, древнеримского поэта, жившего в правление императора Августа. Однако считалось, что для него любовь была «чрезмерно плотской» и внебрачной; с точки зрения де Ружмона, в поэзии Овидия «было мало или совсем не было следов романтической любви более поздних времен»¹⁶. Однако этот ученый пренебрегает значительным количеством моментов сходства. В обеих традициях любовь часто была внебрачной; более того, в творчестве трубадуров просматривались скрытые тенденции сексуальности, а в произведениях Овидия — более чем явные следы романтических переживаний.

Дронке в своем всеобъемлющем исследовании средневековой латинской любовной лирики и возникновения ее европейских форм (1965), в противоположность Льюису, приходит к выводу о том, что никаких «новых чувств» в XII веке не появилось:

- 1) ««новое чувство» *куртуазной любви* было известно, по меньшей мере, еще в Египте II тысячелетия до н.э., и, соответственно, оно смогло возникнуть в любом месте в любую эпоху. То есть это, как предположил профессор Марру, «частица сердца, одна из вечных черт человеческих»;
- 2) чувство *куртуазной любви* не привязано к придворному или рыцарскому обществу, оно отразилось и в европейской народной поэзии (которой с весьма высокой вероятностью предшествовала длительная устная традиция);
- 3) исследования европейской придворной поэзии должны, таким образом, сосредоточиться на разнообразии сложных и утон-

¹⁵ См.: Brough (1968).

¹⁶ Parry (1960). P. 4.

ченных вариантов *развития тем, связанных с куртуазной любовью*, а не на поиске корней этих тем как таковых. Если мираж внезапно зародившегося “нового чувства” рассеялся, то конкретные проблемы истории литературы, несомненно, продолжают существовать»¹⁷.

Безоговорочно соглашусь с Дронке в том, что мы имеем дело с миражом, говоря о «новом чувстве» куртуазной любви исключительно в европейских категориях, хотя я должен подчеркнуть роль, которую этот мираж сыграл в мировой истории. В то же время у меня есть определенные сомнения по поводу бесписьменных обществ, и я повсеместно выражаю их¹⁸; вероятно, любовная лирика все-таки требует письменности.

Хотя латинская поэзия могла послужить примером для трубадуров Лангедока, существовали и более близкие источники и тенденции, которые могли повлиять на их творчество, а именно высокоразвитая исламская традиция любовной поэзии, существовавшая в арабоязычной Испании и на Сицилии. Наиболее правдоподобным объяснением различий между творчеством Овидия и более поздних авторов любовной поэзии является то, что «трубадуры были подвержены влиянию культуры мусульманской Испании»¹⁹. В период существования «небольших дворов» (*тайфа*) и до прихода в 1086 году из Африки пуритански настроенных берберов-альморавидов мусульмане и христиане Андалусии жили бок о бок практически на равных правах. Мусульманские дворы Андалусии были частью той же традиции, к которой принадлежала и остальная Испания; здесь также существовали значительные центры, где создавалась и преподавалась любовная поэзия. Представителем данной традиции был известный поэт Ибн Хазм, автор поэмы «Ожерелье голубки» (1022), посвященной искусству любви (которая иногда воспринималась аллегорически). Во всем мусульманском мире было создано множество образцов любовной поэзии, влиявшей даже на такие периферийные страны, как Сомали, расположенную в районе Африканского Рога. Но в Южной Испании эта традиция была особенно сильной — не только среди мужчин, но и среди женщин. Одной из наиболее известных здешних поэтесс признана Валлада, дочь халифа, державшая в Кордове литератур-

¹⁷ Dronke (1965). P. i.ix. Ссылка на Marrou — RMAL, iii (1947). P. 189. Термин «новое чувство» используется в работе: Lewis C.S. The Allegory of Love. P. 12.

¹⁸ См.: Goody (1998). P. 119.

¹⁹ Parry (1960). P. 1.

ный салон. Были и другие женщины, которые писали стихи, демонстрируя «поразительную свободу выражения и реализации любовных переживаний»²⁰. В Андалусии даже некоторые еврейские женщины начали писать любовные стихи такого рода.

Взаимодействие между христианскими государствами было легким и постоянным, и сами поэты часто выступали в качестве средства общения. «Появилось множество странствующих поэтов, путешествующих от одного двора к другому»²¹ — феномен, который столетие спустя стал очень популярным во Франции. В Сицилии поэты с севера часто посещали нормандский двор Рожера II, а затем — двор Фредерика II в Палермо (в значительной степени ориентированный на арабскую культуру), чтобы познакомиться с местным художественным творчеством²². Представители сицилийской школы чаще писали любовные стихи на своем родном языке, чем на провансальском; им приписывают изобретение двух основных итальянских поэтических форм — *канцоны* и сонета.

В действительности мусульманские и еврейские женщины занимались различными видами деятельности, которые европейская традиция считает несовместимыми с культурой гендерного неравенства (лишающей, с европейской точки зрения, женщин возможности переживать романтическую любовь, за исключением, возможно, религиозных контекстов). Точно так же неоспоримое влияние, оказанное мусульманской Европой на своих христианских соседей, представляет серьезную угрозу для идеи о том, что романтическая любовь — это нечто неожиданно изобретенное при рыцарских дворах Европы. Чтобы спасти представление о «европейском происхождении любви» (и других составных частях того, что принято считать «современной» семейной жизнью), некоторые ученые предположили, что значительная роль женщин в Андалусии берет свое начало в более ранней истории страны, то есть в вестготских и иберских обычаях, существовавших до вторжения мусульман. Аналогичной точки зрения было принято придерживаться по отношению и к другим характеристикам семейной жизни в Андалусии, особенно в период господства в Испании фашистского режима, с его тенденцией к преуменьшению исламского влияния на общественную жизнь как Испании, так и Европы в целом. Эта тенденция противоречит новому вкладу Гишара в историю этого региона,

²⁰ *Viguera* (1994). P. 709.

²¹ *Parry* (1960). P. 8.

²² См.: *Asin* (1926).

продемонстрированному в его книге «“Восточные” и “западные” социальные структуры»²³, а также последующим исследованиям испанских ученых, посвященным Андалусии. Но в то же время она послужила причиной более широкого осмысления и нового видения положения женщин в исламе. Западный мир сегодня часто перегружен образами «женщин под чадрой», знанием о том, что в исламском браке возможно многоженство, а также о том, что школы для девочек не всегда приветствовались в мусульманском мире. Такое понимание сохраняется в массовом сознании, политическом дискурсе и даже в академических спорах, невзирая на тот факт, что недавние исследования продемонстрировали более точное видение этих моментов и открыли более глубокое сходство между европейскими и мусульманскими установками и практиками в Средиземноморье, чем обычно считалось. В данном регионе использование чадры зависело от социального статуса, как и в Италии эпохи Возрождения или в викторианской Европе. Если не брать в расчет гаремы властителей, полигамные браки, фактически, ограничивались очень небольшим количеством людей — менее 5% населения, и происходило такое обычно в исключительных обстоятельствах, например чтобы обеспечить появление наследника. Такое многоженство мало чем отличалось, скажем, от череды браков Генриха VIII, за исключением того, что в условиях ислама с нежеланной женой не разводились. Другие практики, напоминающие полигинию, — такие, как конкубинат и внебрачные связи, — были широко распространены и в Европе. В любом случае существование полигинии никоим образом не мешало возникновению личных, индивидуализированных чувств, таких, как любовь. Как мы знаем из библейской истории женитьбы Иакова, помимо «главной» жены всегда могла быть «любимая жена» (Сара), к которой муж питает романтическую привязанность. То же касается и образования; школы изучения Корана (для мальчиков) не были единственной возможностью получить образование; частные учителя (иногда — члены семьи) давали уроки также и девочкам. Однако исключение женщин из системы школьного обучения влияло на жизненный выбор множества людей в рамках исламских культур, а также (до недавнего времени) в рамках иудаизма и христианской Европы²⁴.

²³ См.: *Guichard* (1997).

²⁴ Несмотря на то что женщины-мусульманки были формально лишены права обучаться в большинстве медресе, тем не менее они иногда получали религиозное образование, как утверждает *Berkey* (1992). P. 161ff.

Как показывает наше обсуждение, заявление о происхождении поэзии трубадуров идет рука об руку с более широким спором о природе андалусского и исламского общества. Было ли положение женщин в то время (влиявшее на возможность любовных отношений) ближе к европейским или исламским корням? В исламском обществе женщины, как правило, пользовались полной свободой посещать рынки как в качестве покупательниц, так и в качестве продавцов. В Турции женщины часто появлялись в суде. От Ганы до любых других исламских регионов женщины предпринимали паломничества в Мекку, связанные с большими трудностями. Как я отметил, Гишар предполагает, что здесь нам необходим классовый анализ ситуации. Женщины высших классов сталкивались со значительными ограничениями, тогда как женщины, чья деятельность была связана с развлечениями, пользовались заметно большей свободой. В число последних входили певицы, танцовщицы, музыкантши, поэтессы, которыми иногда различные дворы обменивались как дарами, причем обмен происходил даже между мусульманскими и европейскими дворами. Такой обмен демонстрирует структурное сходство двух традиций, как и каналы взаимопроникновения идей, в том числе касающихся поэзии и любви. В самом деле, границы между дворами и странами с различными религиозными убеждениями часто были довольно условными.

Этот факт вскоре привел многих ученых к выводу, что необходимо глубже рассмотреть вопрос мусульманского влияния на поэзию трубадуров. Утверждалось, что во многих отношениях поэзия двух культур весьма сходна с метрической точки зрения. Мы знаем, что поэты путешествовали из одного региона в другой, часто пользуясь некой неформальной защитой²⁵. Если это так, вероятность того, что возникновение этой новаторской для Европы формы литературного творчества стимулировалось контактами с исламским миром, оказывается довольно высокой. Было отмечено, что и на уровне формы, и на уровне содержания «у лирики трубадуров не было предшественников на Западе, но существовали убедительные аналоги — на уровне тем, образов и формы стиха — в более ранней испано-арабской поэзии»²⁶. В своей работе, посвященной европейско-арабским отношениям в Средние века, историк Дэниэл отмечает:

«В целом кажется бесспорным, что куртуазная поэзия на арабском языке, часто тривиальная, тем не менее характеризовалась гораздо

²⁵ См.: *Asin* (1926).

²⁶ *Nykl* (1946).

большим количеством тем и фабул, чем поэзия трубадуров. Если бы последняя не занимала особого места в истории европейской литературы, ее можно было бы рассматривать как не более чем провинциальное и упадническое ответвление придворной испанской поэзии... Если же, однако, европейская концепция куртуазной любви родилась при дворах *тайфа* (возникших после распада Халифата в 1031 году), вся романтическая традиция европейской литературы находится в неплатном долгу перед Испанией XI века»²⁷.

Даже Нелли, французский историк, изучающий трубадуров и катаров, считает, что эта романтическая традиция, включающая воздержание от актов интимной близости и подчинение мужчины избранной даме, возникла частично из арабских источников, а также из византийских и множества других. «Все возможности, указанные Нелли, — отмечает Дэниэл, — предполагают двойное или даже множественное происхождение европейского романтизма». Как это далеко от выводов известного медиевиста, специалиста по английской литературе Льюиса, который писал, что трубадуры

«в XI веке открыли или изобрели, или были первыми, кто выразил ту романтическую страсть, о которой до сих пор пишут английские поэты и в XIX веке... и они воздвигли непреодолимые барьеры между нами и античным прошлым или настоящим Востока. В сравнении с этим революция Возрождения кажется всего лишь рябью на поверхности литературы»²⁸.

Идея, что именно трубадуры впервые сделали любовь «не грехом, но добродетелью»²⁹, может быть верной для средневековой Европы; но она совершенно не выдерживает критики в общемировой перспективе и показывает узость точки зрения, ограниченной западной литературой. Ру отметил один интересный момент: в теократическую эпоху провансальская поэзия не только сосредоточивалась на физической красоте женщины, но впервые в Европе включала любые ссылки на спасение души или на сверхъестественное и чудесное³⁰, знаменуя тем самым новый гуманизм, который Ру относит к светскому отношению к жизни, считая, что он совмещает

²⁷ Daniel (1975). P. 105–106.

²⁸ Lewis (1936). P. 4.

²⁹ См.: Roux (2004). P. 166.

³⁰ См.: Ibidem.

феодалную этику с «любобными отношениями». Как мы видели, в исламском мире также существовали сходные периоды. Это же касается и других значимых традиций. Светское отношение к любви и всему остальному не было монополией Европы, хотя и верно, что Возрождение повлекло за собой его распространение в самых различных сферах. Но в любом случае исключение религиозного и сверхъестественного в творчестве трубадуров говорит о влиянии поэтов и ученых, порожденных другой традицией и знавших, что они должны исключать. Такое влияние не является удивительным, учитывая тот факт, что провансальский язык был лингвистически близок каталанскому, на котором говорили в Северной Испании, и что, например, катары легко пересекали границы, и их сообщества существовали как в Испании, так и во Франции³¹.

Возможно, в христианской Европе поэтическое возвышение любви должно было происходить в светском контексте, за пределами религиозной сферы, именно потому, что последняя накладывала ограничения на проявления этой эмоции. Но так было не везде; гуманизм в светском смысле не обязательно служил предпосылкой ее развития или выражения. Эта тема, как в светском, так и в религиозном контексте, вызывала широкий интерес в мусульманском мире. Особенно ярко акцент на религиозной стороне любви делался в суфизме. Один суфий писал: «Я не христианин, не иудей и не мусульманин... моя религия — любовь»³². Фактически, светский и религиозный аспекты любви были тесно переплетены. Антрополог Ялман выразил интересное мнение, которое я пространно цитирую потому, что оно тесно связано с предыдущими главами.

«Можно сказать, что интерес к любви как социальной доктрине возник в исламе очень рано, в *тарикатах* мистиков. Это в значительной степени язык сердца: любовь в данном смысле является опасной, даже разрушительной доктриной. Именно так многие расценивают *тарикаты* до сих пор. Любовь людей к Богу и друг к другу имеет некое дионисийское качество, которое с трудом поддается властному контролю. Такая необузданная и всепоглощающая любовь выражается в крайне эмоциональных ритуалах — в страстных мистериях у шиитов или в ритуальном пении (*дхикр*), принятом в различных орденах дервишей, или в *сема* — ритуальном кружении *мевлеви* — танцующих дервишей, и во всех случаях отмечается,

³¹ Ibid. P. 166–167.

³² *Zafrani* (1986). P. 159.

что эффект общих ритуалов состоит в растворении индивидуальности в “океане любви” группы. Степень, в которой Ближний Восток был подвержен таким идеям, можно понять исходя из того, что Божественная любовь (*такаввуф*) является наиболее распространенной и постоянной темой поэзии и музыки в Османской, Персидской и даже Могольской империях. Этот поток углублялся и ширился на протяжении столетий. Он полноводен и сейчас. На тему Божественной любви существует обширное собрание произведений наиболее значительных поэтов — таких, как Юнус Эмре и Мевляна Джалаледдин Руми, Саади, Хафиз и многие другие. За божественной духовностью ощущаются могущественные образы любви как метафоры человеческих отношений. И снова мусульмане настаивают на совместном мистическом опыте. Считается, что индивидуальный мистический опыт и экстаз присущи христианству.

Метафора любви, любви людей к Богу и друг к другу, влекла за собой определенные политические последствия. Конечно, она отрицает то искусственное качество, которое иногда начинают демонстрировать хорошо управляемые общества. Любовь как всепоглощающая страсть может отбрасывать формальности и подрывать социальные барьеры. Она может ослаблять привилегии тех небольших закрытых групп, которые управляют важными общественными институтами, угрожая разрушить тщательно выстроенные иерархические структуры, само существование которых зависит от того, насколько строго люди выполняют свои обязанности и ведут себя соответственно своему статусу. Она настаивает на том, что люди равны друг другу, разрушает разделяющие их барьеры и объединяет людей, создавая у них чувство общности, когда каждый чувствует себя одним целым с другим и с Богом»³³.

Ярким примером любви, объединяющей божественное и земное, были гомосексуальные отношения великого поэта Руми и странствующего дервиша Шемса. Сходные отношения, на этот раз гетеросексуальные, отражены в очень известном произведении андалусского суфийского поэта Ибн Араби (1165, Мурсия — 1240, Дамаск). Он изучал наследие Пророка в Мекке вместе с Ибн Рустаном из Исфахана и встретился с его непорочной дочерью Низам; это была «стройная дева, пленительная собою, привносящая в наши встречи благодать... Если бы не души, склонные к злым мыслям и намерени-

³³ Yalman (2001). P. 272.

ям, я мог бы подробно описать все добродетели, которыми Бог одарил ее, подобно тому, как наполнен плодами фруктовый сад». Его книга «Толкование страстей» посвящена Низам (Гармонии), и Ибн Араби позже объясняет, что все выражения, используемые им в этой поэме (соответствующие любовной поэзии), относятся одновременно к этой девушке и к духовной реальности³⁴. Их отношения можно сравнить с отношениями Данте и Беатриче; в самом деле, существует предположение о прямом влиянии творчества Ибн Араби на флорентийского поэта. Связь между светской и божественной любовью была чрезвычайно сильной в исламе, но она прослеживается и в христианстве; в исламе, правда, можно обнаружить различия в определенных поэтических формах, а также в искусстве Могольского и других дворов, но отличия не были слишком большими.

Как мы знаем из исследований Каролин Бинум, посвященных женщинам-мистикам Средневековья³⁵, иногда два аспекта любви, духовный и плотский, очень тесно переплетаются. Мистическая писательница XII века, фламандка по имени Хадевейх, говорила о своем единении с Христом так: «После того как он пришел ко мне, он заключил меня в объятия и прижал к себе; и все мои члены почувствовали его в полном блаженстве...»³⁶ Эта привязка к плотскому началу связана с идеей, что Христос имел не только божественную, но и человеческую природу; невидимый Бог стал видимым в соответствии с учением о земном воплощении. Как и в других мировых религиях, в христианстве граница между земной любовью мужчины и женщины и духовной любовью к Богу (и Бога к роду человеческому) часто размыта. Для обозначения обоих чувств используется одно и то же слово, и романтической любви, как в «Песни песней» или в «Ожерелье голубки», может придаваться аллегорическое значение, поскольку любовь является неотъемлемой частью комплекса религиозных идей и практик. Божественная любовь (отдаваемая и принимаемая), любовь мужчины, любовь женщины — все объединяется одним и тем же словом, предполагающим общий элемент при разнообразии форм. Древнееврейская Библия тоже использует это слово для обозначения божественной любви, а также братской любви между мужчинами и сестринской — между женщинами. Именно поэтому раввины могут интерпретировать очевидно эротическую «Песнь песней» как символ любви Бога к Израилю — такое

³⁴ См.: *Cantarino V.* (1977); *Nicholson R.* (1921); *Ibn Arabi* (1996).

³⁵ См.: *Bynum* (1987).

³⁶ Hart, quoted J. Soskice (1996). P. 38.

толкование усвоили и христиане, трансформировав ее в любовь Христа к людям. Эта книга была включена в каноническую Библию лишь потому, что рабби Акива в I веке н.э. заявил, что ее следует понимать аллегорически: между тем в самом тексте нет ничего, что позволяло бы предположить такую интерпретацию³⁷. Первые три части книги пророка Осии демонстрируют аналогичную идентификацию, что позже протестанты называли бы путаницей. Однако в иврите, кажется, присутствует различие между «любовью» (*'ahabh*) и «желанием» (*shawq*). Когда Бог проклинает Еву, он говорит, что ее «желание» (*shawq*) будет к Адаму, но не подразумевает, что она будет «любить» (*'ahabh*) его.

Такое определение любви к женщине, к родине или к Богу проходит по всему Ветхому Завету, сохранив свою актуальность и позднее. В произведениях еврейского автора Ибн Гебиры (ок. 1021 — ок. 1057), испытавшего значительное влияние ислама, любовная поэзия также включает в себя элемент мировой любви, особой связи между Израилем и Богом. Зафрани пишет о «неоднозначных сочинениях, не важно религиозных или светских, о которых нельзя сказать, относятся ли они к мистической любви или же к кому-то более близкому, ученику или другу»³⁸. Заметим, что в то время, когда арабская поэзия нередко была светской и даже эротической³⁹, иудейская поэзия в Магрибе в основном была религиозной, хотя имела и другую сторону. Великий еврейский философ Маймонид активно порицал занятия поэзией. Светская поэзия не всегда была уважаема, особенно песни, исполняемые рабынями во время застолий⁴⁰.

В некоторых направлениях европейского христианства две формы любви (невзирая на одно и то же слово) диаметрально противопоставлялись друг другу во многих контекстах. В Римско-католической церкви священникам запрещалась супружеская любовь (как, разумеется, и внебрачные связи); им были заповеданы взаимные узы любви с Богом, вечная братская любовь ко всему человечеству и вообще ко всему созданному Богом. Однако, несмотря на высокий статус celibата (мужского и женского) в католицизме, сомнения и различные оценки любви (даже брачной) являются частью христи-

³⁷ За этот комментарий я благодарен Джессике Блум, Эндрю Макинтошу и трудам проф. Н.О. Ялмана.

³⁸ *Zafrani* (1986). P. 109.

³⁹ *Ibid.* P. 134.

⁴⁰ *Ibid.* P. 136.

анских воззрений, частью легенды об Адаме и Еве, они заключены в словах и самого Христа, и его последователя Павла. Это противоречие становится особенно острым в дуалистических воззрениях на христианскую веру, в частности у манихеев, проводивших четкое разграничение между «этим» и «грядущим» мирами, между «земным» и «греховным», с одной стороны, и «благим» и «духовным» — с другой. Среди катаров в XII веке быть «совершенным» (а в этой группе все стремились быть таковыми) означало отрицать плотскую любовь как одну из принадлежностей этого мира, полностью противоположных «духовному», Богу, религиозной жизни. В результате катары отрицали мир, плоть и дьявола. Этот путь отрицания повлиял даже на мирян. Например, Толстой ближе к концу жизни под влиянием новой религии любви покинул семью и отказался от всех земных уз, включая любовь жены и тринадцати детей. Здесь можно говорить о противоречии не столько между земной и божественной любовью, сколько между плотской и братской любовью. Древние греки разделяли эти две формы любви — духовную и плотскую. Одну из них (эротическую, сексуальную) они называли *эрос*, а другую (братскую, общественную) — *агапе*. В христианской же традиции оба эти вида любви называли одним и тем же словом, поэтому терминология была неясной, однако существовали определенные контексты, в которых разграничение четко проводилось. Трубадуры воспевали земную любовь, но то же самое делалось и в различных направлениях санскритской, китайской и исламской любовной поэзии. Хотя поэзия иудеев Магриба была в основном религиозной, «Песнь песней» содержит определенно светский элемент (хотя и воспринимаемый часто аллегорически). В большинстве традиций на протяжении длительного периода времени можно найти некоторое чередование между религиозными (и пуританскими) и светскими (то есть более выразительными) элементами. Современниками трубадуров, населявшими те же регионы Южной Франции, были катары, воспринимавшие светскую любовь только в рамках пуританской религиозной структуры, особенно применительно к «совершенным», то есть к духовным, лидерам катаров. Неопределенность обнаруживалась не только в изменениях, происходивших с течением времени, но и в современных различиях в вопросах веры.

Теперь распространим наше обсуждение и на область секса. Хотя любовь и секс нельзя полностью отождествить друг с другом, тем не менее в большинстве случаев их нельзя и разделить. Разумеется, существуют платоническая любовь, дружеская любовь между

мужчиной или женщиной, любовь к Богу, а также любовь к самому себе. Но в большинстве случаев одним из аспектов любви являются сексуальные отношения с другим человеком, и такая любовь, несомненно, является земной и, как правило, светской.

Дуализм добра и зла сохраняется и здесь, но в исламе «законный» секс находится по другую сторону границы по сравнению с катарами. Некоторая неопределенность в этом вопросе представлена в человеческих обществах очень разнообразно и выражается в вариациях поведения, связанного с любовью; в некоторых обществах запрещен секс между близкими родственниками (как в христианстве), в других же он широко поощряется (как в исламе). Ислам обычно считают религией, не накладывающей строгих регулятивных ограничений на человеческую сексуальность; действительно, один из хадисов (историй о пророке Мухаммеде в рамках исламской традиции) провозглашает, что каждый раз, когда мужчина совершает сексуальное сношение, он делает доброе дело⁴¹. Однако неопределенность присутствует и здесь; у арабов ритуально принятой при начале сексуальных отношений с женой является фраза: «Ищу убежище в Боге от проклятого Сатаны; во имя Бога, милостивого, милосердного»⁴². Несмотря на то что половое сношение как таковое считалось богоугодным делом, общая картина была более сложной, поскольку ислам тоже обращался к легенде о падении человека, отражающей, очевидно, двойственное отношение к сексу. Это падение относится к мужской сексуальности, однако Адам нуждается в Еве, поэтому и здесь мы находим те же самые сомнения относительно секса и любви, которые уже обнаружили в устной традиции общины Багре у лодага⁴³, хотя в каждом из этих случаев союзы, одобренные Богом, похоже, противопоставлялись союзам, «исходившим от Сатаны».

Приверженцы идеи возникновения романтической любви в Европе благодаря трубадурам часто обнаруживали сходное отношение к сексуальности и браку. Например, Элиас, чьи труды мы обсуждали в главе 6, рассматривает сексуальность в разделе, озаглавленном «Изменения восприятия отношений между полами»⁴⁴. В соответствии со своим общим видением «истории социального поведения» он начинает с констатации того, что «чувство стыда, окружающее сексу-

⁴¹ Согласно Абу Дхарру.

⁴² Goode (1963). P. 141.

⁴³ См.: Goody and Ganda (2002).

⁴⁴ См.: Elias (1982). P. 138ff.

альные отношения людей, значительно изменилось в цивилизационном процессе»⁴⁵. Свидетельство такой перемены он извлекает из комментариев XIX века к «Беседам» Эразма Роттердамского, опубликованным в XVI веке, где показаны «другие стандарты стыда», отличавшиеся от позднейшего периода, когда «даже среди взрослых все относящееся к сексуальной жизни в высшей степени скрывалось и укрывалось покровом тайны»⁴⁶. Стыд перед сексуальным актом рассматривается как часть цивилизационного процесса в Европе эпохи Возрождения. Лично я считал бы его частью гораздо более обширного противоречия.

Элиас осознает аналогичное развитие в сторону моногамного брака, провозглашенного церковью на ранних этапах ее истории. «Однако брак принимает свою четкую форму социального института, связывающего оба пола, лишь на более поздней стадии, когда побуждения и влечения ограничиваются более строгим и сильным контролем. И только тогда внебрачные отношения мужчин стали действительно осуждаться обществом или хотя бы стали чем-то, что должно оставаться в полной тайне»⁴⁷. Это допущение кажется весьма сомнительным и, возможно, относится к викторианскому периоду в Британии, но ни в коей мере не к остальной Европе. Однако Элиас строго придерживается такого понимания, чтобы утвердить свой тезис: «С течением цивилизационного процесса сексуальное влечение, как и многие другие инстинкты, подпадало под более строгий контроль и трансформировалось»⁴⁸. В 30-е годы XX века такое заявление еще возможно было сделать (хотя лично я в этом весьма сомневаюсь), но после 60-х вряд ли было бы верным говорить о развитии в направлении «более строгого контроля». Женщины стали пользоваться большей свободой в этой и других сферах; мужчины также не стали большими пуританами, чем в викторианские времена. Действительно, в данном отношении викторианская Англия может рассматриваться как отдельный случай подавления инстинктов.

Сомнения по поводу земной любви появились не с зарождением религий, основанных на текстах, хотя некоторые и полагают из-за ис-

⁴⁵ Замечание, относящееся к суждениям таких авторов, как Гинсберг, Монтень и Фрейд, относительно влияния социума на поведение, не поддерживавших, однако, идеи о развитии понятия стыда.

⁴⁶ *Elias* (1982). P. 146.

⁴⁷ *Ibid.* P. 150.

⁴⁸ *Ibid.* P. 149.

тории Адама и Евы (так широко растиражированной на фасадах романских церквей), что эта часть иудео-христианской традиции (часто называемой именно так теми, кто ошибочно исключает из списка ислам) наделяет верующих чувством вины за сексуальный акт, — вины, которой Бог наделил первых людей, нарушивших его запрет и изгнанных из рая. Индийская религия, гораздо более откровенно включавшая сексуальные сцены в храмовую скульптуру, тоже не только поощряет воздержание в разных аспектах, но и расценивает сексуальный акт как «загрязняющий», то есть делающий его участников «грязными» или «грешными», по крайней мере в духовном смысле. Аналогичную неопределенность по отношению к деторождению мы видим в устной культуре лодага, в традиции общины Багре⁴⁹. По одной из версий, первые мужчина и женщина занимались сексом, но демонстрировали чрезвычайную сдержанность, признавая этот факт перед Богом, чье начало Творца, разумеется, проявлялось иначе. Сексуальные отношения, фактически, всегда являются частным делом участвующих в них лиц, и этот взаимный обмен имеет свои опасности, как и свои положительные стороны.

Честь «изобретения любви» в Европе часто приписывали трубадурам (но не катарам, которые, будучи манихейцами, чуждались плотской любви), тогда как другие авторы, как мы видели, считали, что развитие этого чувства (по крайней мере, в его братской форме) берет свое начало в самом христианстве как таковом, в понятии «милосердие» (*caritas*) и в завете любить своих братьев, соседей и других окружающих. Не было предложено никакого объяснения, как христианство, имеющее корни и священные тексты, сходные с иудаизмом и исламом, могло развиваться совершенно самостоятельно и независимо. В действительности же все великие мировые религии, зародившиеся в бронзовом веке, который принес радикальные социально-экономические различия (в форме «классов»), предполагают некие дела милосердия (благотворительности), направленные, по меньшей мере, на братьев по вере. Это входило в понятие исламского *вакфа*, а также аналогичных институтов у парсов, джайнов, буддистов и представителей других культур и религий. Заповедь «Возлюби ближнего твоего» — результат неизбежного универсализма мировых религий, основанных на текстах, переставших быть «племенными», и сосредоточившихся на привлечении представителей других групп⁵⁰. Но в любом случае на практике применение этой

⁴⁹ См.: *Goody and Ganda* (2002). P. 15.

⁵⁰ См.: *Goody* (1986).

заповеди, даже среди членов одной и той же религиозной группы, было ограниченным. Именно в данной сфере мы должны отличать риторику и идеологию от практических действий больше, чем в какой-либо другой. Несмотря на утверждения апологетов, в этом отношении было бы сложно считать христианство имеющим особенно важное влияние на чувства людей.

«Европейским» считали не только чувство любви — что весьма сомнительно, — но применительно к гораздо более позднему периоду некоторые историки и социологи исключительно европейскими признавали даже любовные отношения (по крайней мере, в их романтической разновидности), видя именно в любви одну из причин возникновения на этом континенте истинно современного общества, то есть модернизации, связанной с зарождением капитализма — еще одного европейского изобретения. Данная тема вносит значительный вклад в сферу исторической демографии. Составной частью этой проблемы наряду с понятием любви является понятие семьи. Питер Ласлетт и его коллеги из Кембриджской группы в своей работе, посвященной английским приходским записям рождений и смертей после Реформации, показали, что английские домохозяйства никогда не относились к «расширенному» типу, поскольку показатель средней численности семьи в домохозяйствах* этой страны начиная с XVI века составлял в среднем лишь 4,7 человека⁵¹. Эти авторы связывают небольшие размеры домохозяйства с нуклеарной семьей, наличие которой считалось одним из факторов модернизации и развития капитализма на Западе. Такие социологи, как Толкотт Парсонс, указывают на связь между промышленным капитализмом и малой семьей, способствующей мобильности рабочей силы и уменьшению расширенных обязательств, обусловленных родством. Историки, занимающиеся проблемами семьи, считают «нуклеарную семью», основанную на романтической любви, источником супружеской любви (обусловленной свободным выбором супруга) и родительской любви (забота о детях), способствующей мотивации и самосовершенствованию в конкурентной окружающей среде. Однако Англия вовсе не нуждалась в капитализме, чтобы воспринять этот тип домохозяйства; он уже существовал там в отличие от ситуации во многих других частях света, не следовавших этому (западному) европейскому образцу⁵².

* *Средняя величина домохозяйства* (Mean household size, MHS) — отношение общего числа лиц, живущих в домохозяйствах, к количеству последних.

⁵¹ См.: *Laslett and Wall* (1972).

⁵² *Ibidem*; *Hajnal* (1965).

В недавнем исследовании Мэри Хартман «Домохозяйство и понимание истории» (2004), претендующем на «противоположную точку зрения на прошлое Запада», утверждается, что «уникальный пример поздних браков, проявившийся в 60-х годах XX века, но берущий свое начало в Средневековье, помогает понять, почему Европа была очагом перемен... положивших начало современному миру». В этом мальтузианском предположении нет ничего нового, оно имеет долгую историю, включающую привязки к демографическим фактам, к этическому и социальному прогрессу. Мы не подвергаем сомнению существование в Европе необычно поздних браков как для мужчин, так и для женщин, что некоторые авторы считали фактором, способствующим любви, однако вывод, будто данное обстоятельство способствовало формированию современного мира, кажется преувеличенным, в высшей степени спекулятивным и в очередной раз телеологически основанным на более поздних преимуществах, без каких бы то ни было мыслях о сравнении.

Претензии на уникальность европейской семьи представляются проблематичными и с точки зрения более широкого исследования вопросов родства. Например, Китай воспринимался бы иначе со своими так называемыми расширенными домохозяйствами (которые, как оказалось, в значительно степени относились к зажиточным семьям, чей уклад всегда отличался от ситуации в бедных домохозяйствах). На конференции, организованной некогда Кембриджской группой⁵³, я показал, что даже в обществах, состоящих из значительных сообществ сородичей (то есть кланов), реальное домохозяйство (в отличие от «полного дома [людей]», группы жилищ) обычно является небольшой единицей (репродуктивной и экономической)⁵⁴, не имеющей значительных отличий в размере от данных Ласлетта по домохозяйствам Европы. Хотя я признаю обоснованность концепции о браке европейского образца⁵⁵, четкое разделение между европейским и неевропейским типами брака является слишком радикальным и категоричным и игнорирует многие моменты сходства между восточными и западными практиками, по меньшей мере применительно к основным обществам после бронзового века, поскольку пренебрегает общими признаками, в частности наличием выкупа за невесту и «комплексом женской собственности»⁵⁶. Эти

⁵³ Опубл. в 1972 г. (под ред. Laslett and Wall).

⁵⁴ См.: *Goody* (1972).

⁵⁵ См.: *Hajnal* (1982).

⁵⁶ См.: *Goody* (1976).

рассуждения ведут к проблеме, затронутой даже Хайналом, который позже более тонко рассматривал вопрос относительно среднего размера домохозяйства на Востоке и на Западе⁵⁷, предполагая, что гораздо более значительные различия заключались не в размере домохозяйств, но в процессе их формирования.

Если абстрагироваться от размера домохозяйств, в антропологии существовали две значительные тенденции относительно понимания эволюции семьи. Первая возникла главным образом из работ авторов XIX века, занятых изучением перехода от человеческого стада к племени и семье, заключавшего в себе переход от более крупных к более мелким структурным единицам. Речь идет о тех исторических изысканиях, которые исследовали более крупные (но в целом оставшиеся недостаточно изученными) структурные единицы, например «расширенные семьи» в более древних обществах, и менее крупные («нуклеарные семьи») в позднейших, современных обществах. Однако «расширенные семьи» всегда имели в своей основе «элементарные семьи», по меньшей мере отчасти, и, таким образом, данное противопоставление является ошибочным. Вторая тенденция представляет другое антропологическое видение, возникшее в большей степени в результате изучения недавно собранного полевого материала, чем малоизвестного прошлого, и нашедшее свое воплощение особенно в трудах польского антрополога Бронислава Малиновского, в частности в монографии «Семья у аборигенов Австралии»⁵⁸, где он показывает, что даже наиболее «примитивные» из существующих обществ, так называемые «человеческие стада», организованы на основе небольших брачных групп. Таким образом, применительно к этим объединениям нельзя говорить о переходе от «стада» или «племени» к «семье»; и то и другое может существовать одновременно. В то время как более крупные объединения родственников имеют тенденцию исчезать с течением истории, особенно в урбанистических обществах, семья и люди, связанные семейными узами, остаются основными действующими лицами в сфере социальных отношений. Мне кажется, что такую позицию занимают большинство наиболее видных теоретиков социальной сферы, и не только Малиновский, Рэдклифф-Браун и Леви-Строс, но и их последователи; хотя Эванс-Притчард и Фортс, вслед за Дюркгеймом и Гиффордом, могли делать акцент на родственные связи более широкого характера⁵⁹.

⁵⁷ См.: Hajnal (1982); Goody (1996b).

⁵⁸ См.: Malinowski (1913).

⁵⁹ Критический комментарий см. в кн.: Goody (1984).

Принимая это широко распространенное (если не повсеместное) преобладание малой семьи, можем ли мы представить себе союз, который не основывается на (сексуальной) любви для супруга (или супругов) и (несексуальной) любви для детей? Первая из них не обязательно предполагает выбор партнера. Его не было в Европе XVIII века, по крайней мере в состоятельных семьях. Но мы знаем, насколько важное положение занимает эта форма любви для идеологически ориентированных историков Нового времени, поскольку она включает *свободу* выбора и *индивидуализм*, считающиеся неотъемлемыми западными ценностями. Она также подразумевает близкие отношения между партнерами (хотя и часто разрываемые в результате развода) и столь же близкие (но более хрупкие) связи между родителями и детьми, подразумевает не только значительное инвестирование в обучение детей, но и уменьшение их числа (предпочтение качества количеству), то есть ведет к процессу, известному под названием «демографический сдвиг». Уменьшаются домохозяйства и семьи; отношения между родителями и детьми, а также между супругами становятся более тесными — то есть усиливается супружеская и родительская любовь. Оптимально такая семья создается по выбору самих партнеров, а не является результатом брака по сговору (который, снова повторяю, был менее распространен среди бедных слоев населения, для которых богатство и статус не играли сколько-нибудь значительной роли).

Если в обществе существуют различные пути образования брачных союзов — как по сговору, так и благодаря «свободному выбору» и романтической любви — и наличествуют соответствующие возможности, мало какие общества будут рассматривать их как жесткую альтернативу⁶⁰. Разумеется, браки по сговору (весьма антипатичные современным европейцам) не способствуют всплеску нежной любви после их заключения — в таких случаях секс предшествует любви. И в случае, если такая пара оказывается несовместимой, многие общества допускают вариант развода, после которого «свободный выбор» с большей вероятностью становится важной чертой следующего брачного союза. Если мы вспомним, что на протяжении всей истории человеческие культуры воспроизводились именно посредством союзов, основанных на сексе, каждый из которых включал в себя выбор партнеров (не обязательно осуществляемый лишь самими партнерами — часто в этот процесс были вовлечены и другие, а также применялись определенные правила), то заявление о том, что

⁶⁰ См.: Hulton (1995).

лишь на Западе этот процесс включал в себя любовь или, по крайней мере, романтическую любовь, кажется несколько высокомерным и предвзятым. Противоречие проглядывает хотя бы в том, что Запад долгое время признавал нечто особенное в отношениях между мужчиной и женщиной на Востоке, что выражалось, например, в языке цветов (в начале XIX века считалось, что он был изобретен в турецких гаремах), в сказках — таких, как сказки Шехерезады, в эротике, воплощенной в росписях дворцов Моголов или же в японских эротических альбомах, используемых для того, чтобы разжигать страсть в невестах (или информировать их), и столь популярных в Европе конца XIX века. В самом деле, поднесение цветов, имеющих определенное значение, долгое время практиковалось в небольших сообществах Азии.

В крайних случаях брачное соединение мужчины и женщины носилось на счет скорее похоти, чем любви, особенно в обществах с полигинией. Такое противопоставление неверно, и признаки отношений, по меньшей мере сравнимых с теми, которые мы называем любовью, обнаруживаются даже в примитивных бесписьменных культурах Африки, таких как лодага в Северной Гане⁶¹, хотя во многих из них первый брак заключался в соответствии с пожеланиями родителей.

Однако, хотя я считаю, что в африканских культурах присутствовала «любовь», устная «литературная» традиция не развивает тему этого чувства так, как происходит в основных европейских и азиатских обществах. Заметим, что все эти общества имеют письменность, и все наши источники, касающиеся Франции XII века и других подобных обществ, являются текстовыми. Непременное наличие письменности указывает, что описание любви требует некоторых специфических условий. *Во-первых*, никто не общается посредством письма, если не находится на расстоянии от объекта коммуникации (за исключением школьного учителя в классе, у доски, с куском мела). Поэтому акт письменной коммуникации значительно отличается от общения лицом к лицу, которое только и возможно в сугубо устных культурах. Любовная поэзия в письменной форме, очевидно, является способом общения с кем-то, кто уехал, оставлен или «удален» (возможно, и в социальном отношении) каким-либо другим образом. Данная особенность уже отмечалась применительно к поэзии трубадуров, но она обнаруживается и в китайской поэзии, как я уже упоминал в этой главе. *Во-вторых*, само сочинение стихов или

⁶¹ См.: Giddens (1991).

прозы включает процесс предварительного обдумывания, что снова отличает этот процесс от устной речи. Возможность вернуться к написанному способствует более тщательной разработке способов выражения чувств, что редко можно найти в устных культурах. Следовательно, любовная поэзия с высокой вероятностью является более продуманной в обществах, имеющих письменность, причем в одни эпохи это проявляется в большей мере, чем в другие. Мы не предполагаем, что во всех обществах существовало одинаковое представление о любви или что романтическая любовь везде была основным способом выбора брачного партнера. Эта форма отношений определенно не является уникальной прерогативой ни Запада, ни современности. То же следует сказать и о «взаимной любви», которую социолог Гидденс недавно представил как «постромантическую» и характерную для «современного» общества⁶², являющуюся эволюционной преемницей «романтической любви».

Противоположный взгляд (в смысле отсутствия любви и выбора) был неотъемлемой частью мнения, что древние общества были организованы скорее на коллективной, чем на индивидуальной основе. Этот взгляд, породивший идею «первобытного коммунизма», отчасти основывался на наличии крупных родственных групп (кланов или родов), однако не принимал во внимание того, что эти группы всегда делились на «отдельные гнездовые сегменты» (например, «сегментарные линьяжи»), действующие по собственному усмотрению. В их рамках часто существовали «минимальные линьяжи», на основе которых формировались простые или, возможно, более сложные семьи. Равным образом держание земли, фактически, никогда не было общинным в том смысле, который часто ему приписывался данным термином; небольшие группы пользовались более или менее исключительными правами на продукты с какого-то надела, а также на охотничью добычу, хотя эти виды деятельности могли иногда в большей степени принимать общинные формы.

Значимым фактором при обсуждении способов выражения любви (особенно романтической) является то, что большинство общественных систем (но не все) за пределами Европы поощряли образование брачных союзов в раннем возрасте. Девушек выдавали замуж вскоре после наступления пубертатного возраста, а помолвки иногда заключались даже раньше посредством родительских договоренностей или с помощью системы родства — например, в исламских странах было принято жениться на дочери брата своего отца,

⁶² См.: *Giddens* (1991).

однако часто допускался некий элемент выбора. Соглашения такого рода заключались частью для того, чтобы быть уверенным в партнере, частью для того, чтобы обеспечить подходящую пару, частью (там, где контрацептивные техники были ограничены) для того, чтобы избежать незаконнорожденных детей (с точки зрения существовавших норм). Когда подобное происходит в обществе, это значит, что у подрастающего поколения отсутствует длительный период юности, а секс откладывается на будущее, когда и происходит поиск сексуальных партнеров. Именно в этот период затяжного поиска, в период неудовлетворенных желаний, часто возникает и выражается «романтическая любовь». Тем не менее даже в весьма юном возрасте потенциальные партнеры могут проникнуться личностными качествами друг друга и охотно отправиться жить отдельным домохозяйством, и любовь в этом случае (хотя и не часто выражаемая) определенно играет большую роль, чем похоть.

Между выражением эмоции и ее существованием есть важное различие. Как я предположил, выражение любви совершенствуется в письменном виде, особенно в любовных письмах, широко распространенных в письменных культурах. Но сама эмоция присутствует гораздо более широко, даже если формы ее выражения различаются. Любовь действительно правит миром, а не только европейским континентом.

Наконец, притязание на уникальность явления «европейской любви» имеет также множество политических подтекстов, не только связанных с развитием капитализма, но и поставленных на службу империализму. Во дворце Мерида на полуострове Юкатан росписи изображают конкистадоров в шлемах и латах, возвышающихся над побежденными «дикарями», а надписи рядом говорят о побеждающей власти любви. Этой эмоцией — скорее братской, чем сексуальной, — оправдывались империалистические завоевания европейцев. «Любовь» буквально побеждает руками вооруженных захватчиков.

Глава 11. Заключительное слово

В этой книге я рассматривал способы, с помощью которых Европа присвоила историю Востока, навязывая собственные (в основном христианские) версии видения времени и пространства остальной Евразии. Мы можем согласиться, что мировая история требует единого отсчета времени и пространства, возможность которого и предоставила нам Европа. Но исследуемая мной проблема связана с попытками периодизации, предпринятыми историками, разделившими историческое время на Античность, феодализм и эпоху Возрождения, за которой последовал капитализм; считается, что это развитие происходило от одной стадии к другой посредством уникальных трансформаций, пока Европа не стала доминировать над остальным миром в XIX столетии (что произошло после Промышленной революции, которая, как считалось, началась в Англии). При этом использование навязанных концепций имеет очень разнообразные телеологические последствия.

Мировое или колониальное доминирование в любой форме сопряжено со значительной опасностью (как и с возможным преимуществом) для интеллектуальной деятельности, в сфере не столько естественных, сколько гуманитарных наук, где критерии «истинного» выражены не столь ясно. В данном случае Запад приписывает себе превосходство (которое начиная с XIX века явно проявлялось в нескольких сферах) и проецирует его назад во времени, формируя телеологическое понимание истории. Для всего остального мира проблема состоит в том, что подобные убеждения используются для оправдания такого обращения с «другими» обществами, при котором эти «другие» часто рассматривались как статичные, неспособ-

ные изменяться без помощи извне. Но история учит нас тому, что любое превосходство временно и что нам следует также ожидать перемен. Такая огромная страна, как Китай, уже, кажется, обретает ведущую роль в экономике, что может стать основой укрепления в ней и таких сфер, как образование, культура или военная мощь, — как раньше это случилось с Европой, потом — с США, а еще гораздо раньше — с самим Китаем. Этот последний сдвиг был осуществлен благодаря коммунистическому правительству, без сколько-нибудь значительной помощи Запада.

В своем исследовании я стремился показать, как мировое доминирование Европы, начавшееся с ее экспансии в XVI веке, но помимо того — с момента достижения ею ведущего положения в экономике благодаря индустриализации XIX века, привело также к доминированию в оценках мировой истории. Альтернативу я вижу в антрополого-археологическом подходе к современной истории. Он берет свое начало в работах специалиста по истории первобытного общества Гордона Чайлда, описавшего бронзовый век как «городскую революцию», то есть как начало «цивилизации» в буквальном смысле. Бронзовый век начался на древнем Ближнем Востоке и распространился восточнее, в Индию и Китай, южнее, в Египет, и на запад, в сторону Эгейского моря. Сущность его заключалась в механизации сельского хозяйства, в появлении плуга, движимого с помощью скота, в крупномасштабном контроле над водными ресурсами, использовании колеса и развитии различных городских ремесел, включая изобретение письменности, возможно связанное с расширением торговой деятельности. Подобная специализация городов, очевидно, требовала роста производительности труда, который дал бы ремесленникам и всем остальным возможность отойти от первичного сельскохозяйственного производства и одновременно способствовал бы развитию связанных с землевладением глубоких различий между «классами», поскольку большая часть сельскохозяйственной продукции производилась уже не с помощью мотыги, но посредством плуга, что позволяло обрабатывать существенно большие пространства. По сути плуг представлял собой всего лишь изогнутую мотыгу, которую тащили за собой животные, однако это нововведение повлекло за собой значительное увеличение производительности труда.

Бронзовый век изначально был «цивилизацией», возникшей на основе азиатских достижений, значительно предшествовавших европейскому Возрождению, которое Элиас связывал с процессом цивилизации. Я хотел бы проследить с исторической точки зрения,

как сравнительно единая цивилизация бронзового века, согласно общему мнению, разделилась на «европейскую» и «азиатскую» ветви, при этом первая ветвь — Европа — воспринималась как динамично развивающийся континент, характеризующийся ростом капитализма, а последняя — Азия — как статичный и деспотический, который Маркс назвал «азиатским исключением», основанным на другом «способе производства».

Этот раскол должен был где-то начаться. Когда же он произошел? Существует общее мнение, что минойская цивилизация, как и непременно египетская, еще относилась к бронзовому веку, учитывая древнюю традицию их письменности. Считалось, что разделение возникло в Европе начиная с архаической Греции, потом коснулось Рима и Античности в целом, которую уже считали чем-то фундаментально отличным от предшествующих обществ, но которая, однако, частично находилась в Азии, учитывая творчество Гомера и ионийских философов. Я утверждаю, что идея различия, расхождения была во многом плодом европейцев, выразивших ее в эпоху Возрождения, которую считали периодом возобновления классической античной традиции (благодаря гуманизму), и в XVIII–XIX веках, когда экономика Промышленной революции в Европе предоставила этому континенту значительные преимущества перед остальным миром (начавшиеся со сферы образования, экономики, а также с оружия и морских путешествий эпохи Возрождения). Иными словами, за европейскими претензиями стоял значительный элемент телеологии; европейская традиция относилась к своим корням к более ранним временам, полагая, что именно там лежали истоки ее последующего превосходства.

Но действительно ли сама Античность определяла себя как отдельную фазу? Историк Мозес Финли утверждал, что именно Древняя Греция изобрела демократию, то есть власть народа. Эта тема близка сердцам современных политиков Буша и Блэра, считающих демократию характерной для нашей иудео-христианской цивилизации (из которой исключается ислам, хотя он, очевидно, является ее третьей составной частью), неким даром, который Европа теперь может экспортировать в остальной мир. Вряд ли можно усомниться, что Афины одними из первых создали институты прямого письменного народного голосования и что это стало характерным признаком афинского государственного устройства, отличавшим его от монархических режимов Персии и других азиатских государств, хотя монархия Дагомея (не имевшая письменности) знала голосование с помощью камешков, бросаемых в сосуд. Являясь городом-государ-

ством, Афины были недостаточно велики, чтобы позволить себе прямое представительство. Однако города-государства и демократия существовали не только в Греции. Такая же форма правления имела место и в городах-государствах Финикии (сегодня — территория Ливана), особенно в Тире, который стал метрополией для финикийской колонии Карфаген. Финикийцы не только изобрели алфавит (без гласных букв), с помощью которого была записана Библия и другие труды на семитских и арабском языках, но и использовали также некую форму демократии, в соответствии с которой представители (*суффеты*) избирались даже не каждые несколько лет, но каждый год, что обеспечивало тесную связь между общественным мнением и правительством. Однако Карфаген, фактически, был вычеркнут из мировой или, во всяком случае, из европейской истории. Он находился в Африке, а не в Европе; он был семитским, а не арийским, то есть не индоевропейским; его библиотеки были уничтожены, частично в результате римских завоеваний, так что мы весьма немного знаем о его достижениях.

Однако речь идет не об одной Финикии. Даже азиатские монархические системы могли иметь в отдельных городах демократические правительства. По соседству с множеством централизованных правительств, то есть царств, мы находим народы с различными системами представительных правительств без единого главы государства, описанные Ибн Хальдуном (применительно к бедуинам), а также Фортсом и Эванс-Притчардом применительно к Африке в целом. Античность не была единственным источником демократической модели.

Финли отмечает также, что Античность изобрела искусство. Очевидно, что она изобрела греческое искусство, имеющее чрезвычайно большое значение для европейской и мировой истории. Но никоим образом нельзя сказать, что именно тогда было изобретено искусство как таковое. Например, круглые греческие колонны были позаимствованы у египтян; Египет, как и Ассирия, сыграли важнейшую роль в развитии визуальных форм, но в любом случае многие другие страны, помимо западных, имели важное значение для развития искусства. Кажущаяся мировая значимость Запада в этой сфере в значительной степени связана с доминированием Европы в XIX веке. Однако проблема возникает тогда, когда Античность рассматривается как необходимая стадия мирового развития на пути к западному капитализму.

С европейской точки зрения, Античность являлась не только историческим периодом, но и типом общества, уникальным именно

для данного континента. С этой позиции было необходимым считать Античность отдельной стадией развития общества, поскольку падение Римской империи в итоге привело к развитию следующего исторического периода, а именно феодализма, который также считался уникальным и присущим исключительно Западу и чьи противоречия позволили возникнуть западному капитализму. Концепция Античности была создана европейскими учеными для подтверждения уникальности традиций, дошедших до нас из Древней Греции и Древнего Рима. Эти общества определенно отличались от других культур в существующей исторической традиции точно так же, как они же отличались от более древней, архаической Греции и архаического Рима; и предпринимались радикальные попытки отделить их от других обществ, как базировавшихся не столько на экономике, сколько на политической системе или идеологии, — например, на демократии и свободе, которые затем можно обнаружить в Европе, в противоположность тирании и деспотизму, предположительно доминировавшим в Азии. Какова бы ни была причина этих претензий, ясно, что в античный период благодаря новым технологиям значительно развились системы знания, в том числе алфавит; его широкое распространение расширило возможности письменного слова, впервые изобретенного в Месопотамии и Египте и последовательно продвигавшегося к фонетическому алфавиту в Сирии (Угарит), а затем в континентальной Греции. Разумеется, греческий алфавит был уникальным, поскольку отображал также гласные звуки и значительно повлиял на позднейшую историю Европы. Однако он был близок к финикийскому алфавиту, и следствия сравнительно небольшой разницы между ними, а также отличия от других форм письма были не настолько значительными, как предполагали Уатт и я сам.

Другие ученые сходным образом использовали христианство, чтобы определить своеобразие Европы. Однако христианство является лишь одной из трех западноазиатских религий, использующих сходные мифы и тексты, признающих сходные ценности и коды. В них мало специфически европейского, а основные идеологи пришли с Ближнего Востока или, если говорить об Августине, из Северной Африки. Это было вполне межконтинентальное средиземноморское вероучение, причем Ветхий Завет имел частично кочевое, семитское прошлое, восходящее к жизни в засушливых пустынях и плодородных оазисах.

Критической точкой в изучении истории современного мира был не поиск уникальности древней Европы, но исчезновение из поля

зрения ученых доисторической перспективы, кратко изложенной Гордоном Чайлдом в работе «Что произошло в истории», где он демонстрирует единство цивилизаций бронзового века в Европе и Азии. Это единство, подорванное западным видением «чисто европейской Античности» (у кого еще была такая?), основывалось на развитии множества ремесел, включая письменность как таковую. Древняя письменность ассоциировалась, среди прочего, с религиозными писаниями, в рамках которых она передавала некие инструкции в руки священнослужителей (то есть священнослужители являлись учителями), а также с возведением дворцовых и храмовых комплексов и развитием религиозных структур, которые Оппенгейм, специалист по истории Древнего мира, называл «великими организациями». Идея независимой европейской Античности разрывает это масштабное единство, провозглашая некую фазу мировой истории уникальной для Европы и, в восприятии ее приверженцев, превращая ее в основу развития модернизации и капитализма на этом континенте. Однако на экономическом уровне мало что оправдывает такую исключительность. Железо стало использоваться вместо бронзы во всех упомянутых цивилизациях, что имело множество последствий «демократического» толка (железо было более доступным и прочным материалом, чем бронза) в ведении войны, сельском хозяйстве, ремеслах, а также в совершенствовании «оборудования», хотя с этой точки зрения дерево продолжало оставаться доминирующим материалом вплоть до XIX столетия. Некоторые общества, несомненно, развивались быстрее других. В Древнем мире Греция первенствовала в градостроительстве — что наглядно проявлялось в храмах, школах, жилых зданиях таких городов, как Эфес, а также в развитии не только письменного знания и литературы, но и искусства в более широком смысле слова, заимствуя во многих сферах опыт своих ближневосточных предшественников (например, опыт использования колонн) и соперничая в других областях с более удаленными Китаем и Индией. Однако проблема Античности особенно обостряется в отношении как прошлого, так и настоящего, когда европейские ученые относят к этому историческому периоду происхождение престижных форм правления (демократии) и таких ценностей, как свобода, индивидуализм, даже «рациональность», причем привязывая их к Европе более, чем к какому-либо другому региону.

Экономика не считалась основополагающим фактором происшедшего разделения, если не говорить о том, что описание Греции и Рима как рабовладельческих обществ должно было «парадоксальным обра-

зом» усиливать концепцию Античности, поскольку именно здесь была «изобретена» свобода. Утверждалось, что в этих обществах была изобретена не только свобода, но и демократия и индивидуализм. Я полагаю, что данная претензия чрезвычайно преувеличена, так же как и уникальная роль рабовладения. Античные достижения в области литературы, науки и искусства были действительно выдающимися, но их вполне можно рассматривать, как продолжение достижений культур бронзового века, развившихся ранее в этих регионах, как утверждал Берналь. Попытка определить эти общества как относящиеся к другому типу стали следствием желания самих греков отделить Европу от Азии, как и результатом стремления западных ученых возвысить собственное происхождение.

С тем же успехом решающе важным может быть и то, что благодаря появлению алфавита само обилие письменных источников создало общее впечатление совсем другой «ментальности» и образа жизни. Двигаясь от доисторического периода к историческому, страны и народы начали говорить о себе посредством письменности. Больше не существовало ограничений, связанных с интерпретацией в основном материальных данных, но теперь необходимо было принимать в расчет «духовные», словесные (зафиксированные письменно) свидетельства; теперь мы вынуждены принимать во внимание то, что греки думали о себе (хотя не можем сделать то же самое применительно к финикийцам, оставившим после себя весьма незначительное количество письменных источников). Как следствие, мнения античных греков о себе и других народах получили больший вес, и для нас весьма опасно принимать их самооценку за некую истину. Ценности древних греков стали основой наших суждений. Мы принимаем (и даже распространяем) их понимание демократии, свободы и других «добродетелей». Греция лишь в некоторой степени отличалась от Финикии и Карфагена, которые по большей части оказались «выброшенными» из истории. Небольшие города-государства, существовавшие в обеих областях, могли обеспечивать более гибкую систему правления, чем более крупные структуры, хотя временами и там возникала такая форма правления, как тирания, причем иногда по выбору самих горожан. Однако другие типы общества тоже использовали демократические процедуры, и не существует никаких оснований считать, что именно в Греции или Европе был изобретен всенародный опрос, хотя они и организовали его проведение в письменной форме. То же касается и свободы. Нет ли иронии в том, что Финли именно в Греции увидел исток концепции свободы как противоположности рабству?

В действительности многие сообщества, жившие на границах больших государств или их централизованных объединений, сознательно отрицали централизованную власть (например, Робины Гуды всех сортов по всему миру), а другие по иным причинам создавали организационные структуры, не предполагавшие централизованной власти. Народы, населявшие окраины, пустыни, леса и горные районы, всегда имели иной характер правления, чем народы равнин, для которых была характерна централизованная власть.

Исключение Финикии, предшествовавшее позднему исключению остальной Азии и Востока, является показателем хрупкости концепции уникальной европейской Античности, хотя для многих современников финикийская колония — Карфаген, — очевидно, соперничала с Грецией и Римом. Для европейцев, живших позже, он уже никогда не казался таковым, поскольку его игнорировали из-за небольшого количества карфагенских письменных источников; однако это могло быть результатом целенаправленного разрушения карфагенских библиотек римлянами или другими народами, а также непрочности используемого карфагенянами папируса. Некоторые интерпретировали это исключение как отрицание европейскими «арийцами» влияния азиатов-семитов или африканцев на основные исторические достижения — но это лишь один из возможных вариантов объяснения. Вместе с тем мы должны с осторожностью отнестись к давнему суждению Берналя (и более современному — Хобсона), что подобное исключение возникло на основе антисемитизма или империализма XIX века; подобные мотивы относятся к более обширной категории этноцентризма, имеющей намного более древние корни и являющейся частью неизбежного процесса национальной идентификации (хотя сама эта тенденция в разные времена и в разных местах значительно варьирует по степени выраженности).

Считается, что Античность не имеет аналогов, — но то же самое в большинстве исследований говорится и о феодализме, который также был ограничен рамками Запада. Некоторые делают исключения из этого «правила» — Ковалевский для Индии, Колборн для других регионов, — но в эволюционной схеме, изложенной или косвенно принятой Марксом, Античность обязательно предшествует европейскому феодализму, тогда как он, в свою очередь, был необходим для формирования европейского капитализма. Противоречия, присущие каждой из этих фаз, приводили к ее преобразованию и переходу в следующую фазу. Утверждение об уникальности исторического пути Европы основывалось на мнении многих западных

медиевистов; даже если они не вполне разделяли четкие линейные аргументы Маркса, траектория исторического развития Европы представлялась им уникальной. Разумеется, она и была таковой, но в каких аспектах и относительно чего? Было ли уникальным держание земли, основанное на зависимости, или же отсутствие централизованного правительства? Оба эти признака нуждаются в аналитической сравнительной таблице, в которую можно было бы внести различные вариации. Само по себе утверждение «Мы не такие, как все» не принесет много пользы для анализа или исследования. Необходимо знать, какие именно из «уникальных» факторов были необходимы для развития «современного» мира.

В соответствии с видением Маркса и других исследователей феодализм воспринимается как «прогрессивная фаза» мировой истории, ведущая к «неизбежному» развитию капитализма. Нелегко принять ее как таковую для Западной Европы (после падения Римской империи), где произошла массовая деградация поселений городского типа. То же происходило и с характерными для городов видами деятельности, некоторыми городскими ремеслами, образованием, письменностью и связанными с нею занятиями, системами знаний, искусством и театром. Разумеется, постепенно ситуация улучшалась; «возрождение» должно было начаться хотя бы по причинам, связанным с торговлей и обменом. Наибольшее внимание привлекли к себе изменения, происходившие в аграрной сфере. До XI века на Западе не было заметно какого-либо восстановления городов. Чуть раньше стали возникать школы при монастырях. Одновременно с оживлением городов наметилось возрождение экономики и большинства видов искусства, а также интеллектуальной жизни (с появлением первых университетов). Впрочем, истинное возобновление всех этих сфер произошло лишь в период, справедливо названный «эпохой Возрождения». Когда европейская экономика наконец возродилась, это в значительной степени произошло в связи с итальянской торговлей в Восточном Средиземноморье — регионе, никогда не испытывавшем такого упадка, как запад Европы. Города там продолжали процветать и торговать со всем остальным Востоком. Как и торговля, интеллектуальная жизнь здесь до XIV века в значительной степени была обязана своим развитием мусульманскому Востоку и Юг и основывалась не только на переводах греческих авторов, но и на вкладе исламских (и еврейских) ученых в медицину, астрономию, математику и другие дисциплины. Свою роль в этом возрождении сыграли также Индия и Китай, поскольку территории, населенные исламскими обществами,

простирались по всей Азии, от Южной Испании до границ Китая. Если быть точным, то восточное происхождение имели множество растений, деревьев, цветов (апельсины, чай, хризантемы), как и изобретения, которые Фрэнсис Бэкон считал важнейшими для современного общества (компас, бумага и порох), не говоря уже о восточном происхождении печатного станка и мануфактуры; несомненно индустриализации; производства фарфора, шелковых и хлопковых тканей. Некоторые из этих достижений придали феодализму вид и статус особенно прогрессивного периода европейской или мировой истории; на Западе прогресс часто имел экзогенный характер, хотя многие европейские ученые смотрят на этот вопрос совершенно иначе. Для них Европа двигалась самостоятельным курсом еще в эпоху Античности, что неизбежно привело к развитию феодализма, к колониальной и торговой экспансии, а затем к промышленному капитализму. Но лишь телеологическое видение истории исключает из этих событий другие общественные формации, считая их находящимися в плену статичных деспотических государств, основанных на ирригации и огромных городах, в то время как на Западе существовали сельское хозяйство, основанное на дождевом орошении почвы (в целом намного менее продуктивное), и менее крупные города.

Неевропейским городам часто отказывали в «наличии буржуазии»; согласно Веберу, они были другими, даже в тех случаях, когда в них наблюдались схожие с западными виды (и уровни) достижений, в особенности в домашней и «культурной» жизни, но также и в коммерческой деятельности и мануфактурном производстве. В главе 6 анализу подвергается труд ученого-социолога Элиаса, посвященный социогенезу «цивилизации», где автор концентрируется исключительно на Западе после эпохи Возрождения. В нем игнорируется идея «цивилизованного» (урбанизированного, вежливого) поведения, которое на протяжении столетий было свойственно Китаю. В данном конкретном случае Европа «украдала» саму идею и реальную историю цивилизационного процесса. Однако насколько цивилизованным был Запад до того, как воспринял бумагу — напрямую от арабов, а изначально из Китая? Гораздо лучшего баланса между различными цивилизациями удалось достичь Фернандес-Арместо в книге «Миллениум»¹, где он начинает с Японии эпохи Хэйан и считает, что основные общества Европы тогда находились на аналогичном уровне развития.

¹ См.: *Fernandes-Armesto* (1995).

Очевидно, что в эпоху Возрождения в Европе произошли важные изменения в сфере производства, коммерции, интеллектуальной жизни и искусства. Однако в письменных культурах Евразии тоже имели место «возрождения» со сходными результатами, ставшие следствием внутреннего развития и взаимодействия культур. Для Европы эти изменения были отмечены историком Броделем, сделавшим осмысленное усилие для рассмотрения сравнительных данных, оставив в стороне, в частности, стремление Вебера придавать исключительное значение протестантской этике (глава 7), — а этот аспект в течение долгого времени служил основой для объяснения европейской исключительности (хотя и не был оптимальным для итальянцев и других католиков). Бродель указывает на экстенсивную торговую деятельность, свойственную Востоку задолго до Запада; рыночный капитализм стал процветать в Европе позже и никогда не был ограничен тем или иным континентом. Однако «финансовый капитализм» Бродель считает исключительно западным вкладом в «истинный капитализм». Действительно, промышленный капитализм с его дорогостоящим мануфактурным производством требовал значительного роста капитала, то же касалось национальной экономики в целом. Однако основа для такого роста была заложена банковской системой и финансовыми реформами, проведенными в Италии в связи со средиземноморской торговлей с Востоком. Такое развитие событий породило аналогичные институты, которые уже существовали или быстро начали развиваться в важнейших торговых центрах Азии.

Те же выводы можно сделать и относительно индустриализации. Здесь также отмечалось впечатляющее развитие в эпоху Промышленной революции в Британии и на Западе в целом. Но снова следует повторить, что основа для этого существовала раньше, и в том числе в других местах. Наиболее значимые экономики бронзового века способствовали развитию крупных мануфактурных производств, особенно специализирующихся на изготовлении тканей и преимущественно управляемых государством. В Месопотамии шерстяные ткани изготавливали на «фабриках», как их назвал археолог Вули. Его советский коллега Дьяконов с этим не соглашался, заявляя, что это были всего лишь «мастерские», и следуя в этом позиции Маркса, который закреплял термин «фабрика» за позднейшим капиталистическим (или протокапиталистическим) производством. В Индии эпохи Моголов *харханы* представляли собой институты, организованные государством и привлекавшие рабочих для обеспечения крупномасштабного производства,

что описано Адамом Смитом. Китай был еще более ярким примером ранних форм индустриализации. Леддероуз писал об экстенсивном производстве керамики («китайского фарфора»), в значительном количестве продаваемой на Западе, и о том, что ему были свойственны технологии массового производства со сложным разделением труда, по Адаму Смигу. Это китайское производство керамики описывалось как промышленное, основанное на разделении труда и фабричной организации. Хотя шелковые ткани по большей части изготавливались в домашних условиях (до того как государство стало требовать их в виде налогов), бумага, которая повсеместно широко использовалась после ее появления в начале нашей эры, также изготавливалась «промышленным» способом. Способ этот был механическим и включал использование водяной мельницы (ставшей прототипом позднейших фабрик-«мельниц», на которых осуществлялось текстильное производство на Западе), задействовав тем самым, помимо человеческого труда, энергию текущей воды (рек и ручьев). Этот метод позволял обеспечить население более дешевым материалом для письма, чем шелк, или кожа (пергамент), или папирус (в значительном количестве доставляемый в Европу из Египта); с его помощью бумага везде могла производиться из местных материалов. Мануфактурное производство бумаги распространилось по мусульманскому миру и в конце концов достигло Западной Европы во время «революции в книгопечатании» — впервые оно появилось в Италии, попав туда через Сицилию. Наличие такого дешевого, локально и массово производимого материала для письма означало, что даже без книгопечатания распространение информации и идей на Востоке было значительно более быстрым и широким, чем на Западе.

Понятие «азиатская исключительность», характеризующее телеологические взгляды на прошлое и принимаемое таким большим количеством историков, особенно при рассмотрении развития «современного образа жизни» и «промышленного капитализма» на Западе, ослепляет их, не позволяя увидеть многочисленные аналогичные события и явления на Востоке и Западе. В своей недавней книге Броттон писал о ярмарках эпохи Возрождения и о том вкладе, который Турция и Ближний Восток внесли в историю данного периода в целом. Мы можем подумать и о вкладе, который внес ислам через Испанию в более ранние европейские «возрождения» — в математику, медицину, литературу (например, в поэзию трубадуров и повествовательную литературу), в изучение наследия Платона и в идеи Данте. Однако есть и следующая ступень, на которую мы должны

подняться, рассмотрев идею, что такие «возрождения» не являются чисто европейским феноменом. Теоретически любое общество, имеющее письменность, может возрождать забытые или преднамеренно отвергнутые знания. В Европе после Античности христианская церковь приложила руку к отрицанию значительной части античного знания, заклеив его как «языческое», то есть запрещенное или вытесненное христианской верой, причем не только в таких областях, как искусство (а именно скульптура, театр и светская живопись), но и в науках (например, в медицине). В результате столь строгих мер Возрождение в Европе, когда оно наступило, было более выраженным, чем где бы то ни было. Действительно, темп восстановления интеллектуальной сферы в условиях наличия бумаги и книгопечатания, а также возобновления обширной торговли, особенно с Востоком, был здесь более высоким.

В этом и состоит проблема видения эпохи Возрождения как периода восстановления или даже продолжения Античности — хотя римские здания продолжали влиять на жизнь церкви различными способами, и как модели, и как структуры, а латынь продолжала использоваться христианами на Западе, пришествие христианской религии и крах Римской империи привели к резкому спаду. Я упоминал об исчезновении грамотности, школ, городских ремесел, возможно, даже христианства в Британии. Отмечалось также широкое исчезновение греческого и римского искусства, особенно скульптуры и театра, вследствие семитских иконоборческих представлений, накладывавших ограничения на изобразительное искусство. Я отдаю себе отчет в том, что это не продолжалось в той же форме в католическом религиозном контексте, но в светском, мирском подобное происходило до начала раннего Возрождения. Европе пришлось многое отбросить до тех времен, когда снова стал возможен секуляризм. Это сделало возможным возрождение светского театра, что дало толчок для творчества падуанского поэта Альберто Мусато. Его трагедия «Эцерикус» (1329), посвященная местному тирану, была написана на латыни, по образцу стихов Сенеки. Предстояло еще долго (250 лет) ждать появления национальной поэзии: английской поэзии Марло и Шекспира, французской — Расина и Корнея.

Иными словами, значительный разрыв с Античностью в после-римские времена присутствовал во многих сферах общественной жизни; разрыв, *требующий* возрождения, Ренессанса на Западе, но не на Востоке, где не наблюдалось такого пугающего исчезновения городской культуры. Действительно, именно Восток помог восстано-

вить Запад, не только с коммерческой точки зрения, но и в сфере науки и искусства. Влияние ислама проявилось, таким образом, в Андалусии, в частности, через Брунетто Латини (учителя Данте), а также в связи с арабскими цифрами, использование которых на Западе распространилось благодаря папе Сильвестру II. Или рассмотрим положение с медициной. На Западе ее развитие значительно замедлилось, отчасти вследствие запрета на вскрытие, то есть препарирование человеческого тела, отчасти из-за отсутствия медицинских текстов, в частности трудов Галена. Эти труды вновь появились в Европе и в западной медицине благодаря множеству переводов, осуществленных усилиями Константина Африканца из Монте-Кассино (недалеко от медицинской школы в Салерно) и других ученых из Университета Монпелье. Проблема состоит в том, что если мы будем считать европейскую медицину основанной исключительно на античном наследии, то обнаружим склонность игнорировать тот факт, что последнее, вместе с важными дополнениями мусульманских ученых, пришло к нам не напрямую.

Именно Восток, не испытывавший упадка, пережитого Западной Римской империей, стимулировал Возрождение, хотя там оно не шло европейским путем, связанным с полным упадком культуры, как это было в Западной Европе; и именно культурный и торговый обмен, изначально происходивший через итальянские города, особенно через Венецию, обновил связи, которые являлись столь важными. Глядя на всю Азию, можно отметить, что Восток не нуждался в таком же Возрождении, какое испытал Запад, поскольку там не произошло «гибели цивилизации». Вот почему Китай ушел так далеко вперед по сравнению с Западом — в науке вплоть до конца XVI столетия, а в экономике (согласно Брею и другим) — до конца XVIII-го. Там не отмечалось также значительного материального упадка и не сложилось единственной религии, налагающей суровые ограничения, как это было в Европе. Вопреки утверждениям многих авторов торговая городская культура активно развивалась там даже раньше, чем в Европе. Вебер, Пиренн, Бродель и другие ученые концентрировались на том, что они считали отличиями азиатских городов. Их аргументы основаны на телеологических допущениях и являются весьма сомнительными. Возьмем в качестве примера культуру использования цветов, а также кулинарию — оба эти аспекта я детально рассматривал в других контекстах. Положение дел в этих сферах значительно опережало таковое в постантичной Европе. Уровень развития знаний и усиление интереса к «древности» в Азии примерно совпадают по времени с пробужде-

нием такого же интереса в Европе. То же касалось театра (например, театра кабуки в Японии) и реалистического романа, хотя в Азии они проявились позже, чем соответствующие достижения античной эпохи. Все это становится вполне понятным, если мы оставим идею азиатской (и, соответственно, европейской) исключительности и начнем изучать процессы параллельного развития, начиная с «городской революции», — разумеется, различавшиеся по темпу и содержанию, однако происходившие по всей Евразии и базировавшиеся на сходных процессах социальной эволюции и широко распространенных процессах взаимного обмена. Торговля требовала контактов, включавших в себя не просто обмен материальными ресурсами, но и обмен информацией — в том числе информацией о новых технологиях и идеях.

И снова нам необходимо рассмотреть интеллектуальные достижения эпохи Возрождения, о которых мы говорили в контексте научной революции. Разумеется, это не было началом науки. Джозеф Нидэм выпустил серию чрезвычайно важных книг о достижениях Китая, в которых приходит к выводу, что достижения науки этой огромной страны были гораздо более значительными вплоть до XVI столетия. К тому времени бумага и книгопечатание успели достичь Европы, что способствовало значительному ускорению обмена информацией (позднее такую же роль сыграли компьютеры). Таким образом, Нидэм считает, что Запад перенял достижения Востока и создал науку, опирающуюся на экспериментальное доказательство математически оформленных гипотез. Он называет такую науку «современной», связывая ее с зарождением капитализма, буржуазии и Возрождения. Впрочем, есть еще точка зрения, что метод экспериментальной проверки испытал влияние арабских алхимиков, но математика своим развитием изначально обязана значительному количеству источников. Более того, предположение Нидэма включает в себя гипотезу особого развития, которую я уже подверг критике. Я предпочитаю мнимым революциям более постепенные эволюционные изменения. «Современная наука» должна быть теснее связана с научными достижениями предшествующего времени, и развитие событий на Западе представляется мне сильнее связанным с Китаем, чем в конечном итоге предполагает Нидэм.

В той же мере Элиас (применительно к «цивилизации») и Бродель (говоря об «истинном капитализме») ограничили важнейшие аспекты процесса развития человеческого общества исключительно Западом. То же произошло и по отношению к институтам в более

широком смысле, особенно применительно к городам и университетам. Данную проблему я рассматривал в главе 8 и пришел к выводу, что уникальность этих институтов (в особенности городов) значительно преувеличена. Существуют некоторые признаки того, что университетам средневековой Европы удалось отбросить религиозные узы и секуляризировать образование раньше, чем, например, исламским медресе, однако Китай никогда не сталкивался с подобными проблемами в сфере высшего образования, поскольку этой стране удалось избежать влияния какой-либо господствующей государственной религии, навязывающей определенное видение мира. Несомненно, у обоих институтов в Европе существовали характерные признаки, но претензия на то, что она изобрела некий их специфический тип, более всего благоприятствующий развитию капитализма, выглядит противоречиво по отношению к долговременному параллельному развитию Востока и Запада. Но этот параллелизм не помешал европейцам приписать себе целый ряд достоинств (см. главу 9), которые, как они считали, помогли им в большей мере, чем другим народам, осуществить модернизацию. Она началась (по крайней мере, насколько позволяют судить письменные источники) с древних греков. Как мы видели, греки часто определяли свое общество как демократическое, поскольку оно позволяло людям (почти всем людям — за исключением рабов, женщин и метеков) выбирать правительство, тогда как азиатские государства, по их мнению, были «тираниями». Так же обстоит дело и с индивидуализмом. Эта черта долгое время была присуща множеству групп; понятие «первобытного коллектива» или «первобытного коммунизма» как типа общества является неприемлемым, даже несмотря на то, что в некоторых обществах определенные права на пользование ресурсами остаются в общем ведении.

Эмоции также были «присвоены» Западом. Наиболее ярким примером в данном случае является любовь, которую некоторые европейцы считали «изобретенной» трубадурами XII века, а другие — неотъемлемой чертой христианства, как и милосердие; для третьих она являлась характеристикой европейской, даже английской, семьи, а в восприятии четвертых присуща именно современному западному миру. Все эти претензии равно несостоятельны. То, что Голливуд рекламирует и продает «романтическую любовь», не означает, что он ее изобрел. Не изобрели это чувство ни англичане, ни христиане, ни современные люди, а трубадурам Прованса и Аквитании в значительной степени помогли их арабо-испанские соседи — наследники древней и великой традиции светской (и религиозной) любовной поэзии

Ближнего Востока, восходящей по меньшей мере к «Песни песней». Интересно понять, что привело европейцев к выдвижению претензий на исключительное обладание определенными достоинствами и эмоциями, хотя доказательства такой исключительности отсутствуют и могут появиться лишь в результате систематических сопоставлений на межкультурном уровне.

Позвольте вернуться к идее Чайлда о «городской революции» бронзового века, тесно связанной с концепцией Моргана о цивилизации и культуре городов, представленной в его работе «Древнее общество»², а также с широким кругом других источников. Важным преимуществом данной идеи является то, что она не предполагает привилегированного положения Запада, а описывает общий процесс исторического развития на древнем Ближнем Востоке, затрагивая Египет и регион Эгейского моря, Индию и Китай. Итоговое представление о культурном сходстве между главными городскими цивилизациями Евразии в тот период вступает в противоречие с идеей (последующего) радикального разрыва или различия между этими цивилизациями, лежащей в основе некоторых значительных и наиболее влиятельных социально-исторических очерков мирового развития. Согласно доминирующей европейской точке зрения, историки и социологи XIX века (и в некоторой степени антропологи), находясь в ситуации, когда достижения Промышленной революции не вызвали сомнений, чувствовали необходимость объяснить достигнутое превосходство Европы. Так, стали считать, что Запад прошел через определенные стадии развития — от Античности к феодализму и капитализму. Восток же, с другой стороны, был отмечен «азиатской исключительностью» (по выражению Маркса), характеризовавшейся орошаемым земледелием и деспотическим правлением, в противоположность Западу, где земледелие было богарным (зависело от дождей), а в управлении присутствовали совещательные черты. Такая аргументация присуща не только марксистам: в различных формах ее придерживались Вебер и многие другие историки, а ее варианты развивались социологом М. Манном³, а также другими учеными, склонявшимися к мнению о долговременном превосходстве Европы, то есть историками-европоцентристами, как их называет географ Блаут. Подобные версии принимали различные формы: например, известно весьма популярное исследование Мальтуса, где он говорит о неспо-

² См.: *Morgan* (1877).

³ См.: *Mann* (1986).

способности Китая контролировать свое население, поскольку там отсутствовали сдерживающие факторы, присущие Западу. Этот взгляд в некотором смысле отражал веберовскую идею о роли протестантской этики в зарождении капитализма, а природа ограничений была широко освещена исследователями исторической демографии из Кембриджской группы под руководством Питера Ласлетта; нечто подобное было предложено также Фрейдом и Элиасом.

Разумеется, существовали значительные различия в последовательности развития общественной жизни на Востоке и Западе. На западе Европы падение античных империй сопровождалось частичным упадком городских цивилизаций, исчезновением городов и усилением значимости сельских территорий и тех, кто управлял ими, что в конце концов привело к феодализму. Согласно европейской точке зрения на процесс развития, эта стадия часто рассматривается как «прогрессивная» с точки зрения мировой истории, приведшая к зарождению городов нового типа, образованию коммун Северной Италии, где нашла прибежище свободолюбивая буржуазия, появились автономные правительства и прочие факторы, делавшие их предшественниками капитализма и модернизации. Однако представление о такой последовательности восходит также и к более древнему восприятию Азии как «деспотической» в противоположность «демократической» Греции (хотя в последней тоже были свои тираны, точно так же, как и в Азии были свои демократы). В Европе таковые определенно были.

Идея азиатской исключительности в последнее время оказалась под огнем критики. Среди тех, кто выступил против нее, наиболее интересен Эрик Вульф. В своей работе «Европа и народы без истории»⁴ он предложил рассматривать системы власти Востока и Запада, деспотические или демократические, как варианты так называемого «трибутарного государства», причем на Востоке такое государство часто оказывалось более централизованным, чем на Западе. Существующие объяснения запоздалого развития капитализма (за пределами Западной Европы) было подвергнуто жесткой критике новым поколением европейских ученых, отвергнувших или модифицировавших идею существования европейского превосходства еще до Промышленной революции. Обзор работ такого рода я недавно дал в книге «Капитализм и модернизация: великий спор»⁵.

⁴ См.: *Wolf* (1982).

⁵ См.: *Goody* (2004).

Но до настоящего времени мало кто пытался связать эти новые взгляды на историю европейского постантичного периода с предыдущими исследованиями, посвященными сходным чертам в развитии различных обществ Евразии, о которых свидетельствуют археологические данные. Если в бронзовом веке с точки зрения категории «цивилизация» мы наблюдаем столь широкое единство между различными обществами, откуда впоследствии могли взяться «исключительность» Востока и соответствующая «уникальность» Запада? И существовали ли они вообще? Не являлось ли исчезновение городов (и господство «феодализма») лишь специфически европейским эпизодом мировой истории? Ведь по всему Средиземноморью города, особенно в роли портов или центров торговли, продолжали процветать — среди них можно назвать Константинополь, Дамаск, Алеппо, Багдад, Александрию и многие другие. Точно так же обстояло дело и далее к востоку. Некоторое время спустя Венеция вновь возродила торговый дух и активность, напомнившие о ее древнеримском прошлом, и решительно взялась за выгодный обмен с Востоком. Если мы попробуем рассмотреть историю городов Азии на протяжении сколько-нибудь длительного периода, мы увидим совершенно другую картину мировой истории, отличную от той, где в центре внимания оказывается упадок городской культуры и сельскохозяйственный способ производства (ведущий к «феодализму») в Западной Европе. С этой точки зрения можно говорить скорее о европейской, чем об азиатской исключительности. За пределами Европы города и порты не исчезали, чтобы снова возрождаться в роли предшественников капиталистического производства; они продолжали процветать по всей Азии и формировали способы обмена, производства, образования, развития знаний и других видов специализированной деятельности, определявших направление дальнейшего развития. Новые города Западной Европы, несомненно, имели собственные, присущие только им черты, однако они вряд ли были уникальными в том смысле, который вкладывали в это слово Вебер и Бродель⁶. Города, где бы они ни находились — в Индии, Китае, на Ближнем Востоке, были вовлечены в начальный этап рыночной («капиталистической») деятельности. Они были центрами развития специализированных видов деятельности; культуры, основанной на письменности; торговли, производства и потребления, на различных уровнях сложности осуществляемых торговцами, ремесленниками и другими буржуазными элементами.

⁶ См.: *Braudel* (1981).

Действительно, развитый промышленный капитализм сложился на Западе, но считать, что его зарождение и начальное развитие ограничивались лишь этим регионом, — значит исказить мировую историю. Обычными критериями развитого капитализма являются индустриализация и высокий уровень развития финансовой сферы (Бродель) или экстенсивная торговля (Маркс, Валлерстайн). При наличии массового промышленного производства финансы непременно становятся более значимыми, а обмен — более интенсивным, но этот аспект не был исключительным признаком европейской экономики, как и индустриализация. Существуют убедительные доказательства, что некоторые из первых мануфактур, особенно в Китае, можно считать в какой-то степени «индустриализованными». В Европе промышленное производство тканей совершенно точно началось не с производства изделий из хлопка в Англии в середине XVIII века. Оно началось уже в XI веке в Италии с шелкопрядения — именно оно дало начало отрасли промышленности, которая дала этой стране значительные сравнительные преимущества перед другими⁷. Эти процессы развивались в условиях конкуренции с шелком, импортируемым из Китая и с Ближнего Востока и изготавливаемым с помощью машин, приводимых в движение силой воды. Схемы таких машин, возможно, импортировались в Европу так же, как и сырье для изготовления шелковых тканей.

Нам необходимо подвергнуть сомнению множество старых мифов и посмотреть под новым углом зрения на предполагаемый разрыв между древними обществами бронзового века, Античностью и феодализмом. История урбанизации показывает нам совершенно иную ситуацию. Городские культуры, с присущими им «роскошью» и образованием, продолжали развиваться и изменяться именно с тех древних времен. Понять это нам помогает, в частности, рассмотрение истории кулинарии⁸ и «предметов роскоши» (например, таких, как искусственно культивируемые цветы⁹) в целом. Что касается развития «высокой кулинарии», то здесь особенно интересен тот факт, что она зародилась во всех основных цивилизациях Евразии приблизительно в один и тот же период. Это можно заметить хотя бы по тому, что литература на данную тему появилась в Китае примерно в ту же эпоху, что и в Европе¹⁰.

⁷ См.: Poni (2001a and 2001b).

⁸ См.: Goody (1982).

⁹ См.: Goody (1993).

¹⁰ См.: Chunas (1991); Brook (1998).

Сложная кухня в Китае возникла раньше, если только не учитывать античный мир Восточного Средиземноморья. К схожим выводам можно прийти и в отношении истории многих видов искусства, знавшей полный запрет тех из них, которые предполагают изображение людей (иконы), — запрет, в разные времена и в разных местах наблюдаемый во всех основных (то есть письменных) мировых религиях.

Если бы нам пришлось всерьез рассматривать концепции мирового развития, которые трактуют Восток как статичный, а Запад — как динамичный в долговременной перспективе (а даже Бродель занимает такую позицию в своем великом труде «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.»), то такой параллелизм окажется удивительным. А в соответствии с доктринами «азиатской исключительности» или «восточного деспотизма» получается, что и развитие городских вкусов сдерживалось по всей Азии.

Действительно, после краха Римской империи или, возможно, после установления мусульманского доминирования в Средиземноморье отмечался упадок торговли и городской культуры Запада¹¹, отчасти связанный с распространением христианства¹², в результате чего, скажем, собственность чаще доставалась церкви, чем городским властям. Но давление, оказанное впоследствии на сферу сельской жизни и способствовавшее подъему феодализма, было главным образом европейским феноменом, который не может и не должен рассматриваться как необходимая фаза развития исторического процесса в Европе или мире.

«Городская цивилизация» бронзового века повсеместно продолжала создавать все большее количество ремесленной и мануфактурной продукции, расширять торговые сети и развивать рыночную культуру. Каждая предыдущая ступень того, что Чайлд назвал «социальной эволюцией», вела к следующей стадии. В конце концов, Запад снова стал активно развиваться после возрождения торговли и роста городов, которое Чайлд относит к XI столетию. Это происходило главным образом вследствие возобновления обмена с Ближним Востоком, где городская рыночная культура никогда

¹¹ Этот вопрос результативно рассматривался Ходжесом и Уайтхаусом (*Hodge and Whitehouse* (1983)), предпринявшими попытку модифицировать тезис Пиренна о прекращении торговли в этом регионе (*Pirenne* (1939)) с помощью археологических данных.

¹² Спейсер (*Speiser* (1985)) оспаривал эту позицию применительно к некоторым городским центрам византийского мира.

не исчезала, — возобновления, в котором жизненно важную роль играла Венеция и другие итальянские города¹³. Повсеместно, начиная с бронзового века, торговые сети продолжали расширяться — в сторону Цейлона¹⁴, Юго-Восточной Азии¹⁵, Ближнего Востока¹⁶, Индийского океана¹⁷. В итоге христианская Европа смогла нагнать общеисторический процесс модернизации, часто заимствуя при этом достижения Востока — например, книгопечатание, производство бумаги и шелка, компас и порох, продукты питания — такие, как цитрусовые и сахар, многие разновидности цветов. Европейцы позже развили, хотя и не первыми породили, процесс промышленного производства (как и изготовления кораблей и вооружения — арсенал был особенно важен для развития промышленности и производственных процессов¹⁸), что помогло обрести значительные сравнительные преимущества. Как только это произошло, развитое промышленное производство стало распространяться в других местах, особенно в метрополиях и там, где городские культуры бронзового века были развиты больше всего (как и в некоторых других местах в результате миграций).

Хотя процессы «модернизации» в одних обществах Евразии шли быстрее, в других — медленнее, общая тенденция получила широкое распространение. Археологи постоянно сталкиваются с эволюционными процессами такого типа, происходившими в одной и той же последовательности в разное время, — такими, например, как переход от мезолита к неолиту. Ученые предпочитают искать объяснения данному феномену (в тех случаях, когда ставят такую цель) во внешних связях или в моментах структурного схождения, возникающих внутри обществ из сходных начальных ситуаций¹⁹. Антропологи, с другой стороны, часто обращаются к неясным категориям культурного обмена, а историки — к «ментальностям». С моей точки зрения, последние категории являются для этих ученых опасной территорией и еще более опасной — для археологов, имеющих меньше данных для опоры в своих исследованиях. Объяснения, основанные на понятиях культуры или «ментальности», могут вести не ту

¹³ См.: Lane (1973).

¹⁴ См.: Prere (1951, 1952a and b).

¹⁵ Sabloff and Lamberg-Karlovski (1975); Leur (1955); Melink-Roelofs (1962, 1970).

¹⁶ См.: Goitein (1967).

¹⁷ См.: Gasson (1989, for the Periplus).

¹⁸ См.: Zan (2004).

¹⁹ См.: Stein G. The organizational dynamics of complexity in Greater Mesopotamia // Stein and Rothman (1994). P. 11–22.

да, если автоматически ведут к восприятию, возможно, временных различий постоянно присутствующего явления. Некоторые процессы, рассмотренные нами, развивались параллельно на протяжении длительных периодов в различных культурах после бронзового века, хотя иногда и с разной скоростью. Этот процесс не был связан с глобализацией (хотя часто воспринимается именно так), как происходит сейчас с вестернизацией. Он скорее отражает становление городских, буржуазных обществ, которые постоянно и последовательно развивались еще с тех времен, о которых писал Чайлд, частично благодаря взаимодействию и обмену друг с другом, частично в соответствии с собственной внутренней «логикой». Это были торговые культуры, создающие продукты и услуги, которыми они могли обмениваться, в рамках собственного городского населения, с местной сельской округой, а также с другими городами, где бы они ни располагались. Эти культуры создавали новые продукты, совершенствовали старые и расширяли круг своих контактов.

По сути своей города были «центрами торговли», пользуясь определением Карла Поланьи (хотя он и вкладывал в него несколько иной смысл). Там производились продукты, предоставлялись услуги, время от времени то и другое совершенствовалось, в результате чего увеличивалось количество как продуктов, так и их потребителей. Города обеспечивали себя производством и торговлей, что означало, что они должны были получать прибыль (или, по меньшей мере, не оказываться в убытке), чтобы платить за все расширяющийся набор импортной продукции. Таким образом, города находились в постоянном эволюционном процессе. Торговцы, как замечает Саутхолл²⁰, «были повивальными бабками капиталистического способа производства, трансформируясь в промышленников и финансистов». Вслед за Вебером он считает, что этот процесс начался при феодализме, хотя торговцы в городах были во все времена²¹. «Города были созданы купцами, которые стремились обрести защиту от государства, а также королями и знатью». Они «всегда были центрами инноваций», заявляет Саутхолл, особенно во времена феодализма, хотя это можно оспаривать. Города являлись также центрами классовых конфликтов, «театром постоянных жесточайших военных действий между социальными слоями» и в том же время — местом величайшей социальной активности²².

²⁰ См.: *Southhall* (1998). P. 22.

²¹ *Ibid.* P. 21.

²² *Ibid.* P. 116–117.

Эту активность следует рассматривать как начало «капитализма», по крайней мере рыночного. Или, возможно, как «ростки капитализма», в соответствии с определением некоторых китайских ученых. На данном уровне не существует проблемы, касающейся зарождения капитализма или, что более важно, развития городских культур во всем множестве социокультурных форм, включая искусство. Что касается искусства, огромный скачок в нашем восприятии происходит, когда мы осознаем — что бы ни писали на эту тему современные средства массовой информации, — что не Запад изобрел такие виды искусства, как литература (в частности, жанр романа), театр, живопись, скульптура, и что никогда не существовало специального «набора ценностей», позволявшего модернизации происходить лишь в каком-то конкретном месте, и больше нигде. Разнообразные виды деятельности развивались во всех городских сообществах Евразии (а также в других местах), при этом то одно, то другое общество вырывалось вперед. Но в раннем Средневековье Запад резко отстал, отчасти из-за разрыва с античным прошлым, отчасти из-за намеренного запрещения изобразительного искусства (по крайней мере, светского) в раннем христианстве и авраамических религиях.

Выше я уже говорил о широкой основе рыночного капитализма; эта основа кажется достаточно очевидной, учитывая раннее распространение торговой активности в Азии и экспорт индийского хлопка на острова Ист-Индии (то есть в Индонезию) и в Юго-Восточную Азию (Индокитай), как и экспорт китайской бронзы, шелка и фарфора в эти регионы. По сравнению с Западной Европой и даже со Средиземноморьем в эти времена Дальний Восток был центром торговой активности. Как писал Брей, Китай оставался величайшей в мире державой с точки зрения экономики до конца XVIII века²³. Можно ли говорить о мануфактурном производстве здесь или даже о промышленности, справедливо считающихся ключевыми признаками современного капитализма? Разумеется, столь широкая система обмена в Восточной Азии уже включала в себя производство. Керамика была не единственным продуктом, который изготавливался в значительных масштабах с использованием соответствующих технологий. В Индии и Китае ткани производились преимущественно на базе внутренних ресурсов; торговцы организовывали производство, нередко опираясь на надомный труд, что напоминало протоиндустриальную Европу²⁴. Но помимо этого в Китае существовали и большие

²³ См.: *Bray* (2000). P. 1.

²⁴ См.: *Bray* (1997).

производства фабричного типа²⁵. Впечатляющим примером для Китая была такая важная отрасль, как производство бумаги. Сказанное отражает тот факт, что во всех основных обществах Азии городские культуры начиная с бронзового века более или менее постоянно развивались на протяжении длительного времени. Этот процесс иногда прерывался — из-за экологических, экономических, военных и даже религиозных факторов: нашествий «варваров», упадка торговли, ошибок правительств, запрета на книгопечатание, — но в целом городские культуры проходили процесс комплексного развития на протяжении веков, и это касалось производства, обмена, распределения и финансов в той же степени, как и материальной и интеллектуальной жизни горожан, искусства, образования, торговли и мануфактурного производства. Однако большинство западных историков, рассматривая процесс параллельного развития в мире после Промышленной революции в телеологическом ключе, стремились вывести позднейшие преимущества Европы из тех, что якобы существовали у нее ранее. Они пересмотрели концепцию относительного единства культур бронзового века и провозгласили, что Античность существовала лишь в Европе, и более нигде. Для большинства авторов данная уникальность относилась также и к феодализму и капитализму, — исходя из этого, они начинали свои исследования. Итак, представление о преемственности и сходстве обществ, возникших после бронзового века, было разрушено в результате сосредоточения внимания ученых и общественного мнения на исключительно европейском опыте — что и привело к «похищению истории».

Эффективное сравнение должно не только включать заранее определенные категории — такие, как Античность, феодализм, капитализм, но и абстрагироваться от этих концепций, что позволило бы создать социологическую сетку, в которой были бы представлены возможные варианты сравниваемых величин. Именно такой момент очевидно отсутствует в историческом дискурсе Запада. Вместо этого историки просто провозгласили некие желаемые ими «прогрессивные» признаки, приписав их Западу. Они «похитили историю», внедрив свои собственные категории и последовательность событий и распространив их на весь остальной мир.

Проблема «похищения истории» и общественных наук влияет и на другие отрасли гуманитарного знания. В последние годы ученые предпринимали шаги, направленные на то, чтобы сделать исследуемые ими темы более доступными для сравнения, более соотнесен-

²⁵ См.: *Goody* (1996b). P. 187.

ными с событиями, происходившими в остальном мире. Однако эти меры в массе своей не были адекватными поставленной задаче. Литература стала «сравнительной», однако рамки сравнения обычно ограничивались несколькими европейскими источниками; Восток игнорируется, а устные культуры не рассматриваются. Поле культурных исследований остается хаотическим — как британское, так и американское. Текстуальную базу составляют почти исключительно труды западных ученых, особенно философов, часто французских, комментирующих жизнь, не предлагая значительного объема данных, за исключением собственных рассуждений или комментариев к трудам других философов, также являющихся представителями современных городских обществ. Уровень обобщения, присущий таким комментариям, позволяет вступить в обсуждение без анализа значительных объемов информации.

В заключение я хотел бы сказать, что эта книга — не столько о мировой истории, сколько о том, как воспринимали ее европейские ученые. Проблема состоит в попытке объяснить предысторию сравнительных преимуществ, достигнутых Европой. Предпринятые поиски почти неизменно обнаруживают телеологический уклон, явный или неявный. Пытаясь определить, что именно привело к «модернизации» в какой-либо конкретной стране, ученые выносят суждения о других народах, об отсутствии у них протестантской этики, духа предпринимательства и способности к обмену, которые, как полагалось, и составляли главное различие.

Фундаментальной трудностью западной исторической науки являлось именно определение того, каким образом сложилось позднейшее выдвижение Европы вперед. Если рассматривать данный континент как развивший уникальную форму экономики, названную «капитализмом», то правомерно будет искать истоки этой формы в абсолютизме, феодализме и Античности, даже рассматривать ее как результат комплекса институтов, добродетелей и эмоций, в том числе религиозных факторов. Но следует учитывать также, что развитие человеческого общества начиная с бронзового века может рассматриваться в различных категориях как постоянное усложнение городской и торговой культуры без сколько-нибудь резких перерывов, включающих категорические разграничения, предполагаемые термином «капиталистический». В своем главном труде Бродель, фактически, принимает точку зрения, что подобная (капиталистическая) деятельность наблюдалась во всех обществах, которые он исследовал, — в Азии и Европе. Однако он «резервирует» концепцию

«истинного капитализма» исключительно для современного Запада, то есть делает то же самое, что и Нидэм с «современной наукой» по сравнению с просто «наукой». Но если считать, что «капитализм» был присущ всем этим обществам, то о его уникальности больше говорить не приходится, и то же самое касается проблемы объяснения. Рост интенсивности и развитие существующих тенденций (а не резкие изменения) показывают нам то же самое. Действительно, ситуацию можно прояснить, если вообще отказаться от термина «капитализм», поскольку его использование всегда будет претензией на долговременное привилегированное положение Запада. Итак, почему бы не вести обсуждение современных преимуществ Запада в терминах интенсификации экономической и других видов деятельности внутри долговременной структуры городского и торгового развития, — структуры, относительно которой можно вводить поправки на периоды более или менее интенсивной активности и при этом в полной мере учитывать негативные аспекты «процесса цивилизации» наравне с позитивными? Конечно, получающаяся последовательность нуждается в классификации и периодизации, однако мы можем говорить о расширении рамок индустриализации и даже о Промышленной революции, не отрицая при этом наличия аналогичного процесса в азиатских и других обществах, то есть не считая его сугубо европейским.

Литература

- Adams R.M.* The evolution of urban society: early Mesopotamia and prehispanic Mexico. Chicago: Aldine, 1966.
- Ágoston G.* Guns for the Sultan: military power and the weapons industry in the Ottoman Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Amory P.* People and identity in Ostrogothic Italy, 489–554. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Amstutz G.* Shin Buddhism and Protestant analogies with Christianity in the west // Comparative Studies in Society and History. 1998. No 40. P. 724–747.
- Anderson P.* Passages from Antiquity to feudalism. London: Verso, 1974b;
— Lineages of the absolutist state. London: Verso, 1974a.
- Arizzoli-Clémental P.* The textile museum, Lyons. Paris: Paribas, 1996.
- Asin P.M.* Islam and the Divine Comedy. London: J. Murray, 1926.
- Astour M.C.* Hellenosemitica. Leiden: Brill, 1967.
- Bacon F.* The essays, or counsels, civil and moral. London: John Haviland 1632. [Рус. пер.: Бэкон Ф. Соч. Т. 1–2. М.: Мысль, 1977–1978.]
- Baechler J., Hall J.A. and Mann M.* (eds.). Europe and the rise of capitalism. Oxford: Blackwell, 1988.
- Barnard A.* Mutual aid and the foraging mode of thought: re-reading Kropotkin on the Khoisan // Social Evolution and History. 2004. No 3 (1). P. 3–21.
- Barnes R.* Cloistered bookworms in the chicken-coop of the muses: the ancient library of Alexandria // MacLeod R. (ed.). The Library of Alexandria: centre of learning in the ancient world. Cairo: American University Press, 2002.
- Barth F.* Nomads of South Persia. Boston: Little, Brown, & Co., 1961.
- Barthélemy D.* The «feudal revolution» // Past and Present. 1996. No 152. P. 196–205.
- Bayly C.* Rulers, townsmen and bazaars: northern Indian society in the age of British expansion 1770–1870. Cambridge: Cambridge University Press, 1981;
— The birth of the modern world 1780–1914. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Beloch J.* Die Phoeniker am aegaeischen Meer // Rheinisches Museum für Philologie. 1894. No 49. S. 111–132.

- Berkey J.* The transmission of knowledge in medieval Cairo: a social history of Islamic education. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992.
- Berlin I.* Two concepts of liberty (Inaugural lecture). Oxford: Clarendon Press, 1958. [Рус. пер.: *Берлин И.* Два понимания свободы // Берлин И. Философия свободы. Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2001.]
- Bernal M.* Black Athena: the Afroasiatic roots of classical civilization. Vol. I: The fabrication of Ancient Greece 1785–1985. London: Free Association Books, 1987;
 — Cadmean letters: the transmission of the alphabet to the Aegean and further west before 1400 B.C. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1990;
 — Black Athena: the archaeological and documentary evidence. London: Free Association Books, 1991;
 — Black Athena Writes Back: Martin Bernal Responds to his Critics / Ed. D.C. Moore. London: Duke University Press, 2001.
- Bernier F.* Travels in the Mughal empire, AD 1656–1668. Columbia, Missouri: South Asia Books, 1989 [1671].
- Beurdeley C. and M.* L'amour courtois // Le Chant d'Oreiller: l'art d'aimer au Japan. Fribourg, Switzerland: Office du Livre, 1973.
- Bietak M.* Avaris, the capital of the Hyksos. London: British Museum, 1996;
 — Minoan paintings at Arquis/Egypt // Sherratt S. (ed.). Proceedings of the First International Symposium: The Wall Paintings of Thera. Athens: Thera Foundation, 2000.
- Bion W.R.* Elements of psychoanalysis. London: Heinemann, 1963;
 — Attention and interpretation: a scientific approach to insight in psycho-analysis and groups. London: Tavistock, 1970.
- Birrell A.* Chinese love poetry: new songs from a jade terrace — a medieval anthology. Harmondsworth: Penguin Classics, 1995.
- Blaut J.M.* The colonizer's model of the world: geographical diffusionism and eurocentric history. New York: The Guilford Press, 1993;
 — Eight eurocentric historians. New York: The Guilford Press, 2000.
- Bloch Marc.* Feudal society / Trans. L.A. Manyon. London: Routledge and Kegan Paul, 1961. [Рус. пер.: *Блок М.* Феодалное общество. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003.]
- Bloch Maurice* (ed.). Political language and oratory in traditional society. New York: Academic Press, 1975.
- Bloom J.M.* Paper before print: the history and impact of paper on the Islamic world. New Haven: Yale University Press, 2001.
- Blue G.* Capitalism and the writing of modern history in China // Brook T. and Blue G. (eds.). China and historical capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1999;
 — China and Western social thought in the modern period // Brook T. and Blue G. (eds.). China and historical capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Boas F.* The folk-lore of the Eskimo // Journal of American Folk-Lore. 1904. No 17. P. 1–13.
- Bodin J.* Les six livres de la republique. Paris: Chez Jacques du Pays, 1576.
- Bohannon P.J. and Dalton G.* (eds.). Markets in Africa. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1962.

- Bonnassie P.* From slavery to feudalism in south-western Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Boserup E.* Woman's role in economic development. London. Allen & Unwin, 1970.
- Bovill E.W.* Caravans of the old Sahara: an introduction to the history of the Western Sudan. London: Oxford University Press, 1933.
- Braudel F.* Méditerranée et le monde Méditerranéen à l'époque de Philippe II. Paris: Colin, 1949. [Рус. пер.: *Бродель Ф.* Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. В 3 т. М.: Языки славянской культуры, 2002–2004.]
- Braudel F.* (cont.). Civilization and capitalism, 15th–18th century. The structures of everyday life. Vol. I. London: Phoenix Press, [1979];
- Civilization and capitalism, 15th–18th century. The wheels of commerce. Vol. II. London: Phoenix Press, 1981–1984b;
- Civilization and capitalism, 15th–18th century. The perspective of the world. Vol. III. London: Phoenix Press, 1981–1984c. [Рус. пер.: *Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. Т. 1–3. М.: Весь Мир, 2011.]
- Bray F.* Technology and gender: fabrics of power in late imperial China. Berkeley: University of California Press, 1997;
- Technology and society in Ming China (1368–1644). Washington, DC: American Historical Society, 2000.
- Briant P.* «History of the Persian Empire, 550–330 BC» // Curtis J. and Tallis N. (eds.). Forgotten empire: the world of ancient Persia. London: British Museum, 2005.
- Brodbeck M.* (ed.). Readings in the philosophy of the social sciences. London: Macmillan, 1968.
- Brook T.* The confusions of pleasure: commerce and culture in Ming China. Berkeley: University of California Press, 1998.
- Brook T. and Blue G.* (eds.). China and historical capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Brotton J.* The Renaissance bazaar: from the silk road to Michelangelo. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Brough J.* Poems from the Sanskrit. Harmondsworth: Penguin, 1968.
- Browning J.* Palmyra. London: Chatto & Windus, 1979.
- Browning R.* Education in the Roman empire. The Cambridge Ancient History. Vol. XIV. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Burke P.* The European Renaissance: centres and peripheries. Oxford: Blackwell, 1998.
- Burkhardt J.* The civilisation of the Renaissance in Italy. New York: Penguin, 1990. [Рус. пер.: *Буркхардт Я.* Культура Возрождения в Италии. М.: Юрист, 1996.]
- Buruma I. and Margalit A.* Seeds of revolution // The New York Review of Books. 2004. No 51. P. 4.
- Butterfield H.* Origins of modern science 1300–1800. London: G. Bell, 1949.
- Bynum C.* Holy feast and holy fast: religious significance of food to mediaeval women. Berkeley: University of California Press, 1987.
- Cabanès Dr.* La vie intime. Paris: Albin Michel, 1954.
- Cahen C.* Iqta. Encyclopaedia of Islam. Leiden: Brill, 1988–1991, 1992.

- Cai Hua*. A society without fathers or husbands: the Na of China. New York: Zone Books, 2001.
- Cameron A.* Vandals and Byzantine Africa // The Cambridge Ancient History. Vol. XIV. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Cantarino V.* Casidas de amor profano y místico. Mexico: Рортъа, 1977.
- Capellanus A.* The art of courtly love / Ed. J.J. Parry. New York: Columbia University Press, 1960 [1186].
- Cardini P.* Breve Storia di Prato. Sienna: Pacini, 2000.
- Cartledge R.* Trade and politics revisited // Trade in the ancient Economy / Garnsey P., Hopkins K. and Whittaker C.R. (eds.). London: Hogarth Press, 1983.
- Caskey J.* Art as patronage in the medieval Mediterranean: merchant customs in the region of Amalfi. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Casson L.* The Periplus Maris Erythraei: text with introduction, translation, and commentary. Princeton: Princeton University Press, 1989.
- Castoriadis C.* The Greek polis and the creation of democracy // Curtis D.A. (ed.). The Castoriadis reader. Oxford: Blackwell, 1991.
- Cesares A.M.* La logique de la domination esclavagiste: vieux chrétiens et neo-convertis dans la Grenade espagnole des temps moderne // Cahiers de le Méditerranée. L'Esclavage en Méditerranée a l'époque moderne. 2002. P. 219–240.
- Chan W.K.K.* Merchants, mandarins, and modern enterprise in late Ch'ing, China. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.
- Chandler A.D.* The visible hand: the managerial revolution in American business. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.
- Chang K.C.* (ed.). Food in Chinese culture — anthropological and historical perspectives. New Haven: Yale University Press, 1977.
- Chartier R.* Emmanuel Le Roy Ladurie Daniel Gordon and «The second death of Norbert Elias» // Dunning E. and Mennell S.J. (eds.). Norbert Elias (vol. IV). London: Sage Publications, 2003.
- Chase-Dunn C. and Hall T.D.* Rise and demise: comparing world systems. Oxford: Westview Press, 1997.
- Chayanov A.V.* The theory of peasant economy. Madison: The University Wisconsin Press, 1966. [См.: Чаянов А.В. Организация крестьянского хозяйства // Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. Избр. труды. М.: Экономика, 1989.]
- Chesneaux J.* La Révolte des Tai-Ping 1851–1864: prologue de la revolution chinoise. Paris, 1972;
— Le Mouvement paysan chinois. 1840–1949. Paris: Seuil, 1976.
- Childe G.* What happened in history. Harmondsworth: Penguin Books, [1942] 1964;
— Social evolution. London: Watts, 1951.
- Ching-Tzu Wu.* The scholars. Beijing: Foreign Languages Press, 1973.
- Cipolla C.* Guns, sails and empires: technological innovation and the early phases of European expansion 1400–1700. New York: Minerva Press, 1965.
- Clark G.D.* World prehistory: an outline. Cambridge: Cambridge University Press, 1961;
— World prehistory in new perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Clone R.* (ed.). The story of time and space. Greenwich: National Maritime Museum.
- Clunas C.* Superfluous things: material culture and social status in early modern China. Cambridge: Polity Press, 1991.

- Cohen E.E.* Athenian economy and society: a banking perspective. Princeton, N J: Princeton University Press, 1992.
- Cohen M.J.* Writs of passage in Late Imperial China: the documentation of partial misunderstandings in Minong, Taiwan // Zelin M., and Ocko J.K., and Gardella R. Contract and property in Early Modern China. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004.
- Concina E.* Arsenale della repubblica di Venezia. Milan: Electa, 1984;
— Arsenali e città nell'occidente europeo. Rome: La Nuova Italia Scientifica, 1987.
- Confucius.* The great learning. The doctrine of the mean. Beijing: Sinolingua, 1996 [c. 500 BCE.].
- Conrad L.I.* The Arabs // The Cambridge Ancient History. Vol. XIV. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Constable O.R.* Trade and traders in Muslim Spain: the commercial realignment of the Iberian Peninsula, 900–1500. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Coquery-Vidrovich C.* Research on an African mode of production // Seddon D. (ed.). Relations of production (translated from the French, 1969) // Pensée. London, 1978. No 144. P. 61–78.
- Cormack R.* The visual arts // The Cambridge Ancient History. Vol. XIV. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Coulbourn R.* (ed.). Feudalism in history. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1956.
- Crane N.* Mercator: the man who mapped the planet. London: Phoenix, 2003.
- Curtis J. and Tallis N.* (eds.). Forgotten empire: the world of ancient Persia. London: British Museum, 2005.
- Daniel G.* The three ages: an essay on archaeological method. Cambridge: Cambridge University Press, 1943.
- Daniel N.* The Arabs and medieval Europe. London: Longman, 1975.
- Davies J.K.* Democracy and classical Greece. Sussex: Harvester, 1978.
- Davies W.V. and Schofield L.* (eds.). Egypt, the Aegean, and the Levant. London: British Museum, 1995.
- Denoix S.* Unique modèle ou types divers? La structure des villes du monde arabo-musulman à l'époque médiévale // Ed. C. Nicolet et al. Mégapoles méditerranéennes: géographie urbaine rétrospective. Paris: Maisonneuve et Larose, 2000.
- Djebar A.* L'âge d'or des sciences arabes. Paris: Le Pommier, 2005.
- Dobb M.* Studies in the development of capitalism. London: Routledge, 1954.
- Dronke R.* Medieval Latin and the rise of the European love-lyric (2 vols.). Oxford: Clarendon Press, 1965.
- Duby G.* Féodalité. Paris: Gallimard, 1996.
- Dumont L.* Homo hierarchicus: the caste system and its implications. Chicago: Chicago University Press, 1970 [1966].
- Durkheim E.* De la division du travail social: étude sur l'organisation des sociétés supérieures. Paris: Alcan, 1893. [Рус. пер.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: Наука, 1991.];
— [1st French edn 1912, 1st English trans. 1915] The elementary forms of the religious life. Glencoe, IL: Free Press, 1947.

- Dürr H.-P.* Der Mythos vom Zivilisationsprozess. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1988.
- Elder de Roover F.* La sete Lucchesi (Italian trans. from German: Die Seidenstadt Lucca. Basle: CIBA, 1950). Lucca, 1993.
- Eisenstein E.L.* The printing Press, as an agent of change: communications and cultural transformations in early modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
- Elias N.* The civilizing process (trans. E. Jephcott). Oxford: Blackwell, 1994b. [Рус. пер.: Элиас Н. О процессе цивилизации. М.–СПб.: Университетская книга, 2001.];
- Reflections on a life. Cambridge: Polity Press, 1994a [1939].
- Elvin M.* The pattern of the Chinese past. London: Eyre Methuen, 1973;
- Ave atque vale // Needham. Science and civilization in China. Pt 2. Vol. VII. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Evans A.* The palace of Minos at Knossos. 4 vols. London: Macmillan, 1921–1935.
- Evans-Pritchard E.E.* Witchcraft, oracles and magic among the Azande Oxford: Clarendon Press, 1937. [Рус. пер.: Эванс-Пруитчард Э. Колдовство, оракулы и магия у азанде // Магический кристалл. М.: Республика, 1994.];
- The Nuer. Oxford: Clarendon Press, 1940. [Рус. пер.: Эванс-Пруитчард Э. Нуэры. М., 1985.]
- Fantar M.H.* Carthage: la cité punique. Paris: CNRS, 1995.
- Faure D.* The lineage as business company: patronage versus law in the development of Chinese business // The Second Conference of Modern Chinese. Economic History, 5–7 January. The Institute of Economics, Academia Sinica. Taipei, 1989.
- Fay M.A.* Women and waqf: property, power and the domain of gender in eighteenth-century Egypt // Zilfi M.C. (ed.). Women in the Ottoman empire: Middle Eastern women in the early modern era. Leiden: Brill, 1997.
- Fernandez-Armesto F.* Millennium: a history of our last thousand years. London: Black Swan, 1995.
- Fevrier M., Fixot P.-A., Goudineau G. and Kruta N.* Histoire de la France urbaine. Des origines à la fin du IX^e siècle. Période traitée: la Gaule de VII^e au IX^e siècle. Paris: Seuil, 1980.
- Finley M.I.* (ed.). Slavery in classical antiquity. Cambridge: W. Heffer, 1960;
- Early Greece: the Bronze and Archaic ages. London: Chatto & Windus, 1970;
- The ancient economy. London: Chatto & Windus, 1973;
- Economy and society in ancient Greece / Ed. B.D. Shaw & R. P. Saller. London: Chatto & Windus, 1981;
- Democracy ancient and modern. London: Hogarth, 1985.
- Firth R.* Social changes in Tikopia: re-study of a Polynesian community after a generation. New York: Macmillan, 1959.
- Flannery K.* The cultural evolution of civilizations // Annual Review of Ecology and Systematics. 1972. No 3. P. 399–426.
- Fortes M. and Evans-Pritchard E.E.* African political systems. London: Oxford University Press, 1940.
- Fowden G.* Elefantiasi del tardantica (Review of the Cambridge Ancient History. Vol. XIV) // Journal of Roman Archaeology. 2002. No 15. P. 681–686.

- Frank A.G.* ReOrient: global economy in the Asian age. Berkeley: University of California Press, 1998.
- Freud S.* The future of an illusion. Civilization and its discontents / Ed. J. Strachey. Standard Edition. Vol. XXI (1927–1931). London: Hogarth, 1961 [1927]. [См. рус. пер.: *Фрейд З.* «Будущее одной иллюзии», «Недовольство культурой»]; — New introductory lectures on psycho-analysis and other works / Trans. and ed. J. Strachey. Standard edition. Vol. XXII (1932–1936). London: Hogarth, 1964. [Рус. пер.: *Фрейд З.* Введение в психоанализ. Лекции. М.: Наука, 1991.]; — Why war? Letter to Einstein // Standard edition. Vol. XXII (1932–1936). London: Hogarth. 1964 [1933]. [См. рус. пер.: *Фрейд З.* «Почему война?».]
- Furet F. and Ozouf J.* Lire et écrire, l'alphabétisation des français de Calvin à Jules Ferry. Paris: Minuit, 1977.
- Garnsey P., Hopkins K. and Whittaker C.R.* (eds.). Trade in the ancient economy. London: Chatto & Windus, 1983.
- Geertz C.* et al. (eds.). Meaning and order in Moroccan society. New York: Cambridge University Press, 1979.
- Gellner E.* The mightier pen: the double standards of inside-out colonialism. Encounters with nationalism. Oxford: Blackwell (reprinted from Times Literary Supplement, 19 February 1998, 1994).
- Geraci G. and Marin B.* L'approvisionnement alimentaire urbain // Marin B. and Virlovet C. (eds.). Nourrir les cités de Méditerranée: antiquité–temps moderne. Paris: M. M. S. H., 2003.
- Ghosh A.* In an antique land. New York: Vintage Books, 1992.
- Giddens A.* Modernity and self-identity: self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press, 1991. [Рус. пер.: *Гидденс Э.* Современность и самоидентичность. СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2000.]
- Gillion K.L.* Ahmedabad: a study in Indian urban history. Berkeley, CA: California University Press, 1968.
- Gilson E.* La Philosophie au Moyen Age (2nd edition). Paris: Payot, 1999. [Рус. пер.: *Жильсон Э.* Философия в Средние века. М.: Республика, 2004.]
- Gledhill J., Larsen M.* The Polanyi paradigm and a dynamic analysis of archaic states // Renfrew C. et al. Theory and explanation in archaeology. New York: Academic Press, 1952.
- Glick T.F.* Irrigation and hydraulic technology: medieval Spain and its legacy. Aldershot: Variorum, 1996.
- Gluckman M.* The judicial process among the Barotse of Northern Rhodesia. Manchester: Manchester University Press, 1955; — Custom and conflict in Africa. Oxford: Blackwell, 1965; — The ideas in Barotse jurisprudence. New Haven: Yale University Press, 1965.
- Godelier M.* The concept of the «Asian mode of production» and Marxist models of social evolution // Seddon D. (ed.). Relations of production: Marxist approaches to economic anthropology. London: Cass, 1978; — Métamorphoses de la parenté. Paris: Fayard, 2004.
- Goitein S.D.* A Mediterranean society, the Jewish communities of the Arab world as portrayed in the documents of the Cairo Geniza. Vol. I. Berkeley: University of California Press, 1967;

- A Mediterranean society. An abridgement in one volume. Berkeley: University of California Press, 1999.
- Goode W.* World revolution and family patterns. New York: The Free Press, 1963.
- Goodman M.* Jews in a Graeco-Roman world. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Goody J.* Anomie in Ashanti? // *Africa*. 1957. No 27. P. 75–104;
 - Death, property and the ancestors. Stanford, CA: Stanford University Press (reprinted 2004, London: Routledge), 1962;
 - The social organization of time // *The encyclopaedia of the social sciences*. New York: Macmillan, 1968;
 - Technology, tradition and the state in Africa. London: Oxford University Press, 1971;
 - The evolution of the family // Laslett P. and Wall R. (eds.). *Household and family in past times*. Cambridge: Cambridge University Press, 1972a;
 - The myth of the Bagre. Oxford: Clarendon, 1972b;
 - Production and reproduction: a comparative study of the domestic domain. Cambridge: Cambridge University Press, 1976;
 - The domestication of the savage mind. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Goody J. (cont.)* Cooking, cuisine and class: a study in comparative sociology. Cambridge: Cambridge University Press, 1982;
 - Under the lineage's shadow // *Proceedings of the British Academy*. 1984. No 70. P. 189–208;
 - The logic of writing and the organisation of society. Cambridge: Cambridge University Press, 1986;
 - The interface between the written and the oral. Cambridge: Cambridge University Press, 1987;
 - The culture of flowers. Cambridge: Cambridge University Press, 1993;
 - The east in the west. Cambridge: Cambridge University Press, 1996a;
 - Comparing family systems in Europe and Asia: are there different sets of rules? // *Population and Development Review*. 1996b. No 22. P. 1–20;
 - Representations and contradictions. Oxford: Blackwell, 1997;
 - Food and love. London: Verso, 1998;
 - The Bagre and the story of my life // *Cambridge Anthropology*. 2003a. No 23. P. 3, 81–89;
 - Islam in Europe. Cambridge: Polity Press, 2003b;
 - Capitalism and modernity: the great debate. Cambridge: Polity Press, 2004.
- Goody J. and Watt I.* The consequences of literacy // *Comparative Studies in Society and History*. 1963. No 5. P. 304–345.
- Goody J. and Tambiah S.* Bridewealth and dowry. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
- Goody J. and Gandah S.W.D.K.* Une récitation du Bagre. Paris: Colin, 1980;
 - The third Bagre: a myth revisited. Durham, NC: Carolina Academic Press, 2002.
- Gordon D.* Citizens without sovereignty: equality and sociability in French thought, 1670–1789. Princeton: Princeton University Press, 1994.
- Gough K.* Rural society in Southeast India. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

- Griaule M.* Conversations with Ogotommeli. Paris: Fayard, 1948. (English trans. London: Oxford University Press, 1965.)
- Greenberg J.* The languages of Africa. 1963. (Supplement to «International Journal of American Linguistics». No 29.)
- Grudin R.* Humanism // Encyclopaedia Britannica (15th edition). Chicago: Chicago University Press, 1997.
- Guichard P.* Structures occidentales et structures orientales. Paris: Mouton, 1977.
- Gurukkal R., Whittaker D.* In search of Muziris // Roman Archeology. 2001. No 14. P. 235–350.
- Gutas D.* Greek thought, Arabic culture. London: Routledge, 1998.
- Guthrie D.J. and Hartley F.* Medicine and surgery before 1800 // Encyclopaedia Britannica (15th edn). Vol. 23. P. 775–783. Chicago: Chicago University Press, 1997.
- Habib I.* Merchant communities in precolonial India // Tracy J.D. (ed.). The rise of merchant empires. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Hajnal J.* European marriage patterns in perspective // Glass D.V. and Eversley D.E.C. (eds.). Population in History. London: Aldine, 1965;
- Two kinds of pre-industrial household formation systems // Population and Development Review. 1982. No 8. P. 449–494.
- Halbwachs M.* Le Cadres sociaux de la mémoire. Paris: F. Alcan, 1925.
- Hart K.* The political economy of West African agriculture. Cambridge: Cambridge University Press, 1982;
- Money in an unequal world. New York: Texere, 2000.
- Hart, Mother Columba* (trans.) // Hadewijch: the complete works. London: Paulist Press, 1980.
- Haskins C.H.* The rise of universities. New York: Henry Holt, 1923.
- Hill P.* Studies in rural capitalism in West Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Hilton R.* (ed.). The transition from feudalism to capitalism. London: NLB, 1976.
- Hobsbawm E.J.* Primitive rebels. Manchester: Manchester University Press, 1959;
- The age of revolution. 1789–1848. New York: Mentor, 1964. [Рус. пер.: Хобсбаум Э. Век революции. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.];
- Pre-capitalist economic formations. New York: International Publishing, 1965;
- Bandits. Harmondsworth: Penguin, 1972.
- Hobson J.M.* The eastern origins of western Civilisation. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Hodges R. and Whitehouse D.* Mohammed, Charlemagne and the origins of Europe. London: Duckworth, 1983.
- Hodgkin L.* A history of mathematics: from Mesopotamia to modernity. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Ho Ping-ti.* The ladder of success in Imperial China; aspects of social mobility, 1368–1911. New York: Columbia University Press, 1962.
- Hopkins T.J.* The social teaching of the Bhagavata Purana // Krishna: myths, rites and attitudes / Ed. M. Singer. Honolulu: East–West Center, 1966.
- Hopkins K.* Brother–sister marriage in Roman Egypt // Comparative Studies in Society and History. 1980. No 22. P. 303–354;

- Introduction to P. Garnsey, K. Hopkins, and C. R. Whittaker (eds.). Trade in the ancient economy. London: Chatto & Windus, 1983.
- Hourani A.* L'oeuvre d'André Raymond // Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée. 1990. No 55–56. P. 18–27.
- Howard D.* Venice and the East: the impact of the Islamic world on European architecture 1100–1500. New Haven: Yale University Press, 2000.
- Hsu-Ling.* New songs from a jade terrace / Birrel A. (ed.). New York: Penguin, 1982 [534–535].
- Hufton O.* The prospect before her: a history of women in Western Europe. Vol. I, 1500–1800. London: Harper Collins, 1995.
- Huntington S. P.* The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon & Schuster, 1996. [Рус. пер.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003.]
- Ibn Arabi.* L'interprète des desirs. Paris: Albin Michel, 1996.
- Ibn Khaldûn.* Al-Muqaddimah. Beirut: UNESCO, 1967 [1377].
- Ibn Hazm.* The ring of the dove. A treatise on the art and practice of Arab love. New York: AMS Press, 1981 [c. 1022].
- Inalcik H. with D. Quataert.* An economic and social history of the Ottoman empire, 1300–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Jackson A. and Jaffes A.* (eds.). Encounters: the meeting of Asia and Europe 1500–1800. London: V&A Publications, 2004.
- Jacquart D.* L'Épopée de la science arabe. Paris: Gallimard, 2005.
- Jayyussi S.K.* (ed.). The legacy of Muslim Spain. Leiden: Brill, 1992.
- Jidejian N.* Tyre through the ages. Beirut: Librarie Orientale, 1991;
- Sidon a travers les ages. Beirut: Librarie Orientale, 1996;
- Byblos through the Ages. Beirut: Librarie Orientale, 2000.
- Jones E.L.* The European miracle: environments, economies and geopolitics in the history of Europe and Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Kant I.* Ideas on a universal history from a cosmopolitan point of view // Rundell J. and Mennell S. (eds.). Classical readings in culture and civilization. London: Routledge, 1998 [1784]. [Рус. пер.: Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Соч. В 6 т. Т. 6. М.: Мысль, 1966.]
- Keenan J.G.* Egypt // The Cambridge Ancient History. Vol. XIV. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Kennedy P.* The rise and fall of the great powers: economic change and military conflict from 1500 to 2000. New York: Vintage Books, 1989.
- Krause K.* Arms and the state: patterns of military production and trade. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Kristeller P.O.* The School of Salerno: its development and its contribution to the history of learning // Bulletin of the History of Medicine. 1945. No 17. P. 138–194.
- Kroeber A.L.* Handbook of the Indians of California. New York: Dover Publications, 1976.
- Lancel S.* Carthage: a history. Oxford: Blackwell, 1997.
- Landes D.* The wealth and poverty of nations: why some nations are so rich and some so poor. London: Abacus, 1999.
- Lane R.C.* Venice: a maritime republic. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973.

- Lantz J.R.* Romantic love in the pre-modern period: a sociological commentary // *Journal of Social History*. 1981. No 15. P. 349–370.
- Laslett P.* The world we have lost: England before the industrial age. New York: Scribners, 1971;
– and Wall R. (eds.) Household and family in past times. Cambridge: Cambridge University Press, 1972.
- Latour B.* Derrida dreams about Le Shuttle. Reviews of E. Durian-Smith // *Bridging divides: the Channel tunnel and English legal identity in the New Europe*. Berkeley, 2000 // *The Times Higher Education Supplement*. 2000. No 2/6. P. 31.
- Ledderose L.* Ten thousand things: module and mass production in Chinese art. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Lee J.Z. and Wang Feng.* One quarter of humanity. Malthusian mythology and Chinese realities, 1700–2000. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Le Goff J.* Intellectuals in the middle ages. London: Blackwell, 1993. [Рус. пер.: *Ле Гофф Ж.* Интеллектуалы в Средние века. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2003.]
- Lenin V.I.* The awakening of Asia // *Collected works*. Moscow: Foreign Language Press, 1962. [*Ленин В.И.* Пробуждение Азии // *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 23.]
- Letts M.* Bruges and its past. London: Berry, 1926.
- Leur J.C. van.* Indonesian trade and society: essays in Asian social and economic history. The Hague: W. van Hoeve, 1955.
- Lewis B.* Islam in history: ideas, men and events in the Middle East. London: Alcove, 1973;
– What went wrong? Western impact and Middle Eastern response. London: Orion House, 2002.
- Lewis C.S.* The allegory of love: a study in medieval tradition. Oxford: Clarendon Press, 1936.
- Liebeschuetz J.H.W.G.* Administration and politics in the cities of the fifth to the mid seventh century: 425–440 // *The Cambridge Ancient History*. Vol. XIV. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Lloyd G.E.R.* Magic, reason and experience: studies in the origin and development of Greek science. Cambridge: Cambridge University Press, 1979;
– Ancient worlds, modern reflections: philosophical perspectives on Greek and Chinese science and culture. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Lopez R.* The commercial revolution of the middle ages, 950–1350. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1971.
- Love J.R.* Antiquity and capitalism: Max Weber and the sociological foundations of Roman civilization. London: Routledge, 1991.
- Maalouf A.* The crusades through Arab eyes. London: Al Saqi Books, 1984.
- Macfarlane A.* The origins of English individualism: the family, property and social transition. Oxford: Blackwell, 1978.
- Macfarlane A. and Martin G.* The glass bathyscape. London: Profile Books, 2002.
- Machiavelli N.* The prince / Trans. S.J. Millner. London: Phoenix Books, 1996 [1532].
[См. рус. пер.: *Макиавелли Н.* Государь.]
- Maine H.S.* Ancient law. London: Everyman Library, 1965 [1861].
- Makdisi G.* An Islamic element in the early Spanish University // *Islam: past influences and present challenges*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979;

- The rise of colleges: illustrations of learning in Islam and the west. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.
- Malinowski B.* The family among the Australian aborigines. London: Hodder & Stoughton, 1913;
- Crime and custom in savage society. London: Kegan Paul, 1947;
- Magic, science and religion and other essays / Ed. R. Redfield. Boston: Beacon Press, 1948. [Рус. пер.: *Малиновский Б.* Магия, наука и религия. М.: Рефл-бук, 1998.]
- Mann M.* The sources of social power. Vol. I. A history of power from the beginning to A. D. 1760. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Marx K.* Pre-capitalist economic formations (intro. E. Hobsbawm). New York: International Publishers, 1964;
- Grundrisse. London: Penguin, 1973. [См. рус. пер.: *Маркс К.* Экономические рукописи 1857–1861 гг. (Первоначальный вариант «Капитала»). В 2-х ч. М.: Политиздат, 1980.];
- Capital. London: Penguin, 1976. [См. рус. пер.: *Маркс К.* Капитал.]
- Marx K. and Engels F.* Selected Works, Vol. I. Moscow: Progress Publishers, 1969.
- Matar N.* Turks, Moors and Englishmen in the age of discovery. New York: Columbia University Press, 1999.
- McCormick M.* Origins of the European economy: communications and culture A.D. 300–900. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- McMullen I.J.* Idealism, protest, and the tale of Genji: the Confucianism of Kumazawa Banzan 1619–91. Oxford: Clarendon Press, 1999.
- Meier C.* The Greek discovery of politics / Trans. David McLintock. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.
- Meilink-Roelofs H.A.P.* Asian trade and European influence in the Indonesian archipelago between 1500 and about 1630. The Hague: Nijhoff, 1962;
- Asian trade and Islam in the Malay-Indonesian archipelago // Richards D.S. (ed.). Islam and the trade of Asia. Oxford: B. Cassirer, 1970.
- Mennell S.* All manners of food: eating and taste in England and France from the Middle Ages to the present. Oxford: Blackwell, 1985.
- Mennell S. and Goudsblom J.* Civilizing process — myth or reality? A comment on Duerr's critique of Elias // Comparative Studies in Society and History. 1997. No 39. P. 729–733.
- Meriwether K.L.* Women and waqf revisited: the case of Aleppo 1770–1840 // Zilfi M.C. (ed.). Women in the Ottoman empire: Middle Eastern women in the early modern era. Leiden: Brill, 1997.
- Miller J.* The spice trade of the Roman empire. Oxford: Clarendon Press, 1969.
- Millett P.* Maritime loans and the structure of credit in fourth-century Athens // Garnsey P., Hopkins K. and Whittaker C.R. (eds.). Trade in the ancient economy. London: Chatto & Windus, 1983.
- Mintz S. and Wolf E.* An analysis of ritual co-parenthood (compadrazgo) // Southwestern Journal of Anthropology. 1950. P. 341–367.
- Mitchell J.* Siblings. Cambridge: Polity Press, 2003.
- Montesquieu C.S.* The spirit of laws. London: G. Bell & Sons, 1914. (French original 1748. L'Esprit des lois.) [Рус. пер.: *Монтескье III.* О духе законов. М.: Мысль, 1999.]

- Morgan L.H.* Ancient society. New York: Henry Holt, 1877. [Рус. пер.: *Морган Л.Г.* Древнее общество. Л.: Издательство института народов Севера ЦИК СССР, 1935.]
- Mosse C.* The «world of the emporium» in the private speeches of Demosthenes // Garnsey P., Hopkins K. and Whittaker C.R. (eds.). Trade in the ancient economy. London: Chatto & Windus, 1983.
- Mundy M.W.* The family, inheritance and Islam: a re-examination of the sociology of farā'id law // al-Azmeh A. (ed.). Social and historical contexts of Islamic law. London: Routledge, 1988;
- Ownership or office? A debate in Islamic Hanafite jurisprudence over the nature of the military «fief», from the Mamluks to the Ottomans // Pottage A. and Mundy M. (eds.). Law, Anthropology and the constitution of the social: making persons and things. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Murasaki S.* The tale of Genji / Trans. A. Waley. New York: Anchor Books, 1955 [11 c.].
- Murdock G.P.* Ethnographic atlas: a summary // Ethnology. 1967. No 6. P. 109–123.
- Nafissi M.* Class, embeddedness, and the modernity of ancient Athens // Comparative Studies in Society and History. 2004. No 46. P. 378–410.
- Nakosteen M.* History of the Islamic origins of western education, A.D. 800–1350. Boulder, Colorado: University of Colorado Press, 1964.
- Needham J.* (ed.). Science and civilization in China. Cambridge: Cambridge University Press, 1954–;
- Time and eastern man. London: Royal Anthropological Institute, 1965;
 - Clerks and craftsman in China and the west. Cambridge: Cambridge University Press, 1970;
 - (ed.) Biology and biological technology. Pt. 1: Botany. Vol. VI of Science and civilization in China. Cambridge: Cambridge University Press, 1986a;
 - (ed.) Military technology. The gunpowder epic. Pt. 7. Chemistry and chemical technology. Vol. V. Science and civilization in China. Cambridge: Cambridge University Press, 1986b;
 - General conclusions and reflections. Science and civilization in China. Pt. 2. Vol. VII. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Nef J.U.* Cultural foundation of industrial civilization. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.
- Ng Chin-keong.* Trade and society in China: the Amoy network on the China coast, 1683–1735. Singapore: Singapore University Press, 1983.
- Nicholson R.* Studies in Islamic mysticism. Cambridge: Cambridge University Press, 1921.
- Nykl A.R.* Abū Muammad, 'Alā ibn Hazm al-Andalusā: a book containing the Risāla known as the dove's neck-ring about love and lovers. Paris: Geuthner, 1931.
- Nylan M.* Calligraphy, the sacred text and test of culture // Liu C.Y. et al. Character and context in Chinese calligraphy. The Art Museum. Princeton University, NJ, 1999.
- Ong W.* Ramus, method and the decay of dialogue. New York: Octagon Books, 1974.
- Oppenheim A.L.* Ancient Mesopotamia. Chicago: Chicago University Press, 1964.
- Osborne R.* Greece in the making 1200–479 BC. London: Routledge, 1996.

- Parker G.* The military revolution: military innovations and the rise of the west, 1500–1800. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Parry J.J.* (ed.). Andreas Capellanus: the art of courtly love. New York: Columbia University Press, 1960 [1184?].
- Parsons T.* The structure of social action. New York: McGraw-Hill, 1937. [См. рус. пер.: Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000.]
- Pasinli A.* Istanbul archaeological museums. Istanbul: A Turizm Yayinlari, 1996.
- Passerini L.* Europe in love, love in Europe: imagination and politics in Britain between the wars. London: I.B. Tauris, 1999.
- Passerini L., Ellena L. and Geppert A.C.T.* (eds.). New dangerous liaisons. Discourses on Europe and Love in the Twentieth Century. Oxford: Berghahn, 2010.
- Perera B.J.* The foreign trade and commerce of ancient Ceylon. I: The ports of ancient Ceylon // Ceylon Historical Journal. 1951. No 1. P 109–119;
 – The foreign trade and commerce of ancient Ceylon. II: Ancient Ceylon and its trade with India // Ceylon Historical Journal. 1952a. No 1. P. 192–204;
 – The foreign trade and commerce of ancient Ceylon. III: Ancient Ceylon's trade with the empires of the eastern and western worlds // Ceylon Historical Journal. 1952b. No 1. P. 301–320.
- Person E.S.* Romantic love: at the intersection of the psyche and the cultural unconscious // Journal of the American Psychoanalytic Association. 1991. No 39 (supplement). P. 383–411.
- Peters F.E.* Aristotle and the Arabs: the Aristotelian tradition in Islam. New York: New York University Press, 1968.
- Petit P.* Greek and Roman civilizations // Encyclopaedia Britannica (15th edition). 1997. Vol. 20. P. 2205.
- Pirenne H.* Mohammed and Charlemagne / Trans. B. Miall. London: Allen & Unwin. 1939.
- Polanyi K.* Our obsolete market mentality // Commentary. 1947. No 3. P. 2.
 – The economy as instituted process // Polanyi K., Arensberg C. and Pearson H. (eds.). Trade and markets in the early empires. New York: Free Press, 1957.
 – The great transformation: the political and economic origins of our time. Boston: Beacon Press, 1957. [Рус. пер.: Поланьи К. Великая трансформация. СПб.: Алетейя, 2002.]
- Polybius.* The histories of Polybius (trans. E. Shuckburgh). London: Macmillan, 1889. [Рус. пер.: Полибий. Всеобщая история. М.: ОЛМА-ПИРЕСС Инвест, 2004.]
- Pomeranz K.* The great divergence: China, Europe and the making of the modern world economy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.
- Poni C.* Il network della setta nelle città italiana in età moderna // Iscuola Officina [Bologna]; 2001a. No 2. P. 4–11.
 – Comparing two urban industrial districts: Bologna and Lyon in the early modern period // Porta P.L., Scazzieri F. and Skinner A. (eds.). Knowledge, social institutions and the division of labour. Cheltenham: Edwards, 2001b.
- Radcliffe Brown A.R.* Structure and function in primitive society. London: Cohen and West. [Рус. пер.: Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функции в примитивном обществе. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001.]

- Rashdall H.* The universities of Europe in the Middle Ages (new edn). London: Oxford University Press, 1988 [1936].
- Rattray R.S.* Ashanti. London: Oxford University Press, 1923;
— Ashanti law and constitution. London: Oxford University Press, 1929.
- Rawson J.* Chinese ornament: the lotus and the dragon. London: British Museum, 1984.
- Renfrew C., Rowlands M.J. and Seagraves B.A.* (eds.). Theory and explanation in archaeology. New York: Academic Press, 1982.
- Repp R.C.* The Mufti of Istanbul: a study in the development of the Ottoman learned hierarchy. London: Ithaca Press, 1986.
- Reynal J.* Al-Andulus et l'art roman: le fil d'une histoire // Fabre T. (ed.). L'Héritage Andalou. La Tour d'Aigues: Éditions De L'Aube, 1995.
- Reynolds L.D. and Wilson N.G.* Scribes and scholars. London: Oxford University Press, 1968.
- Ribera J.* Disertaciones y opúsculos. 2 vols. Madrid: E. Maestre, 1928.
- Richards A.I.* Some types of family structure amongst the central Bantu // Radcliffe Brown A.R. and Forde C.D. (eds.). African systems of kinship and marriage. London: Oxford University Press, 1950.
- Rodinson M.* Recherches sur les documents arabs relatifs à la cuisine // Revue études islamique. 1949. P. 95–106.
- Rougement D. de.* Love in the western world. New York: Princeton University Press, 1956.
- Roux J.* Cortesia e fin'amor, un nouvel humanism // Bordes R. (ed.). Troubadours et Cathares: en occitanie médiévale. Cahors: L'Hydre, 2004.
- Rowe W.T.* Hankow: commerce and society in China, 1796–1889. Stanford, CA: Stanford University Press, 1984.
- Sabloff J.A. and Lamberg-Karlovsky C.C.* (eds.). Ancient civilisation and trade. Albuquerque, NM: University of New Mexico Press, 1975.
- Said E.* Orientalism. London: Penguin Books, 1995;
— Freud and the non-European. London: Verso, 2003.
- Saikal A.* Islam and the west: conflict or cooperation? London: Palgrave Macmillan, 2003.
- Say J.* Cours complet d'économie politique pratique. Paris: Rapilly, 1829.
- Sayili A.* Higher education in medieval Islam: the madrasas // Annales de l'université de l'Ankara II. 1947–1948. P. 30–69.
- Schapera I.* The sin of Cain // Lang B. (ed.). Anthropological approaches to the Old Testament. Philadelphia: Fortress Press, 1985 [1955].
- Schwartz S.B.* Sugar plantations in the formation of Brazilian society: Bahia, 1550–1835. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Setton K.M.* Venice, Austria and the Turks in the seventeenth century. Philadelphia, PA: American Philosophical Society, 1991.
- Sherratt S.* (ed.). Proceedings of the First International Symposium, the wall paintings of Thera. Athens: Thera Foundation.
- Singer C.* (ed.). A history of technology. Oxford: Clarendon Press, 1979–1984.
- Singer C.* Medicine // Chambers Encyclopaedia. Vol. IX. P. 212–228. London: Newnes, 1950.
- Skinner P.* Family power in Southern Italy the Duchy of Gaeta and its neighbours, 850–1139. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

- Slicher van Bath B.H.* The agrarian history of Western Europe A.D. 500–1850. London: Edward Arnold, 1963.
- Smith P.J.* Taxing heaven's storehouse: horses, bureaucrats, and the destruction of Sichuan tea industry. 1077–1224. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.
- Snodgrass A.M.* Heavy freight in Archaic Greece // Garnsey P., Hopkins K., and Whittaker C.R. (eds.). Trade in the ancient economy. London: Chatto and Windus, 1983.
- Sombart W.* Capitalism // Encyclopaedia of the Social Sciences. Vol. III. New York: Macmillan, 1930;
— The Jews and modern capitalism. Leipzig: Dunker and Humblot (Engl. trans. 1993, London: T.F. Unwin), 1911. [См. рус. пер.: *Зомбарт В.* Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. М.: Айрис-Пресс, 2004.]
- Soskice J.* Sight and vision in medieval Christian thought. In Vision in context: historical and contemporary perspectives on sight / Ed. T. Brennan and M. Jay. New York: Routledge, 1996. P. 29–43.
- Southall A.* The city in time and space. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Southern R.W.* Medieval humanism. New York: Harper and Row, 1970.
- Sovič S.* Western families and their Others. MS (forthcoming).
- Speiser J.M.* Le christianisation de la ville dans l'Antiquité tardive // Ktema: civilisations de l'orient, de la Grèce et de Rome antiques. 1985. No 10. P. 49–55.
- Steensgaard N.* Carracks, caravans, and companies: the structural crisis in the European-Asian trade in the early seventeenth century. Copenhagen: Studentlitteratur, 1973.
- Stein G.* The organizational dynamics of complexity in Greater Mesopotamia // Chiefdoms and early states in the Near East. The organizational dynamics of complexity / Eds. Stein G. and Rothman M.S. Madison, Wisconsin: Prehistory Press, 1994.
- Stone L.* Family, sex and marriage in England, 1550–1800. London: Weidenfeld and Nicolson, 1977.
- Strayer J.R.* Feudalism in Western Europe // Feudalism in History / Ed. R. Coulbourn. Princeton: Princeton University Press, 1956.
- Tandy D.W.* Warriors into traders: the power of the market in early Greece. Berkeley, CA: California University Press, 1997.
- Thapar R.* A history of India. Harmondsworth: Penguin, 1966;
— History and beyond. New Delhi: Oxford University Press, 2000.
- Tognetti S.* Un industria di lusso al servizio del grande commercio. Florence: Olschki, 2002.
- Tolstoi L.* Last diaries (ed. L. Stilman). New York: Capricorn Books, 1960. [См.: *Толстой Лев.* Последний дневник. М.: «ВК», 2010.]
- Trevor-Roper H.R.* The rise of Christian Europe. London: Thames and Hudson, 1965;
— Historical essays. London: Macmillan, 1958.
- Tylor E.B.* Primitive culture. London, 1881. [Рус. пер.: *Тайлор Э.Б.* Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989.]
- Valensi L.* The birth of the despot: Venice and the sublime porte / Trans. A. Denner. Ithaca: Cornell University Press (French edition, 1987), 1993.

- Vico G. New science. Ithaca: Cornell University Press, 1984 [1744]. [Рус. пер.: Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М.–К.: REFL-book-ИСА, 1994.]
- Viguera M. Asludu li'l-ma'ali: on the social status of Andalusi women // Jayyusi S.K. (ed.). The legacy of Muslim Spain. Leiden: Brill, 1994.
- Villing A. Persia and Greece // Curtis J. and Tallis N. (eds.). Forgotten empire: the world of ancient Persia. London: British Museum, 2005.
- Von Staden H. Affinities and visions — Helen and hellenocentrism // Isis. 1992. No 83. P. 578–595.
- Wallerstein I. The modern world-system. Vol. I: Capitalist agriculture and the origins of European world-economy in the sixteenth century. New York: Academic Press, 1974;
- The west, capitalism and the modern world system // Brook T. and Blue G. (eds.). China and historical capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Walzer R. Greek into Arabic. Oxford: B. Cassirer, 1962.
- Ward W.A. Egypt and the east Mediterranean world 2200–1900 BC. Beirut: The American University of Beirut, 1971.
- Ward-Perkins B. Specialised production and exchange // The Cambridge Ancient History. Vol. XIV. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Watson A.M. Agricultural innovation in the early Islamic world: the diffusion of crops and farming techniques, 700–1100. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Watt I.P. The rise of the novel. London: Chatto, 1957.
- Watt W.M. The influence of Islam on medieval Europe. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1972.
- Weber M. The Protestant ethic and the spirit of capitalism. London: Allen and Unwin, 1930. [Рус. пер.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избр. произв. М.: Прогресс, 1990.];
- The methodology of the social sciences / Trans. E.A. Shils and H.A. Finch). Glencoe, IL: The Free Press, 1949. [См.: Вебер М. Избр. произв. Часть вторая. М., 1990.];
- Economy and society. An outline of interpretive sociology. Translated and edited by Guenther Roth and Claus Wittich. New York: Bedminster Press, 1968. [Рус. пер.: Вебер М. Хозяйство и общество. М.: Издательство ГУ ВШЭ, 2010.];
- The agrarian sociology of ancient civilizations. London: NLB, 1976.
- Weis R. The yellow cross: the story of the last Cathars, 1290–1329. London: Penguin, 2001.
- Weiss W.M. and Westerman K.M. The Bazaar: markets and merchants of the Islamic world. London: Thames and Hudson, 1998.
- Whitby M. The army c. 420–602 // The Cambridge Ancient History. Vol. XIV. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- White K.D. Roman farming. London: Thames and Hudson, 1970.
- Greek and Roman technology. London: Thames and Hudson, 1984.
- White L. Medieval technology and social change. Oxford: Clarendon Press, 1962.
- White S.D. The «feudal revolution» // Past and Present. 1996. No 152. P. 205–223.

- Whittaker C.R.* Rome and its frontiers: the dynamics of empire. London: Routledge, 2004.
- Wickham C.* The other transition: from the ancient world to feudalism // Past and Present. 1984. No 103. P. 3–36;
– Un pas vers le Moyen Age? Permanences et mutations // Ouzoulias P. et al. (eds.) Les campagnes de la Gaule à la fin de l'antiquité. Antibes: Editions ACDCA, 2001.
- Will E.* Trois quarts de siècle de recherches sur l'économie grecque antique // Annales E.S.C. 1954. No 9. P. 7–22.
- Wilson A.* Water power in north Africa and the development of the horizontal water wheel // Journal of Roman Archeology. 1995. No 8. P. 499–510.
- Wittfogel K.* Oriental despotism. New Haven: Yale University Press, 1957.
- Wolf A.P. and Huang C.-S.* Marriage and adoption in China, 1845–1945. Stanford, CA: Stanford University Press, 1980.
- Wolf E.R.* Europe and the people without history. Berkeley: University of California Press, 1982.
- Wong R.* The political economy and agrarian empire and its modern legacy // Brook T. and Blue G. (eds.). China and historical capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Worsley P.* The trumpet shall sound: a study of cargo cults in Melanesia. London: MacGibbon and Kee, 1957.
- Wrigley E.A.* Poverty, progress and population. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Yalman N.O.* Further observations on love (or equality) // Warner J. (ed.). Cultural horizons. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2001.
- Zafrani H.* Juifs d'Andalousie et du Maghreb. Paris: Maisonneuve Larose, 1986;
– Los judios del occidente musulmán: Al-Andalus y el Magreb. Madrid: Editorial Mapfre, 1994.
- Zan L.* Accounting and management discourse in proto-industrial settings: the Venice Arsenal in the turn of the 16th century // Accounting and Business Research. 2004. No 34. P. 2, 345–378.
- Zilfi M.C.* Women and society in the Tulip Era, 1718–1730 // Amira El Aazhary Sonbol (ed.). Women, the family, divorce laws in Islamic history. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1996.
- Biheh S.* A Leftist plea for «Eurocentrism» // Unpacking Europe: towards a critical reading // Hassan S. and Dadi I. (eds.). Rotterdam: NAI Publishers, 2001.
- Zurndorfer H.T.* Not bound to China: Etienne Balasz, Fernand Braudel and the politics of the study of Chinese history in post-war France // Past & Present. 2004. No 185. P. 189–221.

- Г 93 **Гуди Джек**
Похищение истории / Джек Гуди; пер. с англ. — М.: Издательство «Весь Мир», 2015. — 432 с.
ISBN 978-5-7777-0657-7

Один из известнейших современных специалистов в области культурной антропологии, кембриджский профессор Джек Гуди (р. 1919) широко известен своим критическим отношением к узкому европоцентристскому подходу к изучению человеческой цивилизации. Системная и цельная критика такого подхода и составляет основное содержание его книги. По мнению Гуди, честь изобретения демократии, капитализма, индивидуализма и романтической любви не принадлежит Западу, равно как и многих конкретных открытий, совершенных человечеством. Он детально рассматривает взгляды и теоретические построения многих замечательных ученых и мыслителей — Маркса, Вебера, Элиаса, а также почитаемых им историков Броделя, Финли, Андерсона и др. Гуди предлагает использовать компаративную методологию кросс-культурного анализа, которая создает намного более полную основу для оценки разнообразных исторических процессов и должна заменить устаревшие представления о различиях между Западом и Востоком.

Книга написано увлекательно и ярко. Кроме специалистов в области гуманитарных исследований и общественных наук, она обращена к широкому кругу читателей, интересующихся проблемами прошлого и современности.

УДК 94(4)+94(5)
ББК 63.3(0)

Джек Гуди

Похищение истории

Редакторы: *О.А. Зимарин, М.М. Беляев*

Художник: *В.Ю. Яковлев*

Верстка *Е.А. Поташевской*

Корректор: *И.В. Леонтьева*

Подписано в печать 05.11.2014
Формат 60 х 90 ¹/₁₆ Печ. л. 27,0.
Заказ №

ООО Издательство «Весь Мир»

Адрес: 125009, Москва,

ул. Моховая, д. 11, стр. 3В

Тел./факс: (495)276-02-92

E-mail: info@vesmirbooks.ru

<http://www.vesmirbooks.ru>

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

Сайт: www.chpk.ru. E-mail: marketing@chpk.ru

факс 8(496) 726-54-10, тел. 8 (495)988-63-87

ISBN 978-5-7777-0657-7



9 785777 706577